

А. Ф. ПИСЕМСКИЙ

А. Писемский

А. Ф. ПИСЕМСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕВЯТИ ТОМАХ



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1959

Издание выходит
под наблюдением

А. П. Могилянского.

Подготовка текста
А. П. и Е. Б. Могилянских.

Примечания
В. В. Данилова.

ЛЮДИ СОРОКОВЫХ ГОДОВ

Роман в пяти частях

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

ЖИТЕЙСКАЯ МУДРОСТЬ МАКАРА ГРИГОРЬЕВА

Павел кончил курс кандидатом и посбирывался ехать к отцу: ему очень хотелось увидеть старика, чтобы покончить возникшие с ним в последнее время неудовольствия; но одно обстоятельство останавливало его в этом случае: в тридцати верстах от их усадьбы жила Фатеева, и Павел очень хорошо знал, что ни он, ни она не утерпят, чтобы не повидаться, а это может узнать ее муж — и пойдет прежняя история.

В такого рода соображениях и колебаниях прошло около двух месяцев; наконец в одно утро Иван сказал Вихрову, что пришел Макар Григорьев. Павел велел позвать его к себе.

Макар Григорьев вошел.

— Ладно, что застал вас дома, а то думал, что, пожалуй, и не захвачу! — сказал он каким-то странным голосом.

— Нет, я дома!— отвечал Павел и указал старику на стул. Он всегда сажал Макара Григорьева с собой.

Макар Григорьев сел и несколько времени ворочался на стуле, кряхтел и как бы не находил, о чем ему заговорить.

— Домой вот, Макар Григорьевич, в деревню сбираюсь,— начал Павел сам.

— Ну это что̀ же! — произнес что-то такое Макар Григорьев.— Есть оттуда оказейка, приехал один человек.

— Какой человек? — спросил Павел, не совсем понимая, что́ хочет этим сказать Макар Григорьев.

— Наш человек приехал; папенька ваш не так здоров...— отвечал Макар Григорьев и потупился.

— Как не так здоров? — произнес Павел, уже побледнев немного.— Вероятно, он очень болен, если прислан нарочный!

— Да! — отвечал Макар Григорьев каким-то глухим голосом, и в то же время старик не глядел на молодого барина.

— Макар Григорьев, послушай, не томи меня: умер он или жив? — воскликнул Павел.

— Что жив... Известно, все под богом ходим.

— Значит, он умер?.. Это я вижу,— сказал Павел прерывающимся голосом.— Когда он умер? —прибавил он как-то твердо и желая прямо поставить вопрос.

— Двадцать третьего июля изволил скончаться,— отвечал Макар Григорьев.

— И я его, вероятно, довел до смерти своей последней неприятностью,— произнес Павел.

— Ничего не вы, что за вы? Семидесяти лет человек помер, не Енохом же бессмертным ему быть, пора и честь знать!

— Однако это последнее письмо, которое я ему послал, я думаю, его не порадовало.

— Я не посылал этого письма,— ответил Макар Григорьев.

— Как не посылал? — воскликнул Павел уже радостно.

— Так, не посылал: что из-за вздору ссориться!.. Написал только ему, что вы очень поиспужались и писать ему не смеете.

— О, благодарю тебя! — воскликнул Павел и, вскочив, обнял и поцеловал Макара Григорьева.

— Приказчик ваш оттуда приехал, Кирьян; бумаги вам разные привез оттуда.

— Бог с ними, ничего этого я видеть не хочу; батюшка, милый мой, бесценный! Я никогда тебя уже больше не увижу! — говорил с слезами на глазах Павел, всплескивая горестно руками.

Макар Григорьев слушал его молча; на его маленьких и заплывших глазах тоже появились как будто бы слезы.

— Что плакать-то уж очень больно,— начал он,— старик умер — не то что намаявшись и нахвораючись!.. Вон как другие господа мозгнут, мозгнут, ажно прислуге-то всей надоедят, а его сразу покончило; хорошо, что еще за неделю только перед тем исповедался и причастился; все-таки маленько помер очищенный.

Павел между тем глядел в угол и в воображении своем представлял, что, вероятно, в их длинной зале расставлен был стол, и труп отца, бледный и похолоделый, положен был на него, а теперь отец уже лежит в земле сырой, холодной, темной!.. А что если он в своем одночасье не умер еще совершенно и ожил в гробу? У Павла сердце замерло, волосы стали дыбом при этой мысли. Он прежде всего и как можно скорее хотел почтить память отца каким-нибудь серьезно добрым делом.

— Макар Григорьев,— начал он,— я хочу всех вас предварительно заложить в опекунский совет, а потом отпущу на волю!

— Как на волю, пошто? — спросил тот.

— А по то, чтобы вы не были крепостными; пока я жив, то, конечно, употреблю все старание, чтобы вам было хорошо, но я умру, и вы достанетесь черт знает кому, и тот, будущий мой наследник, в дугу вас, пожалуй, начнет гнуть!

— Что пустяки какие,— умрете, да в дугу кто-то начнет гнуть. Все вы вздор какой-то говорите. Позовите лучше Кирьяна к себе и примите от него бумаги; я его нарочно привел с собой!

— Ну, позови!

Кирьян вошел. Это уж был теперь совсем седой старик. Он подошел прямо к руке барина, и, как тот ни сопротивлялся, Кирьян притянул к себе руку его и поцеловал ее.

— Что, Кирьян, лишились мы с тобой нашего благодетеля,— начал Павел с навернувшимися опять слезами на глазах.

— Да, батюшка, несчастье какое божеское постигло нас,— отвечал Кирьян, покачивая своей головой и как бы кокетничая своею печалью.

Макар Григорьев, как мы знаем, не прилюбливал полковника, но все-таки видно было, что он искреннее сожалел об его смерти, чем плутоватый Кирьян.

— Как же и в какой именно час дня отец помер? — спросил Павел.

— Двадцать третьего числа-с,— отвечал Кирьян,— во время обеденного стола; гостья у них-с была, старушка Катерина Гавриловна Плавина... и все про сына ему рассказывала, который видеться, что ли, с вами изволил?

— Да, виделся,— отвечал Павел скороговоркой.

— Она об этом ему рассказывала,— он слушать изволил ее, и жареное уж кушать начал, вдруг покатился со стула и жизнь покончил, и салат еще в губках остался; у мертвого уже у него вынимали из ротику.

— Но отчего же все это с ним случилось? Был он перед этим болен, расстроен чем?

— Ничего не было того-с,— отвечал Кирьян.— Конечно, мы сами мало в этом понимаем, но господа тут на похоронах разговаривали: ножки ведь у них от ран изволили болеть, и сколько они тоже лечили эту болезнь, почесть я каждую неделю в город за лекарством для них от этого ездил!.. Все ничего, никакой помощи не было, но старушонка-лекарка полечила их последнее время, только и всего,— раны эти самые киноварью подкурила, так сразу и затянуло все... Ну, и господа так говорили: раны закрылись, в голову и ударило,— вред от этого после вышел!

— Очень не мудрено...— произнес Павел.— Но как же не стыдно было покойному батюшке доверять себя какой-нибудь бабе-дуре.

— Тут уж довериться изволили,— отвечал Кирьян и вздохнул.

— Покойный папенька ваш не то что из поученых барь был, а простой: все равно, что и мужик! — вмешался в разговор Макар Григорьев.

— Но кто же распоряжался всем, когда отец помер?— спросил Павел.

— Да эта же самая Катерина Гавриловна Плавина; слава богу, что она и случилась тут: сейчас все ящики, сундуки и комоды опечатала, послала к священникам и за становым. Тот опять тоже переписал все до последнего ягненка.

— Ну, потом похоронили? — говорил Павел. Он хотел знать все подробности, сопровождавшие смерть отца.

— Похоронили-с! Господ очень много съехалось; даже вон из Перцова молодая барыня приезжала; только что в церкви постояла, а в усадьбу в дом не поехала.

— Из Перцова?.. Клеопатра Петровна?— переспросил Павел.

— Да-с, они самые, кажется!.. И как плакать изволили — ужас: пошли с последним-то лобызанием, так на гроб и упали; почесть на руках отнесли их потом оттуда.

«Это что такое? — подумал Павел, удивленный и пораженный этим известием.— Что такое эта безумица делает?.. Неужели она еще любит меня, что и ей так дорого все, что касается до меня?»

От Клеопатры Петровны, с самого ее отъезда в деревню, не было ни строчки. Павел недоумевал.

— К тестеньку-то, видно, пожелала приехать и поклониться ему в последний раз,— пробунчал себе под нос Макар Григорьев.

— Но у ней у самой муж умирает? — спросил Павел Кирьяна.

— Плох, тоже слышно, очень... Кучер ихний при церкви рассказывал о том нашему Петру,— отвечал Кирьян.

— Кучер кучеру там какому-то рассказывал,— перебил, передразнивая Кирьяна, Макар Григорьев.— А ты вот бумаги-то лучше, что привез, подай барину.

Кирьян на эти слова вынул толстый, завернутый в сахарную бумагу пакет и подал его Павлу. Тот развернул, и первое, что увидел,— это билеты приказа общественного призрения на его имя и тысяч на тридцать.

— Это какие деньги? — спросил он.

— Папенькины-с. У них так и записка найдена, чтобы эти деньги сейчас с нарочным к вам везти.

— Откуда же он мог их накопить?— спросил Павел.

— Откуда? — произнес насмешливо Макар Григорьев.— Старик хапуга был: одно лесное именье от сплавного леса, чай, тысячи три дает.

— Дает! — подтвердил и Кирьян.

— А на себя тоже копейки не уболил издержать,— продолжал Макар Григорьев.

— Да уж это точно что,— подтвердил Кирьян.—Когда вот Павла Михайлыча нет, что люди едят, то и он кушает.

— Дрожал старик надо всем!..— произнес Макар Григорьев.— Окромя этих денег, он Воздвиженское еще вам купил,— прибавил он, обращаясь к Павлу.

— Как купил? —спросил тот с удивлением.

— Куплено-с,— отвечал Кирьян,— перед самой почесть смертью они и крепость на него изволили совершить.

— Но зачем же те-то господа продали?

— Так наслышно, что сын-то генеральшин женится на миллионерке; ну, так чтобы на свадьбу деньги иметь,— объяснил Кирьян.

— Форс тоже держат,— подхватил Макар Григорьев,— коли на богатой женится, так чтобы она думала, что и он богат; а как окрутят, так после и увидят, что свищ только один, прохвост, больше ничего, по-нашему, по-мужицки, сказать...

— Воздвиженское!.. Воздвиженское теперь мое! — повторял Павел с заметным удовольствием.

— Папенька так уж нарочно для вас и купили,— продолжал объяснять Кирьян.— «Пашенька, говорит, всегда хвалил Воздвиженское: вот, говорит, папенька, такую бы нам усадьбу!..— Ну, так, говорит, пусть он теперь владеет ею, куплю ему на потешку ее!»

Павел опять предался при этом горестным мыслям и воспоминаниям. «Милый, дорогой родитель,— шептал он сам с собой.— Вся твоя жизнь была заботой обо мне, чтобы как-нибудь устроить мою будущность; малейшее желание мое ты всегда хотел исполнить, а я между тем грубил тебе, огорчал тебя!»

И Павел в самом деле искренно думал, что он совершил против отца страшнейшие злодеяния, и затем он снова перешел к прежней своей мысли почтить память старика серьезно добрым делом.

— Ну вот, мои друзья, ты староста дворовый,—сказал он Кирьяну,— а ты, Макар Григорьев, я уж не знаю какой староста, ты мне второй отец становишься...

— Вона! — произнес Макар Григорьев насмешливо, но, видимо, тронутый словами Павла.

— Научите вы меня, как мне все мое именье устроить, чтобы всем принадлежащим мне людям было хорошо и привольно; на волю я вас думал отпустить, но Макар Григорьев вот не советует... Что же мне делать после того?

— Да ничего не делать, вести, как и при папеньке было!.. Что еще тут делать? — перебил Макар Григорьев почти строго Павла, а сам в это время подмигивал ему так, чтобы Кирьян не заметил этого.

— Ничего не надо делать!— повторил он еще раз и обратился уже к Кирьяну:

— Ты шел бы, паря, домой!.. Отпустите его; он устал тоже с дороги,— прибавил он Павлу.

— Пожалуй! — отвечал Павел, несколько сконфуженный этими словами и распоряжениями Макара Григорьева.

— Так я пойду-с,— сказал Кирьян и потом опять насильственно поцеловал у Павла руку и ушел.

— Что это вы вздор этакой говорите при этом дураке; он приедет, пожалуй, домой и всю вотчину вашу взбунтует...— начал Макар Григорьев.

— Что же за вздор? — спросил Павел.

— Как не вздор!.. И на волю-то вас отпущу, и Кирюшка какой-нибудь — *друг мой,* а я уж и *батькой вторым* стал; разве барину следует так говорить; мы ведь не дорого возьмем и рыло, пожалуй, после того очень поднимем.

— Я не для поднятия вашего рыла это делаю, а чтобы устроить ваше благосостояние,— сказал Павел.

— Так что же?.. Дурак-то Кирьяшка и научит вас: он скажет, дай ему денег больше, вот и все наученье его!

— Ну, так ты меня научи! — сказал Павел. Макар Григорьев казался ему великолепен в эти минуты.

— Я-то научу не по-ихнему,— отвечал тот хвастливо,— потому мне ничего не надо, я живу своим, а из них каждая бестия от барской какой-нибудь пуговки ладит отлить себе и украсть что-нибудь... Что вам надо, чтобы было в вашем имении?

— Чтобы бедных мужиков у меня не было.

— Да бедных почесть и нет, есть многосемейные только, с малыми детьми; ну, тем — известно — потяжельше!

— А если им потяжельше, с них меньше повинностей надо брать.

— Ничего не надо! Вздумайте-ка только это вы завести, у вас все сейчас бедными притворятся. Мы ведь, мужики — плуты... Вы не то что позволяйте которому оброку не доносить, пусть он платит, как следует, а потом мне, что ли, хоть из оброку и отдадите, сколько пожелаете, а я в дом это к нему и пошлю, будто жалованья ему прибавляю, а коли не станет заслуживать того, так отдеру.

— Хорошо, я тебе буду отдавать,— сказал Павел, слышавший еще и прежде, что Макар Григорьев в этом

отношении считался высокочестным человеком и даже благодетелем, батькой мужицким слыл, и только на словах уж очень он бранчив был и на руку дерзок; иной раз другого мужичка, ни за что ни про что, возьмет да и прибьет.

— Дворовым я завел, чтобы лучше пищу выдавали; не знаю, идет ли теперь это?

— Идет точь-в-точь так, это я слышал. Им ничего больше не надо прибавлять, будет с них, дьяволов!

— Будет?

— Будет! А то хуже избалуете. Вы когда думаете в деревню-то ехать?

— Ехать-то мне,— начал Павел,— вот ты хоть и не хочешь быть мне отцом, но я все-таки тебе откроюсь: та госпожа, которая жила здесь со мной, теперь— там, ухаживает за больным, умирающим мужем. Приеду я туда, и мы никак не утерпим, чтобы не свидеться.

— Где уж тут, утерпите ли... Господа тоже ведь избалованы насчет этого.

— Да,— подтвердил Павел, не вслушавшись в последние слова Макара Григорьева,— а между тем это может страшно ей повредить, наконец встревожит и огорчит умирающего человека, а я не хочу и не могу себе позволить этого.

— Нет, вам не надо туда ездить,— решил и Макар Григорьев,— пустое дело — бросить вам все это надо; может быть, здесь невесту настоящую, хорошую, с приданым найдете!

— Ах, кстати,— перебил его Павел, вспомнив при слове «с приданым» о деньгах, которыми так великодушно снабжал его Макар Григорьев в продолжение последнего времени,— не угодно ли вам принять от меня мой долг!

И с этим словом он вынул из сахарной бумаги один билет приказа и подал его Макару Григорьеву.

— Ну, что, успеете еще! — произнес было тот.

— Бери! — повторил Павел настоятельно.

Макар Григорьев усмехнулся только и положил билет в карман.

— Удивительное дело — какие нынче господа стали,— проговорил он, продолжая усмехаться.

— А что? — спросил Павел.

— Да так! Совсем не то, что прежние,— отвечал Макар Григорьев, бог знает что́ желая тем сказать, и ушел.

II

ОПЯТЬ ЭЙСМОНДЫ

Нельзя сказать, чтоб полученное Вихровым от отца состояние не подействовало на него несколько одуряющим образом: он сейчас же нанял очень хорошую квартиру, меблировал ее всю заново; сам оделся совершеннейшим франтом; Ивана он тоже обмундировал с головы до ног. Хвастанью последнего, по этому поводу, пределов не было. Горничную Клеопатры Петровны он, разумеется, сию же минуту выкинул из головы и стал подумывать, как бы ему жениться на купчихе и лавку с ней завести.

Чтобы кататься по Москве к Печкину, в театр, в клубы, Вихров нанял помесячно от Тверских ворот лихача, извозчика Якова, ездившего на чистокровных рысаках; наконец, Павлу захотелось съездить куда-нибудь и в семейный дом; но к кому же? Эйсмонды были единственные в этом роде его знакомые. Мари тоже очень разбогатела: к ней перешло все состояние Еспера Иваныча и почти все имение княгини. Муж ее был уже генерал, и они в настоящее время жили в Парке, на красивой даче.

— Ну, Яков, завтра ты мне рысачка получше давай!— сказал Вихров, когда Яков вечером пришел в горницу чай пить. Павел всегда его этим угощал и ужасно любил с ним разговаривать: Яков был мужик умный.

— Дадим-с,— отвечал тот.

— Завтра мы с тобой поедем в Парк к одной барыне-генеральше; смотри, не ударь себя лицом в грязь,— продолжал Вихров и назвал при этом и самую дачу.

— Слушаю-с,— проговорил Яков и на другой день действительно приехал на таком рысаке, в такой сбруе и пролетке, что Павел вскрикнул даже от удовольствия.

— Ну-с, Яков Петрович,— сказал он, усаживаясь в пролетке,— какого это завода конь?

— Мосоловского,— отвечал Яков, сидя прямо и внимательно поглядывая на лошадь, которая сердито рыла копытом землю.

— Трогай! Надеюсь, что на Тверской мы всех перегоним,— проговорил Павел.

Яков тронул: лошадь до самой Тверской шла покорной и самой легкой рысцой, но, как въехали на эту улицу, Яков посмотрел глазами, что впереди никто очень не ме-

шает, слегка щелкнул только языком, тронул немного вожжами, и рысак начал забирать; они обогнали несколько колясок, карет, всех попадавшихся извозчиков, даже самого обер-полицеймейстера; у Павла в глазах даже зарябило от быстрой езды, и его слегка только прикидывало на эластической подушке пролетки.

— Немного осталось впереди-то! — сказал Яков, выехав за заставу и самодовольно оборачиваясь к Павлу: впереди в самом деле никого не было.

— Чудная лошадь! — воскликнул тот, смотря на это благородное животное, которое опять уже пошло тихо и покорно

— У другого бы не стала она этого делать! — произнес Яков.

— Отчего же? — спросил Павел.

— Оттого, что человека чувствует!.. Знает, кто ею правит!..— И Яков снова щелкнул языком, и лошадь снова понеслась; потом он вдруг, на всех рысях, остановил ее перед палисадником одной дачи.

— Здесь, надо быть,— проговорил он. Яков знал Москву, как свои пять пальцев.

Павел взглянул в палисадник и увидел, что в весьма красивой и богато убранной цветами беседке сидела Мари за большим чайным столом, а около нее помещался мальчишка, сынишка.

Мари, увидев и узнав Павла, заметно обрадовалась и даже как бы несколько сконфузилась.

— Ах, вот кто! — проговорила она.

Павел на этот раз почему-то с большим чувством поцеловал ее руку.

— А это ваш малютка? — сказал он, показывая на мальчика, подходя к нему и целуя того.

Ребенок как-то при этом ласково смотрел на него своими голубыми глазенками.

— А Евгений Петрович? — спросил Вихров Мари.

— Он дома и сейчас придет! — ответила та.— Поди, позови барина,— прибавила она стоявшему около беседки человеку.

Тот пошел.

Через несколько минут маленький, толстенький генерал, в летнем полотняном сюртуке, явился в сад; но, увидев Вихрова и вспомнив при этом, что вышел без галстука, стал перед ним чрезвычайно извиняться.

— Ничего, помилуйте! — говорил Павел, дружески пожимая ему руку.

— Все-таки мне совестно,— говорил генерал, захватывая себе рукой горло.

— Простит, ничего! — сказала ему и Мари.

Генерал наконец успокоился и сел, а Мари принялась сынишку поить чаем, размешивая хлеб в чашке и отирая салфеткой ему ротик: видно было, что это был ее баловень и любимец.

— Ты, однако, не был у покойного дяди на похоронах,— сказала она укоризненным голосом Вихрову.

— Я был болен,— отвечал тот.

— Н-ну! — сказала Мари.

— Что такое — ну? — спросил ее Павел.

— Знаю я,— отвечала Мари и немножко лукаво улыбнулась.— Михаил Поликарпович тоже, я слышала, помер.

— Помер! А Анна Гавриловна, скажите, жива? — прибавил Вихров после короткого молчания.

При этом вопросе Мари немного сконфузилась — она всегда, когда речь заходила об матери, чувствовала некоторую неловкость.

— Она вскоре же померла после Еспера Иваныча,— отвечала она,— тело его повезли похоронить в деревню, она уехала за ним, никуда не выходила, кроме как на его могилу, а потом и сама жизнь кончила.

— Вот это так любовь была! — проговорил Вихров.

— Д-да! — произнесла Мари печально.— Ты курс, надеюсь, кончил кандидатом? — переменила она разговор.

— Кандидатом,— отвечал Вихров.

— Какого же рода службе думаете вы себя посвятить? — отнесся к нему генерал.

— Никакой! — отвечал Вихров.

Генерал склонил при этом голову и придал такое выражение лицу, которым как бы говорил: «Почему же никакой?»

— По всем слухам, которые доходили до меня из разных служебных мирков, они до того грязны, до того преступны даже, что мне просто страшно вступить в какой-нибудь из них,— заключил Павел.

Добродушный генерал придал окончательно удивленное выражение своему лицу: он службу понимал совершенно иначе.

— Я не говорю об вашей военной, а, собственно, об штатской,— поспешил прибавить Павел.

— А, об штатской — это конечно! — произнес генерал.

— Тебе надобно сделаться ученым, как и прежде ты предполагал,— сказала Мари.

— Я им, вероятно, и буду; состояние у меня довольно обеспеченное.

— Вот-с за это больше всего и надобно благодарить бога! — подхватил генерал.— А когда нет состояния, так рассуждать таким образом человеку нельзя!

— Отчего же нельзя? — спросила Мари у мужа.

— Оттого, что кушать захочется — да-с! — отвечал генерал и самодовольно захохотал, воображая, вероятно, что он сострил что-нибудь.

— По-моему, лучше поденщиком быть, чем негодяем-чиновником,— заметила уже с некоторым сердцем Мари.

— Ну нет-с!.. Всякому человеку своя рубашка к телу ближе — хе-хе-хе! — засмеялся опять генерал.

Вихров глядел на него с некоторым недоумением: он тут только заметил, что его превосходительство был сильно простоват; затем он посмотрел и на Мари. Та старательно намазывала масло на хлеб, хотя этого хлеба никому и не нужно было. Эйсмонд, как все замечали, гораздо казался умнее, когда был полковником, но как произвели его в генералы, так и поглупел... Это, впрочем, тогда было почти общим явлением: развязнее, что ли, эти господа становились в этих чинах и больше высказывались...

Павел между тем все продолжал смотреть на Мари, и ему показалось, что лицо у ней как будто бы горело, и точно она была в каком-то волнении. Здесь я должен войти в глубину души этой дамы и объяснить довольно странные и в самом деле волновавшие ее в настоящую минуту чувствования. Павел, когда он был гимназистом, студентом, все ей казался еще мальчиком, но теперь она слышала до мельчайших подробностей его историю с m-me Фатеевой и поэтому очень хорошо понимала, что он — не мальчик, и особенно, когда он явился в настоящий визит таким красивым, умным молодым человеком,— и в то же время она вспомнила, что он был когда-то ее горячим поклонником, и ей стало невыносимо жаль этого времени и ужасно захотелось заглянуть кузену в душу и посмотреть, что теперь там такое.

— Ты, надеюсь, у нас обедаешь? — сказала она ему.

— Если позволите,— отвечал Павел.

— Пожалуйста, попросту, по-деревенски,— подхватил генерал и дружески пожал ему руку.

— Ну, а я уж сделаю немножко свой туалет,— сказала, немного покраснев, Мари и ушла.

Вихров остался вдвоем с генералом и стал с ним беседовать.

— Ваша служба лучшая из военных — ученая,— сказал он.

— Да,— произнес генерал с важностью.

— У вас прежде математике в корпусах прекрасно учили, и прекрасно знали ее офицеры.

— Отлично знали,— подтвердил и генерал,— все, знаете, вычисления эти...

— Какие вычисления? — спросил Вихров, думая, что Эйсмонд под этими словами что-нибудь определенное разумеет.

— Вычисления разные,— отвечал генерал.

Павел понял, что это он так только говорил, а что математику он, должно быть, совсем забыл.

— Сама служба-то приятнее,— продолжал он,— потому что все-таки умнее, чем простая шагистика.

— Конечно! — согласился генерал.— Зато для кармана-то тяжеленька, совершенно безвыгодна!

— Это почему? — спросил Вихров, не зная еще, что, собственно, генерал разумеет под выгодой.

— Да потому, что если взять того же батарейного командира, конечно, он получает довольно... но ведь он всех офицеров в батарее содержит на свой счет: они у него и пьют и едят, только не ночуют,— в кармане-то в итоге ничего и не осталось.

Этими словами Эйсмонд просто возмутил Вихрова. «Сам ворует, а с другими и поделиться не хочет!» — подумал он.

— А что же, в армейских полках разве выгоднее быть командиром? — сказал он вслух, желая вызвать генерала еще на большую откровенность.

— Там выгодней гораздо! — подхватил тот.— Там полковой командир тысяч двадцать пять, тысяч тридцать получает в год, потому там этого нет: офицеры все вразброд стоят.

— Но вы сами согласитесь,— заметил Вихров,— что эти тридцать тысяч — те же взятки!

— Какие же взятки? — воскликнул генерал.— Нет-с, совсем нет-с! Это хозяйственная экономия — это так!.. Вы знаете что,— продолжал Эйсмонд несколько уже даже таинственно,— один полковой командир показал в отчете в экономии пять тысяч... его представили за это к награде... только отчет возвращается... смотрят: представление к награде зачеркнуто, а на полях написано: «Дурак!».

— Это уж немножко странно,— сказал Вихров.

— Нет-с, не странно! — возразил генерал.— Вы согласитесь, что полковой командир может и сэкономить, может и не сэкономить — это в его воле; а между тем, извольте видеть, что выходит: он будет сдавать полк, он не знает еще, сколько с него будущий командир потребует,— что же, ему свои, что ли, деньги в этом случае прикладывать; да иногда их и нет у него... Потом-с вдруг говорят: переменить погончики такие-то. Министр военный говорит: «Нужно отнестись к министру финансов».— «Не нужно, говорят, пусть полковые командиры сделают это из экономических сумм!» Значит, само начальство знает это.

«Вот, внуши этому человеку, что честно и что нечестно!» — думал Павел, слушая генерала.

Мари наконец кончила свой туалет и пришла к ним. Она заметно оделась с особенной тщательностью, так что генерал даже это заметил и воскликнул:

— Как вы интересны сегодня!

Павел тоже с удовольствием и одобрительно на нее смотрел: у него опять уже сердце забилось столь знакомым ему чувством к Мари.

Вслед за матерью вошел также и сынишка Мари, в щегольской гарнитуровой рубашке и в соломенной шляпе; Мари взяла его за ручонку.

— Пока на стол накрывают, не хотите ли, cousin, прогуляться? — сказала она Павлу.

Тот этому очень обрадовался; генерал же пошел делать свой туалет: он каждодневно подкрашивался немножко и подрумянивался.

Мари, ребенок и Павел пошли по парку, но прошли они недалеко и уселись на скамеечке. Ребенок стал у ног матери. Павлу и Мари, видимо, хотелось поговорить между собой.

— Я слышала,— начала Мари тихим и неторопливым

голосом,— что нынче всю зиму жила здесь Клеопатра Петровна.

— Жила,— отвечал Павел односложно.

— Ты видался с ней часто? — спрашивала Мари, как бы ничего по этому поводу не зная.

— Очень часто,— отвечал Павел.

— Где же она теперь?

— Она теперь уехала к мужу.

— Опять? — спросила Мари как-то уж насмешливо.

Павел весело и добродушно смотрел на нее.

— Послушайте, кузина,— начал он,— мы столько лет с вами знакомы, и во все это время играем между собой какую-то притворную комедию.

Мари вдруг вся вспыхнула.

— Почему же притворную? — спросила она.

— Притворную! Прикажете разъяснить вам это?

— Разъясните! — сказала Мари и потупилась, а вместе с тем с губ ее не сходила немножко лукавая улыбка.

— Во-первых, бывши мальчиком, я был в вас страстно влюблен, безумно, но никогда вам об этом не говорил; вы тоже очень хорошо это видели, но мне тоже никогда ничего об этом не сказали!

Мари слушала его, и Вихров только видел, что у ней уши даже при этом покраснели.

— Теперь та же самая комедия начинается,— продолжал он,— вам хочется спросить меня о Клеопатре Петровне и о том, что у меня с ней происходило, а вы меня спрашиваете, как о какой-нибудь Матрене Карповне; спрашивайте лучше прямо, как и что вам угодно знать по сему предмету?

— И ты скажешь мне откровенно? — спросила Мари, взмахнув на него свои голубые глаза.

— Все откровенно скажу,— отвечал Павел искренно.

— Что же ты, влюблен в нее очень?

— То есть я любил ее очень.

— А теперь — что же?

— Теперь — не знаю.

— Как не знаешь? — спросила Мари.

— Так, не знаю: перед отъездом ее в деревню я очень к ней охладел, но, когда она уехала, мне по ней грустно сделалось.

— Что тебе мешает? Поезжай сам за ней в дерев-

ню!..— И на лице Мари, как легкое облако, промелькнула тень печали; Павел и это видел.

— В деревню я не поеду, потому что это может рассердить и огорчить ее мужа.

— Муж ее, я слышала, скоро умрет, и ты можешь сейчас же жениться на ней.

— Нет, я не женюсь на ней,— возразил Павел.

— Отчего же? — спросила Мари как бы с удивлением.

— Во-первых, оттого, что она старше меня годами, а потом — мы с ней совершенно разных понятий и убеждений.

— О, она, разумеется, постарается подражать всем твоим понятиям и убеждениям.

— Не думаю...— произнес протяжно Павел.

Разговор на несколько времени приостановился; Павел, видимо, собирался с мыслями и с некоторою смелостью возобновить его.

— Вот видите-с,— начал, наконец, он,— я был с вами совершенно откровенен, будьте же и вы со мной откровенны.

— Да в чем же мне с тобой быть откровенной? — спросила Мари, как будто бы ей, в самом деле, решительно нечего было скрывать от Павла.

— А в том, например, что неужели вы никогда и никого не любили, кроме вашего мужа? — проговорил Вихров неторопливым голосом.

Мари несколько мгновений молчала; видимо, что она обдумывала, как отвечать ей на этот вопрос.

— Никого! — произнесла она, наконец, с улыбкой.

— Не верю! — воскликнул Павел.— Чтобы вы, с вашим умом, с вашим образованием, никого не любили, кроме Евгения Петровича, который, может быть, и прекрасный и добрый человек...

— Никого не любила!— поспешила перебить его Мари.

— И впредь не полюбите?

— Постараюсь,— сказала Мари.

— И что же, все это для исполнения священной обязанности матери и супруги? — спросил Павел.

— Для исполнения священной обязанности матери и супруги,— повторила за ним немножко комическим тоном и Мари.

— Только для этого, не больше?

— Только для этого, не больше,— повторила еще раз Мари.

— Ну, а мне больше этого и знать ничего не надо! — произнес Павел.

— Ничего? — спросила Мари.

— Ничего, потому что я теперь уже все знаю.

Мари опять немножко лукаво улыбнулась и встала.

— Пора, однако, пойдем обедать! — сказала она.

Павел последовал за ней. За обедом генерал еще больше развернулся и показал себя. Он, между прочим, стал доказывать, что университетское образование — так себе, вздор, химера!

— Чему там учат? — говорил он.— Мне один племянник мой показывал какой-то пропедевтик! Что такое, скажите на милость!

Вихров усмехнулся немного.

— Да и в корпусах, я думаю, тому же самому учат,— проговорил он.

— Э, нет!— воскликнул генерал.— В корпусах другое дело. Вон в морском корпусе мальчишке скажут: «Марш, полезай на мачту!» — лезет! Или у нас в артиллерийском училище: «Заряжай пушки — пали!» — палит! Есперка, будешь палить? — обратился он к сынишке своему.

— Буду,— отвечал тот, шамша и тяжело повертываясь в креслицах.

Что этими последними словами об морском корпусе и об артиллерийском училище генерал хотел, собственно, сказать — определить трудно. Вихров слушал его серьезно, но молча. Мари от большей части слов мужа или хмурилась, или вспыхивала.

III

НАКОПЛЕНИЕ ОДНОРОДНЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Герой мой очень хорошо видел, что в сердце кузины дует гораздо более благоприятный для него ветер: все подробности прошедшего с Мари так живо воскресли в его воображении, что ему нетерпеливо захотелось опять увидеть ее, и он через три — четыре дня снова поехал к Эйсмондам; но — увы! — там произошло то, чего никак он не ожидал. Когда он подъехал к их даче, то в палисаднике на этот раз никого не было. Он вошел в него и встре-

тил, наконец, лакея, который объявил ему, что господа уехали сначала в Петербург, а потом и за границу.

Павла это известие сильно озадачило.

— Что же, они давно уже собирались уехать? — спросил он.

— Нет, вдруг что-то надумали,— отвечал лакей.

Вихров ничем иным не мог себе объяснить этот печальный и быстрый отъезд Мари, как нежеланием с ним встретиться. «Неужели это она меня избегает?» — подумал он, отчасти огорченный отъездом Мари, а частью и польщенный им в своем самолюбии.

Вскоре после того он получил весточку и от Фатеевой.

Клеопатра Петровна уехала из Москвы, очень рассерженная на Павла. Она дала себе слово употребить над собой все старания забыть его совершенно; но скука, больной муж, смерть отца Павла, который, она знала, никогда бы не позволил сыну жениться на ней, и, наконец, ожидание, что она сама скоро будет вдовою,— все это снова разожгло в ней любовь к нему и желание снова возвратить его к себе. Для этой цели она написала ему длинное и откровенное письмо:

«Мой дорогой друг, Поль!.. Я была на похоронах вашего отца, съездила испросить у его трупа прощение *за любовь мою к тебе:* я слышала, он очень возмущался этим... Меня, *бедную, все, видно, гонят и ненавидят,* точно как будто бы уж я совсем такая *ужасная женщина!* Бог с ними, с другими, но я желаю возвратить если не любовь твою ко мне, то, по крайней мере, уважение, в котором ты, надеюсь, и не откажешь мне, узнав *все ужасы,* которые я перенесла в моей жизни... Слушай:

«Мать моя родилась в роскоши, и я не знаю как была избалована успехами в свете, и когда прожила состояние и молодость, все-таки думала, что она может еще нравиться мужчинам. Обожатель ее m-r Léon,— мне тогда уже было 18 лет, и я была очень хорошенькая девушка,— вздумал не ограничиваться maman, а делать и мне куры; я с ужасом, разумеется, отвергла его искания; тогда он начал наговаривать на меня и бранить меня, и даже один раз осмелился ударить меня линейкой; я пошла и пожаловалась матери, но та меня же обвинила и приказывала мне *безусловно* повиноваться m-r Леону и *быть ему покорной.* Ты знаешь, друг мой, самолюбивый мой ха-

рактер и поймешь, чего мне это стоило, а мать между тем заставляла, чтобы я была весела и любезна со всеми бывшими у нас в доме молодыми людьми. М-г Леон кроме того и обирал мать; все деньги ее он прогуливал *где-то* и *с кем-то,* так что мы недели по две сидели на одном хлебе и колбасе; мать заставляла меня самое гладить себе платьи, замывать юбки — для того, чтобы быть всегда, по обыкновению, нарядно одетою. Такое положение, наконец, мне сделалось невыносимо. Несмотря на мое железное здоровье, я заболела. К счастью, вскоре после того ко мне присватался m-r Фатеев. Он тогда еще был очень красивый кирасирский офицер, в белом мундире, и я бог знает как обрадовалась этому сватанью и могу поклясться перед богом, что первое время любила моего мужа со всею горячностью души моей; и когда он вскоре после нашей свадьбы сделался болен, я, как собачонка, спала, или, лучше сказать, сторожила у его постели. Малейшие стоны его, я вообразить не могу, до какой степени раздирали мне сердце, но, впрочем, ты сам знаешь по собственному опыту, что я в привязанностях моих *пределов не знаю,* и вдруг за все это, за всю любовь и службу моему супругу, я начинаю видеть, что он все чаще и чаще начинает приезжать домой пьяный. Надобно быть женщиной, чтобы понять, как ужасно видеть пьяным близкого человека. Я видела m-r Леона пьяным, но тот вселял мне только *страх,* а муж мой — *отвращение,* и ко всем этим гадостям узнаю, что супруг мой даже мне изменяет! Сначала у меня помутилось все в голове; я понять ничего не могла. Я знала, что я лучше, красивее всех его возлюбленных,— и что же, за что это предпочтение; наконец, если хочет этого, то оставь уж меня совершенно, но он напротив, так что я не вытерпела наконец и сказала ему раз навсегда, что я буду женой его только *по одному виду и для света,* а он на это только смеялся, и действительно, как видно, смотрел на эти слова мои как на шутку; сколько в это время я перенесла унижения и страданий — и сказать не могу, и около же этого времени я в первый раз увидала Постена. Муж представил мне его как своего друга, и так как m-r Постен имеет весьма вкрадчивый и лукавый характер, то он, вероятно, узнал от мужа о наших отношениях; случай ему представлялся удобный поухаживать за молоденькой женщиной в подобном положении, и он начал,— и точно уж в этом

случае надо отдать честь его настойчивости!.. Я ему делала дерзости, капризничала над ним... Все это он за какое-то блаженство считал для себя. Наконец мы, слава богу, переехали из Москвы в наш город; m-r Постен тоже последовал за нами. Здесь я в первый раз увидела тебя: полюбить тебя я не смела, ты любил другую мою приятельницу, но ты мне показался каким-то чудным существом, которому предназначено хоть несколько минут дать мне счастья... О, как я всегда любила ездить с тобой от Имплевых в одном экипаже и смотреть тебе прямо в твои черные очи; но вот, наконец, и ты меня покидал!.. Собирался за Мари уехать в Москву... Муж в это время доходил до неистовства в своей жизни. M-r Постен был решительно каким-то ангелом-спасителем в моей домашней жизни. Муж как-то боялся его всегда... Я по крайности знала, что когда Постен у нас, то он физически меня никогда не убьет и не оскорбит: так это и случилось, когда он в истории этого глупого векселя заслонил меня собой от его удара ножом. Мне все стало равно: я знала, что уж больше не увижу тебя,— умереть, задохнуться от скуки, сделаться любовницей Постена, и я, на досаду себе, богу, людям, сделалась ею... Остальное ты все знаешь, и я только прибавлю, что, когда я виделась с тобой в последний раз в доме Еспера Иваныча и тут же был Постен и когда он ушел, мне тысячу раз хотелось броситься перед тобой на колени и умолять тебя, чтобы ты спас меня и увез с собой, но ты еще был мальчик, и я знала, что не мог этого сделать. Вот все; теперь обсуди и, как хочешь, оправдай или обвини меня.

Твоя *Клеопатра.*

«P. S. Бедный страдалец — муж мой *завтра* или *послезавтра* умрет. Он оставил мне *духовную* на *все имение...* Я теперь поэтому помещица *двухсот* душ».

Все слова, напечатанные в настоящем повествовании курсивом, были подчеркнуты в письме Клеопатры Петровны по одному разу, а некоторые — даже и по два раза. Она явно хотела, по преимуществу, обратить на них внимание Вихрова, и он действительно заметил их и прежде всего поспешил ее успокоить и сейчас же написал ответ ей.

«Бог с вами, кто вам сказал о каком-то неуважении к

вам!.. Верьте, что я уважаю и люблю вас по-прежнему. Вы теперь исполняете святой долг в отношении человека, который, как вы сами говорили, все-таки сделал вам много добра, и да подкрепит бог вас на этот подвиг! Может быть, невдолге и увидимся».

В сущности письмо Клеопатры Петровны произвело странное впечатление на Вихрова; ему, пожалуй, немножко захотелось и видеться с ней, но больше всего ему было жаль ее. Он почти не сомневался, что она до сих пор искренно и страстно любила его. «Но она так же, вероятно, любила и мужа, и Постена, это уж было только свойством ее темперамента»,— примешивалась сейчас же к этому всеотравляющая мысль. Мари же между тем, после последнего свидания, ужасно стала его интересовать.

«Неужели Неведомов прав,— думал он,— что мы можем прочно любить только женщин безупречных?» Ко всему этому хаосу мыслей и чувствований присоединилось еще представление своей собственной жизни, в которой не было ни цели, ни дела никакого. Вихров не был ни флегматиком, способным всю жизнь пролежать на диване, ни сангвиником, готовым до самой смерти танцевать; он был чистый холерик: ему нужно было или делать какое-нибудь дело, или переживать какое-нибудь чувство. Пробовал он читать,— не читается; Яков, рысак и трактиры ему до тошноты надоели, и Вихров начал томиться и безвыходно скучать.

В одну из таких минут, когда он несколько часов ходил взад и вперед у себя по комнатам и приходил почти в бешенство оттого, что никак не мог придумать, где бы ему убить вечер,— к нему пришел Салов. Достойный друг сей, с тех пор, как Вихров получил наследство, заметно стал внимательней к нему: весьма часто забегал, почти не спорил с ним и никогда не продергивал его, как делал это он обыкновенно с другими. Павел, разумеется, очень хорошо понимал истинную причину тому и в душе смеялся над нехитрыми проделками приятеля.

— Что вы поделываете? — спросил Салов, заметив недовольное лицо Вихрова.

— Хандрю,— отвечал тот,— и во мне вы можете видеть подобие наших титанов разочарования.

— Очень приятно с ними познакомиться,— подхватил Салов.

— Не шутите! Что такое эти Онегины и Печорины? Это люди, может быть, немного и выше стоящие их среды, но главное — ничего не умеющие делать для русской жизни: за неволю они все время возятся с женщинами, влюбляются в них, ломаются над ними; точно так же и мы все, университетские воспитанники... Мне всегда как-то представлялось, что матушка Россия — это есть грубая, для серого солдатского сукна устроенная фабрика, и вдруг в этой фабрике произрастают чувствительные и благоухающие розы, но все это потом в жизни сваливается в одно место, и, конечно, уж толстые тюки сукна помнут все розы и отобьют у них всякое благоухание.

— Живописно сказано! — подхватил Салов. —Но вот что, друг мой, от хандры единственное и самое верное лекарство — это карты: сядемте и станемте в оные играть.

— А вам бы очень хотелось? — спросил Павел.

— Очень! — отвечал Салов и затем пропел водевильным голосом:

Одни лишь карты нас питают,
И деньги нам они дают!

— Ну вот видите! — перебил его Вихров. — Пока вам не удалось еще развратить меня до карт, то я предлагаю вам устроить другого рода аферу на мой счет: свезите меня в какое-нибудь увеселительное заведение, и я вам выставлю от себя вино и ужин, какой вы хотите.

— О, да благословит тебя бог, добрый друг! — воскликнул Салов с комическим чувством, крепко пожимая руку Вихрова. — Ехать нам всего лучше в Купеческий клуб, сегодня там совершается великое дело: господа купцы вывозят в первый раз в собрание своих супруг; первая Петровская ассамблея будет для Замоскворечья,— но только не по высочайшему повелению, а по собственному желанию! Прогресс!.. Дворянству не хотят уступить.

— Это в самом деле любопытно! — произнес Павел.

— Очень-с, — подхватил Салов, — рожи, я вам доложу, будут невообразимые, туалеты — такого же свойства; брильянтов будут мириады, и шампанского море прольется. Поедемте, взглянемте на все сие.

— Хорошо! — сказал Павел.

— Так, значит, часу в одиннадцатом я за вами захожу, и мы едем на вашем рысаке.

— Едем на моем рысаке, — подтвердил Вихров.

Часов в одиннадцать они не отдумали и поехали. Купеческое собрание было уже полнехонько. Вихров и Салов, войдя, остановились у одной из арок, соединяющих гостиную с танцевальной залой.

— Каковы физиономии, каковы? — шептал Салов, показывая на разных толстых дам, которые или с супругами, или с подругами степенно расхаживали по залам. Вихрова тоже отчасти поразила эта публика. Студентом он все бывал или в Дворянском собрании, где встречал и прелестные лица и элегантные туалеты, или в Немецком собрании, где были немочки и дочери небогатых чиновников, которые все имели, по большей части, испитые, худые физиономии, но все-таки у них были лица человеческие, а тут вдруг он увидел какие-то луны ходячие, какие-то розовые тыквы. Мужские фигуры были такие же почти.

— Посмотрите, посмотрите, — продолжал ему шептать Салов,— ведь ни в одной физиономии бога нет; только и видно, что все это ест, пьет, спит, детей родит и, для поддержания такого рода жизни, плутует.

— Все это, может быть, так! — подтвердил Вихров.— Но, во всяком случае, этот слой общества дорог потому нам, что он вряд ли не единственный хранитель нашей допетровской народной жизни.

— И нравственности по Домострою, вы думаете? Как бы не так,— возразил Салов,— вы знаете ли, что у многих из сих милых особ почти за правило взято: любить мужа по закону, офицера — для чувств, кучера — для удовольствия.

Вихров засмеялся.

— А вот этот господин,— продолжал Салов, показывая на проходящего молодого человека в перчатках и во фраке, но не совсем складного станом,— он вон и выбрит, и подчищен, а такой же скотина, как и батька; это вот он из Замоскворечья сюда в собрание приехал и танцует, пожалуй, а как перевалился за Москву-реку, опять все свое пошло в погребок,— давай ему мадеры, чтобы зубы ломило,— и если тут в погребе сидит поп или дьякон: — «Ну, ты, говорит, батюшка, прочти Апостола, как Мочалов, одним голосом!»

— Как вы, однако, изучили их быт! — заметил Павел.

— Я на них теперь комедию пишу! — воскликнул Салов.— Потому что, поверьте мне, всех этих господ следует

гораздо побольней пробичевать, чем сделал это Гоголь с разными мелкими чиновниками.

— Пишете?

— Целый акт написан; я когда-нибудь вам прочту.

— Пожалуйста! — произнес Вихров, но на этом слове около него уже не было Салова. Тот куда-то от него исчез. Павел стал искать его глазами — и вдруг увидел перед собой Анну Ивановну, в прелестном воздушном платье и всю залитую в брильянты. Она стояла под руку с купцом, стриженным в скобку, с бородой, и даже не во фраке, а в длиннополом сюртуке. Исчезновение Салова объяснялось очень просто: он, еще прежде того, как-то на одном публичном гулянье встретил Анну Ивановну с мужем и вздумал было возобновлять с ней знакомство, но супруг ее, которому она, вероятно, рассказала все, сделал ему такую сцену, что Салов едва жив от него ушел, а потому в настоящем случае, встретив их снова, он за лучшее счел стушеваться; но Вихров ничего этого не знал.

— Анна Ивановна! — воскликнул он радостно.

— Ах, здравствуйте! — проговорила та как-то конфузливо.— Господин Вихров это! — поспешила она прибавить мужу.

— Очень приятно познакомиться! — отвечал тот довольно благосклонно Вихрову, протягивая ему свою заскорблую и покрытую волосами руку.

Павел с невольным чувством отвращения пожал ее.

«И это чудовище, — подумал он,— воздушная Анна Ивановна должна целовать и ласкать».

— Позвольте мне просить вас на кадриль, — сказал он, желая расспросить ее, как она поживает,— у меня решительно никого нет знакомых дам.

— Можно? — спросила Анна Ивановна мужа.

— С господином Вихровым можно! — отвечал тот с ударением. Дело в том, что Анна Ивановна, вышедши за него замуж, рассказала ему даже и то, что один Вихров никогда за ней не ухаживал.

Они встали вскоре после того в кадриль. Супруг ее поместился сейчас же сзади их.

Вихров видел, что ему надобно было осторожно разговаривать с Анной Ивановной. Он уже начинал частью понимать ее семейные отношения.

— Вихров, я очень несчастлива,— начала она сама, когда стояла с ним по другую сторону от мужа.

— Чем? — спросил Павел.

— Муж меня все ревнует.

— К кому?

— Да к лакеям даже и к повару, так что те не смеют мне взглянуть в лицо, — говорила Анна Ивановна, делая в это время преграциозные па.

— Я умру, Вихров, непременно,— продолжала она в пятой фигуре, перейдя с ним совсем на другую сторону.

— Нет, не умрете,— успокоивал ее Павел, а между тем сам внимательно посмотрел ей в лицо: она была в самом деле очень худа и бледна!

— Нет, умру; мне, главное, ничего не позволяют делать, что я люблю,— только пей и ешь.

Далее затем им уж ни слова нельзя было сказать.

«Вот еще жертва женская!» — подумал Павел, отходя от своей дамы.

Перед ужином он отыскал, наконец, Салова, который играл в карты в отдаленной комнате.

— Мы уж кончили; сейчас к вашим услугам,— сказал тот. И они вскоре сели за маленький столик.

— Что, бежали, спрятались... совесть, видно, зазрела,— сказал ему Вихров.

— А что же? — спросил Салов, улыбаясь.

— А то же,— отвечал Вихров,— какая прелестная женщина вышла из нее, а все-таки вскоре, вероятно, умрет.

Лицо Салова на минуту подернулось оттенком сильной печали.

— Что делать, такая уж оказия вышла! — произнес он.

— Какая же оказия?.. Не оказия, а с вашей стороны — черт знает что такое вышло.

— С моей стороны очень просто вышло,— отвечал Салов, пожимая плечами,— я очутился тогда, как Ир, в совершенном безденежье; а там слух прошел, что вот один из этих же свиней-миллионеров племянницу свою, которая очутилась от него, вероятно, в известном положении, выдает замуж с тем только, чтобы на ней обвенчаться и возвратить это сокровище ему назад... Я и хотел подняться на эту штуку...

Павел покачал только головой.

— А она там услыхала об этом, взбеленилась и убежала, — продолжал Салов.

— А почему же свадьба эта ваша не состоялась? — спросил его насмешливо Павел.

— Как же состояться, это все вздор вышло; какой-то негодяй просто хотел пристроить свою любовницу; я их в тот же вечер, как они ко мне приехали, велел официантам чубуками прогнать.

— Как, так-таки чубуками?

— Так-таки чубуками, á la lettre[1].

— И невесту тоже?

— И невесту тоже! Не обманывай! — подхватил Салов.

IV

АВТОРСТВО

С Вихровым продолжалось тоскливое и безсмысленное состояние духа. Чтобы занять себя чем-нибудь, он начал почитывать кой-какие романы. Почти во все время университетского учения замолкнувшая способность фантазии — и в нем самом вдруг начала работать, и ему вдруг захотелось что-нибудь написать: дум, чувств, образов в голове довольно накопилось, и он сел и начал писать...

Воображение перенесло его в деревню; он описал отчасти местность, окружающую Перцово (усадьбу Фатеевой), и описал уже точь-в-точь господский дом перцовский, и что в его гостиной сидела молодая женщина, но не Клеопатра Петровна, а скорее Анна Ивановна,— такая же воздушная, грациозная и слабенькая, а в зале муж ее, ни много ни мало, сек горничную Марью за то, что та отказывала ему в исканиях. Стоны горничной разрывали сердце бедной женщины, но этого мало; муж, пьяный и озлобленный, входит к ней и начинает ее ласкать. Страдалица этого уже не выдержала: она питает к мужу физиологическое отвращение, она убегает от него и запирается в своей комнате. Затем в одном доме она встречается с молодым человеком: молодого человека Вихров списал с самого себя — он стоит у колонны, закинув курчавую голову свою немного назад и заложив руку за бархатный жилет,— поза, которую Вихров сам, по большей части, принимал в обществе. Молодой человек — старый знакомый героини, но она, боясь ревности мужа,

---

[1] буквально *(франц.)*.

почти не говорит с ним и назначает ему тайное свидание, чтобы так только побеседовать с ним о прошлом...

Вихров писал таким образом целый день; все выводимые им образы все больше и больше яснели в его воображении, так что он до мельчайших подробностей видел их лица, слышал тон голоса, которым они говорили, чувствовал их походку, совершенно знал все, что у них в душе происходило в тот момент, когда он их описывал. Это, наконец, начало пугать его. Чтобы рассеяться немного, он вышел из дому, но нервное состояние все еще продолжалось в нем: он никак не мог выкинуть из головы того, что там как-то шевелилось у него, росло,— и только, когда зашел в трактир, выпил там рюмку водки, съел чего-то массу, в нем поутихла его моральная деятельность и началась понемногу жизнь материальная: вместо мозга стали работать брюшные нервы.

На другой день, впрочем, началось снова писательство. Павел вместе с своими героями чувствовал злобу, радость; в печальных, патетических местах,— а их у него было немало в его вновь рождаемом творении,— он плакал, и слезы у него капали на бумагу... Так прошло недели две; задуманной им повести написано было уже полторы части; он предполагал дать ей название: «Да не осудите!».

Вихрову, наконец, захотелось проверить все, что он написал; он стал пересматривать, поправлять, наконец, набело переписывать и читать самому себе вслух... Ему казалось хорошо, даже очень хорошо сделаться писателем и посвятить всю жизнь литературе; у него даже дыхание от восторга захватывало при этой мысли; но с кем бы посоветоваться, кто бы сказал ему, что он не чушь же совершенную написал?.. Неведомова не было в Москве; Замин и Петин были очень милые ребята, но чрезвычайно простые и вряд ли понимали в этом толк; Марьеновский, теперь уже служивший в сенате, пошел совершенно в другую сторону. Салов оказывался удобнее всех,— тем более, что он сам, кажется, желал сделаться писателем. «Я ему прочту, а он — мне; таким образом это будет мена взаимных одолжений!» С этою мыслью Вихров написал весьма ласковое письмо к Салову: «Мой добрый друг! У меня есть к вам великая и превеликая просьба, и что я вам поведаю в отношении этого — прошу вас сказать мне совершенно откровенно ваше мнение!»

Салов очень хорошо понял, что он зачем-то нужен Вихрову, и потому решился не упускать этого случая. По записке Павла, он сейчас же пришел к нему, но притворился грустным, растерянным, как бы даже не понимающим, что ему говорят.

Вихров спросил его: что такое с ним?

— Делишки скверны,— отвечал Салов и, сверх обыкновения, сел и вздохнул.

Павел сейчас же догадался, что Салов хочет занять у него денег. «Ну, черт с ним,— подумал он,— дам ему; пусть уж при слушании не будет так злобствовать!»

— Какие же это делишки? — сказал он вслух.

— Денег нет,— отвечал Салов.

— Займите у меня,— сказал Вихров,— только много не дам.

— Хорошо, сколько можете,— сказал Салов и сейчас же повеселел.

— Я к вам писал,— начал Павел несколько сурово (ему казался очень уж противен Салов всеми этими проделками),— писал, так как вы сочинили комедию, то и я тоже произвел, но только роман.

— Роман? — воскликнул Салов, как будто бы очень обрадовавшись этому известию.

— Роман, а потому вы прочтите мне вашу комедию, а я вам — мое произведение, и мы скажем друг другу совершенно откровенно наши мнения.

— С величайшею готовностью,— произнес Салов, как будто бы ничего в мире не могло ему быть приятнее этого предложения.— Когда ж вы это написали? — продолжал он тоном живейшего участия.

— В последние три недели,— отвечал Вихров,— вот оно-с, мое творение! — прибавил он и указал на две толстейшие тетрадки.

Салов обмер внутренне: «Он уморит, пожалуй, этим; у меня какие-нибудь три — четыре явления комедии написано, а он будет доедать массой этой чепухи!» Салов был совершенно убежден, что Павел написал чушь, и не высказывал этого ему и не смеялся над ним — только из предположения занять у него денег.

— Кому ж вы будете еще читать? — спросил он.

— Никому больше, кому же? — ответил Павел.

— Отчего же никому? — произнес протяжно Салов: у него в это время мелькнула мысль: «За что же это

он меня одного будет этим мучить, пусть и другие попробуют этой прелести!» У него от природы была страсть хоть бы чем-нибудь да напакостить своему ближнему.— Вы бы позвали и других ваших знакомых: Марьеновского, как этих,— Замина и Петина; я думаю, перед более многочисленной публикой и читать приятнее?

Павел от этих слов Салова впал в некоторое раздумье.

— Мне бы, признаться сказать, больше всех Неведомову хотелось прочесть,— как бы рассуждал он вслух.

— И Неведомова позовите,— продолжал Салов, и у него в воображении нарисовалась довольно приятная картина, как Неведомов, челозек всегда строгий и откровенный в своих мнениях, скажет Вихрову: «Что такое, что такое вы написали?» — и как у того при этом лицо вытянется, и как он свернет потом тетрадку и ни слова уж не пикнет об ней; а в то же время приготовлен для слушателей ужин отличный, и они, упитавшись таким образом вкусно, ни слова не скажут автору об его произведении и разойдутся по домам,— все это очень улыбалось Салову.

— Вы позовите и Неведомова,— повторил он еще раз.

— Но где ж я его возьму,— он у Троицы,— говорил Вихров, ходя взад и вперед по комнате.

— Да наймите коляску и пошлите за ним; он сейчас и приедет.

— Отлично! — подхватил Павел.— А вы вашу комедию тоже принесете,— прибавил он.

— Непременно! — сказал Салов. Он твердо был уверен, что он своей комедией еще больше пришибет в грязь произведение Вихрова.

По уходе Салова Вихров сейчас же изготовил письмо к Неведомову.

«Милый друг,— писал он,— я согрешил, каюсь перед вами: я написал роман в весьма несимпатичном для вас направлении; но, видит бог, я его не выдумал; мне его дала и нарезала им глаза наша русская жизнь; я пишу за женщину, и три типа были у меня, над которыми я производил свои опыты. Эта, уж известная вам, m-me Фатеева, натура богатая, страстная, способная к беспредельной преданности к своему идолу, но которую все и всю жизнь ее за что-то оскорбляли и обвиняли; потому, есть еще у меня кузина, высокообразованная и умная

женщина: она задыхается в обществе дурака-супруга во имя долга и ради принятых на себя священных обязанностей; и, наконец, общая наша любимица с вами, Анна Ивановна, которая, вследствие своей милой семейной жизни, нынешний год, вероятно, умрет,— потому что она худа и бледна как мертвая!.. И никто этих женщин, сколько я ни прислушивался к толкам об них, не пожалел даже; а потому я хочу сказать за них слово, как рыцарь ихний, выхожу за них на печатную арену и, сколько мне кажется, заступлюсь за них — если не очень даровито, то, по крайней мере, горячо и совершенно искренно!.. Вы, друг мой, непременно должны приехать ко мне, потому что вашему эстетическому вкусу я доверяю больше всех, и вы должны будете помочь решить мне нравственный вопрос для меня: должен ли я сделаться писателем или нет?»

Неведомов не заставил себя долго дожидаться: на другой же день после отправки за ним экипажа он входил уже в спальную к Павлу, когда тот только что еще проснулся.

— Боже мой! — воскликнул герой мой, до души обрадовавшись гостю.

Неведомов расцеловался с ним.

Павел, взглянув ему в лицо, заметил какую-то тревогу.

— Вот как я скоро исполнил ваше желание,— говорил Неведомов, садясь около него.— Что вы такое в письме вашем писали об Анне Ивановне, что она больна очень?

— Она худа мне очень показалась,— отвечал Вихров, заметив, что это известие очень, должно быть, встревожило приятеля.

— От худобы до смерти еще далеко,— произнес, как-то странно усмехаясь, Неведомов.

— От смерти, конечно, далеко,— подтвердил и Вихров.

— А как же вы писали, что она скоро умрет? — расспрашивал его Неведомов.

— Это я так, для красноречия,— отвечал Павел, чтобы успокоить приятеля. Он очень уж хорошо понимал, что тот до сих пор еще был до безумия влюблен в Анну Ивановну. От последнего ответа Неведомов, в самом деле, заметно успокоился.

— Что же, вы в самом монастыре живете? — спросил его Вихров.

— В самом монастыре,— отвечал Неведомов.

— И что же, скучно?

— Иногда.

— И мысль человеческая мало в ходу?

— Не много.

V

ЧТЕНИЕ

Через день после того вверх по Никитской шли Марьеновский и Салов. Последний что-то очень, как видно, горячо говорил и доказывал.

— Что он может написать? Что может он писать? — приставал он.

Марьеновский улыбался на это.

— То же, что и вы! Вы написали же!.. — отвечал он своим солидным тоном.

— Но я возился с этими господами... я с ними пьянствовал, черт знает сколько денег у них выиграл, и, наконец, я написал какие-то там маленькие сценки, а это — роман огромнейший.

— Что ж такое, что роман? Вы написали сцены, а он — роман.

— Никогда он не мог написать романа; вероятно, это чушь какая-нибудь.

— Почему же чушь?

— Потому что на большой роман у него ума не хватит — он глуп!

— Как глуп? — спросил Марьеновский уже удивленным голосом.

— Так, глуп,— отвечал Салов.

Марьеновский отрицательно покачал головой.

— Напротив,— отвечал он,— я его всегда считал человеком весьма умным. Конечно, как видно, он весьма нервен, впечатлителен, способен увлекаться, но для романиста, я полагаю, это и нужно.

— Для романиста еще нужно уметь комбинировать свои впечатления.

— Может быть, он и ту способность имеет; а что касается до ума его, то вот именно мне всегда казалось,

что у него один из тех умов, которые, в какую область хотите поведите, они всюду пойдут за вами и везде все будут понимать настоящим образом... качество тоже, полагаю, немаловажное для писателя.

— Но, наконец, чтобы писать — надобно знать жизнь! — воскликнул Салов.— А он где ее мог узнать? Вырос там у папеньки; тетенька какая-нибудь колобками кормила, а в Москве ходил в гости к какому-то паралич-ному дяденьке.

Вихров раз только рассказал Салову довольно подробно об Еспере Иваныче и с увлечением хвалил того при этом: Салов и это поспешил осмеять.

— Но мы, однако, видели,— возразил Марьеновский,— что он жил здесь с женщиной, и прехорошенькой.

— Ну, это как-нибудь она уж сама его насильно приспособила к себе... Вы, однако, не скажите ему как-нибудь того, что я вам говорил; что, бог с ним! Я все-таки хочу оставаться с ним в приязненных отношениях.

В это время они подошли к квартире Вихрова и стали взбираться по довольно красивой лестнице. В зале они увидели парадно накрытый обеденный стол, а у стены — другой столик, с прихотливой закуской. Салов осмотрел все это сейчас же орлиным взглядом. Павел встретил их с немножко бледным лицом, в домашнем щеголеватом сюртуке, с небрежно завязанным галстуком и с волосами, зачесанными назад; все это к нему очень шло.

— Два качества в вас приветствую,— начал Салов, раскланиваясь перед ним,— мецената (и он указал при этом на обеденный стол) и самого автора!

Вихров на это дружески потрепал его по плечу и повел его к закуске.

Марьеновский с большим удовольствием встретился с Неведомовым: они, как братья, между собой расцеловались. С Саловым Неведомов даже не поклонился: после истории его с Анной Ивановной они уже больше между собой не кланялись и не разговаривали. Петин и Замин тоже были у Вихрова и находились в следующей комнате. Они увидели там книгу с рисунками индейских пагод и их богов, и Петин, вскочив на стул, не преминул сейчас же представить одного длинновязого бога, примкнутого к стене, а Замин его поправлял в этом случае, говоря: «Руки попрямее, а колени повыпуклее!» — и Пе-

тин точь-в-точь изобразил индейского бога. Оба эти молодые люди кончили уже курс и оба где-то служили, но на службу совершенно не являлись и все продолжали свои прежние шутки.

Вскоре затем сели за стол. Обед этот Вихрову изготовил старый повар покойной княгини Весневой, который пришел к нему пьяненький, плакал и вспоминал все Еспера Иваныча, и взялся приготовить обед на славу,— и действительно изготовил такой, что Салов, знаток в этом случае, после каждого блюда восклицал совершенно искренно:

— Отлично! Отлично! Как приятно,— продолжал он, удовлетворив первое чувство голода и откидываясь на задок стула,— иметь богатого писателя приятелем: если он напишет какую-нибудь вещь, непременно позовет слушать и накормит за это отличным обедом.

Вихрова это замечание немножко кольнуло, и вообще тон, который на этот раз принял на себя Салов, ему не нравился.

— Вы сами — тоже писатель, а потому и вы должны нам дать обед.

— Я обеды-с даю только тем моим милым господам, которых надеюсь обыграть в карты.

— Ведь вот что досадно! — воскликнул Вихров, вспыхнув в лице.— Вы, Салов, гораздо больше говорите про себя дурное, чем делаете его, хоть и делаете оного достаточно.

— Делать дурное, что делаю я, все-таки, полагаю, лучше, чем на рысаках кататься!.. — проговорил Салов и развел руками.

— Кататься на рысаках и любить это,— продолжал Вихров, еще более разгорячаясь,— такое простое и свойственное всем чувство, но циничничать и клеветать на себя есть что-то изломанное, какой-то неправильный выход затаенного самолюбия.

— Все от бедности моей проистекает! — произнес комически-смиренным тоном Салов, видимо, желая замять этот разговор.— Я смиряюсь перед ним, потому что думаю у него денег занять! — шепнул он потом на ухо Марьеновскому; но тот даже не поворотился к нему на это.

После обеда подали кофе; затопили камин. Вихров, еще более побледневший и заметно сильно взволнован-

ный, похаживал только взад и вперед по комнате: ясно, что страх и авторское нетерпение сжигали его. Салов, все это, разумеется, видевший, начал за него распоряжаться.

— Так как-с Павел Михайлыч сам сегодня, собственно, составляет главную пьесу, а я только его прихвостень, а потому не угодно ли позволить так, что я прочту свою вещь сначала, для съезда карет, а потом — он.

— Да, вы наперед прочтите! — произнес Вихров, которому вдруг стало желаться отдалить чтение.

Салов уселся за средним столом, спросил себе две свечи и бутылку шампанского.

— А вот выгода самому быть писателем: под благовидным предлогом чтения всегда можно спросить себе бутылку шампанского,— проговорил он и начал читать.

В пьесе своей он представлял купеческого сынка, которого один шулер учит светским манерам, а потом приходит к нему сваха, несколько напоминающая гоголевскую сваху. Все это было недурно скомбинировано. Вихров, продолжавший ходить по комнате, первый воскликнул:

— Очень хорошо, очень хорошо!

Марьеновский только улыбался. Неведомов глубоко молчал.

— Как он ему ноги-то вытягивает, вот это отлично!— заметил Замин.

— У меня только один акт еще и написан! — сказал Салов, окончив чтение.

— Очень хорошо, очень хорошо,— похвалил его опять Вихров и пожал ему руку.

— Отлично! — повторил за ним Замин, но и только.

Даже Петин как-то вертелся на стуле и ничего что-то не говорил.

Наступила минута чтения Вихрова. Он совсем уже побледнел.

Положив тетрадь перед собой и развязав себе галстук на шее, он сказал взволнованным голосом:

— Господа, пожалуйста, как вам будет скучно, вы скажите мне сейчас же.

— Без смирения-с, без фальшивого смирения! — заметил ему Салов, усевшись между Петиным и Заминым.

Он полагал, что те с большим вниманием станут выслушивать его едкие замечания. Вихров начал читать: с

первой же сцены Неведомов подвинулся поближе к столу. Марьеновский с каким-то даже удивлением стал смотреть на Павла, когда он своим чтением стал точь-в-точь представлять и бар, и горничных, и мужиков, а потом,— когда молодая женщина с криком убежала от мужа,— Замин затряс головой и воскликнул:

— Вот так штука, брат!

— Как живо все это описано! — произнес Марьеновский, с тем же удивлением осматривая прочих слушателей.

Салов сидел, понурив голову, и ничего не говорил.

— Читайте дальше! — сказал, тихим голосом и как бы едва переводя дыхание, Неведомов.

Павел был сам очень взволнован: у него губы дрожали и щеки подергивало.

Чтение продолжалось. Внимание слушателей росло с каждой главой, и, наконец, когда звероподобный муж, узнав об измене маленькой, худенькой, воздушной жены своей, призывает ее к себе, бьет ее по щеке, и когда она упала, наконец, в обморок, велит ее вытащить совсем из дому, вон...— Марьеновский даже привстал.

— Это черт знает что такое! — произнес он.— А ведь не скажешь, что неправда: вот она русская-то жизнь.

— Сильная вещь и славная! — проговорил, наконец, и Салов и, встав, начал ходить по тому же месту, по которому перед тем ходил и Павел. Он, видимо, был удивлен, поражен и сконфужен тем, что услыхал.

— Я, брат, дрожу весь! — сказал Петин Замину.

— Писатель из него будет первого сорта,— сказал тот своим низовым басом.

Сам Павел прислушивался ко всем этим замечаниям, потупя голову и глаза в землю.

— А вы что ничего не скажете мне? — обратился он к Неведомову.

— Вы видите! — отвечал тот, усиливаясь улыбнуться и показывая на свои мокрые щеки, по которым, помимо воли его, текли у него слезы; потом он встал и, взяв Павла за руку, поцеловал его.

— Поздравляю вас! — сказал он, и в тембре его голоса послышалось что-то такое, что все почти невольно и единогласно воскликнули затем: «Ура! Виват Вихров!»

Вихров стоял на ногах, бледный, как мертвец, и у него слезы текли по щекам.

Только в приятельской, юношеской и студенческой семье можно встретить такое искреннее, такое полное одобрение таланту.

Для Вихрова это была великая минута в жизни, и она никогда уже более с ним не повторялась.

Затем в маленьком кружке этом начались тихие и почти шепотом разговоры.

— Вторая часть у вас еще не окончена? — спрашивал Павла несколько уже успокоившийся Неведомов.

— Нет еще, не кончена,— отвечал Вихров ему тихо.

— Мужики-то тут какие живые!.. Настоящее дело!..— шептал Замин Марьеновскому.

— Поэзии тут очень много?..— как бы больше спросил Неведомова Петин.

— Да! — отвечал тот.— Это место, например, когда влюбленные сидят на берегу реки и видят вдали большой лес, и им представляется, что если бы они туда ушли, так скрылись бы от всех в мире глаз,— это очень поэтично и верно.

Салов во все это время продолжал ходить взад и вперед, а потом, искренно или нет, но и он принялся восхищаться вместе с другими.

— Вам решительно надо бросить все и сделаться романистом! — сказал он Павлу.

— Я это и намерен предпринять,— отвечал тот.

— У вас геркулесовская силища на это дело,— продолжал Салов и затем, взяв фуражку, произнес: — А что, господа, пора уж и по домам.

— Пора! — подтвердили и прочие и взялись за шляпы.

— Куда же это! Посидите еще,— произнес Павел, хотя, утомленный всеми ощущениями дня и самим чтением, он желал поскорее остаться если не один, то по крайней мере вдвоем с Неведомовым, который у него жил

— На два слова, Павел Михайлыч,— произнес затем Салов.

Павел вышел за ним в другую комнату.

— Я привез вам расписку в пятьсот рублей,— сказал тот

— Ах, сейчас! — воскликнул Вихров и пошел и при-

нес ему: он не пятьсот, а пять тысяч готов бы дать был в эти минуты Салову.

Гости, наконец, распростились и вышли.

— Что, батюшка, каково, каково! — счел нелишним поддразнить Салова Марьеновский.

— Черт его знает, я сам никак не ожидал, что он так напишет! — сказал Салов и поспешил нанять извозчика и уехать от товарища: ему, кажется, очень уж невыносимо было слушать все эти похвалы Вихрову.

Герой мой между тем вел искренний и задушевный разговор с Неведомовым.

— Друг мой,— говорил он, снова уже со слезами на глазах,— неужели я это так хорошо написал?.. Я вам верю в этом случае больше всех.

— Очень хорошо,— отвечал тот, в свою очередь, искренно,— главное, совершенно самобытно, ничего не заимствовано; видно, что это ростки вашей собственной творческой силы. Посмотрите, вон у Салова — всюду понадергано: то видна подслушанная фраза, то выхвачено из Гоголя, то даже из водевиля,— неглупо, но сухо и мертво, а у вас, напротив, везде нерв идет — и нерв ваш собственный.

Вихров в умилении и с поникшей головой слушал приятеля.

— Мне еще нужно дообразовать себя для писательства,— проговорил он.

— В каком же отношении? — спросил Неведомов.

— В том, что у меня большая проруха в эстетическом образовании: я очень мало читал критик, не занимался почти совершенно философией — вот этим-то я и хочу теперь заняться. Куплю себе Лессинга, буду читать Шеллинга, Гегеля!..

— Все это не мешает, если только не соскучитесь,— заметил с улыбкою Неведомов.

— Здесь живя, я не то что соскучусь, но непременно развлекусь, и первое, вероятно, что сойдусь с какой-нибудь женщиной.

— Опасность эта может встретиться вам везде,— сказал ему опять с улыбкою Неведомов.

— Нет, не встретится, если я уеду в деревню на год, на два, на три... Госпожа, которая жила здесь со мной, теперь, вероятно, уже овдовела, следовательно, со-

вершенно свободна. Будем мы с ней жить в дружеских отношениях, что нисколько не станет меня отвлекать от моих занятий, и сверх того у меня перед глазами будет для наблюдения деревенская и провинциальная жизнь, и, таким образом, открывается масса свободного времени и масса фактов!

— Согласен и с этим,— подтвердил Неведомов,— но, однако, вы прежде всего будете оканчивать этот роман?

— Окончу этот роман, напечатаю и посмотрю, что скажет публика; тогда уж примусь за что-нибудь и другое, а кроме того и вы ко мне приедете, мой милый друг: у меня усадьба отличная, с превосходной местностью, с прекрасным садом и с огромным домом!

— Приеду, извольте,— отвечал Неведомов, и, наконец, они распрощались и разошлись по своим комнатам. Двадцатипятилетний герой мой заснул на этот раз таким же блаженным сном, как засыпал некогда, устраивая детский театр свой: воздух искусств, веющий около человека, успокоителен и освежающ!

VI

ПРОЩАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

Вихрова приятели собрались проводить с некоторою торжественностью. Он заказал для них чай и ужин официанту с тем, чтобы, отпраздновав эту братскую трапезу, лечь в повозку, заснуть, если это возможно в ней, и уехать! Ему все-таки грустно было расставаться с Москвою и с друзьями, из которых Неведомов остался у него жить до самого дня отъезда, а вечером пришли к нему Марьеновский, Замин и Петин. Салов не явился, хотя и был зван. Макар Григорьев тоже пришел проститься с барином. Вихров ввел его в гостиную и непременно потребовал от него, чтобы он тоже сел в числе друзей его. Макар Григорьев немножко поконфузился, однакоже сел. Вихров велел подать ему пуншу и непременно потребовал, чтобы он выпил его. Макар Григорьев выпил его и повеселел немного.

— Очень мне любопытно,— начал Марьеновский, осматривая тонкого сукна поддевку на Макаре Григорьеве, его плисовые штаны и сапоги с раструбами,— ка-

ким образом наши мужички из простых, например, работников делаются подрядчиками, хозяевами?

— Да разве все делаются подрядчиками? — спросил его как-то строго Макар Григорьев.

— Не все, однако очень многие!

— И не многие, потому это выходит человеку по рассудку его, а второе, и по поведенью; а у нас разве много не дураков-то и не пьяниц!.. Подрядчик! — продолжал Макар Григорьев, уж немного восклицая.— Одно ведь слово это для всех — «подрядчик», а в этом есть большая разница: как вот тоже и «купец» говорят; купец есть миллионер, и купец есть — на лотке кишками протухлыми торгует.

— Но я не это бы желал знать, а вот этот переход из работников в хозяева,— толковал ему Марьеновский.

— Понимаю я, что вы мне толкуете! — возразил Макар Григорьев.

Ванька в это время подал ему еще пунш.

— Что больно часто, поди, не надо — пей сам! — сказал ему Макар Григорьев.

Ванька вышел и действительно выпил всю чашку залпом сам.

— В люди у нас из простого народа выходят тоже разно, и на этом деле, так надо сказать, в первую голову идет мошенник и плут мужик! Вот его, попервоначалу, в десятники произведут, вышлют там к какому-нибудь барину или купцу на работу, он и начнет к давальцам подделываться: материалу ли там какого купить им надо,— сбегает; неряженную ли работу какую им желается сделать,— он сейчас велит ребятам потихоньку от хозяина исполнить ее. А барину этому или купцу — и любо!.. «Ах, братец, следующую работу тебе отдам на подряд!» — и точно что даст. Он тут его помаленьку и греет, и бывало так, что в год или два состоянье себе составляли. Это, по-моему, самый подлый народ, потому он не делом берет, а словами только и поклонами низкими!

На этом месте Ванька снова подал Макару Григорьеву третий уж пунш, ожидая, что, может быть, он и от того откажется, но тот не отказался.

— Да изволь, изволь, выпью уже, что с тобой делать! — проговорил Макар Григорьев и выпил.

Но Ванька это дело для себя поправил: он спросил

у официанта еще четвертый стакан пунша, и этот уже не понес в гостиную, а выпил его в темном коридоре сам.

— Второй сорт нашего брата, выскочки,— это которые своего брата нагреют! Вот тоже этак, как и купец, что протухлыми кишками торгует, поделывает маленькие делишки и подъедет он потом к своему брату — богатому подрядчику. «Ах, там, друг сердечный, благодетель великий, заставь за себя вечно богу молить,— возьмем подряд вместе!» А подряд ему расхвалит, расскажет ему турусы на колесах и ладит так, чтобы выбрать какого-нибудь человека со слабостью, чтобы хмелем пошибче зашибался; ну, а ведь из нас, подрядчиков, как в силу-то мы войдем, редкий, который бы не запойный пьяница был, и сидит это он в трактире, ломается, куражится перед своим младшим пайщиком... «Я-ста, говорит, хощу — тебя обогащу, а хощу — и по миру пущу!»,— а глядишь, как концы-то с концами придется сводить, младший-то пайщик и оплел старшего тысяч на пять, на десять, и что у нас тяжбы из-за того,— числа несть!

— Ну-с, а теперь третий сорт? — спросил Марьеновский, очень заинтересованный всем этим рассказом.

— А третий сорт: трудом, потом и кровью христианской выходим мы, мужики, в люди. Я теперича вон в сапогах каких сижу,— продолжал Макар Григорьев, поднимая и показывая свою в щеголеватый сапог обутую ногу,— в грязи вот их не мачивал, потому все на извозчиках езжу; а было так, что приду домой, подошвы-то от сапог отвалятся, да и ноги все в крови от ходьбы: бегал это все я по Москве и работы искал; а в работниках жить не мог, потому — я горд, не могу, чтобы чья-нибудь власть надо мной была.

— Как же вы, однако, после разбогатели? — спросил уже Замин, почти с благоговением все время слушавший Макара Григорьева.

— Разбогател я, господин мой милый, смелостью своей: вот этак тоже собакой-то бегаючи по Москве, прослышал, что князь один на Никитской два дома строил; я к нему прямо, на дворе его словил, и через камердинера не хотел об себе доклад делать. «Ваше сиятельство, говорю, у вас есть малярная работа?» — «У меня, говорит, братец, она отдана другому подряд-

чику!» — «Смету, говорю, ваше сиятельство, видеть на ее можно?..» — «Можно, говорит,— вот, говорит, его расчет!» Показывает; я гляжу — дешево взял! «За эту цену, ваше сиятельство, говорю, сделать нельзя».— «Ну, говорит, тебе нельзя, а ему можно!» — «Да, говорю, ваше сиятельство, это один обман, и вы вот что, говорю, один дом отдайте тому подрядчику, а другой мне; ему платите деньги, а я пока стану даром работать; и пусть через два года, что его работа покажет, и что моя, и тогда мне и заплатите, сколько совесть ваша велит вам!» Понравилось это барину, подумал он немного... «Хорошо»,— говорит. Начали мы работать: тот маляр на своем участке, а я на своем, а наше малярное дело — тоже хитрее и лукавее его нет! Окно можно выкрасить в два рубли и в полтинник. Вижу, мой товарищ взял за окно по полтора рубли, а красит его как бы в полтинник. Я, проходя мимо, будто так нечаянно схвачу ведерко их с краской, вижу — легонько: на гуще, знаете, а не на масле; а я веду так, что где уж шифервейс, так шифервейс и идет. Покончили мы наше дело: пошел подрядчик мой с деньгами, а я без копейки... Только, братец, и году не прошло, шлет за мной князь!.. «Ах, бестия, шельма, ругает того маляра, перепортил всю работу; у тебя, говорит, все глаже и чище становится, как стеклышко, а у того все уж облезло!» И пошел я, братец, после того в знать великую; дворянство тогда после двенадцатого года шибко строилось,— ну, тут уж я и побрал денежек, поплутовал, слава тебе господи!

— Ну, а ведь заботна тоже этакая жизнь, Макар Григорьевич? — произнес опять с благоговением Замин.

— Да, позаботливей маленько вашей барской жизни!.. Я с пятидесяти годов только стал ночи спать, а допрежь того все, бывало, подушки вертятся под головой; ну, а тут тоже деньжонок-то поприобрел и стар тоже уж становлюсь. «Ну, так думаешь, прах побери все!» — и спишь... Вот про царей говорят, что царям больно жизнь хороша, а на-ка, попробуй кто,— так не понравится, пожалуй: руками-то и ногами глину месить легче, чем сердцем-то о каком деле скорбеть! Отчего и пьем мы все подрядчики... чтобы дух в себе ободрить... а то уж очень сумнительно и опасно, как об делах своих раздумывать станешь.

— Да в чем же сумнительно-то может быть в делах? — спросил Вихров.

— А в том, что работу-то берешь,— разве знаешь, выгодна ли она тебе будет или нет,— отвечал Макар Григорьев,— цены-то вон на материал каждую неделю меняются, словно козлы по горам скачут, то вверх, то вниз... Народ тоже разделывать станешь: в зиму-то он придет к тебе с деревенской-то голодухи,— поведенья краше всякой девушки и за жалованье самое нестоящее идет; а как только придет горячая пора, сейчас прибавку ему давай, и задурит еще, пожалуй. Иной раз спешная казенная работа с неустойкой, а их человек десять из артели-то загуляют; я уже кажинный раз только и молю бога, чтобы не убить мне кого из них, до того они в ярость меня вводят. Потом осень, разделка им начнется: они все свои прогулы и нераденье уж и забыли, и давай только ему денег больше и помни его услуги; и тут я,— может быть, вы не поверите,— а я вот, матерь божья, кажинный год после того болен бываю; и не то, чтобы мне денег жаль,— прах их дери, я не жаден на деньги,— а то, что никакой справедливости ни в ком из псов их не встретишь!

В это время Ванька принес Макару Григорьеву еще пуншу.

— Да что ты, паря, разугощался меня очень, не хочу я! — проговорил тот наконец с некоторым уже удивлением.

— Что ты все носишь ему, он не хочет! — сказал наконец и барин Ваньке.

— Слушаю-с,— отвечал тот и только что еще вышел из гостиной, как сейчас же, залпом, довольно горячий пунш влил себе в горло, но этот прием, должно быть, его сильно озадачил, потому что, не дойдя до кухни, он остановился в углу в коридоре и несколько минут стоял, понурив голову, и только все плевал по сторонам.

— Он, должно быть, тебя ужасно боится и уважает, что так угощает! — сказал Вихров Макару Григорьеву.

— А черт его знает! — отвечал тот.— И вот тоже дворовая эта шаварда,— продолжал он, показывая головой в ту сторону, куда ушел Иван, — все завидует теперь, что нам, мужикам, жизнь хороша, а им — нет. «Вы, говорит, живете как вольные, а мы — как каторжные».— «Да есть ли, говорю, у вас разум-то на воле

жить: — ежели, говорю, лошадь-то с рожденья своего взнуздана была, так, по-моему, ей взнузданной и околевать приходится».

— Но человек-то все-таки поумней лошади,— привыкнет и к другому,— возразил ему Вихров.

— Ну, нескоро тоже: вон у дедушки вашего,— не то что этакой дурак какой-нибудь, а даже высокоумной этакой старик лакей был с двумя сыновьями и все жаловался на барина, что он уже стар, а барин и его, и его сыновей все работать заставляет,— а работа их была вся в том, что сам он после обеда с тарелок барские кушанья подъедал, а сыновья на передней когда с господами выедут... Дедушка ваш... форсун он этакий был барин, рассердился наконец на это, призывает его к себе: «На вот, говорит, тебе, братец, и сыновьям твоим вольную; просьба моя одна к тебе,— не приходи ты больше ко мне назад!» Старик и сыновья ликуют; переехали сейчас в город и заместо того, чтобы за дело какое приняться,— да, пожалуй, и не умеют никакого дела,— и начали они пить, а сыновья-то, сверх того, начали батьку бить: давай им денег! — думали, что деньги у него есть. Делать нечего, старик вплакался, пошел опять к барину: «Возьми, батюшка, назад, не дай с голоду умереть!» Вот оно воля-то что значит!

Официант в это время повестил гостей и хозяина, что ужин готов. Вихров настоял, чтобы Макар Григорьев сел непременно и ужинать с ними. Этим старик очень уж сконфузился, однако сел. Ваньку так это обидело, что он не пошел даже и к столу.

— Стану я всякой свинье служить,— говорил он, продолжая стоять в коридоре и отплевываясь по временам. Макар Григорьев между тем очень умно вел с господами разговор.

— А знаешь ли ты, Макар Григорьевич,— спросил его уже Неведомов,— что барин твой — сочинитель и будет за это получать славу и деньги?

— Никак нет-с, не слыхал того,— отвечал Макар Григорьев с прибавлением «с».

— Но ты знаешь, что такое сочинитель? — спросил Вихров.

— Книги который сочиняет?

— Ну да, книги и журналы. Ты журналы видал?

— Видал-с в трактирах, но не глядывал в них. Мы

больше газеты смотрим — потому те нам нужней: объявления там разные и всякие есть... Что же вы сочинять будете изволить?— спросил он потом Вихрова.

— А вот я буду сочинять и описывать хоть твою, например, жизнь.

Макар Григорьев усмехнулся на это.

— Да словно бы любопытства-то в том нисколько не будет.

— Любопытное, мой милый, состоит не в том, что описывается, а в том, как описывается,— произнес Вихров.

— Ну, уж этого я не разумею, извините!.. Вот хоть бы тоже и промеж нас, мужиков, сказки эти разные ходят; все это в них рассказываются глупости одни только, как я понимаю, какие-то там Иван-царевичи, Жар-птицы, Царь-девицы — все это пустяки, никогда ничего того не было.

— Самого-то Ивана-царевича не было, но похожий на него какой-нибудь князь на Руси был; с него вот народ и списал себе этот тип! — вздумал было втолковать Макару Григорьеву Замин.

— Как же он был! — возразил ему тот.— Так, значит, он на Жар-птице под небеса и летал?

— Это не то, что летал, а представляется, что князь этот такой был молодец, что все мог сделать.

— Что же все! — возразил Макар Григорьев.— Никогда он не мог делать того, чтобы летать на птице верхом. Вот в нашей деревенской стороне, сударь, поговорка есть: что сказка — враль, а песня — быль, и точно: в песне вот поют, что «во саду ли, в огороде девушка гуляла»,— это быль: в огородах девушки гуляют; а сказка про какую-нибудь Бабу-ягу или Царь-девицу — враки.

Пока шли все эти разговоры, ужин стал приближаться к концу; вдруг Макар Григорьев встал со своего стула.

— Осмелюсь я просить,— начал он, обращаясь к Вихрову,— вам и вашим приятелям поклониться винцом от меня.

— Сделай милость! — сказал Вихров. Он знал, что отказать в этом случае — значило обидеть Макара Григорьева.

— Я, признаться, еще едучи сюда, захватил три бутылочки клику, и официантам даже и подхолодить велел.

— С большим удовольствием, с большим удовольствием выпьем за твое здоровье, Макар Григорьев! — произнесли почти все в один голос.

— А так бы думал, что за здоровье господина моего надо выпить! — отвечал Макар Григорьев и, когда вино было разлито, он сам пошел за официантом и каждому гостю кланялся, говоря: «Пожалуйте!» Все чокнулись с ним, выпили и крепко пожали ему руку. Он кланялся всем гостям и тотчас же махнул официантам, чтоб они подавали еще. Когда вино было подано, он взял свой стакан и прямо подошел уже к Вихрову.

— Господин вы наш и повелитель, позвольте вам пожелать всякого счастья и благополучья на все дни вашей жизни и позвольте мне напутствие на дорогу сказать. Извините меня, господа,— продолжал старик, уже обращаясь к прочим гостям,— барин мой изволил раз сказать, что он меня за отца аки бы почитает; конечно, я, может, и не стою того, но так, как по чувствам моим сужу, не менее им добра желаю, как бы и папенька ихний. Поедете вы, сударь, теперь в деревню,— отнесся Макар Григорьев опять к Вихрову,— ждать строгости от вас нечего: строгого господина никогда из вас не будет, а тоже и поблажкой, сударь, можно все испортить дело. Я так понимаю, что господа теперь для нас все равно, что родители: что хорошо мы сделали, им долженствует похвалить нас, худо — наказать; вот этого-то мы, пожалуй, с нашим барином и не сумеем сделать, а промеж тем вы за всех нас отвечать богу будете, как пастырь — за овец своих: ежели какая овца отшатнется в сторону, ее плетью по боку надо хорошенько... У мужика шкура толстая! Надобно, чтоб он чувствовал, что его наказывают.

— Постараюсь следовать во всем твоим советам,— отвечал ему Вихров.

Макар Григорьев снова раскланялся с ним, а также и со всеми прочими гостями, кланяясь каждому порознь. Выпитое вино и ласковое с ним обращение господ сделало из него совершенно galant homme [1].

После ужина Вихров должен был выехать. Он стал одеваться в дорожное платье. Ванька давно уже был в новом дубленом полушубке и с мешком, надетым через плечо на черном глянцевитом ремне. Благодаря выпитому пуншу он едва держался на ногах и сам даже выносить ничего не мог из вещей, а позвал для этого дворника и едва сминающимся языком говорил ему: «Ну, ну, выноси;

---

[1] Изысканно-вежливый человек *(франц.)*.

тебе заплатят; не даром!» Макар Григорьев только посматривал на него и покачивал головой, и когда Ванька подошел было проститься к нему и хотел с ним расцеловаться, Макар Григорьев подставил ему щеку, а не губы.

— Ну, ладно, прощай! — говорил он ему вместе досадливым и презрительным голосом.

Вихров ехал в огромнейших, проходных до самого места пошевнях, битком набитых тюками с книгами, чемоданами с платьем, ящиком с винами.

Неведомов провожал Вихрова со слезами на глазах; Марьеновский долго и крепко жал ему руку; а Петин и Замин, а равно и Макар Григорьев, пожелали проводить его до заставы на извозчиках.

VII

ПЕРВЫЕ ДНИ В ДЕРЕВНЕ

Вихров прямо проехал в свою вновь приобретенную усадьбу Воздвиженское и поселился в ней. Он с утра, в огромном кабинете Абреева, садился работать за большой стол, поставленный посредине комнаты. На полу кабинета всюду расставлены были раскрытые, но не разобранные тюки с книгами. Сам Вихров целые дни ходил в щеголеватом, на беличьем меху, халате: дом был довольно холодноват по своей ветхости, а зима стояла в самом разгаре. В саду, видневшемся из окон кабинета, снег доходил до половины деревьев, и на всем этом белом и чистом пространстве не видно было не только следа человека, но даже следа каких-нибудь животных — собаки, зайца. Вихрову было весело и приятно это как бы отчуждение от всего мира; работа его шла быстро и весело. Он дал себе слово никуда не выезжать и ни с кем не видаться до тех пор, пока не кончит всего своего романа. Часу в двенадцатом обыкновенно бывшая ключница генеральши, очень чопорная и в чепце старушка, готовила ему кофе, а молодая горничная, весьма миловидная из себя девушка, в чистеньком и с перетянутой талией холстинковом платье, на маленьком подносе несла ему этот кофе; и когда входила к барину, то модно и слегка кланялась ему: вся прислуга у Александры Григорьевны была преловкая и превыдержанная.

Вихров не без удовольствия взглядывал на свою хоро-

шенькую служанку, но никакой шутки, никакой вольности, конечно, себе не позволял с нею.

— Поставь, милая, тут, только подальше от бумаг,— говорил он ей и при этом немножко даже конфузился.

Горничная ставила кофе и не уходила сейчас из кабинета, а оставалась некоторое время тут и явно смотрела на барина. Павел начинал пить кофе и продолжал работать.

Кроме литературной работы, у Вихрова было много и других хлопот; прежде всего он решился перекрасить в доме потолки, оклеить новыми обоями стены и перебить мебель. В местности, где находилось Воздвиженское, были всякого рода мастеровые. Вихров поручил их приискать Кирьяну, который прежде всего привел к барину худенького, мозглявого, с редкими волосами, мастерового, с лицом почти помешанным и с длинными худыми руками, пальцы которых он держал немного согнутыми.

— Живопись, вот, на потолке поправить привел-с,— сказал он, указывая на мастерового.

— Ты живописец? — спросил его Вихров.

— Живописец! —отвечал мастеровой, как-то осклабляясь и поворачивая совсем голову набок, точно кто его подернул.

— Живописец настоящий,— образа пишет,— повторил Кирьян, заметив, что барин с недоверием смотрит на вновь приведенного.

— Отчего ты на чужой стороне не живешь? — спросил его Вихров.

— Так уж, не живу,— отвечал мастеровой, и его опять как-то подернуло.

— Не живет, потому что — нездоровый человек,— пояснил Кирьян.

— Нездоров я! — подтвердил и мастеровой.

— Мне надобно только реставрировать живопись на потолке, она вся есть,— понимаешь?

— Понимаю, вижу,— отвечал мастеровой и совсем уж как-то заморгал глазами и замотал головой, так что Вихрову стало, наконец, тяжело его видеть. Он отослал его домой и на другой день велел приходить работать.

— Отчего он такой? Пьяница, что ли, сильный?

— Нет, этого нет особенно,— отвечал Кирьян,— а сроду уж такой странный.

— А мастер хороший?

— Мастер отличный! Из этих живописцев, али вот из часовщиков, ружейников, никогда народу настоящего нет, а все какой-то худой и ледящий! — объяснил Кирьян.

Мастеровой еще раным-ранехонько притащил на другой день леса, подмостил их, и с маленькой кисточкой в руках и с черепком, в котором распущена была краска, взлез туда и, легши вверх лицом, стал подправлять разных богов Олимпа.

Вихров невольно засмотрелся на него: так он хорошо и отчетливо все делал... Живописец и сам, кажется, чувствовал удовольствие от своей работы: нарисует что-нибудь окончательно, отодвинется на спине по лесам как можно подальше, сожмет кулак в трубку и смотрит в него на то, что сделал; а потом, когда придет час обеда или завтрака, проворно-проворно слезет с лесов, сбегает в кухню пообедать и сейчас же опять прибежит и начнет работать.

— Что же ты не отдохнешь никогда? — спрашивал его Вихров.

— Так уж, я николи не отдыхаю, не надо мне этого! — отвечал живописец, глядя куда-то в сторону.

Недели в две он кончил весь потолок — и кончил отлично: манера рисовать у него была почти академическая.

Вихров, сверх ряженой цены, дал ему еще десять рублей.

— Спасибо! — сказал живописец и как-то неумело и неаккуратно сунул деньги в свои брючонки и, мотнув затем головой, сейчас же проворно совсем ушел из усадьбы.

— Куда это он все спешит так? — спросил Вихров Кирьяна.

— Так уж, повадка у него такая; а вот поди ты, пока деньги есть, ни за что работать не станет.

— Отчего же?

— Бог его знает: «Что, говорит, пошто мне, я сыт!»

— А как же ты к нам его залучил?

— Да так уж... с другой работы он только что сошел... На счастье наше деньги у него там украли.

— Кто же?

— Неизвестно кто!.. Он и разыскивать не стал. «Бог с ним, говорит; ему, видно, они нужней моего были».

— Какой-то Кузьма бессребреник! — заметил Вихров.

— Да-с!.. Многие здесь его за святого почитают; говорят, он и иконы-то хорошо пишет, потому что богу угоден,— отвечал Кирьян.

У Вихрова на всю жизнь врезалась в памяти маленькая, худощавая фигурка уродца-живописца. Обойщик явился к нему совсем другого свойства: мужик пожилой, с окладистой бородой и в синем кафтане. Вихрову он показался скорей за какого-то старосту, чем за рабочего.

— Отчего ты нарядный такой? — спросил его Вихров.

— Что за нарядный,— отвечал обойщик,— наряды-то у нас известные, у всех одинакие.

— Богат, оттого и наряден,— объяснил за него Кирьян.

— Ну, это богатство-то, брат, тоже чужое считать трудно,— заметил ему с неудовольствием обойщик.

— Что считать-то, не отнимут ведь у тебя его! — проговорил с усмешкою Кирьян.

— И отнимать-то, слава богу, нечего,— отвечал обойщик резко.

Когда он принялся работать, то снял свой синий кафтан и оказался в красной рубахе и плисовых штанах. Обивая в гостиной мебель и ползая на коленях около кресел, он весьма тщательно расстилал прежде себе под ноги тряпку. Работая, он обыкновенно набивал себе полнехонек рот маленькими обойными гвоздями и при этом очень спокойно, совершенно полным голосом, разговаривал, как будто бы у него во рту ничего не было. Вихров заметил ему однажды, что он может подавиться.

— Нету-с,— отвечал старик, усмехаясь,— мы и водку с этим пьем,— не давимся.

— Не может быть! — воскликнул Вихров.

— Поднесите! — сказал ему насмешливым голосом обойщик.

Вихров не утерпел и велел ему подать водки.

Старик выпил и только крякнул: гвоздей у него в это время во рту было десятка три.

— Не подавился, слава тебе, господи! — произнес он тем же насмешливым голосом.

Оклеить стены обоями он тоже взял на себя и для этого пришел уже в старой синей рубахе и привел подсоблять себе жену и малого сынишку; те у него заменяли совсем мастеровых, и по испуганным лицам их и по быстроте, с которой они исполняли все его приказания, видно было, что они страшно его боялись.

Окончив работу, старик принес Вихрову аккуратнейшим образом написанный семинарскою рукою счет и по ценам своим не уступающий столичным.

— Этот мужик, кажется, ужасный плут? — заметил Кирьяну Вихров.

— У него и сыновья такие; весь род у них такой крепкий,— отвечал как-то непрямо Кирьян.

В лакейской он с обойщиком дружески простился, и они даже пожали друг другу руки. Кирьян вряд ли не ожидал маленький срыв с него иметь, но старик, однако, ничего ему не дал, а так ушел.

Поустроившись таким образом, Вихров решил написать письмо к Клеопатре Петровне. Он, впрочем, в первый еще день своего приезда в деревню спросил Кирьяна:

— А что, не слыхал ты, Фатеев жив или помер?

— Помер-с, верно это!.. Я сам супругу их видел в городе, в трауре.

Вихров написал Клеопатре Петровне только то, что он приехал, слышал о постигшей ее потере и очень бы желал ее видеть, а потому спрашивал ее: может ли он к ней приехать? С письмом этим Вихров предположил послать Ивана и ожидал доставить ему удовольствие этим, так как он там увидится с своей Машей, но сердце Ивана уже было обращено в другую сторону; приехав в деревню, он не преминул сейчас же заинтересоваться новой горничной, купленной у генеральши, но та сейчас сразу отвергла все его искания и прямо в глаза назвала его «сушеным судаком по копейке фунт».

Вследствие этого Иван был в меланхолическом и печальном настроении. Когда он стоял у барина за стулом с тарелкой, а горничная в это время находилась в буфете, он делал какое-то глупое, печальное лицо, поднимал глаза вверх и вздыхал; Груня, так звали горничную, видеть этого равнодушно не могла.

— Вот навязал бог черта этакого,— говорила она почти вслух: ей, кажется, гораздо больше нравилось иметь некоторые виды на барина.

— Ну, так вот, Иван, ты возьмешь лошадь и поедешь с этим письмом к Клеопатре Петровне,— говорил Вихров, отдавая Ивану письмо.

— Слушаю-с,— отвечал тот довольно сухо, но, придя к кучеру Петру, не утерпел, конечно, и поприбавил:

— Дай мне лошадь самую лучшую; меня барин спешно посылает в Перцово! — сказал он.

Петр, думая, что он говорит правду, в самом деле дал ему одну из лучших лошадей.

Иван велел заложить ее себе в легонькие саночки, надел на себя свою франтоватую дубленку, обмотал себе накрест грудь купленным в Москве красным шерстяным шарфом и, сделав вид, что будто бы едва может удержать лошадь, нарочно поехал мимо девичьей, где сидела Груня, и отправился потом в дальнейший путь.

В Перцово он доехал совершенно благоразумно и благополучно, вручил Клеопатре Петровне письмо и потом отправился к Марье, которая в это время стирала в прачечной. Та ему очень обрадовалась: сейчас стала поить его чаем и достала даже водки для него. Иван начал все это попивать и рассказывать не без прибавлений разные разности.

Клеопатра Петровна до безумия обрадовалась письму Вихрова. Она, со слезами на глазах, вошла в гостиную, где сидела m-lle Прыхина, бросилась к ней и начала ее обнимать.

— Душенька, миленькая, он, мое сокровище, приехал сюда в деревню, может быть, навсегда,— говорила Фатеева.

— Что такое?.. Кто приехал? — спрашивала та, немного даже покраснев от такой ласки Клеопатры Петровны, которая не в состоянии была даже, от слез и радости, рассказать, а подала письмо Прыхиной.

— Я этого ожидала: я знала, что он тебя безумно любит! — поясняла та своим обычно уверенным тоном.

— Да, любит! — воскликнула Клеопатра Петровна.— Хорошо бы твоими устами мед пить!..— И потом она сейчас же написала ответ Вихрову:

«Душенька, ангел мой, бесценный, жду тебя каждую минуту, каждую секунду. Вся твоя К.»

Ей хотелось поскорей отправить это письмо. Иван между тем сильно нахлестался и успел даже рассориться с Марьей.

— Мы-ста этаких-то видали! — отвечал он сдуру и спьяну вместо благодарности за сделанное ему угощение.

— Ну, коли видали, так и убирайтесь,— отвечала, в свою очередь, сильно этим обидевшаяся Марья.

— У нас вот какая есть! Да! — отвечал он, с присвистом и с прищелком поднимая руку.

В это время его позвали к Клеопатре Петровне. Та отдала ему письмо и велела сейчас же ехать. Иван, решительно не сообразив, что лошадь совершенно еще не выкормлена была, заложил ее снова и поехал. Солнце уже садилось. Пока водка шумела в голове Ивана, он ехал довольно смело и все за что-то бранил обеих горничных: Груню и Марью. «Шкуры они, вот что, да, шкуры!» — повторял он сам с собой. Но вот он въехал в Зенковский лес, хмель у него совсем прошел... Ванька вспомнил, что в лесу этом да и вообще в их стороне волков много, и страшно струсил при этой мысли: сначала он все *Богородицу* читал, а потом стал гагайкать на весь лес, да как будто бы человек десять кричали, и в то же время что есть духу гнал лошадь, и таким точно способом доехал до самой усадьбы; но тут сообразил, что Петр, пожалуй, увидит, что лошадь очень потна,— сам сейчас разложил ее и, поставив в конюшню, пошел к барину.

Вихров удивился такому скорому возвращению его.

— Ты уж и вернулся? — спросил он.

— Вернулся, что там делать-то было! — отвечал Иван, как бы ни в чем не повинный.

У Вихрова в это время сидел священник из их прежнего прихода, где похоронен был его отец,— священник еще молодой, года два только поставленный в свой сан и, как видно, очень робкий и застенчивый. Павел разговаривал с ним с уважением, потому что все-таки ожидал в нем видеть хоть несколько образованного человека.

— Скажите, не скучаете вы вашей деревенской жизнью? — спрашивал он его.

— Нету-ти!.. Что ж?.. Летом работы полевые, а зимнее время по приходу со славой и с требами ездим,— отвечал священник.

— А читать вы имеете что-нибудь?

— Одни только ведомости губернские храм получает; чтение скучное и незанятное.

Вихрова по преимуществу поражала в юном пастыре явная неразвитость его. «Прежние попы как-то умней и образованней были»,— думал он. Священник, наконец, встал на ноги и, видимо, некоторое время сбирался что-то такое сказать.

— Вы вот приехали сюда,— начал он с улыбкой,— а панихиды по папеньке до сей поры еще не отслужили.

— Ах, боже мой, я завтра же отслужу и приеду для этого в церковь! — воскликнул Павел, спохватившись и в самом деле устыдясь, что забыл подобную вещь.

— Да-с! Крестьяне даже ваши ропщут на то, да и причетники наши тоже переговаривали между собой: «Что это, говорят, он памяти отца не помянет!».

— Непременно-с приеду, непременно! — повторял Вихров.

— Значит, завтра мы и ожидать вас будем! — сказал священник.

— Завтра, завтра! — повторил Павел и пожал священнику руку. Тот ушел от него.

На другой день герой мой нарочно очень рано проснулся и позвал Петра, чтобы потолковать с ним насчет поездки к приходу. Петр пришел; лицо этого почтенного слуги было недовольное; сказав барину, что к приходу можно на паре доехать, он добавил:

— У нас, Павел Михайлыч, на конном дворе не все благополучно.

— Что такое? — спросил Вихров.

— Раменка околела-с. Вчерашний день, Иван пришел и говорит: «Дай, говорит, мне лошадь самолучшую; барин велел мне ехать проворней в Перцово!» Я ему дал-с; он, видно, без рассудку гнал-с ее, верст сорок в какие-нибудь часа три сделал; приехал тоже — слова не сказал, прямо поставил ее к корму; она наелась, а сегодня и околела.

— Скажите, пожалуйста! — проговорил Вихров, очень раздосадованный этим известием.— Этакой мерзавец, негодяй!

— Как ему можно лошадь какую-нибудь доверять; приехал тоже пьяный; я стал ему сегодня говорить, так лается и ругается.

Петр перед тем только с Иваном почти до драки разругались.

— Позовите мне его! Он начинает меня окончательно выводить из терпенья! — воскликнул Вихров, видевший, что Иван в самом деле день ото дня становится все более никуда не годным.

— Ты как это лошадь-то загнал до смерти? — спросил Вихров.

— Как я загнал,— отвечал Ванька, уже заранее приготовившийся к ответу.— У него прежде того она была больна; она у меня еле шла всю дорогу.

— Как же она у тебя еле шла, коли ты в три часа сорок верст обернул? — сказал Петр.

— Я сам заметил, что ты очень скоро приехал,— приехал, наконец, пьяный.

— Где пьяный! Нисколько.

— Пьяный, коли я тебе говорю, негодяй ты этакой! — воскликнул Вихров.— Кирьяна мне! — произнес он потом задыхающимся голосом.

Иван побледнел; он думал, что не выпороть ли его, сверх обыкновения, хочет барин.

Кирьян пришел.

— Дай мне какого-нибудь мальчика за мной ходить, а этого мерзавца и видеть не хочу: поди с глаз моих долой.

Иван, видя, что дело повернулось в гораздо более умеренную сторону, чем он ожидал, сейчас опять придал себе бахваловато-насмешливую улыбку, проговорил: «Мне как прикажете-с!» — и ушел. Он даже ожидал, что вечером опять за ним придут и позовут его в комнаты и что барин ничего ему не скажет, а, напротив, сам еще как будто бы стыдиться его будет.

Вихров через несколько времени выехал к приходу. Он никогда во всю жизнь не бывал ни на одной панихиде.

Священник и дьякон служили обедню в черных ризах. Когда Павел входил, все мужики и бабы ему кланялись. Это все почти были его мужики. К концу обедни он стал замечать, что церковь все больше и больше наполнялась народом. Это уже приходили мужики и бабы из чужих, соседних деревень и, приходя, потихоньку что-то спрашивали у вихровских крестьян, а те утвердительно кивали им на это головой. По окончании обедни священ-

ник с дьяконом вышли на средину церкви и начали перед маленьким столиком, на котором стояло распятие и кутья, кадить и служить панихиду; а Кирьян, с огромным пучком свеч, стал раздавать их народу, подав при этом Вихрову самую толстую и из белого воску свечу. Свечи эти все были зажжены. Священник с дьяконом, наконец, затянули *за упокой и вечную память*. В церкви послышались рыдания женщин, а также плакали и некоторые мужики. Вихров тоже не выдержал; слезы у него текли градом по щекам. «Родитель мой, милый, бесценный!» — шептал он. Потом литию надобно было отслужить на самой могиле. Пошли священники, за ними Павел, а за ним и весь народ; все без шапок. На дворе была зимняя вьюга. Ветер развевал волосы у священников и у мужиков; но странное дело: свечи все горели, и ни одна из них не погасла: пламя у них вытягивалось, утончалось, но не гасло. Под снежным бугром, огороженная простой оградой, находилась могила полковника.

Вихров вошел в этот загородок и поцеловал крест, стоящий на могиле отца; и опять затянулась: *вечная память*, и опять мужики и бабы начали плакать почти навзрыд. Наконец, и лития была отслужена.

— Кирьян,— сказал Вихров, полный какого-то тревожного умиления,— поди, раздай мужикам, кто победнее из них, сто рублей! — И он подал тому сторублевую ассигнацию.

— И во храм бы вы вкладу сделали! — посоветовал ему священник. Павел подал и ему пятьдесят рублей.

— Уж и на причет тоже не пожалуете ли? — присовокупили в один голос дьякон и дьячки.

Павел вынул еще пятьдесят рублей и подал их тоже священнику. Тот при этом покраснел немного.

— Благодарим! — произнес он каким-то глухим и стыдливым голосом: он был еще очень неопытен в своей пастырской деятельности.

Дьякон и дьячки тоже пробормотали что-то такое в благодарность и с жадностью смотрели на деньги в руках священника.

Народ в это время все стоял еще около могилы полковника, и некоторые продолжали плакать.

— Петр, за что так любили покойного отца? — спросил Вихров, возвращаясь домой, своего кучера.

— За справедливость!.. Справедлив уж очень был! — отвечал Петр.

VIII

СВОЯ НЕ ПОЗНАША!

В тот же день после обеда Вихров решился ехать к Фатеевой. Петр повез его тройкой гусем в крытых санях. Иван в наказание не был взят, а брать кого-нибудь из других людей Вихров не хотел затем, чтобы не было большой болтовни о том, как он будет проводить время у Фатеевой.

Произведение свое Вихров захватил с собой: ему ужасно хотелось поскорей прочесть его Клеопатре Петровне и посмотреть, какое впечатление произведет оно на нее. Въехали они таким образом и в Зенковский лес. Вихров припомнил, как они в нем некогда заблудились.

— А что, Петр, теперь уж не собьешься? — спросил он того.

— Нет, не собьемся; теперь уж твердо будем знать дорогу,— отвечал тот.

Был светлый зимний вечер, но холодный. Павел начал уж чувствовать маленький холодный трепет во всем теле, и нос ему было больно; наконец, они выехали из лесу; по сторонам стали мелькать огоньки селений; между ними скоро мелькнул и огонек из Перцовского дома. У Вихрова сердце замерло от восторга; через несколько минут он будет в теплой комнате, согреваемый ласковыми разговорами любящей женщины; потом он будет читать ей свое произведение. Вихров считал себя в эти минуты счастливейшим человеком в мире. Клеопатра Петровна, когда ей сказали, что Вихров приехал, выбежала к нему навстречу и, не замечая даже, что тут стоит лакей, бросилась гостю на шею и начала его обнимать и целовать; вдруг она отступила от него на несколько шагов и воскликнула:

— Боже мой! Какой ты красавец и молодец из себя стал; что такое с тобой сделалось?

Вихров, поехав к Клеопатре Петровне, выфрантился в свой тончайшего сукна сюртучок, бархатный жилет, клетчатые толстые английского сукна брюки. Клеопатра Петровна в последнее время видела все его одетым небрежно, буршем-студентом, в поношенном вицмундире и в широчайших, вытертых брюках, а тут явился к ней франт столичный!

— Какое лицо у тебя чудное; тебя узнать нельзя,—

продолжала Клеопатра,— пойдем, я покажу тебе твою старую знакомую, Катишь Прыхину. Ведь ничего, что она у меня, а?

— Разумеется, ничего; я очень рад ее видеть,— отвечал Вихров.

— Ах, она тебя ужасно любит, пойдем!.. Посмотри, какой стал! — сказала Фатеева, вводя Вихрова в гостиную и показывая его Прыхиной.

— Monsieur Вихров, вы ли это? — воскликнула и та, в свою очередь, всплескивая руками.

— Вот он, я думаю, побеждал женщин-то в Москве,— продолжала Фатеева,— в него, вероятно, влюблялись на каждом шагу!

— Я думаю, не без того,— произнесла m-lle Прыхина с ударением.

Вихрову сделалось даже стыдно от всех этих похвал и восторгов.

— Уверяю, что никто не влюблялся,— говорил он, целуя еще раз руку Фатеевой и целуя также руку Прыхиной, чем последняя осталась очень довольна.

Все, наконец, уселись перед диванным столом.

— Ну, что же вы поделывали в Москве,— рассказывайте! — говорила Фатеева, без церемонии, в присутствии Прыхиной, беря руку Павла в обе свои руки и крепко сжимая ее.

— О, я делал много!.. Я делал дело хорошее!.. — отвечал Вихров.

— А именно?.. Извольте сейчас нам все рассказывать! — говорила Фатеева, сделавшаяся от восторга какой-то резвой говоруньей.

— А именно — я написал роман огромный, который получил уже известность.

— Роман? — произнесла Фатеева, несколько неопределенным голосом.

— Я читал его моим приятелям, которых ты вот знаешь,— отнесся Вихров прямо уже к Клеопатре Петровне,— и которые все единогласно объявили, что у меня огромный талант, и потребовали, чтобы я писал; ради чего главным образом я и приехал в деревню.

Мы знаем, что вкус и мнения оборванных приятелей Павла Клеопатра Петровна не очень высоко ценила; но кроме того, в деревню, значит, он приехал для какого-то своего писательства. Легкая тень печали пробежала по

ее до того блиставшему счастием лицу. Она молчала, но зато заговорила m-lle Прыхина.

— Это очень любопытно будет прочесть! — произнесла она себе в нос. Ее тоже, как и Фатееву, несколько удивило это известие.— Мы, вероятно, тут встретим много знакомого! — прибавила она с своей обычной развязностью.

— Если он написал в своем романе про какую-нибудь другую женщину, я его задушу! — сказала с улыбкой Фатеева.

— Все про вас и об вас! — успокоил ее Павел.

— Что же, это роман у вас исторический?.. Я очень люблю романы исторические! — произнесла m-lle Прыхина.

— Какой же исторический, когда все больше про Клеопатру Петровну! — возразил ей Вихров.

— Ах, да, правда! — спохватилась m-lle Прыхина. Затем обе дамы как-то прекратили разговор об романе и стали рассказывать Павлу о самих себе.

— Что я натерпелась, друг мой, по приезде из Москвы, я тебе и сказать не могу,— начала Клеопатра Петровна.— Вот если бы не Катишь,— прибавила она, указывая на Прыхину,— я, кажется, я с ума бы сошла.

— Что ж,— отвечала несколько стыдливо m-lle Прыхина,— любовь и дружба — это такие святые чувства, что заставят, я думаю, каждого сделать то же самое, что я сделала.

— Однако ты рисковала, что муж каждую минуту наговорит тебе грубостей, попросит, пожалуй, тебя уехать!

— Сделайте милость, никогда бы он этого не осмелился сделать; я умею держать себя против всякого!.. Я все время ведь жила у нее, пока муж ее был жив!— пояснила m-lle Прыхина Павлу.— И вообразите себе, она сидит, сидит там у него, натерпится, настрадается, придет да так ко мне на грудь и упадет, на груди у меня и рыдает во всю ночь.

— Что же такое, собственно, происходило? — спросил Вихров, не совсем понимавший, что такое говорит Прыхина.

— Происходило то...— отвечала ему Фатеева,— когда Катя написала ко мне в Москву, разные приближенные госпожи, боясь моего возвращения, так успели его восстановить против меня, что, когда я приехала и вошла к

нему, он не глядит на меня, не отвечает на мои слова,— каково мне было это вынести и сделать вид, что как будто бы я не замечаю ничего этого.

Дело, впрочем, не совсем было так, как рассказывала Клеопатра Петровна: Фатеев никогда ничего не говорил Прыхиной и не просил ее, чтобы жена к нему приехала,— это Прыхина все выдумала, чтобы спасти состояние для своей подруги, и поставила ту в такое положение, что, будь на месте Клеопатры Петровны другая женщина, она, может быть, и не вывернулась бы из него.

— Но, однако, я пересилила себя,— продолжала она,— села около него и начала ему говорить прямо, что он сделал против меня и почему такою я стала против него!.. Он это понял, расплакался немного; но все-таки до самой смерти не доверял мне ни в чем, ни одного лекарства не хотел принять из моих рук.

— Что же, боялся, что ты отравишь его? — спросил Павел.

— Вероятно!

— А кто же лечил? — спросил Павел.

— Тут доктор один из нашего городка,— отвечала Фатеева какой-то скороговоркой и как бы вспыхнув немного.

— Это новый обожатель Клеопатры Петровны,— пояснила Прыхина.

— Будто? — спросил Павел не совсем довольным тоном.

— Что за вздор такой! — произнесла с сердцем Клеопатра Петровна.

— Конечно, вздор; если бы не вздор, разве я стала бы говорить,— оправдывалась Прыхина.

— Муж, однако, дал вам духовную на все имение,— заметил Вихров Фатеевой.

— Да бог с ним и с его духовной! По векселю и на свою седьмую часть я и без нее получила бы все имение!.. Я об этом ему ни слова и не говорила! Катишь и священник уж сказали ему о том.

— Я к нему тогда вошла,— начала m-lle Прыхина, очень довольная, кажется, возможностью рассказать о своих деяниях,— и прямо ему говорю: «Петр Ермолаевич, что, вы вашу жену намерены оставить без куска хлеба, за что, почему, как?» — просто к горлу к нему приступила. Ну, ему, как видно, знаете, все уже в жиз-

ни надоело. «Эх, говорит, давайте перо, я вам подпишу!». Батюшка-священник уже заранее написал завещание; принесли ему, он и подмахнул все состояние Клеопаше.

Такого рода проделки обеих этих госпож показались Вихрову не совсем красивыми, но он, разумеется, этого не высказал и заметил только Фатеевой:

— Все-таки вы должны благословлять память этого человека: он устроил вашу жизнь.

— Еще бы! — подхватила она.

— Ну, ему ее жизнь и стоило устроить! — воскликнула Прыхина, всегда и во всех случаях жизни готовая возвысить и оправдать свою подругу.

Вихров весь этот разговор вел больше механически, потому что в душе сгорал нестерпимым желанием поскорее начать чтение своего романа Клеопатре Петровне, и, только что отпили чай, он сейчас же сам сказал:

— А что, позволите мне прочесть вам мое творение?

— Но ты разве не устал сегодня с дороги? — спросила его Фатеева.

Ей казалось, что после такой долгой разлуки ему бы лучше было заняться любовью, чем чтением романа. «Он любил, вероятно, в это время какую-нибудь другую женщину!» — объясняла она себе, и на лицо ее опять набежала тень печали.

— Я нисколько не устал,— отвечал Павел и пошел в кабинет, где расставлены были его вещи, чтобы принести оттуда тетрадь.

Фатеева и Прыхина, оставшись вдвоем, несколько времени молчали.

— Интересно, что он написал,— проговорила последняя.

— Мне не нравится это его увлечение,— ответила ей на это Фатеева. Чтобы объяснить эти слова Клеопатры Петровны, я должен сказать, что она имела довольно странный взгляд на писателей; ей как-то казалось, что они непременно должны были быть или люди знатные, в больших чинах, близко стоящие к государю, или, по крайней мере, очень ученые, а тут Вихров, очень милый и дорогой для нее человек, но все-таки весьма обыкновенный, хочет сделаться писателем и пишет; это ей решительно казалось заблуждением с его стороны, которое только может

сделать его смешным, а она не хотела видеть его нигде и ни в чем смешным, а потому, по поводу этому, предполагала даже поговорить с ним серьезно.

Вихров, принеся свою рукопись, сел и начал читать. Прочитав первую главу, он обратился к Клеопатре Петровне и спросил ее:

— Похожи или нет?

Фатеева сидела уже явно с недовольным и печальным лицом.

— Комнаты похожи, но женщина тут описана другая,— проговорила она.

— Какая же? — спросил с улыбкою Вихров.

— Я не знаю — какая! — отвечала ему, вовсе не шутя, Клеопатра Петровна.

— Ну, вы — все свое! — проговорил Вихров и начал снова чтение. Он полагал, что раздирающие душу и в то же время, как ему казалось, исполненные житейской правды сцены непременно поразят его слушательниц, но те решительно мало были ими тронуты... Клеопатру Петровну просто мучила ревность: она всюду и везде видела Анну Ивановну, а прочего ничего почти и не слыхала; что касается до m-lle Прыхиной, то ее равнодушие должен я объяснить тоже взглядом ее на литературу: достойная девица эта, как мы знаем, была с чрезвычайно пылким и возвышенным воображением; она полагала, что перу писателя всего приличнее описывать какого-нибудь рыцаря, или, по крайней мере, хоть и штатского молодого человека, но едущего на коне, и с ним встречается его возлюбленная в платье амазонки и тоже на коне. Если комнаты описывать, то, по ее мнению, лучше всего было — богатые, убранные штофом и золотом; если же природу, то какую-нибудь непременно восточную,— чтобы и фонтаны шумели, и пальмы росли, и виноград спускался кистями; если охоту представлять, так интереснее всего — за тиграми или слонами,— но в произведении Вихрова ничего этого не было, а потому оно не столько не понравилось ей, сколько не заинтересовало ее.

Герой мой между тем думал пробрать своих слушательниц сюжетом своей повести, главною мыслью, выраженною в ней, и для этого торопился дочитать все до конца — но и тут ничего не вышло: он только страшно утомил и их и себя.

— Ах, милый мой, как ты устал! — говорила ласково

m-me Фатеева, утирая ему своим платком лоб, вместо того, чтобы похвалить его повесть.

Вихров понять никак не мог: роман ли его был очень плох, или уж слушательницы его были весьма плохие в том судьи.

— Как вам понравилось? — спросил он Прыхину.

— Знаете что,— начала она,— я очень откровенна и всем люблю говорить правду: зачем описывать то, что мы знаем, видим и встречаем каждый день; это уж и без того наскучило.

— Только то и можно описывать, что мы видим и знаем,— возразил ей Вихров,— а если мы станем описывать то, чего мы не знаем, так непременно напишем чепуху. Теньеровские картины, на которых нарисованы красноносые голландские мужики, гораздо выше ценятся, чем холодная и бездушная французская живопись, изображающая богов Олимпа.

— Никогда ни на какой картине мужик не может быть интересен! Никогда! — воскликнула почти с ужасом m-lle Прыхина.

— После этого вам сказки надобно только слушать,— сказал Павел,— если вы не хотите ничего читать о том, что существует.

— Нет, сказки — это уж очень глупо; это только детей и баб деревенских может занимать,— возразила опять, как бы несколько обидевшись, Прыхина.

— Есть сказки и не для детей, а для взрослых; «Монте-Кристо», например,— сказал Вихров.

— Ах, «Монте-Кристо» прелесть, чудо! — почти закричала m-lle Прыхина.— И вообразите, я только начало и конец прочла; он помещался в журнале, и я никак некоторых книжек не могла достать; нет ли у вас, душечка, дайте! — умоляла она Вихрова.

— Нет-с у меня! — отвечал он ей с сердцем.— «С дурой этой говорить больше нечего»,— решил он мысленно и посмотрел на Клеопатру Петровну. Та сидела, как-то надувшись.

— Ну, а ваше какое мнение о моем произведении? — спросил он ее.

— Я ту женщину, которую вы описываете, нисколько не знаю, а потому не могу судить.

— Большая часть нравственных мотивов взяты ваши,

а потому они должны бы быть, кажется, близки вашему сердцу.

— Я не принимаю их никак на свой счет, потому что наружность тут описана совсем другой женщины, а так, как я чувствовала, может чувствовать и всякая другая женщина,— отвечала Клеопатра Петровна.

Вихрова наконец взорвало, и он больше уж не стал говорить с подобными судьями.

В Перцове после того он пробыл всего только один день, в продолжение которого был в весьма дурном расположении духа: его не то, что очень обеспокоило равнодушие дам, оказанное к его произведению,— он очень хорошо видел, что Клеопатра Петровна слишком уж лично приняла все к себе, а m-lle Прыхина имела почти детский вкус,— но его гораздо более тревожило его собственное внутреннее чувство. Говорят, нет ничего полезнее для авторов, как читать свои произведения несимпатизирующей публике. Тогда перед ними слабые места в труде их выходят в ужасающей величине. Так случилось и с Вихровым,— и таких слабых мест он встретил в романе своем очень много, и им овладело нестерпимое желание исправить все это, и он чувствовал, что поправит все это отлично, а потому, как Клеопатра Петровна ни упрашивала его остаться у ней на несколько дней, он объявил, что это решительно невозможно, и, не пояснив даже причину тому, уехал домой, велев себя везти как можно скорее. Возвратившись в свое Воздвиженское часов в десять вечера, он, несмотря, однако, на то, сейчас же принялся за работу. Стоя у себя в кабинете, он представил каждую сцену в лицах; где была неясность в описаниях,— пояснил, что лишнее было для главной мысли — выкинул, чего недоставало — добавил, словом, отнесся к своему произведению сколько возможно критически-строго и исправил его, как только умел лучше!

IX

ОПЯТЬ ДОБРОВ

М-llе Прыхина, возвратясь от подружки своей Фатеевой в уездный городок, где родитель ее именно и был сорок лет казначеем, сейчас же побежала к m-lle Захаревской, дочери Ардальона Васильича, и застала ту, по

обыкновению, гордо сидящею с книгою в руках у окна, выходящего на улицу, одетою, как и всегда, нарядно и причесанною по последней моде. Девица сия еще в первый раз является в моем рассказе, а потому я, по необходимости, должен об ней сказать хоть несколько слов. M-lle Юлия, имя ее, была довольно высока ростом, недурно сложена. Опытный наблюдатель, конечно бы, в ее наружности, как и в наружности ее братьев, заметил нечто не совсем благородное; так, например, черты лица у нее были какие-то закругленные, кожа заметно грубовата, белокурые волосы, как бывает это у горничных, какого-то грязного цвета. Впрочем, все это очень сглаживалось тем, что m-lle Юлия очень недурно себя держала, по-видимому, была девушка весьма неглупая, довольно начитанная и благоразумная!

Старик Захаревский (сама Захаревская уже умерла) обожал дочь, и они жили в их огромном доме только вдвоем. Женихов у сей милой девицы пока еще не было,— и не было потому именно, что она была горда и кой за кого выйти не хотела. M-lle Прыхина обожала Юлию и считала ее лучшим своим другом. О, наша милая Катишь была на это препредусмотрительная: у нее очень много было подружек. Одна у нее уйдет или рассорится с ней — она у другой гостит, другая сделается к ней холодна — она к третьей сейчас,— и у каждой из подружек своих она знала ее главную слабость; она знала, например, что Юлия никогда никого еще не любила и вместе с тем пламенно желала кого-нибудь полюбить.

— Какого я бель-ома встретила, боже ты мой, боже ты мой! — говорила Катишь, придя на этот раз к подружке и усаживаясь против нее.

— Кто такой? — спросила ее Юлия очень равнодушно.

Катишь ей неоднократно навирала и налыгала в этом отношении.

— Поль Вихров,— ах, какой красавец мужчина! Одет картинкой, ловок, умен!

Автор сильно подозревает, что m-lle Прыхина, по крайней мере в последнее свиданье, сама влюбилась в Вихрова, потому что начала об нем говорить почти с азартом каким-то.

— Где же ты видела его? — спросила Юлия, которая отчасти уже слышала, кто такой был Поль Вихров, дав-

но ли он приехал и сколько у него душ; о наружности его она только ни от кого не слыхала таких отзывов.

— Я его видела у Клеопаши,— отвечала Прыхина.

— Говорят, это ее обожатель,— проговорила, как будто бы больше нехотя, Юлия.

— Ах, вздор какой, он родственник только ей и довольно близкий по Имплевым,— подхватила Прыхина: она всегда всякую подругу свою скрывала и отстаивала до последней возможности.

Юлия на это ей ничего не сказала, но Катишь очень хорошо видела, что она сильно ее заинтересовала Вихровым, а поэтому, поехав через неделю опять к Клеопатре Петровне, она и там не утерпела и сейчас же той отрапортовала:

— Как одна особа влюблена в твоего Поля,— чудо! — сказала она.

— Кто такая? — спросила Клеопатра Петровна недовольным голосом.

— Юлинька Захаревская.

— Где же она его видела?

— Она его совсем не видала, но я описала его наружность, голос, ум, сердце и привела ее в совершенный восторг!

— Зачем же ты это делала? — спросила Клеопатра Петровна.

— Ах, боже мой, зачем делала?.. Так, разговор был; надобно же о чем-нибудь говорить.

— Можно бы об чем-нибудь и другом говорить; ты понимаешь ли, что этим мне можешь повредить?

— Чем же я тебе могу повредить? — возразила с удивлением Катишь: ей в первый еще раз пришла в голову эта мысль.

— А тем, что, когда они встретятся, Юлия непременно станет с ним кокетничать, и, разумеется, всякий мужчина ответит на кокетничанье хорошенькой девушки.

— О нет! — воскликнула Прыхина.— Этого никогда не может быть: Поль тебе верен, как я не знаю что!

— Ты-то пуще лучше его знаешь, чем я! — проговорила, заметно рассердясь на подругу, Клеопатра Петровна и даже ушла от нее.

— Странная женщина, хочет своего адоратера не показывать никому,— не спрячешь уж! — произнесла Катишь, оставшись одна и пожимая плечами.

Этого маленького разговора совершенно было достаточно, чтобы все ревнивое внимание Клеопатры Петровны с этой минуты устремилось на маленький уездный город, и для этой цели она даже завела шпионку, старуху-сыромасленицу, которая, по ее приказаниям, почти каждую неделю шлялась из Перцова в Воздвиженское, расспрашивала стороной всех людей, что там делается, и доносила все Клеопатре Петровне, за что и получала от нее масла и денег.

Юлию в самом деле, должно быть, заинтересовал Вихров; по крайней мере, через несколько дней она вошла в кабинет к отцу, который совсем уже был старик, и села невдалеке от него, заметно приготовляясь к серьезному с ним разговору.

— Батюшка,— начала она,— кто у нас в собрании будут нынешнюю зиму кавалеры?

— Кто? Я не знаю! — произнес старик.— Те же, я думаю: Иван Петрович и Петр Иваныч,— прибавил он уже с улыбкою.

— Батюшка, это ужасно!.. Я лучше не буду совсем выезжать, а то тратишься и беспокоишься, но для кого и для чего!

Захаревский пожал плечами.

— Что делать, перевелась нынче вся порядочная молодежь,— произнес он не без грусти.

— Говорят, в Воздвиженское приехал молодой человек Вихров, очень умный и образованный.

— Это Михаила Поликарпыча сын, слышал это я; человек, должно быть, и с состоянием.

— Съездите к нему и пригласите его бывать в нашем собрании; хоть один порядочный молодой человек будет у нас, с кем бы можно было слово сказать.

Старик Захаревский в мыслях своих совершенно одобрил такое желание дочери.

— Мне есть повод съездить к нему. Я продавал по поручению Александры Григорьевны Воздвиженское и кой-каких бумаг не передал его покойному отцу; поеду теперь и передам самому.

— Поезжайте и отдайте, а главное — в собрание его вытащите!

— Вытащу! — отвечал Захаревский.

Подъезжая потом к Воздвиженскому и взглянув на огромный дом, Ардальон Васильич как бы невольно

проговорил: «Да, недурно бы было Юльку тут поселить!»

С трудом войдя по лестнице в переднюю и сняв свою дорогую ильковую шубу, он велел доложить о себе: «действительный статский советник Захаревский!» В последнее время он из исправников был выбран в предводители, получил генеральство и подумывал даже о звезде.

Вихров поспешил выйти гостю навстречу. Захаревский низко и с уважением поклонился ему.

— Очень рад видеть ваше превосходительство у себя! — говорил Вихров, сконфуженный даже несколько такой почтительностью Захаревского и ведя его в гостиную.

— Извините!..— говорил тот, беря себя за грудь.— Одышка от лет... не могу вдруг начать говорить.

Вихров спешил его покойнее усадить.

Захаревский, наконец, отдышался и начал неторопливо:

— Во-первых... я прибыл поздравить вас... с приездом и потом... передать вам по поручению прежней владелицы документы некоторые! — И с этими словами он вынул из кармана толстый пакет и подал его Вихрову.

Тот принял от него пакет.

— Очень вам благодарен,— произнес Вихров.

Старик между тем с любопытством стал осматривать вокруг себя новое убранство комнат, и замечаемая в них чистота явно ему понравилась.

— Не скучаете ли в деревне? — спросил он Вихрова почти нежным голосом.

— Нет,— отвечал тот.

— Но все-таки надеюсь,— продолжал Захаревский,— что посетите и наш городок.

— О, конечно, и к первому, разумеется, к вам явлюсь с визитом.

— Очень рады будем вам,— отвечал Захаревский, опять почтительно склоняя голову,— но, главное, вы посетите наше собрание и украсьте его вашим присутствием.

— Когда же это собрание бывает? — спросил его Вихров.

— Каждое воскресенье-с! — сказал Захаревский.— И посещать его,— продолжал он опять вкрадчивым голосом,— почти долг каждого дворянина... один не приедет,

другой,— и нет собраний, а между тем где же молодежи и девушкам повеселиться!

— А ваше семейство? — спросил его Павел.

— Мое семейство состоит теперь из единственной дочери, которая живет со мной: сыновья у меня на службе, жена умерла...

Вихров при этом постарался придать своему лицу печальное выражение, как будто бы ему в самом деле было очень жаль, что г-жа Захаревская умерла. Гость просидел еще с час, и при прощаньи с чувством пожал руку у Вихрова и снова повторил просьбу посетить собрание.

— Непременно-с буду! — отвечал тот, в самом деле решившись непременно быть в собрании. Об этом посещении Клеопатра Петровна весьма скоро, должно быть, узнала от своей сыромасленицы, бывшей именно в этот день в Воздвиженском, потому что на другой же день после того прислала очень тревожную записку к m-lle Прыхиной, жившей опять в городе.

«Папенька Захаревский был уж у Павла; узнайте от самой Захаревской, когда Павел приедет к ним с визитом, и будьте там в это время и наблюдайте, что они будут между собой говорить, и мне все напишите!»

По этому письму Катишь сейчас же сбегала к Захаревским, узнала там все и написала к приятельнице:

«Когда он с визитом приедет — там не знают, но он будет непременно в следующее воскресенье в наше собрание! Воображаю, как будет ему весело!..»

Получив это извещение, Клеопатра Петровна отправила уже записку к самому Вихрову.

«Бесценный друг мой, приезжай ко мне в воскресенье, иначе я умру, не видавши тебя!»

На это ей отвечал Вихров:

«Бесценный друг мой, в воскресенье я не могу приехать, потому что завален работою; приеду, когда кончу».

«Завален работою, а в собрание, однако, едет!» — подумала Клеопатра Петровна и от такого невнимания Вихрова даже заболела. Катишь Прыхина, узнав об ее болезни, немедленно прискакала утешать ее, но Клеопатра Петровна и слушать ее не хотела: она рыдала, металась по постели и все выговаривала подруге:

— Это вы все наделали, от вашей болтовни все это началось.

— Да что же началось, душа моя, что началось? — спрашивала ее скромно Прыхина.

— Все! Не говорите со мной больше! — вскричала Фатеева.

Катишь, делать нечего, замолчала.

Пока происходили все эти толки и опасения, герой мой предавался самым чистым и невинным занятиям. Он весь был погружен в окончательное создание своего творения, которое, наконец, можно уж было набело переписывать. Вихров хотел для этого взять какого-нибудь молоденького семинаристика от приходу, какового и поручил отыскать Кирьяну, но тот на другой же день, придя к нему, объявил, что мальчиков-семинаристов теперь нет у прихода, потому что все они в училище учатся, а вот тут дьякон-расстрига берется переписывать.

— Кто такой? — спросил Павел.

— Добров один, по прозванию,— отвечал Кирьян.

— Ах, я его знаю! — сказал Вихров.— Да хорошо ли он пишет?

— Писец настоящий! — отвечал Кирьян.— Я привел его с собой, коли прикажете.

— Сделай милость, я очень рад ему.

Добров вошел и поклонился. Он был еще в более оборванном сюртуке и худых сапожонках.

— Здравствуйте, старый знакомый! — сказал ему Вихров и подал ему руку.

Добров конфузливо пожал ее.

— Садитесь, пожалуйста,— продолжал Вихров.

Добров не совсем смело осмотрел стулья и на более жесткий из них неплотно сел.

— Можете ли вы переписать мне?

— Могу-с, словно бы! — отвечал Добров.

— Ну, и правильно вы пишете?

— На это я знаток; у нас за это розгами с проволокой секли.

— А от станового вы уже отошли?

— Да-с, бог с ним.

— Отчего же?

Добров как бы некоторое время соображал.

— Барынька-то у него уж очень люта,— начал он,— лето-то придет, все посылала меня — выгоняй баб и мальчиков, чтобы грибов и ягод ей набирали; ну, где уж тут: пойдет ли кто охотой... Меня допрежь того невесть как в

околотке любили за мою простоту, а тут в селенье-то придешь, точно от медведя какого мальчишки и бабы разбегутся,— срам! — а не принесешь ей,— ругается!.. Псит-псит, хуже собаки всякой!.. На последние свои денежки покупывал ей, чтобы только отвязаться,— ей-богу!

— А сам становой лучше?

— Тоже жадный,— продолжал Добров,— бывало, на ярмарчишку какую приедем, тотчас всех сотских, письмоводителя, рассыльных разошлет по разным торговцам смотреть — весы ладны ли да товар свеж ли, и все до той поры, пока не поклонятся ему; а поклонись тоже — не маленьким; другой, пожалуй, во весь торг и не выторгует того, так что многие торговцы и ездить совсем перестали на ярмарки в наш уезд.

— Отчего же они не пожаловались?

— И жаловались, да мало только что-то внимали тому,— по пословице: рука руку моет; я бога возблагодарил, как из этой их компании ушел!..— заключил Добров.

— Чем же вы содержите теперь себя?

— Да чем? Кое-что тоже на духовенство, на мужичков поработаю, ну и прокармливаюсь; насчет платья только вот никак не могу сбиться и справиться!

— Вы переезжайте ко мне совсем; я вас буду содержать, одену и помещу в хорошенькой комнате.

— Благодарю покорно... Ныне я могу это принять, а прежде бы, пожалуй, и не смог.

— Почему же бы не смогли?

— Потому, я пил безобразно.

— А нынче не пьете?

— Нет, другой год не пью! Что!.. Черт с ним, надоело: сколько я тоже к этому проклятому вину ни приноравливался, все думал его сломить, а выходило так, что оно меня побеждало.

— А скажите, за что, собственно, вы были расстрижены? — спросил Вихров.

Добров с грустью покачал головой.

— Расстригли-то, пожалуй, почесть и за дело меня,— отвечал он.

— А именно? — сказал Вихров.

— А именно, что благочинный тут наш, очень злобствуя на меня, при объезде владыки отметил меня, что поведеньем я слаб и катехизиса пространного не знаю; ну, тот меня и назначил под начал в Тотский монастырь;

я, делать нечего, покорился, прибыл туда и ради скуки великой стал там делать монахам тавлинки с разными этакими изображениями! Монах, например, яйцо печет на свечке, а черт у него учится; вырежу все это из бересты и фольги под это подложу... ну, и все это таким манером шло, пока денежки у меня были... Нынче вот я отстал, мне ничего водки не пить, а прежде дня без того не мог прожить,— вышла у меня вся эта пекуния, что матушка-дьяконица со мной отпустила, беда: хоть топись, не на что выпить!.. Стал просить у монахов взаймы,— не дают, да и нет, пожалуй, ни у кого!.. Раза два, матерь божья, на сеновале места присматривал, чтобы удавиться, а тут, прах дери, на мельницу меня еще с мешками вздумали послать, и жил тоже в монастыре мужичонко один,— по решению присутственного места. «Что ты,— говорит,— жалуешься все, что выпить тебе не на что; свали мешок в кабак, целовальник сколько за него даст тебе водки!» Я, однако же, на первых-то порах только обругал его за это. «Что это, я говорю, ты мне предлагаешь, бестия ты этакая!» — и, на мельницу ехавши, проехал мимо кабака благополучно, а еду назад — смерть: доподлинно, что уж дьявол мною овладел,— в глазах помутилось, потемнело, ничего не помню, соскочил с телеги своей, схватил с задней лошади мешок — и прямо в кабак... «На, брат, друг сердечный,— говорю целовальнику,— прими!» Он это смекнул сейчас, подхватил у меня мешок, дал мне черта этого винища стакан-другой-третий лакнуть. «Приходи, говорит, ужо вечером: настоящий расчет сделаем, а то, говорит, теперь заметят!» Я тоже вижу, что так складней будет сделать, выбежал, догнал свою лошадь, приехал в монастырь, стал мешки сдавать,— не досчитываются одного мешка. «Должно быть, говорю, украл кто-нибудь; я, ехавши, виноват, заснул!» Говорю это, а самого дрожь бьет, зуб с зубом от страха не сходятся, и стыдно-то, и горько-то, и страшно. Хотелось было сейчас же тут покаяться, но язык прилип к гортани, и это бы дело, однако, так и кануло в воду! Казначей-то уж очень и не разыскивал: посмотрел мне только в лицо и словно пронзил меня своим взглядом; лучше бы, кажись, убил меня на месте; сам уж не помню я, как дождался вечера и пошел к целовальнику за расчетом, и не то что мне самому больно хотелось выпить, да этот мужичонко все приставал: «Поднеси да поднеси винца, а не то скажу — куда ты мешок-то

девал!». Только целовальник мне вдруг говорит: «Я-ста, говорит, и не бирал никакого мешка!» Такая меня злость взяла: чувствую, что сам-то я какое воровство и мошенничество сделал, и вижу, что против меня то же делают, и начал я этого целовальника утюжить, и как я его не убил — не знаю... Бил... бил, оба в крови мы стали; он, наконец, караул начал кричать; прибежал народ, связали нас обоих... Я в азарте кричу: «Вот, говорю, я мешок монастырский украл, отдал ему, а он отпирается!..» Дело, значит, повели уголовное: тать, выходит, я церковный; ну и наши там следователи уписали было меня порядочно, да настоятель, по счастью моему, в те поры был в монастыре,— старец добрый и кроткий, призывает меня к себе. «Для чего это ты, дьякон, сделал так, мешок, говорит, похитил?..» Я сплакал даже на это: «Неужели, говорю, ваше преподобие, я украл это!.. Десять мешков я сейчас отдам за это монастырю; коли, говорю, своих не найду, так прихожане за меня сложатся; а сделал это потому, что не вытерпел, вина захотелось!» — «Отчего ж, говорит, ты не пришел и не сказал мне: я бы тебе дал немного, потому — знаю, что болезнь этакая с человеком бывает!..» — «Не посмел, говорю, ваше преподобие!» Однакоже он написал владыке собственноручное письмо, товарищи они были по академии. «Взгляните, говорит, на это не как судья строгий, а как Христос милостивый!» Владыко и пишет резолюцию: «Дело об мешке закончить, а дьякона расстричь и исключить из духовного звания!»

— Однако не совсем же помиловали! — заметил Вихров.

— Ну, да уж это бог с ними; спасибо, что на каторгу не ушел! — отвечал Добров.

X

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАССКАЗЫ ДОБРОВА

Через неделю после того Добров, одетый в новый сюртук, чистое белье и новые сапоги, сидел уже и переписывал Вихрову его сочинение, и только в некоторых местах он усмехался слегка и поматывал головой.

— Чему вы это, Гаврило Емельяныч? — спрашивал его Вихров.

— Штука у вас тут какая славная написана,— отвечал тот.

В час они садились обедать; а после обеда Вихров обыкновенно разлегался в кабинете на диване, а Добров усаживался около него в креслах. Заметив, что Добров, как все остановившиеся пьяницы, очень любит чай, Павел велел ему подавать после обеда,— и Гаврило Емельяныч этого чаю выпивал вприкуску чашек по десяти и при этом беспрестанно вел разные россказни.

Присмотревшись хорошенько к Доброву, Вихров увидел, что тот был один из весьма многочисленного разряда людей в России, про которых можно сказать, что не пей только человек — золото бы был: честный, заботливый, трудолюбивый, Добров в то же время был очень умен и наблюдателен, так у него ничего не могло с глазу свернуться. Вихров стал его слушать, как мудреца какого-нибудь.

— Вот я сегодня у вас тут переписывал, что предводитель ничего с дворянами не может сделать,— это ведь и правда, пожалуй,— заговорил Добров в одну из послеобеденных бесед.

— Правда? — переспросил Вихров.

— Правда! — подтвердил Добров.— Нынче вот они еще маленько посмирнее стали, а прежде такие озорники были, что боже упаси: на моей уж памяти один баринок какую у нас с священником штуку сыграл,— чудо!

Вихров навострил уши, заранее предчувствуя, что Добров непременно расскажет что-нибудь интересное.

— Какую же? — спросил он голосом, замирающим от любопытства.

— Да священник-то, изволите видеть, был маненько любостяжателен; всего ему по приходу давай: и денег, и печеного хлеба, и нови всякой. Телятами живыми за всенощную в селеньях бирал. Ей-богу! Едем назад, а теленок у нас в телеге привязанным лежит; а другой раз и вырвется да бежать от нас, а мы, причетники, за ним... Только этот самый барин... отчаянный этакой был, кутила, насмешник, говорит священнику: «Вы, батюшка, говорит, крестьян моих не забижайте много, а не то я сам с вами шутку сшучу!» — «Да где я их обижаю, да чем их обижаю!» — оправдывается, знаете, священник, а промеж тем в приходе действует по-прежнему. Барин наш терпел, тер-

пел,— и только раз, когда к нему собралась великая компания гостей, ездили все они медведя поднимать, подняли его, убили, на радости, без сумнения, порядком выпили; наконец, после всего того, гости разъехались, остался один хозяин дома, и скучно ему: разговоров иметь не с кем, да и голова с похмелья болит; только вдруг докладывают, что священник этот самый пришел там за каким-то дельцем маленьким... «Просите сюда!» Входит батюшка в кабинет к барину... Тот прямо ему кидается на шею: «Ах, друг сердечный, как ладно и хорошо, что ты пришел ко мне, я в великом несчастье!» — «Что такое?» — спрашивает священник. «Да вот, говорит, что: вчерашний день мы все пьяные ездили на охоту верхами, и один, говорит, у меня охотник с лошади свалился, прямо виском на пенек, и убился. Теперь мне, того гляди, не поверят, что он сам собой убился, так как в этом случае в лесу я с ним один был, а земская полиция на меня уж давно сердита,— пожалуй, и в острог меня посадят. Сделай милость, говорит, чтобы не было большой огласки, похорони ты у меня этого покойника без удостоверения полиции, а я, говорит, тебе за это тысячу рублей дам!» И с этими словами, знаете, вынимает деньги, подает священнику. Корысть тем овладела, как и пьянство же вон мною в монастыре; задрожал даже, увидев денежки-то. «Да правда ли, говорит, сударь...— называет там его по имени,— что вы его не убили, а сам он убился?» — «Да, говорит, друг любезный, потяну ли я тебя в этакую уголовщину; только и всего, говорит, что боюсь прижимки от полиции; но, чтобы тоже, говорит, у вас и в селе-то между причетниками большой болтовни не было, я, говорит, велю к тебе в дом принести покойника, а ты, говорит, поутру его вынесешь в церковь пораньше, отслужишь обедню и похоронишь!» Понравилось это мнение священнику: деньгами-то с дьячками ему не хотелось, знаете, делиться. «Вынесу, думает, с работником гроб в церковь, обедню с пономарьком,— простенькой такой у него пономаренко был,— отслужу и похороню». Условились они таким манером... В самую полночь к попу в воротцы — стук, стук! Выходит он... Гроб привезли, оказывается, с покойником... Велел он к себе в светелку этот гроб поставить. Уехали эти самые возчики обратно. Лег поп с попадьей своей на постельку. Не спится им, однако. «Батюшка,— говорит попадья,— и свечки-то у покойника не горит; позволено ли по треб-

нику свечи-то ставить перед нечаянно умершим?» — «А для че, говорит, не позволено?» — «Ну, так,— говорит попадья,— я пойду поставлю перед ним...» — «Поди, поставь!» И только-что матушка-попадья вошла в горенку, где стоял гроб, так и заголосила, так что священник испужался даже, бежит к ней, видит,— она стоит, расставя руки... «Батька, батька! — кричит.— У нас, говорит, это не покойник, а медведь в гробу-то!» — «Как медведь?» — заглянул в гроб, видит — шкура содрана с медведя, обернут он, как следует, в саван, лежит словно бы и человек. Тут священник и вспомнил слова барина: «Сшучу с тобой шутку!» «Ах, говорит, псы экие, балагуры! Но за что же,— промеж тем он думает,— он мне тысячу-то рублей дал? И как и куда ему девать теперь этого медведя?» Вдруг затем послышались колокольцы, шум, гам, двери в светелку эту растворяются, входит сам помещик, за ним исправник, заседатель... «Вот, говорит, господа, я спьяна, за тысячу рублей, подкупил священника похоронить медведя у церкви, по церковному обряду, а вот, говорит, и поличное это самое находится у него в доме!» Священник — туда-сюда, отшутиться было хотел, но они постановление написали, требуют, чтобы и он зарукоприкладствовал... Священник испугался, почесть на колена стал перед ними, и мало что тысячу, которую взял у помещика, отдал, да и свою еще им приплатил!

Вихров усмехнулся.

«Что же это такое!» — подумал он и обратился к Доброву с новым вопросом:

— А что, скажите, бывает ли нынче это приневоливание помещиками женщин?

— Бывает, случается,— отвечал тот,— усадьбу Кривцово, чай, знаете?

— Знаю.

— Вот тут барин жил и лет тридцать такую повадку имел: поедет по своим деревням, и которая ему девица из крестьянства понравится, ту и подай ему сейчас в горницы; месяца два, три, год-другой раз продержит, а потом и возвращает преспокойно родителям.

— Как же братья и отцы допускали до этого?

— Ну, и грубили тоже немало, топором даже граживали, но все до случая как-то бог берег его; а тут, в последнее время, он взял к себе девчорушечку что ни есть у самой бедной вдовы-бобылки, и девчурка-то действи-

тельно плакала очень сильно; ну, а мать-то попервоначалу говорила: «Что, говорит, за важность: продержит, да и отпустит же когда-нибудь!» У этого же самого барина была еще и другая повадка: любил он, чтобы ему крестьяне носили все, что у кого хорошее какое есть: капуста там у мужика хороша уродилась, сейчас кочень капусты ему несут на поклон; пирог ли у кого хорошо испекся, пирога ему середки две несут,— все это кушать изволит и похваливает. Только раз это бобылка приходит к нему тоже будто бы с этим на поклон: «Батюшка, ваше высокоблагородие, говорит, я, говорит, сегодня родителей поминала, блины у меня очень поминальные хороши вышли!» — и подает ему, знаете, чудеснейших блинов. Начал барин кушать, целый десяток съел, а старушонка промеж тем куда-то пропала, спряталась; вдруг с барином после того тошно, тошно... приказывает он старушонку разыскать. Дочурочка ее тоже убежала, в лесу уж нашли, а барину все хуже и хуже; два дня промаялся и помер — ну, тоже родных-то около него никого не было. Мужички и дворовые побоялись что-нибудь заявить начальству, полиция не вмешалась, так дело и замялось. Старушонка эта опять в деревню после его смерти явилась. «Эти блины, говорит, я сама ела и священники ели»; те точно что помнят, ели блины, но ничего с ними не было. Ну, и был ли тут грех какой-нибудь или нет,— богу судить, но я и до сей поры, сударь,— продолжал Добров, видимо одушевившись,— не могу мимо этого самого Кривцова идти или ехать спокойно. Помните дом этот серый двухэтажный, так вот и чудится, что в нем разные злодейства происходили; в стороне этот лесок так и ныне еще называется «палочник», потому что барин резал в нем палки и крестьян своих ими наказывал; озерко какое-то около усадьбы тинистое и нечистое; поля, прах их знает, какие-то ровные, луга больше все болотина,— так за сердце и щемит, а ночью так я и миновать его всегда стараюсь, привидений боюсь, покажутся,— ей-богу!..

— А не знаете ли вы, Гаврило Емельяныч,— спросил его потом Вихров в одну из следующих послеобеденных бесед,— какой-нибудь истории, где бы любовь играла главную роль; мне это нужно для сочинений моих, понимаете?

— Понимаю-с,— отвечал Добров,— мало ведь как-то здесь этого есть. Здесь не то, что сторона какая-нибудь

вольная,— вот как при больших дорогах бывает, где частые гульбища и поседки.

— Да ведь, любезный,— возразил Вихров,— там сейчас же и в разврат это переходит.

— Да-с, это точно... Здесь что ни есть девицы, али женщины, много честней супротив других мест.

— Но все-таки они любить и чувствовать должны.

— Известно, что на душе у нее бог знает что, может, кипит; не показывают только, стыдятся и боятся того.

— Но они, однако же, с предметами любви своей разговаривают, выражают свои чувства к ним,— вот это бы мне хотелось схватить.

— Нет, надо полагать, не разговаривают: стыдливы и девки и парни; жмутся друг с другом, целуются,— это есть.

— Но, однако, я все-таки жду от вас истории о любви,— перебил его Вихров.

Добров усмехнулся немного.

— Да что ж такое мне вам рассказать,— проговорил он.— Вы, кажись, знаете Катерину Петровну Плавину: сын-то ее словно бы жил с вами, как вы в гимназии учились?

— Жил, знаю, а что?

— Вот у него с маменькой своей какая по любви-то история была, сильнеющая; он года с три, что ли, тому назад приезжал сюда на целое лето, да и втюрился тут в одну крестьянскую девушку свою.

— Плавин! — воскликнул Павел с удивлением.

— Так втюрился,— продолжал Добров,— что мать-то испугалась, чтоб и не женился; ну, а ведь хитрая, лукавая, проницательная старуха: сделала вид, что как будто бы ей ничего, позволила этой девушке в горницах даже жить, а потом, как он стал сбираться в Питер,— он так ладил, чтоб и в Питер ее взять с собой,— она сейчас ему и говорит: «Друг мой, это нехорошо! Здесь это не принято. Все будут меня обвинять, что я тебе развратничать позволяю, а лучше, говорит, после, как ты уедешь, я вышлю ее!» Ну, и он тоже, как вы знаете, скромный, скрытный, осторожный барин,— согласился с ней, уехал... Она сейчас же взяла да девку-то родной сестре своей и продала. Он и пишет ей: «Как же это, маменька?» — «А так же, говорит, сын любезный, я, по материнской своей слабости, никак не могла бы отказать тебе в том; но тетка

к тебе никак уж этой девушки не пустит!» Он, однако, этим не удовлетворился: подговорил там через своих людей, девка-то бежала к нему в Питер!.. Тетка стала требовать ее у него; он не пускает — пишет: «Какие хотите деньги возьмите, только оставьте ее у меня». Тетка ему отвечает: «Мне никаких денег твоих не надо, а я желаю одного, чтобы ты не острамил нашего рода и не женился на крестьянке». Он, однако, все-таки девку не пускает; тогда эта самая тетенька, по совету его маменьки, пишет уж к жандармам разным петербургским; те вызывают его, стыдят, ну, а ведь он-то должность уж большую занимает!

— Он столоначальник,— сказал Вихров.

— Нет, больше того!.. Виц-директором, что ли, каким-то сделан!.. Как тогда в Питер-то воротился отсюда, так в эту должность и произвели его.

«Ах, Плавин, Плавин! — думал Вихров.— Ну, я теперь мирюсь несколько с тобой». Чем же кончилась эта история? — спросил он Доброва.

— Кончилась тем, что девушку-то выслали к барыне, никак отстоять ее не мог,— по этапу, кажется, и гнали; очень уж велика власть-то и сила господская,— ничего с ней не поделаешь.

— Очень уж велика!.. Могла бы быть и меньше! — подхватил Вихров.— Ну, а еще какой-нибудь другой истории любви, Гаврило Емельяныч, не знаешь ли? — прибавил он.

— Больше уж никакой другой не знаю,— отвечал Добров.— Вон у становой нашей происшествие с мужем было,— то только смешное.

— Ну, и смешное рассказывайте,— она, должно быть, развратница!

— Сильная! Да как же и не делать-то ей того, помилуйте! Пьет да жрет день-то деньской, только и занятья всего.

— Что же у нее было там?

— Было, что она последнее время амуры свои повела с одним неслужащим дворянином, высокий этакий, здоровый, а дурашный и смирный малый,— и все она, изволите видеть, в кухне у себя свиданья с ним имела: в горнице она горничных боялась, не доверяла им, а кухарку свою приблизила по тому делу к себе; только мужу про это кто-то дух и дал. Раз вот эта госпожа приставша сидит и целуется со своим другом милым,— вдруг кухарка

эта самая бежит: «Матушка-барыня, барин приехал и прямо в кухню идет!» Ах, боже мой! Куда девать и спрятать своего милого? — «Влезь,— говорит она ему,— в печку, а мы тебя заслонкой закроем». Делать нечего, барин влез; труба там была прямая, поуместился как-то. Входит Петр Матвеич в кухню. «Что ты, душенька, тут делаешь?» — «Да так, говорит, вошла».— «А, ну так, говорит, и мне сюда дайте водочки и закусить, и я здесь тоже посижу». Она ему: «Ах, зачем же? Пойдем в горницу...» — «Нет, говорит, как я сказал, что здесь буду, так и буду!» Ушла наша барыня мужу за водкой. Он, знаете, полицейским глазом осмотрел, все и смекнул, где барин.— «Что-то, говорит, мне яичницы хочется, изготовьте-ка мне яичницу». Приказывает это он уж кухарке. Та, делать нечего, развела на шестке огонь поосторожней; дым и копоть полезли в рот и нос барину, кряхтит он там... А становой промеж тем думает: «Теперь я барина пообмарал»,— кричит: «Ах, люди, говорит, сотские, десятские!..» Те прибежали.— «Лейте в трубу воду, сажа у меня в трубе горит!» Те сейчас же ухнули ведра два туда... Не вытерпел барин, выскочил из печки — черт чертом... «Ах, говорит, милостивый государь, вы вор, говорит, вы пришли меня обокрасть. Что вам угодно, чтобы я дело повел и в острог вас посадил, или, говорит, дадитесь, чтобы я высек вас, и расписку мне дадите, что претензии на то изъявлять не будете». Барин, нечего делать, дал в том расписку... Драли, драли мы его,— убежал после того бегом из стану, и никакими деньгами она его залучить теперь не может к себе... не идет, боится.

Вихров лежал на диване и слушал, охваченный кругом всеми этими событиями и образами, которые, как живые, вырастали перед ним из рассказов Доброва.

XI

ОБЪЯСНЕНИЕ

На другой день герой мой принялся уже за новую небольшую повесть. Он вывел отца-деспота, в котором кой-что срисовал с своего покойного отца, со стороны его военной строгости и грубости... У него сын влюбляется в крестьянку их и вместе с тем, как и Плавин, вероятно, это делал, ужасно боится этого и скрывает. Отец эту девушку выдает замуж за мужика, наказывает ее мать ста-

руху, зачем она допустила свидание дочери с сыном. Повесть эту Вихров назвал: «Кривцовский барин». Усадьба-то Кривцово из рассказов Доброва очень уж врезалась у него в памяти... Вихров в одно утро написал три главы этой повести и дал их переписать Доброву. Тот их прочел сначала и, по обыкновению, усмехнулся.

— Что, хорошо? — спросил Павел.

— Хорошо, так их и надо,— отвечал Добров.

К вечеру наконец Вихров вспомнил, что ему надобно было ехать в собрание, и, чтобы одеть его туда, в первый еще раз позван был находившийся в опале и пребывавший в кухне — Иван. Тот, разумеется, сейчас же от этого страшно заважничал, начал громко ходить по всем комнатам, кричать на ходивших в отсутствие его за барином комнатного мальчика и хорошенькую Грушу, и последнюю даже осмелился назвать *тварью*. Та от этого расплакалась. Вихров услыхал это, крикнул на него и обещался опять прогнать в скотную, если он слово еще посмеет пикнуть.

Иван замолчал.

Герой мой оделся франтом и, сев в покойный возок, поехал в собрание. Устроено оно было в трактирном заведении города; главная танцевальная зала была довольно большая и холодноватая; музыка стояла в передней и, когда Вихров приехал, играла галоп. У самых дверей его встретил, в черном фраке, в белом жилете и во всех своих крестах и медалях, старик Захаревский. Он нарочно на этот раз взялся быть дежурным старшиной.

— Милости прошу, просим милости,— говорил он, низко-низко кланяясь Вихрову.

Тот, пожав ему руку, молодцевато вошел в зало и каким-то орлом оглядел все общество: дам было много и мужчин тоже.

— Здесь вас ожидают ваши старые знакомые,— говорил Захаревский, идя вслед за ним.— Вот они!..— прибавил он, показывая на двух мужчин, выделившихся из толпы и подходящих к Вихрову. Один из них был в черной широкой и нескладной фрачной паре, а другой, напротив, в узеньком коричневого цвета и со светлыми пуговицами фраке, в серых в обтяжку брюках, с завитым хохолком и с нафабренными усиками.

— Живин! — воскликнул Вихров, узнавая в чернофрачном господине того самого Живина, который неко-

гда так восхищался его игрой на фортепьяно и о котором говорил ему Салов.

Живин в настоящее время очень потолстел и служил в уездном городе стряпчим, пребывая и до сего времени холостяком.

— А это вот тоже твой старый знакомый,— заговорил Живин, когда они поздоровались, и показывая на господина в коричневом фраке.

— Мы знакомы-с, хоть немножко и странно! — сказал тот, протягивая Вихрову руку.

Павел всмотрелся в него и в самом деле узнал в нем давнишнего своего знакомого, с которым ему действительно пришлось странно познакомиться — он был еще семиклассным гимназистом и пришел раз в общественную баню. В это время Вихров, начитавшись «Горя от ума», решительно бредил им, и, когда банщик начал очень сильно тереть его, он сказал ему:

— Ты три, да знай же меру!

— Это из «Горя от ума»? — отозвался вдруг на это другой господин, лежавший на другом полке.

— Из «Горя от ума»,— отвечал Павел.

— Вы кто такой? — продолжал господин.

— Я гимназист Вихров, а вы кто такой?

— Я помещик Кергель!.. Скажите, что в гимназии учат писать стихи?

— То есть правилам стихосложения,— учат.

— Бенедиктова читали вы стихи: «Кудри девы чародейки, кудри блеск и аромат»,— отличные стихи! — говорил Кергель, задирая на полке ноги вверх.

— Отличные! — подтвердил и Вихров: ему тоже очень нравились в это время стихи Бенедиктова.

Оказалось потом, что Кергель и сам пишет стихи, и одно из них, «На приезд Жуковского на родину», было даже напечатано, и Кергель не преминул тут же с полка и прочесть его Вихрову.

— Чудесно! — похвалил тот.

После этого они больше уже не видались.

Кергель теперь был заседателем земского суда в уездном городке и очень обрадовался Вихрову.

Здесь я не могу умолчать, чтобы не сказать несколько добрых слов об этих двух знакомых моего героя. В необразованном, пошловатом провинциальном мирке они были почти единственными представителями и отголоска-

ми того маленького ручейка мысли повозвышеннее, чувств поблагороднее и стремлений попоэтичнее, который в то время так скромно и почти таинственно бежал посреди грубой и, как справедливо выражался Вихров, солдатским сукном исполненной русской жизни. Живин, например, с первого года выписывал «Отечественные Записки», читал их с начала до конца, знал почти наизусть все статьи Белинского; а Кергель, воспитывавшийся в корпусе, был более наклонен к тогдашней «Библиотеке для чтения» и «Северной Пчеле». На своих служебных местах они, разумеется, не бог знает что делали; но положительно можно сказать, что были полезнее разных умников-дельцов уж тем, что не хапали себе в карман и не душили народ. Их любовь к литературе и поэзии все-таки развила в них чувство чести и благородства.

Вихров, сам не давая себе отчета, почему, очень обрадовался, что с ними встретился.

— В деревню совсем приехали — поселились,— говорил ему вежливо Кергель.

— В деревню-с,— отвечал Вихров.

— Я думал, брат, ехать к тебе, напомнить о себе,— говорил Живин,— да поди, пожалуй, не узнаешь!

— Как это возможно! — вскричал Вихров.

— Однако приезд нашего дорогого гостя надобно вспрыснуть шампанским! — говорил Кергель.

Он любил выпить, и выпить только этак весело, для удовольствия.

— Выпьем! — подтвердил и Живин, который тоже любил выпить, но только выпить солидно.

— Выпьемте, выпьемте! — подтвердил и Вихров.

И все отправились в буфет.

Захаревский несколько кошачьей походкой тоже пошел за ними. Он, кажется, не хотел покидать героя моего из виду, чтобы кто-нибудь не повлиял на него.

Кергель непременно потребовал, чтобы бутылка шампанского была от него.

Все чокнулись и выпили. Вежливый Кергель предложил также и Захаревскому:

— Почтеннейший Ардальон Васильич, не угодно ли вам с нами выпить?

Тот взял стакан, молча со всеми чокнулся и выпил.

— Ну, как же ты, друг милый, поживаешь? — спросил Вихров Живина.

— Что, брат, скучно; почитываю помаленьку — только и развлечение в том; вот, если позволишь, я буду к тебе часто ездить — человек я холостой.

— Непременно будем видаться! — сказал Вихров.— А вы стихотворения продолжаете писать? — обратился он к Кергелю.

— Книжка у меня напечатана; буду иметь честь презентовать вам ее,— отвечал тот.

— Позвольте, господа, и мне предложить бутылочку шампанского,— сказал Захаревский, тоже, как видно, не хотевший отстать в угощении приезжего гостя.

Все приняли его предложение и выпили.

У Вихрова уж и в голове стало немного пошумливать.

— Дамам бы нашего гостя надобно представить! — сказал Захаревский.

— Ах, да, непременно! — подхватил Кергель.— Прежде всего вот надо представить вас их прелестной дочери,— прибавил он Вихрову, указывая на Захаревского.

— Прошу вас! — сказал Вихров.

Все возвратились снова в зало. Старик Захаревский и Кергель подвели Вихрова к высокой девице в дорогом платье с брильянтами, видимо, причесанной парикмахером, и с букетом живых цветов в руке.

Эта была m-lle Юлия.

— Monsieur Вихров! — проговорил ей Захаревский.— Дочь моя! — сказал он Павлу, показывая на девушку.

Вихров поклонился ей, но о чем говорить с ней решительно не находился.

M-lle Юлии он показался совершенно таким, как описывала его m-lle Прыхина, то есть почти красавцем.

— Вы танцуете, monsieur Вихров? — начала она.

— Танцую-с,— отвечал он и понял, что ему сейчас следует пригласить ее на кадриль, что он и сделал.

Кергель стал ему визави, а Живин махнул только рукой, когда Вихров спросил его, отчего он не танцует.

— Нет, я не умею,— отвечал он и, отойдя в сторону, в продолжение всей кадрили как-то ласково смотрел на Павла.

— Monsieur Живин очень умный человек, но ужасный бука,— начала Юлия, становясь с Вихровым в паре и вместе с тем поправляя у себя на руке браслет.

Поинтересуйся этим ее движением хотя немного Вих-

ров, он сейчас бы увидел, что одна эта вещь стоит рублей тысячу.

Выпитое вино продолжало еще действовать в голове Павла: он танцевал с увлечением; m-lle Юлия тоже танцевала с заметным удовольствием, и хоть разговор между ними происходил немногосложный, но Юлия так его направила, что каждое слово его имело значение.

— Monsieur Вихров, я надеюсь, что вы будете у нас — у моего отца? — говорила она.

— Непременно-с, я обязан даже это сделать и заплатить вашему батюшке визит.

— Мы надеемся, что вы не по визитам только будете знакомы с нами, а посетите нас когда-нибудь и запросто, вечерком.

— Если позволите.

— Не мы вам позволяем, а вы нас этим обяжете... А вы, monsieur Вихров, я слышала, и музыкант отличный.

— Прежде играл, но теперь совершенно забыл,— отвечал он ей.

Прыхина успела уже отрекомендовать приятельнице своей, что Вихров и музыкант отличный, но об авторстве его умолчала, так как желала говорить об нем только хорошее, а писательство его они обе с Фатеевой, при всей своей любви к нему, считали некоторым заблуждением и ошибкою с его стороны.

По окончании кадрили к Вихрову подошел Кергель.

— Здешний голова желает с вами познакомиться,— проговорил он.

— Очень рад! — отвечал Павел.

Кергель снова попросил его следовать за ним в буфет. Вихров пошел.

— Пойдем! — мотнул при этом Кергель головою и Живину.

— Пойдем! — отвечал тот ему с улыбкою.

Вслед за ними пошел также опять и Захаревский: его уж, кажется, на этот раз интересовало посмотреть, что в ровную или нет станет Вихров тянуть с Кергелем и Живиным, и если в ровную, так это не очень хорошо!

Толстый голова, препочтенный, должно быть, купец, стоял около разлитого по стаканам шампанского.

— Пожалуйте! — сказал он, показывая Вихрову на один из стаканов и при этом вовсе не рекомендуясь и не знакомясь с ним.

Вихров стал было отказываться.

Но голова опять повторил: «Пожалуйте!» — и так настойчиво, что, видно, он никогда не отстанет, пока не выпьют. Вихров исполнил его желание. Почтенный голова был замечателен способностью своей напоить каждого: ни один губернатор, приезжавший в уездный городишко на ревизию, не уезжал без того, чтобы голова не уложил его в лежку. У Вихрова очень уж зашумело в голове.

— Господа, пойдемте танцевать галоп! — сказал он.

— Идем! Отлично! — воскликнул Кергель.

— Мне позвольте опять с вашей дочерью танцевать? — обратился Павел к Захаревскому.

— Совершенно зависит от вашего выбора, — отвечал тот.

— Пойдемте, друг милый, и вы потанцуете, — сказал Вихров Живину.

— Пойдем, черт возьми, и я потанцую! — отвечал тот, прибодряясь.

С ним почти всегда это так случалось: приедет в собрание грустный, скучающий, а как выпьет немного, сейчас и пойдет танцевать. Вихров подлетел к Юлии; та с видимым удовольствием положила ему руку на плечо, и они понеслись. Живин тоже несся с довольно толстою дамою; а Кергель, подхватив прехорошенькую девушку, сейчас же отлетел с ней в угол залы и начал там что-то такое выделывать *галопное* и вместе с тем о чем-то восторженно нашептывал ей. Он обыкновенно всю жизнь всегда был влюблен в какую-нибудь особу и писал к ней стихи. В настоящую минуту эта девица именно и была этою особою.

Вихров между тем сидел уже и отдыхал с своей дамой на довольно отдаленных креслах; вдруг к нему подошел клубный лакей.

— Вас спрашивают там, — сказал он.

— Кто такой?

— Спрашивают-с, — повторил лакей.

Вихров пошел.

M-lle Юлия с недоумением посмотрела ему вслед.

В передней Вихров застал довольно странную сцену. Стоявшие там приезжие лакеи забавлялись и перебрасывали друг на друга чей-то страшно грязный, истоптанный женский плисовый сапог, и в ту именно минуту, когда Вихров вошел, сапог этот попал одному лакею в лицо.

— Тьфу ты, черти экие, какой мерзостью в лицо кидаетесь,— говорил тот, утираясь и отплевываясь.

Увидев Вихрова, все лакеи немного сконфузились и перестали кидаться сапогом.

— Кто меня спрашивает? — спросил он.

— Барышня-с,— отвечал один из лакеев как-то неопределенно и провел его в соседнюю с лакейской комнату.

Там Вихров увидал m-lle Прыхину; достойная девица сия, видимо, была чем-то расстроена и сконфужена.

— Клеопаша приехала сюда, она очень больна и непременно сейчас желает вас видеть,— начала она каким-то торопливым голосом. Вихров знал Клеопатру Петровну и наперед угадывал, что это какая-нибудь выходка ревности.

— Не могу же я сейчас ехать,— это неловко! — проговорил он.

— Бога ради, сейчас; иначе я не ручаюсь, что она, может быть, умрет; умоляю вас о том на коленях!..— И m-lle Прыхина сделала движение, что как будто бы в самом деле готова была стать на колени.— Хоть на минуточку, а потом опять сюда же приедете.

— Да в самом ли деле она больна или капризничает?

— Больна, в самом деле больна! — повторила m-lle Прыхина.

Павел решился съездить на минуточку. Когда они вышли в переднюю, оказалось, что столь срамимые плисовые сапоги принадлежали Катишь, и никто из лакеев не хотел даже нагнуться и подать их ей, так что она сама поспешила, отвернувшись к стене, кое-как натянуть их на ногу. Загрязнены они особенно были оттого, что m-lle Прыхина, посланная своей подругой, прибежала в собрание пешком; Клеопатра Петровна не побеспокоилась даже дать ей лошадей своих для этого. Вихров, конечно, повез m-lle Прыхину в своем возке, но всю дорогу они молчали: Павел был сердит, а m-lle Прыхина, кажется, опасалась, чтобы чего-нибудь не вышло при свидании его с Фатеевой. На грязном постоялом дворе, пройдя через кучи какого-то навоза, они, наконец, вошли в освещенную одной сальной свечкой комнату, в которой Фатеева лежала на постели. Голова ее была повязана белым платком, намоченным в уксусе, глаза почти воспалены от слез. Вихрову сейчас, разумеется, сделалось жаль ее.

— Друг мой, что такое с вами? — говорил он, подходя к ней и, не стесняясь присутствием Прыхиной, целуя ее.

— Фу, как от вас вином пахнет; как вы, видно, там веселились! — проговорила Фатеева, почти отвертываясь от него.— Катишь, ты поди домой, мне нужно с ним вдвоем остаться,— перебила она.

— Хорошо, я пойду,— отвечала она и хотела было уже опять идти пешком.

— Да вы возьмите мой экипаж и доезжайте,— сказал ей Вихров.

— Ах, пожалуйста, благодарю, а то я вся по колена в снегу обродилась! — произнесла каким-то даже жалобным голосом Прыхина.

Вихров и Фатеева остались вдвоем.

— Вас увезли с балу; вы, вероятно, там танцевали с Юленькой Захаревской? — начала Клеопатра Петровна.

— Да, я с ней танцевал,— отвечал Вихров, ходя взад и вперед по комнате.

Фатеева, точно ужаленная змеей, попривстала на кровати.

— Послушайте,— начала она задыхающимся голосом,— у меня сил больше недостает выносить мое унизительное положение, в которое вы поставили меня: все знают, все, наконец, говорят, что я любовница ваша, но я даже этим не имею честь пользоваться, потому что не вижусь с вами совсем.

— Что же вы хотите этим сказать? — спросил Вихров, останавливаясь перед ней и смотря на нее.

— А то,— отвечала Фатеева, потупляя свои глаза,— что я умру от такого положения, и если вы хоть сколько-нибудь любите меня, то сжальтесь надо мной; я вас прошу и умоляю теперь, чтобы вы женились на мне и дали мне возможность по крайней мере в храм божий съездить без того, чтобы не смеялись надо мной добрые люди.

Если бы Клеопатра Петровна обухом ударила Вихрова по голове, то меньше бы его удивила, чем этими словами. Первая мысль его при этом была, что ответствен ли он перед этой женщиной, и если ответствен, то насколько. Он ее не соблазнял, она сама почти привлекла его к себе; он не отнимал у нее доброго имени, потому что оно раньше у нее было отнято. Убедившись таким образом в правоте своей, он решился высказать ей все прямо: выпитое шампанское много помогло ему в этом случае.

— На ваше откровенное предложение,— заговорил он слегка дрожащим голосом,— постараюсь ответить тоже совершенно откровенно: я ни на ком и никогда не женюсь; причина этому та: хоть вы и не даете никакого значения моим литературным занятиям, но все-таки они составляют единственную мою мечту и цель жизни, а при такого рода занятиях надо быть на все готовым: ездить в разные местности, жить в разнообразных обществах, уехать, может быть, за границу, эмигрировать, быть, наконец, сослану в Сибирь, а по всем этим местам возиться с женой не совсем удобно.

— Я бы вас ни в чем этом не стесняла и просила бы только на время приезжать ко мне; по крайней мере я была бы хоть не совсем униженная и презираемая всеми женщина.

— Вы больше бы, чем всякая другая женщина, стеснили меня, потому что вы, во имя любви, от всякого мужчины потребуете, чтобы он постоянно сидел у вашего платья. В первый момент, как вы мне сказали, я подумал было сделать это для вас и принести вам себя в жертву, но я тут же увидел, что это будет совершенно бесполезно, потому что много через полгода я все-таки убегу от вас совсем.

Слова: *принести себя в жертву, убегу совсем* — подняли в душе Клеопатры Петровны страшную бурю оскорбленного самолюбия.

— Зачем же вам это делать? — начала она насмешливо.— Если вы так меня понимаете, зачем же вы и бываете у меня? Вы лучше меня оставьте совсем, и теперь, пожалуйста, уходите от меня.

Вихров на это усмехнулся только и вместо ухода сел около Клеопатры Петровны.

— Нет-с, не уйду я от вас,— начал он,— и потому именно, что знаю вас лучше, чем вы знаете самое себя: вам тяжелее будет, чем мне, если мы расстанемся с вами навсегда.

— Не слишком ли самонадеянно это сказано? — перебила его опять насмешливо Фатеева.

— Нет, не самонадеянно, потому что у меня много еще в жизни впереди занятий и развлечений, а что такое в вашей перспективе жизни осталось, я не знаю!

— Что же я, по-вашему, такая старуха и такая безобразная, что не могу обратить на себя ничьего внимания?

— Вовсе не потому; напротив, вы молоды и красивы, но я вас настолько уважаю, что убежден в том, что вы ничьего внимания, кроме моего, не хотите и не желаете видеть!

— Да, это было так, когда я думала, что вы любите меня, а теперь не то...

— Я и теперь вас люблю.

— Какая любовь пылкая, в самом деле!

— Пылкая настолько, насколько вообще я способен любить женщину.

Клеопатра Петровна прислушалась к этим его последним словам.

— Я не верю вам, чтобы вы никакой другой женщины, кроме меня, теперь не любили,— проговорила она.

— Уверяю вас, что не люблю!

— Поклянитесь мне в том!

— Клянусь!

— И вам, значит, лишиться меня все-таки тяжело будет?

— Очень!

Лицо Клеопатры Петровны заметно просветлело

— И, чтобы доказать ваши слова, не извольте сегодня уезжать на бал; я вас не пущу.

Вихров послушался ее и не поехал в собрание. Клеопатра Петровна на другой день рано утром ехала из города в свою усадьбу; по ее молодому лбу проходили морщины: кажется, она придумывала какой-то новый и довольно смелый шаг!

XII

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ТОЛКОВАТЕЛИ О ЛИТЕРАТУРЕ

Нечаянный и быстрый отъезд Вихрова из собрания остался далеко не незамеченным, и больше всех он поразил и почти испугал добродушного Кергеля, который нарочно сбегал в переднюю, чтобы узнать, кто именно приходил за Вихровым, и когда ему сказали, что—m-lle Прыхина, он впал в крайнее недоумение. «Неужели же у него с этой госпожой что-нибудь было?» — подумал он, хотя господин Кергель, как увидим мы это впоследствии, вовсе не должен был бы удивляться тому!.. Не ограничиваясь расспросами в передней, он сбегал вниз и узнал

от кучеров, куда именно поехал Вихров; те сказали ему, что на постоялый двор, он съездил на другой день и на постоялый двор, где ему подтвердили, что воздвиженский барин действительно приезжал и всю ночь почти сидел у г-жи Фатеевой, которая у них останавливалась. Сомнения теперь не оставалось никакого. Кергель о всех этих подробностях, и не столько из злоязычия, сколько из любви и внимания к новому приятелю, стал рассказывать всему городу, а в том числе и Живину, но тот на него прикрикнул за это.

— Твое пуще дело; лучше бы молчал.

— Да я, кроме тебя, никому и не говорил,— солгал Кергель.

— Не говорил уж, я думаю,— возразил Живин, зная хорошо болтливость приятеля.

Слухи эти дошли, разумеется, и до Юленьки Захаревской; она при этом сделала только грустно-насмешливую улыбку. Но кто больше всех в этом случае ее рассердил — так это Катишь Прыхина: какую та во всей этой истории играла роль, на языке порядочной женщины и ответа не было. Юлия хотя была и совершенно чистая девушка, но, благодаря дружбе именно с этой m-lle Прыхиной и почти навязчивым ее толкованиям, понимала уже все.

Вихров между тем окончательно дописал свои сочинения; Добров переписал ему их, и они отправлены уже были в одну из редакций. Герой мой остался таким образом совершенно без занятий и в полнейшем уединении, так как Добров отпросился у него и ушел в село к священнику, помочь тому в работе.

В одно утро, наконец, комнатный мальчик доложил ему, что приехали гости — Живин и Кергель.

Вихров от души обрадовался приезду их.

— Очень рад вас, господа, видеть,— сказал он, выходя к ним навстречу.

Оба приятеля явились к нему одетые: один — в черной фрачной паре, а другой — в коричневом фраке.

Они делали Вихрову еще первый визит.

— Вы так тогда нечаянно из собрания исчезли,— говорил лукаво Кергель, как бы ничего не знавший и не ведавший.

— Да, мне нужно было уехать,— отвечал уклончиво Вихров.— Однако, господа,— прибавил он, увидев, что

пошевни гостей отъехали только недалеко от крыльца, но не раскладывались,— я надеюсь, что вы у меня сегодня отобедаете, а не на минутный визит ко мне приехали?

— Я, пожалуй; у меня дома дожидаться некому; одна собака, да и та, я думаю, убежала куда-нибудь,— отвечал Живин.

— А у меня хоть и есть кому, но дожидаться не будут! — произнес ветреный Кергель и по просьбе Вихрова пошел распорядиться, чтобы лошадей его отложили. Возвратясь обратно, он вошел с каким-то более солидным и даже отчасти важным видом.

— Позвольте вам презентовать, как истинному приятелю и почтенному земляку,— говорил он, подходя к Вихрову и подавая ему небольшую розовую книжку,— это моя муза, плоды моего вдохновения.

Во все это время Живин держал глаза опущенными вниз, как будто бы ему было стыдно слов приятеля.

Вихров поблагодарил автора крепким пожатием руки и сначала посмотрел на розовую обертку книжки: на ней изображены были амуры, розы, лира и свирель, и озаглавлена она была: «Думы и грезы Михаила Кергеля». Затем Вихров стал перелистывать самую книжку.

— Русская песня! — прочел он уже вслух:

Ее дивная краса,
Как родные небеса,
Душу радуют во мне.

Потом он перевернул еще несколько страниц и прочел:

И рыцарь надменный выходит в арену,
И щит он стоглавый несет пред собою!

— Как вам стих, собственно, нравится,— звучен? — спрашивал несколько изменившийся в лице Кергель.

— Очень,— отвечал Вихров,— но что значит этот стоглавый щит; есть, кажется, только стоглавый змей.

— А вот этот-то стоглавый змей и изображен на щите, все его сто голов, и как будто бы они, знаете, защищают рыцаря! — объяснил Кергель.

— Понимаю! — сказал Вихров.

Живин мельком взглянул на Вихрова, как бы желая угадать, что это он искренно говорит, или смеется над Кергелем.

Вскоре после того вошел Иван и доложил, что стол готов.

Хозяин и гости вышли в зало и уселись за обед.

— Скажите, пожалуйста,— продолжал и здесь Кергель свой прежний разговор,— вы вот жили все в Москве, в столице, значит: какой там поэт считается первым нынче?

— Пушкин,— проговорил Вихров.

— Второй за ним? — сказал Кергель.

— Лермонтов! — отвечал Вихров.

— Что я говорил, а?.. Правду или нет? — подхватил с удовольствием Живин.

— Что ж, но я все-таки,— начал несколько опешенный Кергель,— остаюсь при прежнем мнении, что Кукольник тоже растет не по дням, а по часам!.. Этот теперь его «Скопин-Шуйский», где Ляпунов говорит Делагарди: «Да знает ли ваш пресловутый Запад, что если Русь поднимется, так вам почудится седое море!» Неужели это не хорошо и не прямо из-под русского сердца вырвалось?

— Нет, не хорошо, и вовсе не из-под сердца вырвалось,— отвечал Вихров.

— Про все драмы господина Кукольника «Отечественные Записки» отлично сказали,— воскликнул Живин,— что они исполнены какой-то скопческой энергии!

— Именно скопческой! — согласился и Вихров.

Кергель пожал только плечами.

— Нынче уж мода на патриотизм-то, брат, прошла! — толковал ему Живин.— Ты вот прочти «Старый дом» Огарева и раскуси, что там написано.

— Читал и раскусил! — отвечал Кергель, краснея немного в лице: он в самом деле читал это стихотворение, но вряд ли раскусил, что в нем было написано.

— Так, господа, ведь можно все критиковать,— продолжал он,— и вашего Пушкина даже, которого, по-моему, вся проза — слабая вещь.

— Как Пушкина проза слабая вещь? — переспросил его Вихров.

— Слабая! — повторил настойчиво Кергель.

— А повестями Марлинского восхищается,— вот поди и суди его! — воскликнул, кивнув на него головой, Живин.

— Я судить себя никому и не позволю! — возразил ему самолюбиво Кергель.

— Да тебя никто и не судит,— сказал насмешливо Живин,— а говорят только, что ты не понимаешь, что, как сказал Гоголь, равно чудны стекла, передающие

движения незаметных насекомых и движения светил небесных!

— Никогда с этим не соглашусь! — воскликнул, в свою очередь, Кергель.— По крайней мере, поэзия всегда должна быть возвышенна и изящна.

— В поэзии прежде всего должна быть высочайшая правда и чувств и образов! — сказал ему Вихров.

— А, с этим я совершенно согласен! — пояснил ему вежливо Кергель.

— Как же ты согласен? — почти закричал на него Живин.— А разве в стихах любимого твоего поэта Тимофеева где-нибудь есть какая-нибудь правда?

— Есть,— отвечал Кергель, покраснев немного в лице.— Вот-с разрешите наш спор,— продолжал он, снова обращаясь вежливо к Вихрову,— эти стихи Тимофеева:

Степь, чей курган?
Ураган спроси!
Ураган, чей курган?
У могилы спроси!

Есть тут поэзия или нет?

— Никакой! — отвечал Вихров.

Кергель пожал плечами.

— На это можно сказать только одну пословицу: «Chaque baron a sa fantasie!»[1] — прибавил он, начиная уже модничать и в душе, как видно, несколько обиженный. Вихрову, наконец, уж наскучил этот их разговор об литературе.

— Чем нам, господа, перепираться в пустом словопрении,— сказал он,— не лучше ли выпить чего-нибудь... Чего вы желаете?

— Я всему на свете предпочитаю шипучее,— отвечал Кергель.

— Жженку бы теперь лучше всего,— произнес Живин.

— И то не дурно,— согласился Кергель.

— Жженка так жженка,— сказал Вихров и, пригласив гостей перейти в кабинет, велел подать все, что нужно было для жженки.

Кергель взялся приготовить ее и, засучив рукава у своего коричневого фрака, весьма опытной рукой обрезал кожу с лимонов, положил сахар на две железные палочки и, пропитав его ромом, зажег.

---

[1] «У каждого барона своя фантазия!» (*франц.*)

Синеватое пламя осветило всю комнату, в которой предварительно погашены были все свечи.

— Раз, два, три! — восклицал Живин, как бы из «Волшебного стрелка», всякий раз, как капля сахару падала.

Вихров между тем все более и более погружался в невеселые мысли: и скучно-то ему все это немножко было, и невольно припомнилась прежняя московская жизнь и прежние московские товарищи.

— Ах, студенчество, студенчество, как жаль, что ты так скоро миновалось! — воскликнул он, раскидываясь на диване.

— А как мне-то, брат, жаль, я тебе скажу,— подхватил и Живин, почти с неистовством ударяя себя в грудь,— просто я теперь не живу, а прозябаю, как животное какое!

Кергель все это время напевал негромко стихотворение Бенедиктова, начинавшееся тем, что поэт спрашивал какую-то Нину, что помнит ли она то мгновенье, когда он на нее смотрел.

Иль, мечтательный, к окошку
Прислонясь, летунью-ножку
Думой тайною следил...—

мурлыкал Кергель и на слове *летунью-ножку* делал, по преимуществу, ударение, вероятно, припоминая ножку той молоденькой барышни, с которой он в собрании в углу выделывал что-то галопное. Наконец жженка была сварена, разлита и роздана присутствующим.

— Живин, давай петь нашу священную песнь «Gaudeamus igitur»[1]! — воскликнул Вихров.

— Давай, — подхватил тот радостно.

— А вы ее знаете? — обратился Вихров к Кергелю.

— Немножко знаю, подтяну, — сказал тот.

Все запели, хоть и не совсем складными голосами, но зато с большим одушевлением.

Живин в такой пришел экстаз, что, встав с своего места, начал петь одну известную студенческую переделку.

— Pereat justitia! — восклицал он, тыкая себя в грудь и намекая тем на свое стряпчество.

— Pereat policia! — разразился он еще с бо̀льшим

---

[1] «Gaudeamus igitur» («Будем радоваться») — первая строчка известной средневековой студенческой песни. Здесь приведена в переделке. Pereat justitia! — Да погибнет суд! Pereat policia! — Да погибнет полиция!

гневом, указывая уже на Кергеля, как на члена земского суда.

Иван, горничная Груша и старуха ключница стояли потихоньку в зале и не без удовольствия слушали это пение.

— В Москве барин каждый день так веселился! — не утерпел и прихвастнул Иван.

После пения разговор перешел на разные сердечные отношения. Кергель, раскрасневшийся, как рак, от выпитой жженки, не утерпел и ударил Павла по плечу.

— А я немножко знаю одну вашу тайну,— сказал он.

Живин посмотрел на него сердито: ему казалось подлым так насильственно врываться в сердце другого.

— Какую же это? — спросил Вихров полусконфуженно.

— А такую, что к кому вы уезжали из собрания.

Живин окончательно вышел из себя.

— Если он тебе это говорит, так и ты его спроси, — сказал он, обращаясь к Вихрову, — как он сам ездил к mademoiselle Прыхиной.

Кергель вспыхнул.

— Как, к mademoiselle Прыхиной?! — воскликнул Вихров, удивленный и вместе с тем почему-то обрадованный этим известием.

— Больше году с ней амурничал! — подхватил Живин.

— Меньше, — отвечал Кергель, несколько поправившийся и желавший придать этому разговору вид шутки.

— Но скажите, как же вам пришла в голову мысль победить ее? — спросил Вихров.

— Что ж, она девушка так себе, ничего,— отвечал Кергель, — чувствительна только уж очень.

— Все стихами его восхищалась, — пояснил Живин.

— И что же, она вас первого полюбила? — допрашивал Вихров Кергеля.

— Разумеется, — отвечал тот, как бы даже удивленный этим вопросом.

— И была пылка в любви? — продолжал Вихров.

— Ужасно, ужасно! — воскликнул на это Кергель.— Этим, признаюсь, она меня больше...

И он не докончил своей мысли, а сделал только гримасу.

— Первое-то время, — продолжал зубоскалить Жи-

вин, — как он покинул ее, видеть его не могла; если лошадь его проедет мимо окна, сейчас в обморок упадет.

— Говорят, говорят! — отвечал, усмехаясь, Кергель. — Но что ж было делать,— натуру человеческую не переломишь.

— Опротивела, значит? — проговорил Вихров.

— Невыносимо! — подтвердил Кергель.

Таким образом приятели разговаривали целый вечер; затем Живин и Кергель отужинали даже в Воздвиженском, причем выпито было все вино, какое имелось в усадьбе, и когда наконец гости уселись в свои пошевни, чтоб ехать домой, то сейчас же принялись хвалить хозяина.

— Чудного сердца человек, чудного! — восклицал Кергель.

— Еще бы! — подтверждал с удовольствием Живин и после этого визита весьма часто стал бывать в Воздвиженском.

Видимо, что он всей душой привязался к Вихрову, который, в свою очередь, увидев в нем очень честного, умного и доброго человека, любящего, бог знает как, русскую литературу и хорошо понимающего ее, признался ему, что у него написаны были две повести, и просил только не говорить об этом Кергелю.

— Что ему говорить: разболтает он только всем,— произнес Живин.

Вихров дал ему даже на дом прочесть свои черновые экземпляры; Живин читал их около недели, и когда приехал к Вихрову, то имел лицо серьезнее обыкновенного.

— Не знаю, — начал он, по обыкновению своему, несколько запинающимся языком, — я, конечно, не компетентный судья, но, по-моему, это лучше всего, что теперь печатается в журналах.

— Ты думаешь? — спросил его не без удовольствия Вихров.

— Более чем думаю, — уверен в том, — подтвердил окончательно Живин.

— Увидим, — произнес Вихров и вздохнул.

Ему и не мечталось даже о подобном счастье.

Невдолге после того он признался Живину также и в своих отношениях к m-me Фатеевой.

— Слышал это я, — отвечал тот с улыбкой.

Тон голоса его при этом показался Вихрову недостаточно уважительным.

— А ты видал ее? — спросил он.

— Видал, — протянул Живин.

— Что же она: понравилась тебе?

— Да, ничего, понравилась, — отвечал Живин. — Тут вот про нее болтали, что она, прежде чем с тобой, с каким-то барином еще жила.

— Это совершенная правда, но что же тут такое? Женщина ни перед одним мужчиной не ответственна за свое прошлое, если только она не любила его тогда.

— Разумеется, — подтвердил Живин.

По своим понятиям он, как и Вихров, был чистый жоржзандист.

— Тогда, как ты к ней из собрания уехал...— продолжал Живин, — поднялись по городу крики... стали говорить, что ты женишься даже на ней, и больше всех это огорчило одного доктора у нас молоденького.

— Который лечил ее мужа? — спросил Вихров, припомнив как-то вскользь слышанные им слова Фатеевой и Прыхиной о каком-то докторе.

— Тот самый, — отвечал Живин.

— Что же, он влюблен, что ли, в нее?

— Да, влюблен.

— А она отвечала ему?

— Это уж я не знаю, — сказал с улыбкою Живин.

Вихрову сделалось тяжело продолжать долее этот разговор.

XIII

ВЫБИРАЙ ЛЮБОЕ!

Время стало приближаться к весне. Воздвиженское с каждым днем делалось все прелестней и прелестней: с высокой горы его текли целые потоки воды, огромное пространство виднеющегося озера почти уже сплошь покрылось синеватою наслюдою. Уездный город стоял целый день покрытый как бы туманом испарений. Огромный сад Воздвиженского весь растаял и местами начинал зеленеть. Все деревья покрылись почками, имеющими буроватый отлив. Грачи вылетали из свитых ими на деревьях гнезд и весело каркали.

Первое апреля был день рождения Клеопатры Петров-

ны, и Вихров решился съездить к ней на этот день. Хоть всего ему надобно было проехать каких-нибудь двадцать верст, но он выехал накануне, так как дорога предстояла в некоторых местах не совсем даже безопасная. По низовым лугам усадьбы «Пустые Поля» она шла наподобие черной ленты, а по сторонам ее лежал снег, как каша, растворенный в воде. На самой дороге во многих местах были зажоры, так что лошади почти по брюхо уходили в них, а за ними и сани с седоками. Впереди ехал Ванька, который до самой шеи был уже мокрый. Вихров вставал на ноги, когда сани его опускались в зажору. Петр, видимо, выбился из сил, не зная, как и куда направлять лошадей; те, в свою очередь, были все в пене; но в воздухе было превосходно: солнце сильно пекло, повсюду пахнуло каким-то теплом и весной. Жаворонок высоко взвивался и пел, летели уже и гуси и утки на север. В Зенковском лесу дорога пошла боковиком, так что Вихров принужден был держаться за одну сторону саней, чтобы не вывалиться из них; а Ванька так беспрестанно и вываливался. Санишки у него были без отводов, а держаться он не мог, потому что правил лошадью. Когда они миновали лес, то им всего оставалось какие-нибудь два—три поля; но — увы! — эти поля представляли вряд ли не самый ужасный путь из всего ими проеханного. По случаю заувеи от леса, на них очень много было снегу; езды по ним было довольно мало, поэтому дорога была на них совершенно не утоптана, и лошади проваливались на каждом шагу. Вихров видеть не мог бедных животных, которые и ноги себе в кровь изодрали и губы до крови обдергали об удила. Ванька в этом случае сделал благоразумнее Петра: он и править своей лошадью не стал, а ограничился только тем, что лег вниз грудью в сани и держался обеими руками за окорчева и только по временам находил нужным выругать за что-то лошадь. «Ишь, дьявол этакой, как идет!» — произносил он, когда его очень уж толкало. Но вот наконец добрались и до Перцова. Ивана в последний раз толкнуло в воротцах усадебных, так что он опять чуть не вылетел, и они подъехали к крыльцу. Проворно взбежав по лестнице, Вихров сбросил с себя в передней загрязненную, замоченную шубу; но Клеопатра Петровна не выходила что-то на этот раз его встречать, а вместо нее вышла одна только горничная Маша.

— Где барыня? — спросил он ту.

— В гостиной, — отвечала Марья, искоса посматривая на вошедшего за барином Ивана.

Вихров поспешно прошел в гостиную.

— Ах, вот это кто приехал! — воскликнула Клеопатра Петровна, увидя его.

Она, как увидел Вихров, играла в карты с Катишь Прыхиной и с каким-то молодым человеком очень маленького роста.

— Ни грязь, ни теснота, никакая мирская суета не удержали меня приехать к вам! — говорил Вихров, подходя и целуя ее руку.

— Еще бы вы не приехали,— сказала Клеопатра Петровна.— Это monsieur Цапкин, доктор наш! — отрекомендовала она Вихрову молодого человека.— Вихров! — прибавила она тому.

Павел сейчас же припомнил, что ему говорил Живин, и его немножко покоробило.

— Здравствуйте, Вихров! — сказала Павлу m-lle Прыхина совершенно дружественно и фамильярно: она обыкновенно со всеми мужчинами, которых знала душу и сердце, обращалась совершенно без церемонии, как будто бы и сама была мужчина.

— Хотите пристать к нам? — сказала Фатеева: они играли в преферанс.

— Сделайте одолжение,— отвечал Вихров.

— Monsieur Цапкин, сколько у вас? — спросила Фатеева, перегибаясь к нему на стол и смотря на его ремизы.

Тон голоса и манера m-me Фатеевой, с которой она это сделала, показались Вихрову как-то подозрительны.

— Сто сорок восемь-с,— отвечал доктор солидным и немножко даже мрачным голосом. Вихрову он показался в одно и то же время смешон и противен.

Начали играть. M-me Фатеева явно взмахивала иногда глазами на доктора, а тот на нее, в свою очередь, упорно уставлял на несколько минут свой взор.

Вихрова окончательно стало это выводить из терпения, и он почему-то всю злобу свою — впоследствии он очень раскаивался в этом,— всю свою злобу вздумал выместить на m-lle Прыхиной.

— А я вам поклон привез,— сказал он.

— От кого? — спросила та на первых порах совершенно спокойно.

— От Кергеля,— отвечал Вихров.

При этом Клеопатра Петровна и доктор даже с некоторым испугом взглянули на него и m-lle Прыхину.

— Очень благодарна, что вспомнил меня,— отвечала Прыхина, едва совладевая с собой и вся покраснев.

— Он мне читал стихи, которые когда-то писал к вам,— продолжал немилосердно Вихров.

— Он может писать мне стихи или не писать,— мне это все равно! — отвечала бедная девушка и затем, со слезами уже на глазах, обратилась к Фатеевой:

— Извини, ma chére, я не могу пока играть,— произнесла она и, чтобы совсем не разрыдаться, проворно вышла из гостиной.

— Зачем вы это ей сказали! — проговорила Клеопатра Петровна с укором Вихрову.

— Что такое сказал я? — спросил он, стараясь представить, что говорил без умыслу.

— А то, что этот негодяй ее погубил, а вы еще смеетесь над ней,— пояснила Фатеева.

— Женщина в таком положении может возбуждать только сожаление и участие,— произнес опять с важностью доктор.

— Разумеется,— согласилась с ним и Клеопатра Петровна.

«Как она спелась с этим господином!» — подумал Вихров.

— С большим бы удовольствием изъявил ей и мое участие и сожаление, если бы только знал это прежде,— проговорил он вслух.

— Ну, так знайте теперь и не говорите ей никогда больше об этом! — подтвердила Фатеева.

Катишь возвратилась; она умылась, поправила себе прическу и опять села играть; на Вихрова она заметно дулась.

— Ну, помиримтесь,— сказал он ей.

— Ни за что! Вы очень больно ужалили меня,— возразила Прыхина и затем сейчас же как бы совсем занялась игрой в карты.

Злоба в душе героя моего между тем все еще продолжалась, и он решился перенесть ее на доктора.

— Вы Московского университета? — спросил он.

— Московской академии,— отвечал тот.

— И здесь уездным врачом?

Доктор мотнул ему головой.

— Monsieur Цапкин так был добр,— вмешалась в разговор m-me Фатеева,— что во время болезни моего покойного мужа и потом, когда я сама сделалась больна, никогда не оставлял меня своими визитами, и я сохраню к нему за это благодарность на всю жизнь! — прибавила она уже с чувством и как-то порывисто собирая карты со стола.

Вихрова это еще более взбесило.

— Каким же бы образом молодой врач отказал в совете и в помощи такой милой и молодой даме,— это было бы даже неестественно,— проговорил он.

— Для врачей нет ни молодых, ни старых; они должны всем давать советы,— произнес серьезно доктор.

— Да, но это только нравственное правило, которое в жизни далеко не исполняется.

— Не знаю,— сказал доктор с усмешкой,— по крайней мере я в жизни исполнял это правило.

— Честь вам и слава за то! — произнес Вихров.

За ужином Клеопатра Петровна тоже была заметно внимательна к доктору и вряд ли даже относилась к нему не любезнее, чем к самому Павлу.

— Вы ничего, доктор, не кушаете,— говорила она, уставляя на него свои светлые глаза.

— О, нет, я уже ел довольно! — отвечал тот, заметно модничая и не теряя своей важности.

Когда после ужина стали расходиться, Вихров, по обыкновению, вошел в отводимый ему всегда кабинет и, к удивлению своему, увидел, что там же постлано было и доктору. Он очень хорошо понял, что это была штука со стороны Клеопатры Петровны, и страшно на нее рассердился. Сейчас же улегшись и отвернувшись к стене, чтобы только не видеть своего сотоварища, он решился, когда поулягутся немного в доме, идти и отыскать Клеопатру Петровну; и действительно, через какие-нибудь полчаса он встал и, не стесняясь тем, что доктор явно не спал, надел на себя халат и вышел из кабинета; но куда было идти,— он решительно не знал, а потому направился, на всякий случай, в коридор, в котором была совершенная темнота, и только было сделал несколько шагов, как за что-то запнулся, ударился ногой во что-то мягкое, и вслед за тем раздался крик:

— Ой, батюшки!.. Господи!.. Что это такое!?.

Оказалось, что Вихров попал ногой прямо в живот

спавшей в коридоре горничной, и та, испугавшись, куда-то убежала. Он очень хорошо видел, что продолжать далее розыски было невозможно: он мог перебудить весь дом и все-таки не найти Клеопатры Петровны.

С самой искренней досадой в душе герой мой возвратился опять в кабинет и там увидел, что доктор не только не спал, но даже сидел на своей постели.

— Куда это вы ходили? — спросил он его явно встревоженным голосом.

— Куда надо было! — отвечал ему лаконически Вихров, снова ложась на постель и отвертываясь к стене; но потом он очень хорошо слышал, что доктор не спал почти всю ночь и, как кажется, стерег его.

Поутру Клеопатра Петровна предположила со всеми своими гостями ехать в церковь к обедне; запряжены были для этого четвероместные пошевни. Когда стали усаживаться, то так случилось, что против Клеопатры Петровны очутился не Вихров, а доктор. В прежнее время она никак бы не допустила этого сделать; кроме того, Вихров с большим неудовольствием видел, что в ухабах, когда сани очень опускались вниз, Клеопатра Петровна тоже наклонялась и опиралась на маленького доктора, который, в свою очередь, тоже с большим удовольствием подхватывал ее. В продолжение обедни Вихров неоднократно замечал бросаемые, конечно, украдкой, но весьма знаменательные взгляды между Клеопатрой Петровной и доктором, и когда поехали назад, то он почти оттолкнул доктора и сел против Клеопатры Петровны. Он старался поймать при этом своею ногою ее ножку и подавить ее; но ему тем же не ответили.

Все это, что мы рассказываем теперь с некоторою веселостью, в герое моем в то время производило нестерпимое мучение. Он в одно и то же время чувствовал презрение к Клеопатре Петровне за ее проделки и презрение к самому себе, что он мучился из-за подобной женщины; только некоторая привычка владеть собой дала ему возможность скрыть все это и быть, по возможности, не очень мрачным; но Клеопатра Петровна очень хорошо угадывала, что происходит у него на душе, и, как бы сжалившись над ним, она, наконец, оставила его в зале и проговорила:

— Вам сегодня приготовлено в другой комнате; приходите после ужина в чайную.

Слова эти несказанно обрадовали Вихрова. В одно мгновение он сделался весел, разговорчив. Ему всего приятнее было подумать, что в каких дураках останется теперь г-н доктор.

После ужина горничная, в самом деле, ему показала другую комнату, отведенную для него, но он в ней очень недолго пробыл и отправился в чайную. Клеопатра Петровна сидела уже там и молча ему указала на место подле себя.

— Послушайте! — начала она.— Я позвала вас сюда...— тон ее показался Вихрову странным...— позвала, чтобы серьезно поговорить с вами.

— Что такое? — спросил ее Вихров как можно более простым образом и беря ее за руку.

Она не отнимала у него своей руки.

— Я хотела вам сказать,— продолжала Клеопатра Петровна,— как и прежде говорила, что мне невыносимо становится мое положение; я никуда не могу показаться, чтобы не видеть оскорбительных взглядов... Жениться на мне вы не хотите, так как считаете меня недостойною этой чести, и потому — что я такое теперь? — потерянная женщина, живущая в любовницах, и, кроме того, дела мои все запутаны; сама я ничего в них не смыслю, пройдет еще год, и я совсем нищей могу остаться, а потому я хочу теперь найти человека, который бы хоть сколько-нибудь поправил мою репутацию и, наконец, занялся бы с теплым участием и моим состоянием...

Вихров закусил губы при этом.

— Что же вы господина доктора для того выбираете? — спросил он.

— Может быть, и его! — сказала Фатеева.

Вихров несколько времени молчал. Он очень хорошо видел, что скажи он только Клеопатре Петровне, что женится на ней — и она прогнала бы от себя всех докторов на свете; но как было сказать это и как решиться на то, когда он знал, что он наверное ее разлюбит окончательно и, пожалуй, возненавидит даже; злоупотреблять же долее этой женщиной и оставлять ее своей любовницей ему казалось совестно и бесчеловечно.

— Ну, бог с вами, делайте, как знаете! — проговорил он.

При этих словах Клеопатра Петровна уже вздрогнула.

— И вам не тяжело это сказать мне? — спросила она.

— Очень тяжело,— отвечал он,— но другого ничего не могу придумать.

Клеопатра Петровна грустно усмехнулась.

— В таком случае — прощайте! — произнесла она.

Вихров ничего ей не сказал, а только посмотрел на нее. Затем они пожали друг у друга руку и, даже не поцеловавшись на прощанье, разошлись по своим комнатам. На другой день Клеопатра Петровна была с таким выражением в лице, что краше в гроб кладут, и все еще, по-видимому, надеялась, что Павел скажет ей что-нибудь в отраду; но он ничего не сказал и, не оставшись даже обедать, уехал домой.

XIV
ВЕЧЕР У ЗАХАРЕВСКИХ

Описанное мною объяснение происходило, кажется, между двумя только лицами, но, тем не менее, об нем в весьма непродолжительном времени узнали весьма многие. Сначала сама Клеопатра Петровна не вытерпела от гнева и горя и рассказала все m-lle Прыхиной. Та, в свою очередь, по чувству дружбы своей, пришла в не меньший ее гнев, и когда приехала в город, то сейчас же отправилась к Захаревским. Юлия приняла ее сначала довольно сухо, но m-lle Прыхина, не откладывая ни минуты, начала рассказывать, во-первых, об отношениях Фатеевой к Вихрову, во-вторых, о том, какое последовало между ними объяснение. M-lle Юлия вдруг захохотала: «Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!» — почти до истерики хохотала, так что m-lle Прыхина уставила на нее свои глаза и начала сильно вбирать воздух своим огромным носом, что она всегда делала, когда чем-нибудь была очень удивлена или огорчена.

M-lle Юлия наконец остановилась смеяться.

— Так это она сама ему делала предложение, и он не принял его? — проговорила наконец она.

— Да, не принял, и поэтому подло и низко поступил.

— Почему же подло? Я полагаю, благоразумно! — сказала Юлия, поднимая немного вверх свои плечи.

— Соблазнить, изменить и бросить женщину — это, по-твоему, не подло? Вы, Юлия, еще молоды, и потому о многом еще не можете и судить!..— И m-lle Прыхина приняла даже при этом несколько наставнический тон.—

Вот, когда сами испытаете что-нибудь подобное в жизни, так и поймете, каково это перенести каждой женщине и девушке.

— Тут и судить нечего,— возразила Юлия,— если женщина сама делает предложение мужчине, то она должна ожидать, что, может быть, он его и не примет! Припомните княжну и Печорина,— как он с ней поступил!

— Тоже подло!..— подхватила Прыхина.

Юлии, наконец, наскучило с ней болтать. Ее, кажется, гораздо более всех этих разговоров занимал сам m-r Вихров.

— Что он будет делать теперь, интересно, живя в деревне один-одинешенек? — спросила она как бы самое себя.

— Сочинять будет! Сочиненьями своими будет заниматься,— произнесла почти с ожесточением Прыхина.

— А он сочиняет? — спросила Юлия с вспыхнувшим взором.

— Да, как же! — отвечала Прыхина.— Но только я ничего хорошего не нахожу в его сочинениях.

— В каком же роде он пишет: стихами или прозой?

— Прозой! Роман сочинил, и как в этом случае мило поступил: есть там у него в Москве какая-то дрянная знакомая девчонка, он описал ту в романе и бог знает как расхвалил, да и читает Клеопаше,— приятно той было слушать это!

Про это Прыхиной рассказала Клеопатра Петровна, передавая ей разные обвинения против Вихрова.

— Я непременно поговорю с ним об его сочинениях,— продолжала опять больше сама с собою Юлия.

— И ничего интересного не услышишь,— заметила ей с насмешкой Прыхина, и затем, заметив, что все уже интересное для Юлии рассказала, она встала, простилась с ней и побежала еще к одной своей подружке, чтоб рассказать ей об этом же. Катишь каждою новостью любила поделиться со всеми своими приятельницами.

Юлия в тот же день за обедом рассказала отцу все, что передавала ей Прыхина.

Старик Захаревский усмехнулся только.

— Да не врет ли она, пожалуй! — заметил он с некоторой долей сомнения.

— Нет, не врет! — отвечала положительно дочь.

— Я бы, папочка,— сказала Юлия к концу обеда более обыкновенного ласковым голосом и когда сам Захаревский от выпитых им нескольких рюмок вина был в добром расположении духа,— я бы желала на той неделе вечер танцевальный устроить у нас.

— Можно! — сказал старик, опять сразу поняв намерение дочери.

— Только чтобы уж хорошенький был, папочка! Денег ты не изволь жалеть.

— Да уж что же делать, коли надо,— отвечал Захаревский, разводя руками.

Юлия подошла и нежно поцеловала его в голову, а затем ушла в свою комнату и задумалась: слова Прыхиной, что Вихров пишет, сильно на нее подействовали, и это подняло его еще выше в ее глазах. Если Мари в Москве учили профессора разным наукам и она читала в подлинниках «Божественную комедию» Данта и «Манфреда» Байрона, если Фатееву ничему не учили, как только мило держать себя, то m-lle Захаревская, можно сказать, сама себя образовала по русским журналам. Будучи от природы весьма неглупая девушка и вышедши из пансиона, где тоже больше учили ее мило держать себя, она начала читать все повести, все стихи, все критики и все ученые даже статьи. Во всем этом, разумеется, она многого не понимала, но, тем не менее, все это заметно возвысило понятия ее: выйти, например, замуж за какого-нибудь господина «анхвицера», как сама она выражалась для шутки, она уже не хотела, а всегда мечтала иметь мужем умного и образованного человека, а тут в лице Вихрова встретила еще и литератора. Чтобы заинтересовать его собой, она решилась употребить все средства. Вечер она желала, и желала, по преимуществу, для него устроить изящнейший. Буфет в столовой она сама убирала цветами и все фрукты и конфеты укладывала своими руками в вазы. Для помощи во всем этом, разумеется, призвана была и m-lle Прыхина, которая сейчас же принялась помогать самым энергическим образом и так расходилась при этом случае, что для украшения бала перечистила даже все образа в доме Захаревских, и, уча горничных, как надо мыть только что выставленные окна, она сама вскочила на подоконник и начала протирать стекла и так при этом далеко выставилась на улицу, что один проходящий мужик даже заметил ей:

— Поуберись, барынька, маленько в комнату, а то нехорошо!

— Дурак мужик! — сказала ему вслед на это m-lle Прыхина. Ко всему этому усердию Катишь отчасти была подвинута и тем, что Юлия для этого бала сделала ей довольно значительные подарки: во-первых, бело-газовое платье и широчайшую голубую ленту для пояса и довольно еще свежие, раза два или три всего надеванные, цветы для головного убора. Забрав в охапку все подаренные ей Юлией сокровища, Катишь сейчас же побежала их примеривать на себя домой; для этого она заперлась в своей комнате и перед трюмо своим (на какие деньги и каким образом трюмо это было куплено, сказать трудно, но только трюмо было у нее); Катишь почти знала, что она не хороша собой, но она полагала, что у нее бюст был очень хорош, и потому она любила на себя смотреть во весь рост... перед этим трюмо теперь она сняла с себя все платье и, оставшись в одном только белье и корсете, стала примеривать себе на голову цветы, и при этом так и этак поводила головой, делала глазки, улыбалась, зачем-то поднимала руками грудь свою вверх; затем вдруг вытянулась, как солдат, и, ударив себя по лядвее рукою, начала маршировать перед зеркалом и даже приговаривала при этом: «Раз, два, раз, два!» Вообще в ней были некоторые солдатские наклонности. Походивши таким образом, она села, как бы утомившись от бальных танцев, и распустила зачем-то свой корсет, и в этом распущенном виде продолжала сидеть перед зеркалом и любоваться на себя; но негу таковую, впрочем, она не долго себе позволила: деятельная натура сейчас же заставила ее снова одеться, позвать свою горничную и приняться вместе с ней устраивать бальный наряд. Сделав это, она опять побежала к Захаревским. У нее уж новые планы и предположения явились для бала.

— А что Вихров, будет у вас на бале? — спросила она Юлию.

— Будет! — отвечала та.

— Ну, в таком случае я с ним поговорю! — произнесла она как-то знаменательно.

Юлии это было не совсем уж и приятно.

— Тебе бы лучше следовало с Кергелем поговорить! — немножко кольнула она ее.

— С Кергелем что говорить! За себя — нельзя, а за другую можно! — отвечала Прыхина и больше уже до самого бала не уходила от Захаревских; даже свой бальный наряд она стала надевать на себя у них, а вместе с тем наряжала и Юлию, вряд ли еще не с бо́льшим увлечением, чем самое себя. Часов в восемь вечера обе девицы вышли из своих комнат. Прыхина сейчас же взяла Юлию под руку и начала с ней ходить по зале. Гости сейчас же после того стали съезжаться. Услышав довольно сильный стук одного экипажа, Юлия, по какому-то предчувствию и пользуясь тем, что на дворе еще было довольно светло, взглянула в окно,— это в самом деле подъезжал Вихров на щегольских, еще покойным отцом его вскормленных и сберегаемых серых лошадях и в открытой коляске. У Юлии чувствительно замерло сердце. Вихров вошел и, прищурившись, начал осматривать зало и находившееся в ней общество. Прыхина при этом, несмотря на чувствуемое к нему предубеждение, не утерпела и проговорила Юлии:

— Посмотри, как он хорош собой,— чудо!

Вихров подошел и поклонился им.

Юлия приветливо и почти дружески встретила его пожатием руки, а m-lle Прыхина только поклонилась ему, и то с грустью и печалью в лице: укоряющею совестью хотела она представиться ему за Фатееву!

Пользуясь тем, что танцы еще не начинались, Юлия сейчас же, оставив Прыхину, начала ходить с Вихровым.

— Мне, monsieur Вихров, хотелось бы с вами поговорить об одной вещи,— сказала она.

— Сделайте одолжение,— отвечал он.

— О, этот разговор длинен будет; угодно вам сесть со мною,— продолжала она, указывая в гостиной на одно из кресел и сама садясь рядом с этим креслом.

Вихров сел на указанное ему место.

— Послушайте, — начала Юлия после маленького замешательства.— Мне сказывали, что вы пишете; правда это или нет?

Вихров нахмурился: ему досадно было, что слух об его писательстве начинает распространяться между всеми, но, с другой стороны, запереться в том ему показалось странно.

— Пишу,— отвечал он утвердительно.

— В каком духе?

При этом вопросе Вихров посмотрел Юлии в лицо.

— В духе Достоевского, может быть? — продолжала она.

— Нет, не в духе Достоевского,— проговорил Вихров.

— Его ужасно высоко ставит Белинский,— говорила Юлия.

— Талантлив, но скучен,— произнес Вихров.

— Да, я с вами согласна в этом; я едва дочитала его «Бедных людей», но все-таки славная вещь!

— Очень хорошая!

— А что, скажите,— продолжала Юлия: она хотела уж вполне блеснуть перед Вихровым своими литературными познаниями,— что такое сделалось с Гоголем? После этого великого произведения «Мертвые души» он вдруг начал какие-то письма писать к друзьям. «Отечественные Записки» в неистовство приходят, и очень естественно: они так верили в его талант, так много возлагали на него надежд, вдруг он пишет, что мужиков надо сечь, и, наконец, какого-то пророка из себя хочет представить, всех поучает, что такое с ним?

Вся эта тирада Юлии показалась Вихрову просто противною.

— Не знаю я этого совершенно-с,— ответил он ей довольно сухо.

«Не любит, видно, когда говорят о других: ну, будем говорить о нем!» — подумала Юлия и снова обратилась к Вихрову:

— А вы знаете что: я и об героине вашего романа слышала, это одна какая-то московская молодая девушка!

«Все уж разболтали ей»,— подумал Вихров и решительно не находился, что ей отвечать. Он вообще был както грустен в этот день. Разрыв с Фатеевой мучил и волновал его.

К Юлии между тем подошел Кергель и пригласил ее на кадриль.

Она не могла отказать, но, отходя от Вихрова, мотнула ему головой и сказала:

— Мы когда-нибудь еще с вами об этом поговорим!

— Слушаю-с,— отвечал ей Вихров почти насмешливо.

Как только от него отошла Юлия, к нему сейчас же

подошла и села на ее место Прыхина. О, Катишь сейчас ужасную штучку отпустила с Кергелем. Он подошел к ней и вдруг стал ее звать на кадриль. Катишь вся вспыхнула даже в лице.

— Pardon, monsieur,— сказала она ему на это, раскланиваясь с ним,— я с незнакомыми не танцую!

— Вы считаете меня незнакомым? — произнес Кергель, лукаво потупляя перед ней глаза.

— Совершенно незнакомым! — повторила она и ушла потом к Вихрову.

— Фу, ворона с места, а сокол на место,— проговорилась она, как и часто это с ней случалось.

— Вы, однако, себя-то соколом считаете, а mademoiselle Юлию вороной! — заметил ей Вихров.

— Тьфу, что я! — отплюнулась она.— Сокол с места, а ворона на место! — Затем она замолчала и начала грустно-насмешливо смотреть на Вихрова.

— Мужчины, мужчины! — произнесла она, наконец, покачав головой.

— Как мухи к нам льнут! — добавил Вихров.

— Хуже, а как змеи нас отравляют!.. В Перцове, значит, мы больше теперь с вами встречаться не будем?

— Отчего же? — спросил Вихров, вовсе не желая быть с ней откровенным.

— Оттого, что вам туда совестно будет приехать,— проговорила Катишь насмешливо-укоризненно и даже каким-то басом.

— Нет, ничего: я бессовестен,— возразил Вихров.

— Это я знаю,— подхватила Прыхина.— Она больна очень теперь! — прибавила она, махнув несколько в сторону своим носом, что почти всегда она делала, когда говорили что-нибудь значительное.

У Вихрова болезненно при этом поворотилось сердце, но он не подал тому и вида.

— Что ж, доктор у нее есть; вероятно, пользует ее.

— Разумеется, навещает; не без помощи же оставить ее одну,— произнесла ядовито-насмешливо Прыхина.

— Ну, поэтому все и идет как следует! — как-то больше пробормотал Вихров и хотел было отойти от Прыхиной.

— На два слова прошу еще остаться,— произнесла она почти повелительно.

Вихров, как ни скучно было это ему, остался на своем месте.

— Вы знаете, что такое доктор тут был, какую роль он играл? — спросила Прыхина.

— Я думаю, как все доктора-утешители,— проговорил Вихров.

— Он тут был только средство возбудить вашу ревность и привлечь вас этим — его обманывали и дурачили и хотели этим возвратить вашу любовь.

— Я знаю, что дружба ваша слишком велика к madame Фатеевой и вы способны в ней все оправдывать,— проговорил Вихров, в душе почти желавший поверить словам Прыхиной.

— Ах, боже мой! Я оправдываю! — воскликнула та.— Сделайте милость, когда я заметила эти ее отношения к доктору, я первая ее спросила, что такое это значит, и так же, как вам теперь говорю, я ей говорила, что это подло, и она мне образ сняла и клялась, что вот для чего, говорит, я это делаю!

— Ну, когда она сама вам говорила, так это не совсем еще достоверное доказательство,— сказал Вихров.

— Прекрасно, отлично! — воскликнула Прыхина.— Она теперь уж и лгунья у вас! Неблагодарные вы, неблагодарные мужчины! — Прыхина вероятно бы еще долго не отпустила Вихрова и стала его допытывать, но к нему подошел Живин.

— Пойдем, водки выпьем, хозяин тебя приглашает! — сказал он, мотнув Вихрову головой. Тот с большим удовольствием встал и пошел за ним.

На уездных балах почти везде заведено еще задолго до ужина ставить водку и небольшую к ней закуску для желающих мужчин, и желающих таковых находится очень много,— все почти!

На этой штуке старик Захаревский вздумал испытать Вихрова, чтобы окончательно убедиться, любит он выпить или нет. По многолетней своей опытности Ардальон Васильевич убедился, что в их местах, между дворянством и чиновничеством, главный порок пьянство, и желал, по преимуществу, не видеть его в детях своих и в зяте, какого бог ему пошлет.

— Водочки не прикажете ли? — произнес он как бы самым радушным и угощающим голосом.

Павел, возмущенный всеми последними событиями и разговорами об них, с удовольствием выпил рюмку.

— Не прикажете ли еще? — спросил Ардальон Васильевич, наливая ему еще рюмку.

Но Вихров уже отказался.

«Ну, не совсем еще пьяница!» — решил старик и на этот раз в мыслях своих, и затем он счел не бесполезным расспросить гостя и о делах его.

— Скажите, вы еще не служили? — спросил он.

— Не служил.

— Но чин, однако, имеете?

— Я кандидат университета, то есть коллежский секретарь,— отвечал тот.

Ардальон Васильевич в знак согласия мотнул ему на это головой.

— Где же вы предполагаете службу вашу начать? — продолжал он допрашивать гостя.

— Нигде! — отвечал Вихров.

Захаревский при этом повернул даже к нему ухо, как бы затем, чтобы яснее расслышать, что такое он сказал.

— Что же, хозяйничать, постоянно жить в деревне предполагаете? — говорил он, внимательно навостривая уши.

— И того нет: хозяйничать в том смысле, как прежде хозяйничали, то есть скопидомничать, не желаю, а агрономничать, как другие делают из наших молодых помещиков, не решусь, потому что сознаю, что не понимаю и не умею этого делать.

Последних слов Вихрова Захаревский положительно не понял, что тот хотел этим сказать.

— Но надобно же иметь какое-нибудь занятие? — проговорил он с некоторою улыбкою даже.

— Я буду читать, стану ходить за охотой, буду ездить в Москву, в Петербург.

— Жизнь вольного казака, значит, желаете иметь,— произнес Захаревский; а сам с собой думал: «Ну, это значит шалопайничать будешь!» Вихров последними ответами очень упал в глазах его: главное, он возмутил его своим намерением не служить: Ардальон Васильевич службу считал для каждого дворянина такою же необходимостью, как и воздух. «Впрочем,— успокоил он себя мысленно,— если жену будет любить, так та и служить заставит!»

Когда танцы прекратились и гости пошли к ужину, Юлия сама предложила Вихрову руку и посадила его рядом с собою. На обстоятельство это обратил некоторое внимание Живин.

— Всегда, и везде, и во всем счастлив! — сказал он, показывая Юлии головой на приятеля.

— Это почему? — спросила та с немножко лукавой усмешкой.

— Да так уж, потому!..— отвечал как-то загадочно Живин, потупляя глаза свои.

Далее, конечно, не стоило бы и описывать бального ужина, который походил на все праздничные ужины, если бы в продолжение его не случилось одно весьма неприятное происшествие: Кергель, по своей ветрености и необдуманности, вдруг вздумал, забыв все, как он поступил с Катишь Прыхиной, кидать в нее хлебными шариками. Она сначала делала вид, что этого не замечает, а в то же время сама краснела и волновалась. Наконец, терпение лопнуло; она ему громко и на весь стол сказала:

— Перестаньте, Кергель; я не желаю видеть ваших шуток.

Он на минуту попритих было, но потом снова начал кидать.

— Говорят вам — перестаньте, а не то я тарелкой в вас пущу! — сказала Катишь с дрожащими уже губами.

— Ой, ой, ой, ой, боюсь! — произнес Кергель, склоняя свою голову и закрывая ее салфеткой.

Эта насмешка окончательно вывела Прыхину из себя: она побледнела и ничего уж не говорила.

— А ну-ко, попробую еще! — произнес Кергель и бросил в нее еще шарик.

M-lle Прыхина, ни слова не сказав, взяла со стола огромный сукрой хлеба, насолила его и бросила его в лицо Кергеля. Хлеб попал прямо в глаз ему вместе с солью. Кергель почти закричал, захватил глаз рукою и стал его тереть.

А m-lle Прыхина пресамодовольно сидела и только, поводя своим носом, говорила:

— Ништо ему, ништо!

Все сидящие за столом покатывались со смеху, а Кергель, протирая глаз, почти вслух говорил:

— Эка дура, эка дурища!

Когда Вихров возвращался домой, то Иван не сел, по

обыкновению, с кучером на козлах, а поместился на запятках и еле-еле держался за рессоры: с какой-то радости он счел нужным мертвецки нализаться в городе. Придя раздевать барина, он был бледен, как полотно, и даже пошатывался немного, но Вихров, чтобы не сердиться, счел лучше уж не замечать этого. Иван, однако, не ограничивался этим и, став перед барином, растопырив ноги, произнес диким голосом:

— Павел Михайлыч, пожалуйте мне невесту-с!

— Какую невесту... Марью Фатеевскую, что ли?

— Марья что-с?.. Чужая!.. Мне свою пожалуйте... Грушу нашу.

— Она разве хочет за тебя идти?

— Чего хочет?.. Вы барин: прикажите ей... Я вам сколько лет служил.

— Если бы ты и во сто раз больше мне служил, я не стану заставлять ее силой идти за тебя!

— Сделайте милость! — промычал еще раз Иван и стал уж перед барином на колени.

— Ах, ты, дурак этакой, перестань! — воскликнул тот, отворачиваясь от него.

— Сделайте божескую милость! — повторил Иван, не вставая с колен. Вихров увидел, что конца этому не будет.

— Груня! — крикнул он.

Груша обыкновенно никогда не спала, как бы поздно он откуда ни приезжал,— Груша вошла.

— Вот он сватается к тебе! — произнес Павел, показывая на поднимающегося с колен Ивана.

Груша только странно смотрела на того.

— Мне, сударь, очень обидно и слышать это,— отвечала она обиженным и взволнованным голосом; на глазах ее уже навернулись слезы.

— Что же, разве он тебе не нравится? — спросил Павел.

— Я скорее за козла скверного пойду, чем за него.

— Гля-че же не пойдешь? Что ж я сделал тебе такое? — спросил ее Иван.

— А гля того!.. Вы, Павел Михайлович, и приставать ему не прикажите ко мне, а то мне проходу от него нет! — проговорила Груша и, совсем уж расплакавшись, вышла из комнаты. Вихрову сделалось ее до души жаль.

— Пошел вон, негодяй! Не смей мне и говорить об

этом и никогда не приставай к ней! — крикнул он на Ивана.

Тот, по обыкновению, немного струсил и вышел.

— Знаю я, куда она ладит,— да, знаю я! — говорил он, идя и пошатываясь по зале.

XV

ОПЯТЬ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КОПТИН

Вскоре после того, в один из своих приездов, Живин вошел к Вихрову с некоторым одушевлением.

— Сейчас, братец ты мой,— начал он каким-то веселым голосом,— я встретил здешнего генерала и писателя, Александра Иваныча Коптина.

— А!..— произнес Вихров.— А ты разве знаком с ним?

— Приятели даже!— отвечал не без гордости Живин.— Ну и разговорились о том, о сем, где, знаешь, я бываю; я говорю, что вот все с тобою вожусь. Он, знаешь, этак по-своему воскликнул: «Как же, говорит, ему злодею не стыдно у меня не побывать!»

— Да, я скверно сделал, что не был у него; совсем и забыл, что он тут недалеко,— отвечал Вихров.— Когда бы съездить к нему?

— Поедем в Петров день к нему — у него и во всех деревнях его праздник.

— Очень рад! А что, скажи, постарел он или нет?

— Нет, мало! Такой же худой, как и был. Какой учености, братец, он громадной! Раз как-то разговорились мы с ним о Ватикане. Он вдруг и говорит, что там в такой-то комнате такой-то образ висит; я сейчас после того, проехавши в город, в училище уездное, там отличное есть описание Рима, достал, смотрю... действительно такая картина висит!

— Он принадлежит к французским энциклопедистам,— заметил Вихров.

— Надо быть так!.. Математике он, говорят, у самого Лагранжа учился!.. Какой случай раз вышел!.. Он церковь у себя в приходе сам строил; только архитектор приезжает в это село и говорит: «Нельзя этого свода строить, не выдержит!» Александр Иваныч и поддел его на этом. «Почему, говорит, докажите мне это по вычисле-

ниям?» — а чтобы вычислить это, надо знать дифференциалы и интегралы; архитектор этого, разумеется, не сумел сделать, а Александр Иваныч взял лист бумаги и вычислил ему; сказалось, что свод выдержит, и действительно до сих пор стоит, как литой.

— Все это может быть,— возразил Вихров,— но все-таки сочинения его плоховаты.

— Плоховаты-то плоховаты, понять не могу — отчего? — произнес и Живин как бы с некоторою грустью.

— А что он про нынешнюю литературу говорит; не колачивал он тебя за любовь к ней?

— Почти что, брат, колачивал; раз ночью выгнал совсем от себя, и ночевать, говорит, не оставайтесь! Я так темной ночью и уехал!

— Что же он, собственно, говорит? — спрашивал Вихров.

— «Мужики, говорит, все нынешние писатели, необразованные все, говорит, *худородные!..»* Знаешь, это его выражение... Я, признаться сказать, поведал ему, что и ты пишешь, сочинителем хочешь быть!

— Что же он? — спросил Вихров, немного покраснев в лице.

— Да ничего особенного не говорил, смеется только; разные этакие остроты свои говорит.

— Какие же именно, скажи, пожалуйста!

— Ну да, знаешь вот эту эпиграмму, что Лев Пушкин, кажется, написал, что какой вот стихотворец был? «А сколько ему лет?» — спрашивал Феб.— «Ему пятнадцать лет»,— Эрато отвечает.— «Пятнадцать только лет, не более того,— так розгами его!»

— Какие ж мне к черту пятнадцать лет? — воскликнул Вихров.

— Ну да поди ты, а ему ты все еще, видно, мальчиком представляешься.

В Петров день друзья наши действительно поехали в Семеновское, которое показалось Вихрову совершенно таким же, как и было, только постарело еще больше, и некоторые строения его почти совершенно развалились. Так же их на крыльце встретили любимцы Александра Иваныча, только несколько понаряднее одетые. Сам он, в той же, кажется, черкеске и в синеньких брючках с позументовыми лампасами, сидел на том же месте у окна и курил длинную трубку. Беседовал с ним на этот раз уж не один священ-

ник, а целый причет, и, сверх того, был тут же и Добров, который Вихрову ужасно обрадовался.

— Ты разве знаком с генералом? — спросил его тот, проходя мимо его.

— Как же, благодетель тоже! — отвечал Добров.— А когда я пил, так и приятели мы между собой были.

— Гордый сосед, гордый-с! — повторял Александр Иваныч, встречая Вихрова.— Ну и нельзя, впрочем, сочинитель ведь! — прибавил он, обращаясь к Живину и дружески пожимая ему руку.

— Прошу прислушать, однако,— сказал он, усадив гостей.— Ну, святий отче, рассказывайте! — прибавил он, относясь к священнику.

— Несчастие великое посетило наш губернский град,— начал тот каким-то сильно протяжным голосом,— пятого числа показалось пламя на Калужской улице и тем же самым часом на Сергиевской улице, версты полторы от Клушинской отстоящей, так что пожарные недоумевали, где им действовать, пламя пожрало обе сии улицы, многие храмы и монастыри.

— Mon Dieu, mon Dieu! [1] — воскликнул Коптин, закатывая вверх свои глаза и как бы живо себе представляя страшную картину разрушения.

— Что же это, поджог? — спросил Живин.

— Надо быть,— отвечал священник,— потому что следующее шестое число вспыхнул пожар уже в местах пяти и везде одновременно, так что жители стали все взволнованы тем: лавки закрылись, хлебники даже перестали хлебы печь, бедные погорелые жители выселялись на поле, около града, на дождь и на ветер, не имея ни пищи, ни одеяния!

— О, mon Dieu, mon Dieu! — повторил еще раз Александр Иваныч, совсем уже закидывая голову назад.

— Но кто же поджигает, если это поджоги? — спросил Вихров.

— Мнение народа сначала было такое, что аки бы гарнизонные солдаты, так как они и до того еще времени воровства много производили и убийство даже делали!.. А после слух в народе прошел, что это поляки, живущие в нашей губернии и злобствующие против России.

[1] Боже мой, боже мой! *(франц.)*

— Но позвольте, поляки все известны там наперечет!— возразил Вихров.

— Все известны-с,— отвечал священник,— и прямо так говорили многие, что к одному из них, весьма почтенному лицу, приезжал ксендз и увещевал свою паству, чтобы она камня на камне в сем граде не оставила!

— Да зачем же именно в этом граде? — спросил Вихров.

— Так как град сей знаменит многими избиениями поляков.

— Прекрасно-с, но кто же слышал, что ксендз именно таким образом увещевал? — спросил опять Вихров.

— Сего лица захваченные мальчик и горничная,— отвечал священник.

— Стало быть и следствие уже об этом идет? — спросил Живин.

— Строжайшее. Сие почтенное лицо, также и семейство его уже посажены в острог, так как от господина губернатора стало требовать того дворянство, а также небезопасно было оставлять их в доме и от простого народу, ибо чернь была крайне раздражена и могла бы их живых растерзать на части.

— Но, извините меня,— перебил Вихров священника,— все это только варварство наше показывает; дворянство наше, я знаю, что это такое,— вероятно, два-три крикуна сказали, а остальные все сейчас за ним пошли; наш народ тоже: это зверь разъяренный, его на кого хочешь напусти.

—Нет-с,— возразил священник,— это не то, чтобы мысль или мнение одного человека была, а так как-то в душе каждый как бы подумал, что поляки это делают!

— Но вы сами согласитесь,что нельзя же по одному ощущению, хоть бы оно даже и массе принадлежало, кидать людей в темницу, с семейством, в числе которых, вероятно, есть и женщины.

— Дщерь его главным образом и подозревают,— объяснил священник,— и когда теперича ее на допрос поведут по улицам, то народ каменьями и грязью в нее кидает и солдаты еле скрывают ее.

— Это еще большее варварство — кидать в женщину грязью, неизвестно еще, виновную ли; и отчего же начальство в карете ее не возит, чтобы не предавать ее, по крайней мере, публичному поруганию? Все это, опять по-

вторяю, показывает одну только страшную дикость нравов,— горячился Вихров.

Александр Иваныч, с начала еще этого разговора вставший и все ходивший по комнате и несколько уже раз подходивший к закуске и выпивавший по своей четверть-рюмочке, на последних словах Павла вдруг остановился перед ним и, сложив руки на груди, начал с дрожащими от гнева губами:

— Как же вы, милостивый государь, будучи русским, будучи туземцем здешним, позволяете себе говорить, что это варварство, когда какого-то там негодяя и его дочеренку посадили в острог, а это не варварство, что господа поляки выжгли весь ваш родной город?

— Но это, Александр Иваныч, надобно еще доказать, что они выжгли! — возразил несколько сконфуженный Вихров.

— Доказано-с это!.. Доказано! — кричал Александр Иваныч.— Горничная их, мальчишка их показывали, что ксендз их заставлял жечь! Чего ж вам еще больше, каких доказательств еще надобно русскому?

— Русский ли бы я был или не русский, по мне всегда и всего важнее правда! — возразил Вихров, весьма недовольный этим затеявшимся спором.

— А, вот он, университет! Вот он, я вижу, сидит в этих словах! — кричал Александр Иваныч.— Это гуманность наша, наш космополитизм, которому все равно, свой или чужой очаг. Поляки, сударь, вторгались всегда в нашу историю: заводилась ли крамола в царском роде — они тут; шел ли неприятель страшный, грозный, потрясавший все основы народного здания нашего,— они в передних рядах у него были.

— Ну, и от нас им, Александр Иваныч, доставалось порядком,— заметил с улыбкою Павел.

— Да вы-то не смеете этого говорить, понимаете вы. Ваш университет поэтому, внушивший вам такие понятия, предатель! И вы предатель, не правительства вашего, вы хуже того, вы предатель всего русского народа, вы изменник всем нашим инстинктам народным.

— Ну нет, Александр Иваныч,— воскликнул в свою очередь Вихров, вставая тоже со своего стула,— я гораздо больше вашего русский, во мне гораздо больше инстинктов русских, чем в вас, уж по одному тому, что вы, по вашему воспитанию, совершенный француз.

— Я докажу вам, милостивый государь, и сегодня же докажу, какой я француз,— кричал Коптин и вслед за тем подбежал к иконе, ударил себя в грудь и воскликнул: — Царица небесная! Накажи вот этого господина за то, что он меня нерусским называет! — говорил он, указывая на Вихрова, и потом, видимо, утомившись, утер себе лоб и убежал к себе в спальню, все, однако, с азартом повторяя: — Я нерусский, я француз!

Вихров, в свою очередь, тоже сильно рассердился.

— Черт знает, зачем я приехал сюда! — говорил он, с волнением ходя по комнате.

— Да вы не беспокойтесь! Он со всеми так спорит,— успокаивал его священник.

— И со мною часто это бывало,— подхватил Живин, давно уже мучившийся, что завез приятеля в такие гости.

— В голове у него, видно, шпилька сидит порядочная; чай, с утра начал прикладываться,— заметил Добров.

— С вечера еще вчерашнего,— прибавил к этому священник на эти слова.

Александр Иванович снова вышел из своего кабинета.

— Я вам покажу сегодня, какой я нерусский,— проговорил он Вихрову, но уж не столько гневно, сколько с лукавою улыбкою. Вскоре за тем последовал обед; любимцы-лакеи Александра Ивановича были все сильно выпивши. Сели за стол: сам генерал на первом месте, потом Вихров и Живин и все духовенство, и даже Добров.

Александр Иванович тотчас обратился к нему.

— Отчего ты, отверженец, водки не выпил?

— Не пью, ваше превосходительство, два года, третий,— отвечал Добров, по обыкновению вставая на ноги.

— Ну, а у меня ты должен выпить, должен,— сказал Александр Иванович.

— Не пью, ваше превосходительство,— повторил Добров, несколько изменившись в лице.

— Я этого не знаю: пьешь ли ты или нет, а у меня ты должен выпить,— говорил свое Александр Иванович.

— Да выпей, братец, не умрешь от того,— заметил Доброву священник.

— Да извольте,— отвечал каким-то странным голосом Добров и выпил рюмку.

— Смотрите, не закутите, Добров,— сказал ему Вихров.

— Словно бы нет,— отвечал Добров, утирая губы себе и, видимо, получивший бесконечное наслаждение от выпитой рюмки.

— В чужой монастырь со своим уставом не ходят,— заметил Александр Иванович,— когда он у вас, вы можете не советовать ему пить, а когда он у меня, я советую ему, ибо когда мы с ним пить не станем, то лопнет здешний откупщик.

Добров между тем уж без приглашения выпил и другую рюмку и начал жадно есть.

Сам Александр Иванович продолжал пить по своей четверть-рюмочке и ничего почти не ел, а вместо того курил в продолжение всего обеда. Когда вышли из-за стола, он обратился к Вихрову и проговорил:

— Я вот вам сейчас покажу, какой я нерусский. Коляску и верховых! — крикнул он людям.

Те проворно побежали, и через какие-нибудь четверть часа коляска была подана к крыльцу. В нее было запряжено четыре худощавых, но, должно быть, чрезвычайно шустрых коней. Человек пять людей, одетых в черкесские чапаны и с нагайками, окружали ее. Александр Иванович заставил сесть рядом с собою Вихрова, а напротив Живина и Доброва. Последний что-то очень уж облизывался.

— Куда же это мы? — спросил Вихров.

— К мужикам моим на праздник,— отвечал Александр Иванович, лукаво посматривая на него, и затем крикнул кучеру:— Пошел!

Сразу же все это понеслось: черкесы, коляска; воротца как-то мгновенно распахивались черкесами. Была крутая гора, и под гору неслись марш-марш, потом мостик,— трах на нем что-то такое! Это выскочили две половицы... Живин сидел бледный; Вихрову тоже такая езда не совсем нравилась, и она только была приятна Доброву, явно уже подпившему, и самому Александру Ивановичу, сидевшему в коляске развалясь и только по временам покрякивающему: «Пошел!». Кучер летел. У черкесов лошади, вероятно, все приезжанные по черкесской моде, драли головы вверх. Таким образом приехали в одну деревню, в которой, видно, был годовой праздник. Посредине улицы стояли девки и бабы в нарядных, у кого какие были, сарафанах; на при-

лавках сидели старики и старухи. Когда наша орда влетела в деревню, старики и старухи поднялись со своих мест, а молодые с заметным любопытством глядели на приезжих, и все они с видимым удовольствием на лицах кланялись Александру Ивановичу.

— К тебе, Евсевий Матвеевич, к тебе в гости! — кричал он одному мужику, наряднее других одетому.

— Милости просим, ваше превосходительство,— отвечал тот, показывая рукою на избу, тоже покрасивее других.

Все пошли в нее. Добров очень нежничал с Александром Ивановичем. Он даже поддерживал его под руку, когда тот всходил на крыльцо. Все уселись в передний угол перед столом. Прибежавшая откуда-то впопыхах старуха хозяйка сейчас же стала ставить на стол водку, пироги, орехи, изюм... Александр Иванович начал сейчас же пить свои четверть-рюмочки, но Вихров и Живин отказались.

Тогда Александр Иванович посмотрел как-то мрачно на Доброва и проговорил ему: «Пей ты!» Тот послушался и выпил. Александр Иванович, склонив голову, стал разговаривать с стоявшим перед ним на ногах хозяином.

— Как ваше здравие и благоденствие? — спрашивал он его.

— Слава богу, ваше превосходительство.

— Так-с; очень это хорошо, а здоровы ли ваши дочь и падчерица?

— Что им, дурам, делается, гуляют вон по улице! — отвечал мужик.

— Пожалуйте, сударыня, пожалуйте, выпьемте вместе,— говорил Александр Иванович все прятавшейся хозяйке.

Та вышла и была совершенно красная; она сама тоже была сильно выпивши.

— Кушайте, сударь, сами на здоровье,— отвечала та.

— Нет, я тебя наперед угощу,— отвечал Александр Иванович и, налив рюмку водки, своими руками влил ее в рот бабе.

Та притворилась, что будто бы ей крепко очень, и отплевывалась в разные стороны. Точно так же Александр Иванович заставил выпить и хозяина.

Добров, который пил без всяких уже приглашений,

стал даже кричать: «Я гуляю да и баста — вот что!» Вихров едва выдерживал все это, тем более, что Коптин, видимо, старался говорить ему дерзости.

— Так вы писатель,— говорил он, угостив хозяина и хозяйку и обращаясь к Вихрову,— вы писатель?

— Пока еще нет,— возражал сердито Вихров.

— Михаила Поликарпыча сын — писатель! — продолжал как бы сам с собою Александр Иванович.

— К чему же тут Михаил Поликарпыч? — спрашивал его Вихров.

— Михаила Поликарпыча сын — писатель! — продолжал только Александр Иванович, не отвечая на его вопрос.

Павел, наконец, решился лучше не слушать его.

— Пойдемте на улицу, я вам покажу, какой я француз!.. Какой я француз! — говорил Александр Иванович, все более и более пьянея.

Все, однако, вышли за ним на улицу.

— Ну, дети, сюда! — закричал Александр Иванович, и к нему сейчас же обежались все ребятишки, бабы, девки и даже мужики; он начал кидать им деньги, сначала медные, потом серебряные, наконец, бумажки. Все стали их ловить, затеялась даже драка, рев, а он кричал между тем:

— Цыц, стройно, стройно ловить! Вот я француз какой!

Вихров, к величайшему своему удовольствию, увидал, что его собственный экипаж въезжал в деревню.

Благоразумный Петр сам уж этим распорядился, зная по слухам, что с Коптиным редко кто из гостей, кто поедет с ним, приезжал назад: либо он бросит гостя, либо тот сам уедет от него.

Вихров мигнул Живину, и они, пока не заметил Александр Иванович, сели в экипаж и велели Петру как можно скорее уезжать из деревни.

А Добров ходил между тем по разным избам и, везде выпивая, кричал на всю улицу каким-то уж нечленораздельным голосом. На другой день его нашли в одном ручье мертвым; сначала его видели ехавшим с Александром Ивановичем в коляске и целовавшимся с ним, потом он брел через одно селение уже один-одинехонек и мертвецки пьяный и, наконец, очутился в бочаге.

XVI

УМНЫЙ ДОКТОР

В настоящей главе моей я попрошу читателя перенести свое внимание к некоторым другим лицам моего романа. Эйсмонды только что возвратились из-за границы после двухлетнего почти пребывания там и оставались пока в отеле Демута. Мари с сынком занимала один большой номер, а генерал помещался рядом с ними в несколько меньшем отделении. Они успели уже, впрочем, повидаться со всеми своими знакомыми, и, наконец, Мари написала, между прочим, записку и к своему петербургскому врачу, которою извещала его, что они приехали в Петербург и весьма желали бы, чтоб он как-нибудь повидался с ними. Доктор Ришар был уже мужчина пожилых лет, но еще с совершенно черной головой и бакенбардами; он называл себя французом, но в самом деле, кажется, был жид; говорил он не совсем правильно по-русски, но всегда умно и плавно. В Петербурге он был больше известен как врач духа, чем врач тела, и потому, по преимуществу, лечил женщин, которых сам очень любил и знал их и понимал до тонкости. Мари он еще прежде, перед поездкой ее за границу, оказал услугу. Генерал пригласил его, чтобы посоветоваться с ним: необходимо ли жене ехать за границу или нет, а Мари в это время сама окончательно уже решила, что непременно поедет. Ришар хотя и видел, что она была совершенно здорова, тем не менее сейчас же понял задушевное желание своей пациентки и голосом, не допускающим ни малейшего возражения, произнес:

— Разумеется, за границу, что ж тут больше делать!

Мари поблагодарила его за это только взглядом.

При отъезде m-me Эйсмонд Ришар дал ей письмо к одному своему другу, берлинскому врачу, которого прямо просил посоветовать этой даме пользоваться, где только она сама пожелает и в какой только угодно ей местности. Ришар предполагал, что Мари стремится к какому-нибудь предмету своей привязанности за границу. Он очень хорошо и очень уж давно видел и понимал, что m-r Эйсмонд и m-me Эйсмонд были, как он выражался, без взаимного нравственного сродства, так как одна была женщина умная, а другой был мужчина глупый.

Пока Эйсмонды были за границей, Ришар довольно часто получал об них известия от своего берлинского дру-

га, который в последнем письме своем, на вопрос Ришара: что, нашла ли m-me Эйсмонд какое-нибудь себе облегчение и развлечение в путешествии, отвечал, что нет, и что, напротив, она страдает, и что главная причина ее страданий — это почти явное отвращение ее к мужу, так что она малейшей ласки его боится. Прочитав это известие, Ришар улыбнулся самодовольно. Он много и часто имел такие случаи в своей петербургской практике и знал, как тут поступать.

Получив от Мари пригласительную записку, он на другой же день и с удовольствием поехал к ней.

Когда он входил в комнату Мари, она в это время внимательно писала какое-то письмо, которое, при его приходе, сейчас же поспешила спрятать.

— О,— сказал доктор, беря ее за руку и всматриваясь в ее лицо,— вы мало же поправились за границей, мало!

— Да, мне все нездоровилось,— отвечала Мари.

Затем они уселись. Доктор продолжал внимательно смотреть в глаза Мари.

— Если человек хочет себя мучить нравственно,— начал он протяжно и с ударением,— то никакой воздух, никакая диэтика, никакая медицина ему не поможет...

Проговоря это, Ришар на некоторое время остановился, как бы ожидая, что не скажет ли что-нибудь сама Мари, но она молчала.

— А если этот человек и открыть не хочет никому причины своего горя, то его можно считать почти неизлечимым,— заключил Ришар и мотнул Мари с укором головой.

— Какую же сказать причину, когда у меня ее никакой нет! — отвечала та и как-то при этом саркастически улыбнулась.

— Одна ваша теперешняя улыбка говорит, что она сама у вас есть! — подхватил доктор.

Мари почти сердито отвернулась от него и стала смотреть в окно на улицу.

Доктор, однако, не сробел от этого и только несколько переменил предмет разговора.

— А Евгений Петрович здоров? — спросил он после некоторого молчания.

— Здоров,— отвечала Мари как-то односложно,— он там у себя в номере,— прибавила она, показывая на соседнюю комнату.

Доктор взглянул по направлению ее руки и потом, после некоторого молчания, опять протяжно и почти вполголоса прибавил:

— А что, у вас с ним нет никаких неприятностей?

Мари при этом невольно взмахнула на Ришара глазами.

— Какие же у меня могут с ним быть особенные неприятности? — произнесла она и постаралась засмеяться.

Доктор ничего ей на это не сказал, а только поднял вверх свои черные брови и думал; вряд ли он не соображал в эти минуты, с какой бы еще стороны тронуть эту даму, чтобы вызнать ее суть.

— Дайте мне ваш пульс,— сказал он вдруг и, взяв Мари за руку, долго держал ее в своей руке.— Пульс очень неровный, очень! Нервы ваши совершенно разбиты! — произнес он.

— У кого ж нынче нервы не разбиты, у всех, я думаю, они разбиты,— сказала ему Мари

— Ну! Все не в такой степени! — возразил ей доктор.— Но как же, однако, вы намерены здесь хоть сколько-нибудь пользоваться от этого?

— Очень бы не желала,— возразила с грустной усмешкой Мари,— разве уж когда совсем нехорошо сделается!

— Нехорошо-то очень, пожалуй, и не сделается! — возразил ей почти со вздохом доктор.— Но тут вот какая беда может быть: если вы останетесь в настоящем положении, то эти нервные припадки, конечно, по временам будут смягчаться, ожесточаться, но все-таки ничего,— люди от этого не умирают; но сохрани же вас бог, если вам будет угрожать необходимость сделаться матерью, то я тогда не отвечаю ни за что.

Мари вся покраснела в лице и слушала доктора молча.

— Болезнь ваша,— продолжал тот, откидываясь на задок кресел и протягивая при этом руки и ноги,— есть не что иное, как в высшей степени развитая истерика, но если на ваш организм возложена будет еще раз обязанность дать жизнь новому существу, то это так, пожалуй, отзовется на вашу и без того уже пораженную нервную систему, что вы можете помешаться.

— Ну что ж, помешаюсь: помешанные, может быть, еще счастливее нас, умных, живут,— проговорила, наконец, она.





— То-то и есть, что еще *может быть,* и я опять вам повторяю, что серьезно этого опасаюсь, очень серьезно!

Мари молчала и, видимо, старалась сохранить совершенно спокойную позу, но лицо ее продолжало гореть, и в плечах она как-то вздрагивала.

Все это не свернулось, разумеется, с глазу Ришара.

— А супруг ваш, надеюсь, дома? — спросил он совершенно уже беспечным тоном.

— Дома,— отвечала Мари.

— Пойти к нему побеседовать!.. Он в соседней комнате?

— Да.

Доктор ушел.

Мари некоторое время оставалась в прежнем положении, но как только раздались голоса в номере ее мужа, то она, как бы под влиянием непреодолимой ею силы, проворно встала с своего кресла, подошла к двери, ведущей в ту комнату, и приложила ухо к замочной скважине.

Доктор и генерал прежде всего очень дружелюбно между собой поздоровались и потом уселись друг против друга.

— Так вот как-с! — начал доктор первый.

— Да-с, да! — отвечал ему генерал.

— А супруге вашей не лучше, далеко не лучше,— продолжал Ришар.

— Хуже-с, хуже! — подхватил на это генерал.— Воды эти разные только перемутили ее! Даже на характер ее как-то очень дурно подействовали, ужасно как стала раздражительна!

— Что ж мудреного! — подхватил доктор.— Главное дело тут, впрочем, не в том! — продолжал он, вставая с своего места и начиная самым развязным образом ходить по комнате.— Я вот ей самой сейчас говорил, что ей надобно, как это ни печально обыкновенно для супругов бывает, надобно отказаться во всю жизнь иметь детей!

— Отчего же? — спросил генерал больше с любопытством, чем с удивлением.

— А оттого, что она не вынесет этого и может помешаться,— сказал доктор.

— Господи боже мой! — воскликнул генерал уже с испугом.

— Это, кажется, последствия ее первых родин,— присовокупил доктор уже глубокомысленным тоном.

— Может быть, очень может быть! — подхватил генерал тем же несколько перепуганным голосом.

Затем доктор опять сел, попросил у генерала сигару себе, закурил ее и, видимо, хотел поболтать кое о чем.

— Ну, как же, ваше превосходительство, вы проводили время за границей? — спросил он.

— Да как проводить-то? Все вот с больной супругой и провозился!

— Будто уж все и с больной супругой, будто уж? — спросил доктор плутовато.

— Все больше с ней, все! — отвечал генерал не совсем решительным голосом.

— И не пошалили ни разу и нигде? — спросил доктор уже почти на ухо генерала.

— Да что ж? — отвечал тот, ухмыляясь и разводя руками.— Только и всего, что в Париже и Амстердаме!..

— Что ж, по вашим летам совершенно достаточно и этого,— подхватил доктор совершенно серьезнейшим тоном.

— Конечно! — согласился и генерал.— Только каких же и красоточек выискал — прелесть! — произнес генерал, пожимая плечами и с глазами, уже покрывшимися светлой влагой.

— И здесь ныне стало чудо что такое,— проговорил доктор.

— Ну, все, я думаю, не то!

— Лучше даже, говорят, лучше! — произнес доктор.

— Дай-то бог! — произнес генерал, как-то самодовольно поднимая усы вверх.

Доктор между тем докурил сигару и сейчас же встал.

— Мне, однако, пора! Шляпу я, кажется, у вашей супруги оставил! — проговорил он и проворно ушел.

Мари едва успела отойти от двери и сесть на свое место. Лицо ее было по-прежнему взволнованно, но не столь печально, и даже у ней на губах появилась как бы несколько лукавая улыбка, которою она как бы говорила самой себе: «Ну, доктор!»

Тот вошел к ней в номер с самым веселым лицом.

— А ваш старичок такой же милый, как и был! — говорил он.

— Да,— произнесла Мари.

— Ну-с, так прикажете иногда заезжать к вам? — продолжал доктор.

— Ах, непременно и, пожалуйста, почаще! — воскликнула Мари, как бы спохватившись.— Вот вы говорили, что я с ума могу сойти, я и теперь какая-то совершенно растерянная и решительно не сумела, что бы вам выбрать за границей для подарка; позвольте вас просить, чтобы вы сами сделали его себе! — заключила она и тотчас же с поспешностью подошла, вынула из стола пачку ассигнаций и подала ее доктору: в пачке была тысяча рублей, что Ришар своей опытной рукой сейчас, кажется, и ощутил по осязанию.

— Ну, зачем же, что за вздор! — говорил он, покраснев даже немного в лице и в то же время проворно и как бы с полною внимательностью кладя себе в задний карман деньги.

— Все люди-с,— заговорил он, как бы пустясь в некоторого рода рассуждения,— имеют в жизни свое назначение! Я в молодости был посылаем в ваши степи калмыцкие. Там у калмыков простой народ, чернь, имеет предназначение в жизни только размножаться, а высшие классы их, нойены, напротив, развивать мысль, порядок в обществе...

Мари слушала доктора и делала вид, что как будто бы совершенно не понимала его; тот же, как видно, убедившись, что он все сказал, что ему следовало, раскланялся, наконец, и ушел.

В коридоре он, впрочем, встретился с генералом, шедшим к жене, и еще раз пошутил ему:

— А у нас есть не хуже ваших амстердамских.

— Не хуже? — спросил, улыбаясь всем ртом от удовольствия, генерал.

— Не хуже-с! — повторил доктор.

Мари, как видно, был не очень приятен приход мужа.

— Что ж ты не идешь прогуляться? — почти сердито спросила она его.

— Да иду, я только поприфрантился немного! — отвечал генерал, охорашиваясь перед зеркалом: он в самом деле был в новом с иголочки вицмундире и новых эполетах. За границей Евгений Петрович все время принужден был носить ненавистное ему статское платье и теперь был почти в детском восторге, что снова облекся в военную форму.

— Adieu! — сказал он жене и, поправив окончательно хохолок своих волос, пошел блистать по Невскому.

Слова доктора далеко, кажется, не пропадали для генерала даром; он явно и с каким-то особенным выражением в лице стал заглядывать на всех молоденьких женщин, попадавшихся ему навстречу, и даже нарочно зашел в одну кондитерскую, в окнах которой увидел хорошенькую француженку, и купил там два фунта конфет, которых ему совершенно не нужно было.

— Merci, mademoiselle! — сказал он француженке самым кокетливым образом, принимая из ее рук конфеты. Не оставалось никакого сомнения, что генерал приготовлялся резвиться в Петербурге.

Мари, когда ушел муж, сейчас же принялась писать прежнее свое письмо: рука ее проворно бегала по бумаге; голубые глаза были внимательно устремлены на нее. По всему заметно было, что она писала теперь что-то такое очень дорогое и близкое ее сердцу.

Окончив письмо, она послала служителя взять себе карету, и, когда та приведена была, она сейчас же села и велела себя везти в почтамт; там она прошла в отделение, где принимают письма, и отдала чиновнику написанное ею письмо.

— А скажите, пожалуйста, оно непременно дойдет по адресу? — спросила она его упрашивающим голосом.

— Непременно-с! — успокоил ее чиновник.

— Пожалуйста, чтобы дошло! — повторила еще раз Мари.

На конверте письма было написано: «Его высокоблагородию Павлу Михайловичу Вихрову — весьма нужное!»

XVII

ГОРОДСКИЕ ХОРОВОДЫ

Вихров продолжал хандрить и скучать об Фатеевой... Живин всеми силами души желал как-нибудь утешить его, и с этою целью он старался уронить в его глазах Клеопатру Петровну.

— Не знаю, брат, что ты только в ней особенно хорошее нашел,— говорил он.

— Да хоть то,— отвечал Вихров,— что она искренно и нелицемерно меня любила.

— Ну,— произнес с ударением Живин,— это еще под сомнением... Я только тебе говорить не хочу.

— Нет, если ты знаешь что-нибудь, ты должен говорить! — произнес настойчиво Вихров.

— Знаю я то,— начал, в свою очередь, с некоторым ожесточением Живин,— что когда разошелся слух о твоих отношениях с нею, так этот молодой доктор прямо говорил всем: «Что ж,— говорит,— она и со мной целовалась, когда я лечил ее мужа»; чем же это объяснить, каким чувством или порывом?

Вихров встал и прошелся несколько раз по комнате.

— Я решительно ее ни в чем не могу винить,— начал он неторопливо,— она продукт нашего женского воспитания, она не личный характер, а тип.

Живин не возражал уже: он очень любил, когда приятель его начинал рассуждать и философствовать.

— По натуре своей,— продолжал Вихров,— это женщина страстная, деятельная, но ее решительно не научили ничему, как только любить, или, лучше сказать, вести любовь с мужчиной. В свет она не ездит, потому что у нас свету этого и нет, да и какая же неглупая женщина найдет себе в этом удовольствие; читать она, вследствие своего недовоспитания, не любит и удовольствия в том не находит; искусств, чтобы ими заняться, никаких не знает; детей у нее нет, к хозяйству тоже не приучена особенно!.. Что же ей остается после этого делать в жизни? Одно: практиковаться в известных отношениях с мужчинами!

— Это так, верно,— согласился Живин.

— Эти отношения,— развивал Вихров далее свою мысль,— она, вероятно бы, поддержала всю жизнь с одним мужчиной, но что же делать, если случилось так, что она, например, полюбила мужа — вышел негодяй, она полюбила другого — тоже негодяй, третьего — и тот негодяй.

— То есть это и ты негодяй против нее? — спросил Живин.

— И я против нее негодяй. Таких женщин не одна она, а сотни, тысячи, и еще к большему их оправданию надобно сказать, что они никогда не изменяют первые, а только ни минуты не остаются в долгу, когда им изменяют, именно потому, что им решительно делать нечего без любви к мужчине.

Живин очень хорошо понимал, что огорчение и озлобление говорило в этом случае устами приятеля.

— Нет, брат, не от души ты все это говоришь,— произнес он,— и если ты так во всем ее оправдываешь, ну так женись на ней,— прибавил он и сделал лукавый взгляд.

— И женился бы непременно, если бы не думал себя посвятить литературе, ради которой никем и ничем не хочу себя связывать,— отвечал Вихров.

— А что, из Питера об романе все еще нет ничего? — спросил Живин.

— Ни звука, ни строчки,— отвечал Вихров.

— Да ты бы, братец, написал кому-нибудь, чтобы справился там; неужели у тебя никого нет знакомых в Петербурге? — говорил, почти горячась, Живин.

— Никого,— отвечал Вихров протяжно,— есть одна дама, которая недавно приехала в Петербург... некто madame Эйсмонд.

— Это та, о которой ты мне рассказывал?

— Да, и я от нее получил вот письмо.

И Вихров с этими словами достал из письменного стола письмо и начал его читать Живину:

«Мой добрый Поль!

По возвращении из-за границы первым моим желанием было узнать, где ты и что ты поделываешь, но от кого было это проведать, решительно недоумевала. К счастию, к нам приехал один наш общий знакомый: полковник Абреев. Он, между прочим, рассказал, что ты у него купил имение и теперь живешь в этом имении; меня, признаюсь, огорчило это известие до глубины души. Неужели ты, с твоим умом, с твоим образованием, с твоим взглядом на вещи, желаешь погребсти себя в нашей ужасной провинции? Припомни, например, Еспера Иваныча, который погубил даже здоровье жизнью своею в захолустье. Или, может быть, тебя привязывает к деревне близость известной особы? Я тебя, по старой нашей дружбе, хочу предостеречь в этом случае: особа эта очень милая и прелестная женщина, когда держишься несколько вдали от нее, но вряд ли она будет такая, когда сделается чьей бы то ни было женою; у ней, как у Януса, два лица: одно очень доброе и любящее, а другое построже и посердитей. Все это я тебе говорю по непритворному желанию тебе счастья и

успехов в жизни и молю бога об одном, чтобы ты вышел на свойственную тебе стезю. Глубоко и искренно тебе преданная и любящая».

— Вот этой-то госпоже я и думаю написать,— заключил Вихров,— тем более, что она и прежде всегда ободряла во мне стремление быть ученым и литератором.

— Напиши! Кроме того, по письму-то видно, что она и неравнодушна к тебе.

— Вот вздор какой!

— Кажется, неравнодушна,— повторил Живин.— Ты, однако, Кергелю говорил, что ужо̀ приедешь к нам в город на хороводы.

— Непременно.

— И мы так, значит, сделаем: прежде всего в погребок; там потолкуем и выпьем!

— Выпьем и потолкуем! — согласился Вихров: он последнее время все чаще и чаще стал предаваться этого рода развлечению с приятелями. Те делали это больше по привычке, а он — с горя, в котором большую роль играла печаль об Фатеевой, а еще и больше того то, что из Петербурга не было никакого известия об его произведениях.

По отъезде приятеля Вихров несколько времени ходил по комнате, потом сел и стал писать письмо Мари, в котором извещал ее, что с известной особой он даже не видится, так как между ними все уже покончено; а потом, описав ей, чем он был занят последнее время, умолял ее справиться, какая участь постигла его произведения в редакции. К письму этому он приложил самые рукописи романа и повести, прося Мари прочесть и сказать ему свое откровенное мнение об его творениях. Отправив все это в городе на почту, Вихров проехал затем в погребок, который состоял всего из одной только маленькой и грязной комнатки, но тем не менее пользовался большою известностью во всем уезде: не было, я думаю, ни одного чиновника, ни одного помещика, который бы хоть раз в жизни не пивал в этом погребке, в котором и устроено было все так, что ничего другого нельзя было делать, как только пить: сидеть можно было только около единственного стола, на котором всегда обыкновенно пили, и съесть чего-нибудь можно было достать такого, что возбуждает жажду пить, каковы: селедка, икра... Для наших друзей хозяин простер свою любезность до того, что в своем собственном самова-

ре приготовлял им глинтвейн, которым они в настоящее время заменили жженку, так как с ним было меньше возни и он не так был приторен. Кергель и Живин сидели уже перед единственным столом в погребе, когда Вихров вошел к ним.

— Самовар! — крикнул сейчас же Кергель.

Самовар с приготовленным в нем глинтвейном внес сам хозяин. Вихров сел на пустое место перед столом; лицо у него в одно и то же время было грустное и озлобленное.

— Я сегодня хочу пить много! — сказал он.

— Сколько угодно, душа моя, сколько угодно! — отвечал Кергель, разливая глинтвейн по стаканам.

Вихров залпом выпил свой стакан.

— Ну-с, так вы нам сегодня устроите рандеву,— обратился он с развязным видом к Кергелю.

— Постараюсь от всей души! — отвечал тот, пожимая плечами.

— Непременно должен устроить,— подхватил и Живин. Он думал, что это все-таки поразвеселит Павла.

— Строго здесь ужасно, ужас как строго! — воскликнул Кергель.— Я вот лет десять бьюсь тут, ничего путного не могу достать.

— Без отговорок; вы ведь обещали,— повторил Вихров.

— Постараюсь,— повторил еще раз Кергель.— Ну, однако, пора,— сказал он,— солнце уже садится.

Самовар между тем весь до дна был кончен. Приятели выпили по крайней мере стакана по четыре крепчайшего глинтвейна и вышли из погребка, немного пошатываясь. Взявшись все трое под руку, пошли они по городу, а экипажам своим велели ехать сзади себя. Цель, куда, собственно, они стремились, были хороводы, которые водили на городских валах мещанские девушки и молодые женщины. Забава эта была весьма древняя и исполненная какого-то частью идолопоклоннического, а частью и азиатского характера. Девушки и молодые женщины выходили на гулянку в своих шелковых сарафанах, душегрейках, в бархатных и дородоровых кичках с жемчужными поднизями, спускающимися иногда ниже глаз, и, кроме того, у каждой из них был еще веер в руках, которым они и закрывали остальную часть лица. Все они, молодые и немолодые, красивые и некрасивые, были набелены и нарумянены и,

став в круг, ходили и пели: «Ой, Дунай ты, мой Дунай, сын Иванович Дунай!» или: «Ой, Дидо-Ладо, вытопчем, вытопчем!» Около этих хороводов ходили также и молодые парни из купцов и мещан, в длинных сюртуках своих и чуйках. Несколько поодаль от всего этого стояли обыкновенно семинаристы и молодые приказные. В настоящий день повторилось то же самое. Друзья наши, подойдя к хороводам, стали невдалеке от приказных. Солнце начинало уже садиться, хороводы все громче и громче принимались петь; между женщинами стали появляться и мужчины. Наконец потухла и заря, в хороводах послышались крики и визги; под гору с валов стали сбегать по две, по три фигуры мужчин и женщин и пропадать затем в дальних оврагах. Видимо было, что все, что совершается любовного и сердечного в купеческом и мещанском обществе, все это происходило на этих гульбищах. Здесь ни мать, ни отец не могли досмотреть или остановить своей дочери, ни муж даже жены своей, потому что темно было: гуляй, душа, как хочется!.. Кергель похвастался и обещал тут именно и добыть какую-нибудь любовь для Вихрова, и с этой целью все они и стояли около хороводов часов до двенадцати. Кергель подходил то к одному из них, то к другому, постоит, скажет несколько слов и отойдет.

— Ну, что же? — спрашивал его Вихров насмешливо.

— Нет, нельзя тут,— отвечал Кергель и, отправляясь к третьей группе, там тоже постоит, а около некоторых не скажет даже ничего и отойдет.

— Я говорил, что ничего не добьешься,— бормотал он с досадой.

— Как вы говорили, не добьетесь?.. Напротив, вы говорили, что добьетесь непременно! — подтрунивал над ним Вихров.

— Ну, черт с ним, с его обещанием, поедемте лучше ко мне выпить! — произнес Живин.

— А мне нельзя, господа, извините,— проговорил Кергель.

— Куда же вы? К барышне, верно, какой-нибудь едете, стихи свои читать? — спросил его Вихров.

— Может быть, и заеду еще куда-нибудь! — отвечал Кергель и сейчас же поспешил уехать: он очень, кажется, сконфузился, что не исполнил данного им обещания.

— Едем ко мне, душа моя,— повторял все свое Живин.

— Но, друг мой милый,— произнес Вихров,— я хочу любви!

— Там увидим! — проговорил с каким-то ударением Живин.

Поехали.

На квартире у Живина они сейчас же принялись пить водку, так как, по высокой честности его и недостаточности состояния, у него никогда ничего, кроме водки, не было.

— У Кергеля этого, брат, всегда фраза, везде и во всем, а настоящего дела нет! — говорил сильно уже подвыпивший Живин.

— А у тебя не фраза? — спросил его Вихров мрачно и тоже запинающимся несколько языком.

— Нет, не фраза, только знаешь что? Бросим, брат, это, плюнем.

— Нет, не брошу! — возразил Вихров.— Меня тут вот давит, душит; хочу делать все гадости и все мерзости! Видит бог,— продолжал он, ударяя себя в грудь,— я рожден не для разврата и порока, а для дела, но как тут быть, если моего-то дела мне и не дают делать! Чиновником я не родился, ученым не успел сделаться, и, прежде, когда я не знал еще, что у меня есть дарование — ну и черт со мной! — прожил бы как-нибудь век; но теперь я знаю, что я хранитель и носитель этого священного огня,— и этого сознания никто и ничто, сам бог даже во мне не уничтожит.

— Да ты и будешь писателем,— утешал его Живин.

— Но если же нет, если нет?! — восклицал Вихров со скрежетом зубов.— Так ведь я убью себя, потому что жить как свинья, только есть и спать, я не могу...

— Да кто же может, кто? —толковал ему Живин.— Все мы и пьем оттого, что нам дела настоящего, хорошего не дают делать,— едем, черт возьми, коли ты желаешь того.

— Едем! — повторил за ним мрачно и Вихров.

Они сначала проехали одну улицу, другую, потом взобрались на какую-то гору. Вихров видел, что проехали мимо какой-то церкви, спустились потом по косогору в овраг и остановились перед лачугой. Живин хоть был и не в нормальном состоянии, но шел, однако, привычным шагом. Вихров чувствовал только, что его ноги ступали по каким-то доскам, потом его кто-то стукнул дверью в

грудь,— потом они несколько времени были в совершенном мраке.

— Дарья! Дарья! — раздавался голос Живина; на этот зов в соседней комнате шаркнули спичкой и замелькал огонек.

— Скорей, Дарья! — повторил между тем Живин.

Наконец показалась заспанная, с всклоченной головой, с едва накинутым на плечи ситцевым платьишком, Дарья.

— Погоди, постой,— произнес Живин и, взяв ее за плечи, отвел несколько в сторону и пошептал ей что-то.

— Ну, садись! — проговорил он Вихрову.

Они сели оба. У Вихрова смутно мерцали перед глазами: какая-то серенькая комната, дама на картине, нюхающая цветок, огромное яйцо, привязанное на ленте под лампадой... Прежняя женщина в это время принесла две свечи и поставила их на столик; вскоре за ней вошла еще другая женщина, как видно, несколько поопрятнее одетая; она вошла и села невдалеке от Павла. Он осмотрел ее тусклыми глазами... Она ему никакой не показалась.

— Что, нравится? — спросил его Живин, подойдя к нему.

— Чем хуже, тем лучше! — отвечал Вихров по-французски.

— Какой человек это, Матреша, какой человек, кабы ты только знала,— говорил потом Живин, показывая девушке на Павла.

— Что же, нам очень приятно,— отвечала та, глупо потупляя свои серые глаза.

XVIII
ТОТСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Герой мой был не таков, чтобы долго мог вести подобную жизнь... В один день все это ему опротивело и омерзело до последней степени.

«Баста, будет!» — сказал он сам себе и то же самое сообщил и Живину, приехавшему, по обыкновению, к нему после присутствия.

— Именно будет! — подхватил тот с радостью. Ему

тоже уж становилось невмоготу, особенно когда Вихров, раскутившись, начнет помахивать с ним туда и сюда.

— Натура-то, братец, у тебя какая-то неудержимая; расходишься, так всего тебе давай! — говорил он по этому поводу.

— Что ж мы, однако, будем делать? — говорил Вихров.— Мне все-таки скучно, поедем куда-нибудь,— хоть на богомолье, что ли?

— Не поедем, а пойдем лучше пешком в Тотский монастырь: всего десять верст, дорога идет все рощей, виды великолепные,— говорил Живин.

— Хорошо! — согласился Вихров.

— Ну, так ты завтрашний день заходи за мной после обеда, и мы отправимся,— заключил Живин и вскоре затем уехал домой.

Вихров на другой день, не взяв даже никакого экипажа с собой, зашел к Живину. Тот уж его дожидался.

— А какой случай! — сказал он.— Вчера я, возвращаясь от тебя, встретил Захаревского с дочерью и, между прочим, рассказал им, что вот мы с тобой идем богу молиться; они стали, братец, проситься, чтобы и их взять, и особенно Юлия Ардальоновна. «Что ж, я говорю, мы очень рады». Ну, они и просили, чтобы зайти к ним; хочешь — зайдем, не хочешь — нет.

— Отчего ж не зайти, зайдем,— отозвался Вихров.

— Зайдем, все с барышней веселей будет идти! — говорил Живин, с удовольствием шагая по мостовой.— Прежде немножко я, грешным делом, пылал к ней нежною страстью.

— Ну, а теперь что же?

— А теперь ты отбил у меня ее,— шутил Живин.

Старика Захаревского и дочь его они застали совсем готовыми для путешествия.

— Merci, monsieur Вихров, что вы не отказались взять нас в вашу компанию! — говорила Юлия.

И все затем тронулись в путь. Старик Захаревский, впрочем, поехал в дрожках шажком за молодыми людьми. Роща началась почти тотчас же по выезде из города. Юлия и кавалеры ее сейчас же ушли в нее.

— Рощу эту, говорят, сам угодник всю насадил, чтобы богомольцам приятнее было ходить в монастырь,— сказал Живин.

— Да, говорят,—подтвердила и Юлия, и потом, осмотревшись кругом, она воскликнула:

— Вихров, посмотрите, сколько земляники! Давайте ее собирать!..— И с раскрасневшимися щеками и взбившимися немного волосами, в своем белом платье, она, как фея лесная, начала перебегать от деревца к деревцу, нагибаться и брать землянику.

— Подите сюда, нате, кушайте! — говорила она, отбирая лучшие ягоды и подавая их Вихрову.— А это нате вам! — прибавляла она, подавая ветку похуже Живину.

— А я и за то спасибо-с! — говорил тот с каким-то комическим голосом.

— Постойте! — кричала Юлия.— И грибов пропасть! Смотрите: раз, два, три, будемте собирать и грибы!

— Будемте-с, будемте! — согласился Живин.— А в монастырь придем и изжарим их,— говорил он и принялся усерднейшим образом отыскивать грибы.

— Вы знаете, я готов все ваши самые капризнейшие желания исполнять,— говорил он.

— Будто?..— спросила Юлия, подняв немножко губку. Она вообще, кажется, на этот раз несколько молодилась и явно это делала для Вихрова, желая ему представиться посреди природы веселою и простодушною девочкою. Старик Захаревский, наконец, прислал сказать, что пора выйти из лесу, потому что можно опоздать. Молодежь с хохотом и с шумом вышла к нему. У Живина были обе руки полнехоньки грибами.

— Не смейте же ни одного из них уронить! — приказывала ему Юлия, а сама подала руку Вихрову, проговоря:

— Поведите меня, я устала.

— Ему руку вашу дали, а мне желаете, чтобы я гриб съел,— острил добродушно Живин.

— А вы чтобы гриб съели! — подхватила с лукавой усмешкой Юлия.

Вскоре затем показалась монастырская мельница, та самая, с которой некогда бедный Добров похитил мешок. Она была огромная; перила на гати ее почему-то выкрашены были государственным цветом, как красятся будки и казенные мосты; около нее стояли две телеги, а около телеги две молоденькие бабенки. Старик монах-мельник, седой, как лунь, и сверх того перепачканный еще в муке,

сидел на солнышке и чинил себе сапоги. Мельница шумела всеми своими двенадцатью поставами; вода с шумом рвалась через загородь; омут виднелся, черный, как сажа. Путешественники наши подошли к старику-монаху. Юлию очень мучила жажда от ходьбы, а может быть, и оттого, что она опиралась на руку весьма приятного ей кавалера.

— Пить, пить, пить! — кричала она, желая представить пигалицу.

— Дедушка, дай барышне напиться водицы, а я тебе за это грибы отдам,— говорил Живин, кладя старику в подол кафтана все грибы.

— А вы не хотите беречь грибов — смотрите! — погрозила ему Юлия пальцем.

— Что мне теперь; беречь для вас ничего уж я не стану! — шутил Живин.

Старик между тем взял грибы, ушел с ними на мельницу, откуда принес ковшичек, зачерпнул им воды и подал. Все напились.

— Вы давно, дедушка, в монастыре? — спросил его Вихров.

— Давно; двадцать вот уж годов при одной мельнице служу,— отвечал монах немножко сердитым голосом,— я в ней все уставы знаю!.. Что ни сломайся, николи плотников не зову — все сам!

— А вы из какого звания? — продолжал Вихров.

— Какого звания — мужик простой, служить только богу захотел,— а у нас тоже житье-то! При монастыре служим, а сапогов не дают; а мука-то ведь тоже ест их, хуже извести, потому она кислая; а начальство-то не внемлет того: где хошь бери, хоть воруй у бога — да!..— бурчал старик. Увидев подъехавшего старика Захаревского, он поклонился ему.— Вон барин-то знакомый,— проговорил он, как-то оскаливая от удовольствия рот.

— Что, мы службу застанем в монастыре? — спросил тот.

— Где тут, какая теперь служба,— отвечал опять как бы с сердцем монах,— настоятель-то в отлучке, а братия вся на работе.

— Ну, может, захватим кого-нибудь! — сказал Захаревский и велел кучеру ехать.

Молодые люди пошли за ним.

Вихров на прощанье дал монаху рубль.

— Ну вот это благодарю,— сказал тот, а потом сел и опять принялся починивать сапоги.

Подходя к самому монастырю, путники наши действительно увидели очень много монахов в поле; некоторые из них в рубашках, а другие в худеньких черных подрясниках — пахали; двое севцов сеяло, а рыжий монах, в клобуке и подряснике поновее, должно быть, казначей, стоял у телеги с семянами. Захаревский послал своего кучеренка к этому монаху; тот ему передал что-то от барина. Монах кивнул ему в знак согласия головою и быстрыми шагами пошел к монастырю,— и когда путники наши вошли в монастырскую ограду, он уже ожидал их на каменном крыльце храма. По званию своему он в самом деле оказался казначей.

— Молебен угоднику желаете отслужить? — спросил он.

— Непременно-с, непременно,— отвечал старик Захаревский, с трудом всходя своими старческими ногами на ступеньки.

В Тотском монастыре находились мощи угодника, основавшего самый монастырь. Вихров никогда не видал мощей и в этот раз решился посмотреть их. Рака угодника помещалась в маленьком приделе. Она была вся кованая из серебра; множество лампадок горело над ней. Монах, стоящий при мощах, был худ, как мертвец. Рыжий казначей сам стал служить молебен, и с некоторою торжественностью. Старик Захаревский весь молебен стоял на коленях и беспрестанно кланялся в землю, складывая руки, и несколько раз даже слезы появлялись на его глазах; Юлия тоже молилась с благоговением, Живин — с солидностью и степенностью. Вихров, когда молебен кончился, обратился к казначею:

— Батюшка, я могу видеть самые мощи? Они, кажется, не под спудом?

— Можете,— отвечал казначей и посмотрел на худого монаха. Тот подошел к раке, отпер ее висевшим у него на поясе ключом и с помощью казначея приподнял крышку, а сей последний раскрыл немного и самую пелену на мощах, и Вихров увидел довольно темную и, как ему показалось, не сухую даже грудь человеческую. Трепет объял его; у него едва достало смелости наклониться и прикоснуться губами к священным останкам. За ним приложились и все прочие, и крышка раки снова опустилась и заперлась.

— Ночуете, полагаю? — спросил их казначей.

— Ночуем, уж позвольте келейку,— отвечал Захаревский.

— Есть много свободных,— отвечал монах.— Теперь погуляйте пока в нашем монастырском саду, потом просим милости и за нашу трапезу монашескую, не скушаете ли чего-нибудь.

Путники наши поблагодарили его за это приглашение и пошли в сад, который сам собой не представлял ничего, кроме кустов смородины и малины; но вид из него был божественный. Угодник, по преданию, сам выбирал это место для поселения своего; монастырь стоял на обрыве крутой горы, подошва которой уходила в озеро, раскидывающееся от монастыря верст на пятнадцать кругом. В настоящий день оно было гладко, как стекло, и только местами на нем чернели рыбачьи лодочки. Над озером и над монастырем, в воздухе, стояла как бы сетка какая облачная.

— Что это, дым, что ли? — спросил Вихров.

— Нет, это мошкара озерная,— отвечал старик Захаревский.

Вскоре затем раздался звон в небольшой колокол: это сзывали к ужину. Вихров увидел, что из разных келий потянулись монахи; они все на этот раз были в черных подрясниках и все умылись и причесались. Трапеза происходила в длинной комнате, с священною живописью на стенках; посредине ее был накрыт грубой скатертью стол; перед каждым монахом стоял прибор, хлеб и ставец с квасом. При входе Вихрова и его спутников монахи пели речитативом передобеденную молитву. Наконец, все уселись, и казначей гостям своим предложил почетные места около себя; подали щи из рыбы и потом кашу. Квас и хлеб, как и во всех наших монастырях, оказались превосходными. Вихров стал прислушиваться к разговору между монахами.

— Под Тиньковым ничего ныне рыбы не попало, ни щеки!..— говорил один монах другому.

— А в прежние-то годы сколько зачерпывали тут,— отвечал ему товарищ его.

— Всего ныне в умаленьи стало: и рыбы и птицы,— продолжал первый монах.

— В низях-то куда земля мягче пошла — порох! — толковали в другом месте.

Все это Вихрову очень понравилось: никакого ханжества, ни притворной святости не было видно, а являлась одна только простая и трудолюбивая жизнь.

После ужина их отвели в гостиницу и каждому хотели было дать по отдельной комнате; но богомольцы наши разместились так, что Захаревский с дочерью заняли маленькое отделение, а Живин и Вихров легли в одной комнате.

Первый, как человек, привыкший делать большие прогулки, сейчас же захрапел; но у Вихрова сделалось такое волнение в крови, что он не мог заснуть всю ночь, и едва только забрезжилась заря, как он оделся и вышел в монастырский сад. Там он услыхал, что его кличут по имени. Это звала его Юлия, сидевшая в довольно небрежном костюме на небольшом балкончике гостиницы.

— Вы не спите?

— Нет, а вы?

— Тоже,— ужас: всю ночь не спала! Подите сюда на балкон,— отсюда лучше вид! — прибавила она ласковым голосом.

— Нет, мне и здесь хорошо! — отвечал ей Вихров небрежно.— Но что это такое за пыль?—прибавил он, взглянув на землю и разгребая ногой довольно толстый слой в самом деле какой-то черной пыли.

— Это вчерашняя мошкара, которая умерла ночью и упала на землю,— отвечала ему Юлия с балкона.

В это время ударили к заутрене.

— Одевайтесь скорее и приходите в церковь,— сказал Вихров почти строго Юлии.

— Сейчас,— отвечала та.

В почти совершенно еще темном храме Вихров застал казначея, служившего заутреню, несколько стариков-монахов и старика Захаревского. Вскоре после того пришла и Юлия. Она стала рядом с отцом и заметно была как бы чем-то недовольна Вихровым. Живин проспал и пришел уж к концу заутрени. Когда наши путники, отслушав службу, отправились домой, солнце уже взошло, и мельница со своими амбарами, гатью и берегами реки, на которых гуляли монастырские коровы и лошади, как бы тонула в тумане росы.

Юлия, хотя и не столь веселая, как вчера, по-прежнему всю дорогу шла под руку с Вихровым, а Живин шагал за ними, понурив свою голову.

XIX

ОХОТА НА ОЗЕРЕ

Герою моему так понравилась последняя прогулка, что он на другой день написал Живину записку, в которой просил его прибыть к нему и изобресть какой-нибудь еще променаж.

— Да какой променаж,— сказал тот, приехав к нему,— поедем на охоту на озеро; я ружье и собаку с собой захватил.

— Отлично! — подхватил Вихров, и, не откладывая в дальний ящик, они сейчас же отправились на озеро, взяв с собой только еды и ни капли питья, наняли там у рыбаков лодку и поехали. Озеро, как и в предыдущий день, было гладкое и светлое; друзья наши ехали около самого берега, на песчаном склоне которого бегало множество длинноносых куликов всевозможных пород. Вихров прицелился, выстрелил бекасинником и убил по крайней мере штук десять. Живин, в своих болотных сапогах, влез прямо в грязь и подобрал их. Собака его сидела в лодке с опущенной головой и зажатыми глазами, как бы ожидая, что ее очередь показать себя придет. Вышли, наконец, и на луг. Собака сейчас же пошла туда и сюда сновать, потом вдруг остановилась и как бы замерла. Живин махнул рукой Вихрову, чтобы тот тише и осторожнее себя держал, встал сзади собаки, вытянул ружье, скомандовал что-то своему псу; тот слегка пролаял, и из травы выпорхнула какая-то сероватая масса. Живин поспешно выстрелил, масса мгновенно упала и скрылась в траву. Оказалось потом, что это была маленькая и крошечная птичка — бекас; перепачканная в своей собственной крови, она еще трепетала. Вихров невольно отвернулся от нее, потом, впрочем, он и сам убил несколько бекасов. Живин был в полном увлечении; он, кажется, не чувствовал ни усталости, ни голода, ни жажды; но герой мой, хоть и сознавал, что он телом стал здоровее и душою покойнее, однако все-таки устал, и ему есть захотелось. Было уже около трех часов пополудни.

— Где же мы привал наш будем иметь? — спросил он приятеля.

— А вот тут сейчас, недалеко,— отвечал тот, а между тем они прошли после того по крайней мере еще версты две, наконец приблизились к небольшой речке и мостику на ней.

— Вот здесь мы водицы напьемся, закусим и посидим! — говорил Живин, и все это он сейчас же и исполнил. Черный кусок хлеба и манерка воды показались Вихрову необыкновенно вкусными.

— Вряд ли счастье человека состоит не в воздержании и аскетической жизни,— сказал он, невольно вспомнив Неведомова.

Сердце у него при этом сжалось и замерло.

— Ты знаешь,— обратился он к Живину, внимательным образом кормившему свою собаку,— я получил известие о Неведомове.

— А!.. Что же он? — спросил Живин, который из рассказов Вихрова знал очень твердо всех его знакомых по их именам и душевным даже свойствам и интересовался ими так же, как бы они были и его знакомыми.

— Я писал уже к Марьеновскому, чтобы тот меня уведомил об нем, так как он на два мои последние письма не отвечал,— тот и пишет мне: «Увы! Неведомова нашего нет на свете!» Анна Ивановна, помнишь, что я рассказывал?

— Помню!

— Она померла еще весной. Он об этом узнал, был у нее даже на похоронах, потом готовился уже постричься в большой образ, но пошел с другим монахом купаться и утонул — нечаянно ли или с умыслом, неизвестно; но последнее, кажется, вероятнее, потому что не давал даже себя спасать товарищу.

— По-моему, брат, ужасно глупо топиться! — заметил Живин.

— Слишком идеален, слишком поэт был; он не мог жить и существовать на свете,— прибавил Вихров.

— А что, Салов где? — спросил Живин.

— С Саловым ужасная вещь случилась; он там обыгрывал какого-то молодого купчика и научил его, чтобы он фальшивый вексель составил от отца; тот составил. Салов пошел продавать его, а на бирже уж было заявлено об этой фальши, так что их теперь обоих взяли в часть; но, вероятно, как прибавляет Марьеновский, и в острог скоро переведут.

— Туда и дорога! — произнес с удовольствием Живин.

— Нет, жаль! — сказал Вихров (он особенно был как-то на этот раз в добром и миротворном расположении ду-

ха).— Малый умный, даровитый,— продолжал он,— и тоже в своем роде идеалист.

Живин с удивлением посмотрел на приятеля.

— В чем же идеализм-то его заключался? — спросил он.

— В том,— отвечал тот,— что он никак не мог понять, что, живя в обществе, надобно подчиняться существующим в нем законам и известным правилам нравственности.

Живин усмехнулся.

— После этого, брат, все мошенники, что́ у меня сидят в остроге, тоже идеалисты?

— Вероятно! — подтвердил Вихров.

— Ну, нет, брат, это утопия! — заключил Живин и встал.

На обратном пути они еще более настреляли дичи. Собака по росе удивительно чутко шла, и на каждом почти шагу она делала стойку. Живин до того стрелял, что у него глаза даже налились кровью от внимательного гляденья вдаль. Проехав снова по озеру на лодке, они у города предположили разойтись.

— Вот кабы мы с тобой не дали еще зароку,— сказал Живин, потирая с удовольствием руки,— ты бы зашел ко мне, выпили бы мы с тобой водочки, велели бы все это изжарить в кастрюле и начали бы кушать.

— Нет, не хочу; никогда и ничего не буду пить,— возразил Вихров.

— И не пей, прах с ним, с этим питьем,— согласился Живин, и затем они расстались.

Вихрова, сам он не мог понять почему, ужасно тянуло уйти скорее домой, так что он, сколько силы только доставало у него, самым поспешным шагом достигнул своего Воздвиженского и прямо прошел в дом.

Там его встретила на этот раз Груня.

— Ах, барин, сколько вы настреляли! — произнесла она своим молодым голосом и принялась с Вихрова осторожно снимать дичь, которою он кругом почти был весь обвешан, и всякий раз, когда она при этом как-нибудь нечаянно дотрагивалась до него рукой, то краснела.

— К вам письмо есть-с! — сказала она, когда Вихров совсем уже разоблачился из охотничьего наряда.

— Давай мне поскорее его! — сказал он, и при этом у него замерло сердце.

Груша подала ему довольно толстый пакет. У Вихрова задрожали уж и руки: письмо было надписано рукою Мари.

«Мой дорогой Поль! — писала она.— Спешу, наконец, ответить тебе на твое письмо. Причина медленности моей — никак не душевное мое нерасположение к тебе, а этот проклятый Петербург, из которого летом все уезжают. Муж мой раза три ездил на дачу в желаемую тобою редакцию, но его все или не принимали, или он в самом деле не заставал никого дома. Наконец, я, думая все-таки, что он недостаточно усердно хлопочет, поехала сама; дачу нашла под Петергофом,— совершенный раек: так нарядно в ней все убрано; встретил меня господин, разодетый по последней моде, в маленькой фуражке с приплюснутой тульей. Я сказала ему о причине моего приезда. Он, как услыхал, зачем я приехала, сейчас же переменил тон. «Ах, madame!»— воскликнул он и сейчас просил меня садиться; а приехавши, не забудь, я сказала: «Генерал-лейтенантша такая-то!», но на него это, видно, не подействовало, а имя твое напротив! «Мадам, ваш родственник,— и он при этом почему-то лукаво посмотрел на меня,— ваш родственник написал такую превосходную вещь, что до сих пор мы и наши друзья в восторге от нее; завтрашний день она выйдет в нашей книжке, но другая его вещь встречает некоторое затруднение, а потому напишите вашему родственнику, чтобы он сам скорее приезжал в Петербург; мы тут лично ничего не можем сделать!» Из этих слов ты поймешь, что сейчас же делать тебе надо: садись в экипаж и скачи в Петербург. Насколько мне понравились твои произведения, я скажу только одно, что у меня голова мутилась, сердце леденело, когда читала их: боже мой, сколько тут правды и истины сказано в защиту нас, бедных женщин, обыкновенно обреченных жить, что как будто бы у нас ни ума, ни сердца не было!»

Когда Вихров читал это письмо, Груша не выходила из комнаты, а стояла тут же и смотрела на барина: она видела, как он менялся в лице, как дрожали у него руки.

— От кого это письмо-с? — спросила она, когда он кончил чтение.

— Это письмо отличное,— отвечал Вихров,— мне только сейчас же надо ехать в Петербург. Иван! — крикнул он затем.

Вбежал комнатный мальчик.

— Скажи, чтобы Иван укладывал мой чемодан с вещами, с платьем и бельем, а кучерам скажи, чтобы приготовляли закладывать лошадей в дорогу.

Мальчик побежал исполнить все эти приказания, а Груша все еще продолжала стоять и не уходила из кабинета.

— Барин, вы совсем поэтому в Петербург уезжаете? — спросила она.

— Может быть, и совсем,— ответил Вихров и увидел, что Груша оперлась при этом на косяк, как бы затем, чтобы не упасть, а сама между тем побледнела, и на глазах ее навернулись слезы.

— Груша, что с тобой? — спросил он ее тихо.

Груша делала усилия над собой, чтобы не разрыдаться.

— Груша, разве тебе жаль меня? — продолжал Вихров, смотря на нее с любовью.— Жаль тебе меня? — повторил он.

— Жаль, барин! — произнесла Груша почти со стоном.

— И очень жаль? — бормотал уже сильно сконфузившийся Вихров.

— Очень! — повторила девушка.

— Ну, поди ко мне! — сказал он, беря ее руки и привлекая к себе.— Разве ты меня любишь? — спросил он ее уже шепотом.

— Не знаю! — прошептала Груша и, вырвавшись у него из объятий, убежала. Перед самым отъездом Вихрова она, впрочем, еще раз вошла в кабинет к нему.

— Вы, барин, напишите из Петербурга что-нибудь.

— Непременно напишу,— подхватил Вихров,— и как же не написать, когда ты такая милая.

— Благодарю вас, барин,— сказала Груша и, схватив его руку, поцеловала ее.

— Отчего ж ты не хочешь сказать, что любишь меня? — спросил он, привлекая ее к себе.

— Разве я смею, барин, любить вас,— говорила Груша, потупляя глаза.

— Ничего, смей! — говорил Вихров и хотел было опять привлечь ее к себе, но в это время вошел Иван.

Груша поспешила отвернуться от барина.

Иван сердито посмотрел и на нее и на господина и все время, до самого отъезда, не выпускал их из виду.

XX
ПЕТЕРБУРГ

1848 год был страшный для литературы. Многое, что прежде считалось позволительным, стало казаться возмущающим, революционным, подкапывающим все основы государства; литераторов и издателей призывали и делали им внушения. Над героем моим, только что выпорхнувшим на литературную арену, тоже разразилась беда: напечатанная повесть его наделала шуму, другой рассказ его остановили в корректуре и к кому-то и куда-то отправили; за ним самим, говорят, послан был фельдъегерь, чтобы привезти его в Петербург. Бодрствующая над его судьбой Мари тотчас же почти после отправки к нему письма смутно услышала об этом. Она посылала было мужа узнать что-нибудь поподробнее об том, но он, по обыкновению, ничего не узнал. Мари истерзалась душою; она недоумевала, послать ли ей к Вихрову эстафет или нет — и от этого не спала все ночи и очень похудела. Евгений Петрович заметил это и сказал ей:

— Что это, друг мой, ты такая расстроенная?

— Так! — отвечала она ему с досадой.

Генерал, впрочем, совершенно уже привык к нервному состоянию своей супруги, которое в ней, особенно в последнее время, очень часто стало проявляться. В одно утро, наконец, когда Мари сидела с своей семьей за завтраком и, по обыкновению, ничего не ела, вдруг раздался звонок; она по какому-то предчувствию вздрогнула немного. Вслед за тем лакей ей доложил, что приехал Вихров, и герой мой с веселым и сияющим лицом вошел в столовую.

— Ну вот, слава богу, приехал,— говорила Мари, вставая и торопливо подавая ему руку, которую он стал с нежностью несколько раз целовать.

С генералом Вихров тоже дружески и нежно поцеловался.

— Пойдем, однако; мне тебе надо много передать,— сказала Мари и увела его к себе в комнату.

Генерал, оставшись в столовой, почему-то вдруг самодовольно стал ходить по комнате.

— Все это у них об литературе ихней,—проговорил он и, подойдя к окну, начал на нем барабанить марш.

Вихров, усевшись с Мари, невольно обратил на нее внимание.

— Что такое с вами: вы больны и изнурены! — воскликнул он.

— Мне все нездоровилось последнее время,— отвечала она и слегка покраснела.

— Но вы все-таки, однако, хорошеете — уверяю вас! Что значит интеллектуальная-то красота!

— Ну, очень рада, что тебе так кажется,— отвечала Мари, еще более покраснев.— А здесь ужас что такое происходит, какой-то террор над городом. Ты слышал что-нибудь?

— Ничего не слыхал,— отвечал Вихров совершенно беспечно.

— Открыли там какое-то общество Петрашевского, все молодежь, пересажали всех в крепость; тебе тоже, говорят, маленькая неприятность выходит.

— Мне? — спросил Вихров, недоумевая решительно, какая ему может быть неприятность.

— Да, но, вероятно, это какие-нибудь пустяки. Мне рассказывали, что сочинения твои секвестрованы, их рассматривали, судили, и за тобой послан фельдъегерь!

— Черт знает что такое! — произнес Вихров уже несколько и сконфуженный всеми этими подробностями.

— Тебе надобно ехать к кому-нибудь и узнать поподробнее,— продолжала Мари.

— К кому же мне ехать, я совершенно не знаю! В редакцию, что ли?

— Ах, нет! Там, говорят, так за себя перетрусились, что им ни до кого!

— К Абрееву разве ехать? — продолжал Вихров.

— Прекрасная мысль,— подхватила Мари.— Он живет в самом этом grand monde и тебе все узнает. Он очень тепло и приязненно тебя вспоминал, когда был у нас.

— Поеду к нему,— произнес Вихров в раздумье.— Я ехал торжествовать свои литературные успехи, а тут приходится отвечать за них.

— И не говори уж лучше! — сказала Мари взволнованным голосом.— Человек только что вышел на свою дорогу и хочет говорить — вдруг его преследуют за это; и, наконец, что же ты такое сказал? Я не дальше, как вчера, нарочно внимательно перечла оба твои сочинения, и в них, кроме правды, вопиющей и неотразимой правды — ничего нет!

— Кажется! — отвечал ей с грустною усмешкою Вихров.— Но, однако, когда же мне ехать к Абрееву?

— Ты сейчас же и поезжай — откладывать нечего. Я тебе адрес его достану у мужа!

И Мари сходила и принесла адрес Абреева.

— Поеду к нему,— говорит Вихров, вставая и берясь за шляпу. Его самого довольно серьезно обеспокоило это известие.

— Тут одна поэма рукописная ходит, отличная,— говорила Мари, провожая его до передней,— где прямо намекается, что весь Петербург превращен или в палачей, или в шпионов.

— Поэтому здесь не только что писать, но и говорить надобно осторожно! — сказал Вихров.

— Ах, пожалуйста, будь осторожен! — подхватила Мари.— И не вздумай откровенничать ни с каким самой приличной наружности молодым человеком и ни с самым почтенным старцем: оба они могут на тебя донести, один из выгоды по службе, а другой — по убеждению.

Мари давно уже и очень сильно возмущалась существующими порядками, а последние действия против литературы и особенно против Вихрова за его правдивые и честные, как ей казалось, сочинения вывели ее окончательно из себя. Муж ее в этом случае совершенно расходился с ней в мнениях и, напротив, находил все действия против литературы прекрасными и вызываемыми, как он где-то подслушал фразу, «духом времени».

— Ты это говоришь,— возражала ему Мари,— потому что тебе самому дают за что-то кресты, чины и деньги, а до других тебе и дела нет.

— Почему же мне дела нет? — сказал генерал, более всего уколотый словами: *дают за что-то кресты и чины.*

— А потому, что ты эгоист; мы с тобой были в страшное время в Париже, когда тушили революцию, и там не было такого террора.

— Ах, сделай милость, не было! — воскликнул генерал.— Как этих негодяев-блузников Каваньяк расстреливал, так только животы у них летели по сторонам...

— А вот он за это и не усидит!

— Посмотрим! — говорил генерал.

— Не усидит! — повторяла Мари и, чтобы не сердить себя больше, уходила в свою комнату.

Вихров ехал к Абрееву с весьма тяжелым и неприят-

ным чувством. «Как-то примет меня этот барчонок?» — думал он.

Дом блестящего полковника Абреева находился на Литейной; он взял его за женой, урожденной княжной Тумалахановой. Дом прежде имел какое-то старинное и азиатское убранство; полковник все это выкинул и убрал дом по-европейски. Жена у него, говорят, была недальняя, но красавица. Эту прекрасную партию отыскала для сына еще Александра Григорьевна и вскоре затем умерла. Абреев за женой, говорят, получил миллион состояния.

Войдя в парадные сени, Вихров велел отдать визитную карточку о себе. Лакей, понесший ее, почти сейчас же возвратился и просил Вихрова вверх.

Хозяин был в кабинете и стоял у своего письменного стола в щегольском расстегнутом мундирном сюртуке, в серо-синих с красными лампасами брюках и в белом жилете. Белый серебряный аксельбант красиво болтался у него на груди.

— Очень рад вас видеть, monsieur Вихров,— говорил он любезно, встречая Павла,— давно ли вы в Петербурге?

— Сегодня только приехал.

— Ну, благодарю, что посетили меня,— и он еще раз пожал у Павла руку.— Prenez place, je vous prie. Fumez vous le cigare? [1]

— Non, merci, [2] — отвечал Вихров; ему всего скорее хотелось добраться до дела.— Я приехал с просьбой к вам, полковник,— начал он, не откладывая времени.

— К вашим услугам,— отвечал Абреев.

— Я жил в деревне и написал там два рассказа, из которых один был недавно напечатан, а другой представлен в цензуру, но оба их, говорят, теперь захватили и за мной послали фельдъегеря, чтобы арестовать меня и привезти сюда, в Петербург.

— Фельдъегеря? — переспросил его Абреев.

— Говорят.

— Вы не знакомы с кем-нибудь из компании Петрашевского?

— Ни с кем!

Абреев встал и прошелся несколько раз по комнате; его красивое лицо приняло какое-то недовольное и грустное выражение.

---

[1] Садитесь, прошу вас. Вы курите сигару? *(франц.)*

[2] Нет, благодарю, *(франц.)*

— Все мое преступление состоит в том,— продолжал Вихров,—что я в одном моем романе отстаивал бедных наших женщин, а в другом — бедных наших мужиков.

— А! — произнес многозначительно полковник.— Ну, этого, впрочем, совершенно достаточно, чтобы подпасть обвинению,— время теперь щекотливое,— прибавил он, а сам встал и притворил дверь из кабинета.— Эти господа,— продолжал он, садясь около Вихрова и говоря почти шепотом,— господа эти, наши старички, то делают, что уму невообразимо, уму невообразимо! — повторил он, ударив себя по коленке.

Вихрову приятно и отрадно было слышать это от него.

— Я вот к вам поэтому, полковник, и приехал: не можете ли вы узнать, за что я, собственно, обвинен и что, наконец, со мной хотят делать?

— С великою готовностью! — подхватил Абреев.— Сегодня же узнаю и уведомлю вас.

— Здесь, говорят, ужас что такое происходит!

— Д-да! — подхватил протяжно и Абреев.— Все зависит это от нашего малого понимания вещей... Я буду так говорить прямо: я обязан тем, что я теперь есть, а не то, что чем бы я должен быть—решительно случаю. Мать моя, желая, чтобы я выслужился скорее, выхлопотала там, чтобы меня по одному поручению послали в Париж... Когда я приехал туда и по службе сошелся с разными людьми, то мне стыдно стало за самого себя и за свои понятия: я бросил всякие удовольствия и все время пребывания моего в Париже читал, учился, и теперь, по крайней мере, могу сказать, что я человек, а не этот вот мундир.

— Но зато теперь вам, полковник, я думаю, тяжело жить в этой среде? — заметил ему Вихров.

— Нет; во-первых, меня успокаивает сознание моего собственного превосходства; во-вторых, я служу потому только, что все служат. Что же в России делать, кроме службы! И я остаюсь в этом звании, пока не потребуют от меня чего-нибудь противного моей совести; но заставь меня хоть раз что-нибудь сделать, я сейчас же выхожу в отставку. (Картавленья нисколько уже было не слыхать в произношении полковника.)

— Стало быть, я могу надеяться на ваше участие? — сказал Вихров, уже вставая.

— Все, что от меня только зависит! — подхватил пол-

ковник.— Однако, attendez, mon cher [1], прежде всего я завтрашний день прошу вас пожаловать ко мне отобедать.

Вихров поклонился в знак согласия и благодарности.

— Потом-с,— продолжал Абреев,— я, конечно, подыму все мои маленькие ресурсы, чтобы узнать, в чем тут дело, но я существо весьма не всемогущее, может быть, мне и не удастся всего для вас сделать, что можно бы, а потому, нет ли у вас еще кого-нибудь знакомых, которых вы тоже поднимете в поход за себя?

— У меня один только и есть еще знакомый в Петербурге — Плавин!

— Je le connais! [2] Прекрасно! — подхватил полковник.— Он очень милый и умный человек. Судьба ваша, вероятно, и попадет к ним в министерство! Entre nous soit dit, [3] только, пожалуйста, не говорите, что вы слышали от меня! — прибавил он, наклоняясь к Павлу и почти шепотом.— Теперь принята такая система, что умам этим сильным и замечательным писать воспрещают, но, чтобы не пропадали они для государства, их определяют на службу и, таким образом, их способности обращают на более полезную деятельность!

— Может быть, и со мной то же сделают? — спросил Вихров.

— Может быть! — отвечал Абреев, пожав плечами.

Вихров раскланялся с ним.

— Au revoir, mon cher, au revoir! — говорил тот, провожая его почти до передней.

От Абреева Вихров прямо проехал в департамент к Плавину; положение его казалось ему унизительным, горьким и несносным. Довольно несмелою ногою вошел он на небольшую лесенку министерства и, как водится, сейчас же был спрошен солдатом:

— Кого вам надо?

Вихров назвал Плавина.

— Они в директорской,— отвечал солдат.

Вихров подал ему карточку и просил ее отдать Плавину.

Солдат пошел и, возвратясь, объявил:

---

[1] подождите же, мой друг, *(франц.)*
[2] Я его знаю! *(франц.)*
[3] Между нами будь сказано, *(франц.)*

— Немного просят подождать — заняты.

«Как свинья был, так свиньей и остался»,— подумал Вихров.

Через несколько времени, впрочем, тот же солдат позвал его:

— Пожалуйте!

Он застал Плавина в новеньком, с иголочки, вицмундире, с крестом на шее, сидящего за средним столом; длинные бакенбарды его были расчесаны до последнего волоска; на длинных пальцах были отпущены длинные ногти; часы с какой-то необыкновенной уж цепочкой и с какими-то необыкновенными прицепляемыми к ней брелоками.

— Здравствуйте, Вихров! — говорил он, привставая и осматривая Вихрова с головы до ног: щеголеватая и несколько артистическая наружность моего героя, кажется, понравилась Плавину.—Что вы, деревенский житель, проприетер, богач? — говорил он, пододвигая стул Вихрову, сам садясь и прося и его то же сделать.

Он еще прежде слышал о полученном Вихровым наследстве и о значительной покупке, сделанной его отцом.

— Проприетер и богач! — отвечал Вихров.— Только в России независимость состояния вовсе не есть полная независимость человека от всего; не мытьем, так катаньем допекут, и я только совершенно случайно приехал сюда, в Петербург, сам, а не привезен фельдъегерем!

— Как, что такое? — спросил удивленный Плавин.

— Сейчас расскажу... Прежде едино слово об вас... Вы уже вице-директор?

— Да! — отвечал Плавин совершенно покойно.

Несмотря на то, что ему всего только было с небольшим тридцать лет, он уж метил в директоры, и такому быстрому повышению в службе он решительно обязан был своей красивой наружности и необыкновенной внешней точности.

— Вы, значит, человек большой,— продолжал Вихров,— и можете оказать мне помощь: я написал две повести, из которых одна, в духе Жорж Занд, была и напечатана.

— Видел-с и слышал,— произнес, кивая головой, Плавин.

— Во второй повести я хотел сказать за наших крестьян-мужичков; вы сами знаете, каково у нас крепостное

право и как еще оно, особенно по нашим провинциям, властвует и господствует.

— Да! — подтвердил и Плавин с какой-то грустной улыбкой.— Прежде, признаюсь, когда я жил ребенком в деревне, я не замечал этого; но потом вот, приезжая в отпуск, я увидел, что это страшная вещь, ужасная вещь!.. Человек вдруг, с его душой и телом, отдан в полную власть другому человеку, и тот может им распоряжаться больше, чем сам царь, чем самый безусловный восточный властелин, потому что тот все-таки будет судить и распоряжаться на основании каких-нибудь законов или обычаев; а тут вы можете к вашему крепостному рабу врываться в самые интимные, сердечные его отношения, признавать их или отвергать.

«А, как до самого-то коснулось, так не то заговорил, что прежде!» — подумал Вихров.

— Я то же самое сказал и в повести моей,— проговорил он вслух,— однако оба мои творения найдены противозаконными, их рассмотрели, осудили!

— Гм, гм! — произнес Плавин, как человек, понимающий, что говорит Вихров.

— И мне, говорят, угрожает, что я отдан буду в распоряжение вашего начальства,— заключил тот.

— Очень может быть,— отвечал, подумав, Плавин.

— Но как же вы мною распорядитесь? — спросил Вихров.

Плавин усмехнулся.

— Этого я вам теперь не могу сказать; но если хотите, я поразведаю завтра и уведомлю вас! — проговорил он каким-то осторожным тоном.

— Пожалуйста! — произнес Вихров, вставая уже и пожимая поданную ему Плавиным руку.

— Постараюсь! — отвечал тот.

— Тяжелое время мы переживаем! — сказал в заключение Вихров.

Плавин при этом склонил только молча голову.

— Оно или придавит нас совсем, или мы его сбросим! — прибавил Вихров.

Плавин и на это только молча склонил голову.

Вихров, выйдя от него, отправился к Мари. Генерала, к великому своему удовольствию он не застал дома: тот отправился в Английский клуб обедать, и, таким образом, он с Мари все послеобеда пробеседовал с глазу на глаз.

— Ну, что же тебе сказали? — спросила та его, разумеется, первое же слово.

— Да ничего еще пока не сказали, обещали только справиться.

Ответ этот мало успокоил Мари.

— Я вовсе не злая по натуре женщина,— заговорила она,— но, ей-богу, выхожу из себя, когда слышу, что тут происходит. Вообрази себе, какой-то там один из важных особ стал обвинять министра народного просвещения, что что-то такое было напечатано. Тот и возражает на это: «Помилуйте, говорит, да это в евангелии сказано!..» Вдруг этот господин говорит: «Так неужели, говорит, вы думаете, что евангелия не следовало бы запретить, если бы оно не было так распространено!»

Вихров покатился со смеху.

— Это уж, я думаю, и выдумано даже,— проговорил он.

— Se non e vero, e ben trovato[1],— подхватила Мари,— про цензоров опять что рассказывают, поверить невозможно: один из них, например, у одного автора, у которого татарин говорит: «клянусь моим пророком!» — переменил и поставил: «клянусь моим лжепророком!», и вышло, татарин говорит, что он клянется лжепророком!

— Но зачем же он это сделал? — спросил Вихров, сначала и не поняв.

— А затем, что как же в печати можно сказать, что Магомет—пророк, а надобно, чтобы все, даже мусульмане, в печати говорили, что он лжепророк. Хорошо тоже насчет пророка отличилась эта отвратительная газета «Северная Пчела»; оперу «Пророк» у нас запретили называть этим именем, а назвали «Осада Гента». Вдруг господин Булгарин в одной из своих пошленьких статеек пишет, что в Петербурге давали оперу «Осада Гента», неправильно за границей называемую «Пророком».

— Все это показывает, что заниматься литературой надо и мысль покинуть! — произнес Вихров.

— Совершенно надо покинуть, какая тут литература!

— Но что же делать, Мари, так жить и ничем не заниматься — со скуки умрешь или сопьешься!

— Читай больше, занимайся музыкой; пройдет же когда-нибудь это время, не все же будет так!

Вихров сидел, понурив голову.

---

[1] Если это и неверно, то хорошо придумано, (*итал.*).

— Останусь я здесь в Петербурге, Мари, и буду ходить к вам каждый вечер,— произнес он.

— Оставайся здесь и ходи к нам,— повторила она. На лице ее как бы в одно и то же время отразилось удовольствие и маленький страх.

— И будем мы с вами в карты играть!

— И будем в карты играть; я очень рада не слышать разговора разных господ, которые являются к моему супругу и ужас что говорят!

— Так так и сделаем! — сказал Вихров, вставая и целуя у Мари руку.

— Сделаем! Сделаем! — говорила она ему опять как бы несколько нерешительным тоном.

XXI

УЧАСТЬ РЕШЕНА

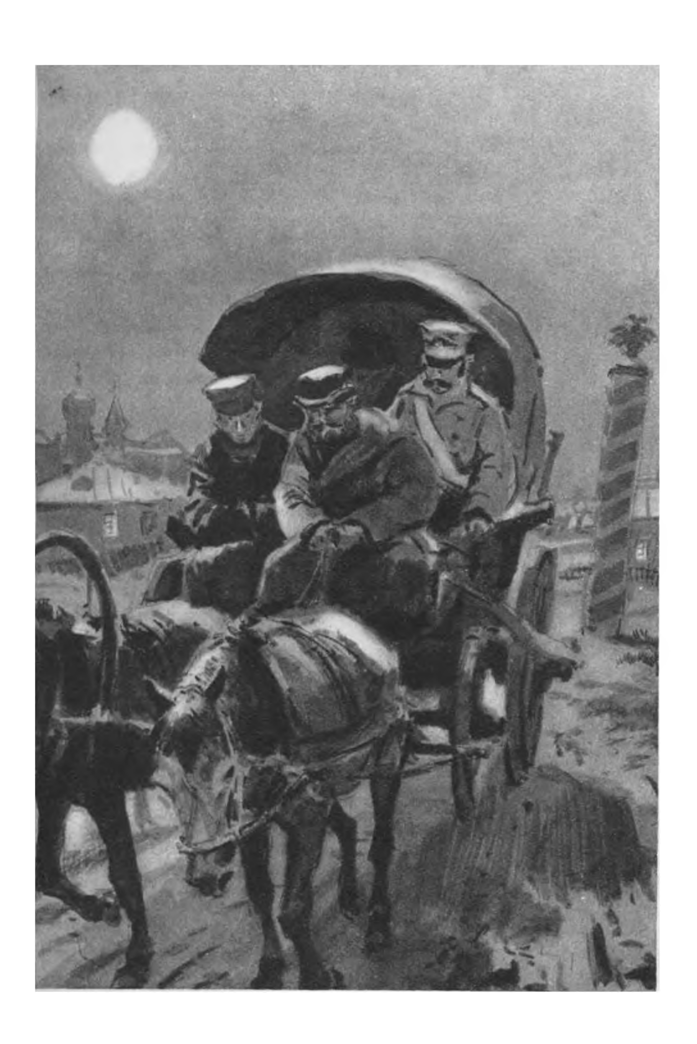
Вихров с нетерпением ожидал часа обеда Абреева, чтобы поскорее узнать от него о предназначенной ему участи. Он в продолжение длинно тянущегося дня заходил к Мари, сидел у ней по крайней мере часа три, гулял по Невскому, заходил в Казанский собор. Наконец приблизились вожделенные пять часов. Вихров зашел к себе в номер, переоделся во фрак и отправился к Абрееву. Тот по-прежнему принял его в кабинете, но оказалось, что полковник обедает не в пять, а в шесть часов, и таким образом до обеда оставался еще добрый час.

— Все узнал об вас,— встретил Абреев такими словами Вихрова.

— А именно-с? — спросил Павел; голос у него при этом немного дрожал.

— Прежде всего — вы желали знать,— начал Абреев,— за что вы обвиняетесь... Обвиняетесь вы, во-первых, за вашу повесть, которая, кажется, называется: «Да не осудите!» — так как в ней вы хотели огласить и распространить учения Запада, низвергнувшие в настоящее время весь государственный порядок Франции; во-вторых, за ваш рассказ, в котором вы идете против существующего и правительством признаваемого крепостного права,— вот все обвинения, на вас взводимые; справедливы ли они или нет, я не знаю.

По тону голоса и по манере, с которою Абреев гово-





рил, видно было, что он немножко подсмеивался над этим.

— Может быть, это отчасти справедливо,— ответил Вихров.

— Наказания вам за таковые ваши преступления,— продолжал Абреев тем же тоном,— положены нижеследующие: вас назначено отправить в одну из губерний с определением вас на службу и с воспрещением вам въезда в обе столицы.

— Как с определением на службу? — спросил Вихров, испугавшись более всего последнего наказания.

— С определением на службу,— повторил Абреев.

— Да как же, разве можно насильно определить человека на службу?

— Отчего же нельзя?

— Оттого, что он ничего не будет делать или будет делать дурно, затем только, чтоб его выгнали опять из службы.

— Нет, его не выгонят, но если будет ничего не делать или дурно делать, его будут наказывать.

— Каким же образом наказывать?

— Сначала будут ему делать замечания, выговоры, станут сажать его под арест и, наконец, если это не поможет, сменят на низшую должность, предадут суду.

— Все это, выходит, далеко не шутка! — проговорил Вихров.

— Далеко не шутка! — повторил и Абреев.— Мой совет, mon cher, вам теперь покориться вашей участи, ехать, куда вас пошлют; заслужить, если это возможно будет, благорасположение губернатора, который пусть хоть раз в своем отчете упомянет, что вы от ваших заблуждений совершенно отказались и что примерным усердием к службе стараетесь загладить вашу вину.

При этих словах Вихров даже смутился.

— Полковник! Если я стану об этом хлопотать, то это будет подлость с моей стороны; я никогда не переменю моих убеждений.

— Что ж, вы этих господ стойкостью и благородством вашего характера хотите удивить и поразить; вас только сочтут *закоренелым* и никогда поэтому не простят; но когда об вас будет благоприятная рекомендация губернатора, мы употребим здесь все пружины, и, может быть, нам удастся извлечь вас снова на божий свет.

— А других средств вы не находите?

— Совершенно не нахожу.

— А если я напишу к государю письмо и объясню, что я неспособен служить?

— Тут о вашей способности или неспособности к службе никто и не заботится, но вы обязаны служить: как сосланный в Енисейскую губернию должен жить в Енисейской губернии, или сосланный на каторгу должен работать на каторге,— хотя, может быть, они и неспособны на то.

Проговоря это, Абреев сам даже невольно улыбнулся своему объяснению.

Вихров совсем поник головой.

— Выхлопочем вам прощенье, выхлопочем,— ободрял его Абреев, хлопая дружески по плечу.

Вихров встал и прошелся несколько раз по комнате.

— Вы не живали, полковник, в провинции и не знаете, что это такое,— произнес он.

— Терпение, mon cher, терпение! — проговорил Абреев.— Когда мне в тридцать почти лет пришлось сесть за указку, сначала было очень тяжело, но я дал себе слово переломить себя и переломил... Однако allons diner[1],— сказал он, взглянув на часы.

В столовой Вихров увидел с черными глазами и с роскошными волосами жену Абреева. Он довольно небрежно рекомендовал ей Вихрова.

— А у нас была княгиня Тавина,— начала хозяйка каким-то точно размокшим языком.

— Ну, что же из этого? — спросил ее серьезно Абреев.

— Ничего,— протянула хозяйка.

Абреев при этом только потупился.

— Ужо я в оперу поеду,— продолжала тем же мятым языком хозяйка.

— Поезжай,— отвечал ей и на это сухо Абреев.

— А вот, кстати, я еще забыл вам сообщить,—отнесся он к Вихрову,— я по вашему делу заезжал также и к Плавину, он тоже все это знает и хлопочет за вас; потом я в клубе видел разные другие их власти и говорил им, чтобы они, по крайней мере, место дали вам приличное, а то, пожалуй, писцом вас каким-нибудь определят.

---

[1] идемте обедать, *(франц.)*

— Мне это решительно все равно,— сказал с грустью Вихров.

Ему всего мучительнее была мысль, что он должен будет расстаться с Мари, и когда потом с ней увидится, он и того даже не знал.

С печальными и тяжелыми мыслями вышел он от Абреевых и не в состоянии даже был ехать к Эйсмондам. Он хотел вечер лучше просидеть у себя в номере, чтобы пособраться несколько с своими мыслями и чувствами; но только что он поприлег на свою постель, как раздались тяжелые шаги, и вошел к нему курьер и подал щегольской из веленевой бумаги конверт, в который вложена была, тоже на веленевой бумаге и щегольским почерком написанная, записка: «Всеволод Никандрыч Плавин, свидетельствуя свое почтение Павлу Михайловичу Вихрову, просит пожаловать к нему в одиннадцать часов утра для объяснения по делам службы».— «Этакий отвратительный формалист»,— подумал про себя Вихров.

В одиннадцать часов на другой день он пошел к Плавину. Тот принял его на этот раз гораздо суше и даже несколько строго.

— Господин министр,— начал он, сам стоя и не сажая Вихрова,— поручил мне вам передать: в какую губернию вы желаете быть отправлены и определены на службу?

И Плавин назвал Вихрову три губернии.

Герой мой решительно недоумевал и при этом вспомнил только, что в одной из сказанных ему губерний служат братья Захаревские; а потому он и выбрал ее, чтоб иметь хоть кого-нибудь знакомых.

— Потрудитесь вписать эту губернию,— сказал Плавин сидевшему тут же у стола молодому человеку.

Тот написал что-то такое на какой-то бумаге.

— В какую же должность меня там определят? — спросил Вихров.

— Вас назначают чиновником особых поручений к губернатору, без жалованья, так как есть в виду, что вы имеете свое состояние.

— А кто там губернатор в этой губернии, которую я выбрал? — спросил Вихров.

— Не помню,— произнес протяжно Плавин и вслед за тем позвонил. В кабинет вошел солдат.

— Попроси ко мне Дормидонта Ивановича,— сказал он.

Солдат ушел, и вслед за тем явился Дормидонт Иванович — старый, почтенный и, должно быть, преисполнительный столоначальник.

— Кто губернатор в...? — и Плавин назвал губернию, которую выбрал Вихров.

— Генерал-майор Мохов.

— Он откуда?

— Из южных польских губерний переведен,— отвечал Дормидонт Иванович каким-то грустным голосом.

— По случаю чего? — продолжал как бы допрашивать Плавин почтительно стоявшего перед ним старого столоначальника.

Дормидонт Иванович слегка улыбнулся при этом.

— По строгости и строптивости нрава,— отвечал он.

— Это хорошо,— произнес Вихров,— но, может быть, в других губерниях, которые мне предназначены, эти господа лучше?

Плавин думал.

Дормидонт Иванович понял, наконец, к чему его расспрашивают.

— Все одни и те же! — отвечал он Вихрову и махнул рукой.

Плавин сделал слегка знак головою Дормидонту Ивановичу, и тот удалился.

Вихров несколько времени еще оставался с Плавиным, как бы ожидая, не скажет ли тот чего-нибудь; но Плавин молчал, и при прощанье, наконец, видно было даже, что он хотел что-то такое сказать,— однако не решился на это и только молча расцеловался с Вихровым.

Тот прямо от него пришел к Мари. Она уж с ума сходила, где он и что с ним, и посылала письмо к нему в номер; но там ей ответили, что его дома нет.

— Где ты пропадаешь! — воскликнула она, встретив его почти на пороге передней.

— Все по делам своим хлопотал,— отвечал, грустно улыбаясь, Вихров.

— Ну что же, чем тебя решили? — спрашивала Мари; нетерпение было видно в каждой черте ее лица.

В это время они входили в ее комнату и усаживались.

— Решили, чтобы сослать меня в... губернию и определить там на службу.

— Зачем же на службу? — спросила Мари, чутьем сердца понимавшая, что это было всего тяжелее для Вихрова.

— Для улучшения моей нравственности и моих взглядов на вещи,— отвечал он насмешливо.

— Но за что же?.. За что?..— спрашивала Мари.

— За проведение французских идей и протест мой против крепостного права,— отвечал Вихров.

Мари взяла себя за голову.

Она не в состоянии, кажется, была говорить от горя и досады.

— То ужасно,— продолжал Вихров,— бог дал мне, говорят, талант, некоторый ум и образование, но я теперь пикнуть не смею печатно, потому что подавать читателям воду, как это делают другие господа, я не могу; а так писать, как я хочу, мне не позволят всю жизнь; ну и прекрасно,— это, значит, убили во мне навсегда; но мне жить даже не позволяют там, где я хочу!.. Теперь мое единственное желание быть в Петербурге, около вас, потому что вы для меня все в мире, единственная моя родная и единственный мой друг,— для меня все в вас!..

Когда Вихров говорил это, у него слезы даже выступили из глаз. У Мари также капали они по щекам.

— Ничего, бог даст, все это пройдет когда-нибудь,— сказала она, протягивая ему руку.

— Друг мой! — воскликнул Вихров.— Пока пройдет, еще неизвестно, что со мной будет; я пробовал провинцию и чуть не спился там...

— Это я слышала, и меня, признаюсь, это больше всего пугает,— проговорила мрачно Мари.— Ну, послушай,— продолжала она, обращаясь к Вихрову и беря его за руку,— ты говоришь, что любишь меня; то для меня, для любви моей к тебе, побереги себя в этом случае, потому что все эти несчастия твои пройдут; но этим ты погубишь себя!

— А вы будете любить меня за это? — спросил ее Вихров нежным голосом.

— Буду всей душой! — воскликнула Мари.— Буду тебя любить больше мужа, больше детей моих.

Павел взял ее руку и страстно целовал ее.

Мари поняла наконец, что слишком далеко зашла, отняла руку, утерла слезы, и старалась принять более спокойный вид, и взяла только с Вихрова слово, чтоб он обе-

дал у них и провел с нею весь день. Павел согласился. Когда самому Эйсмонду за обедом сказали, какой проступок учинил Вихров и какое ему последовало за это наказание, он пожал плечами, сделал двусмысленную мину и только, кажется, из боязни жены не заметил, что так и следовало.

Вечером у них собралось довольно большое общество, и все больше старые военные генералы, за исключением одного только молодого капитана, который тем не менее, однако, больше всех говорил и явно приготовлялся владеть всей беседой. Речь зашла о деле Петрашевского, составлявшем тогда предмет разговора всего петербургского общества. Молодой капитан по этому поводу стал высказывать самые яркие и сильные мысли.

— Мне очень жаль, что их не повесили, очень жаль! — говорил он каким-то порывистым голосом.

— Ну что же — уж и повесить! — возражали ему даже старики.

— Непременно повесить-с...— говорил капитан, бледнея даже в лице,— они вредней декабристов-с!.. Те вышли на площадь с оружием в руках и требовали там каких-то перемен; но безнравственности они не проповедывали-с!.. А господа петрашевцы отвергали религию, брак, собственность!.. Те разбойники, а это злоумышленные писатели; а припомните басню, кто больше был в аду наказан: разбойник ли, убивавший на дороге, или злоумышленный писатель?

— Это-то так, конечно, что так! — соглашались с ним старики.

— Или теперь это письмо господина Белинского ходит по рукам,— продолжал капитан тем же нервным голосом,— это, по-моему, возмутительная вещь: он пишет-с, что католическое духовенство было когда-то и чем-то, а наше никогда и ничем, и что Петр Великий понял, что единственное спасение для русских — это перестать быть русскими. Как хотите, господа, этими словами он ударил по лицу всех нас и всю нашу историю.

— Еще как и ударил-то,— подхватил и Эйсмонд.

— Далее потом-с,— продолжал капитан,— объясняет, что в России произошло филантропическое заменение однохвостного кнута треххвостною плетью,— как будто бы у нас только и делают, что казнят и наказывают.

— Да-с, у нас только и делают, что казнят и наказы-

вают! — вмешался вдруг в разговор, весь вспыхнув, Вихров.

— Кого ж это наказывают? — спросил его спокойно и с заметно малым уважением капитан.

— Меня-с!.. Смею вам представить себя в пример,— произнес тем же раздраженным тоном Вихров.

— Вероятно, есть за что,— заметил ему опять спокойно капитан.

— А за то только, что я осмелился печатно сказать, что у нас иногда пьяные помещики бьют своих жен.

— Это совершенно не ваше дело! — сказал ему с усмешкой капитан.

— Как не мое дело? — возразил опешенный этим замечанием Вихров.

— Дело правительства и законодателей улучшать и исправлять нравы, а никак не частных людей! — продолжал капитан.

— Нравы всегда и всюду исправляла литература, а не законодатели! — сказала ему Мари.

— И нигде нисколько не исправила, а развратила во многих случаях,— объяснил ей капитан.

Вихров хотел было возразить ему, но Мари толкнула его ногой и даже шепнула ему:

— Оставь этого господина!

— Что же он, шпион? — спросил ее в свою очередь Вихров.

— Хуже того, фанатик! — сказала Мари.

Капитан между тем обратился к старикам, считая как бы унизительным для себя разговаривать долее с Вихровым, которому тоже очень уж сделалось тяжело оставаться в подобном обществе. Он взялся за шляпу и начал прощаться с Мари. Та, кажется, поняла его и не удерживала.

— Христос с тобой! — сказала она ему ласковым голосом.— Завтра еще заедешь?

— Непременно заеду,— отвечал Вихров и, раскланявшись с прочими, ушел.

Подходя к своей гостинице, он еще издали заметил какую-то весьма подозрительной наружности, стоящую около подъезда, тележку парой, а потом, когда он вошел в свой номер, то увидал там стоящего жандарма с сумкой через плечо. Сомненья его сейчас же все разрешились.

— Ты за мной? — спросил он солдата.

— За вами, ваше высокоблагородие.

— А мне нельзя еще пробыть здесь, проститься кое с кем?

— Никак нельзя того, ваше благородие,— отвечал солдат.

Вихров велел Ивану своему укладывать свои вещи и объявил ему, что они сейчас же поедут.

Иван, как только еще увидел солдата, так уж обмер, а теперь, когда барин сказал ему, что солдат этот повезет их куда-то, то у него зубы даже застучали от страха.

— Дядинька, ты куда нас повезешь?.. В Сибирь, что ли? — спрашивал он почти плачущим и прерывающимся голосом солдата.

— Нет, не в Сибирь,— отвечал тот, ухмыляясь.

Вихров между тем написал коротенькую записку к Мари и объявил ей, что заехать ему к ним нельзя, потому что его везут с жандармом.

Часа в два ночи они выехали. Ванька продолжал дрожать в повозке. Он все не мог понять, за что это барина его наказывали.

«Украл, что ли, он что?!» — размышлял он в глупой голове своей.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I
ПИСЬМО ВИХРОВА К МАРИ

«Пишу к вам почти дневник свой. Жандарм меня прямо подвез к губернаторскому дому и сдал сидевшему в приемной адъютанту под расписку; тот сейчас же донес обо мне губернатору, и меня ввели к нему в кабинет. Здесь я увидел стоящего на ногах довольно высокого генерала в очках и с подстриженными усами. Я всегда терпеть не мог подстриженных усов, и почему-то мне кажется, что это делают только люди весьма злые и необразованные.

Генерал осмотрел меня с ног до головы.

— Где вы учились? — спросил он.

— В университете московском.

— Имеете состояние?

— Имею.

— Что именно?

— Триста с лишком душ!

При этом, как мне показалось, лицо губернатора приняло несколько более благоприятное для меня выражение.

— Мне предписано определить вас к себе в чиновники особых поручений без жалованья.

Я на это ничего ему не сказал.

— Можете идти отдыхать! Надеюсь, что вы не подадите мне повода ссориться с вами!..— прибавил он, когда я совсем уходил.

Тележка моя стояла уже без жандарма. Я сел в нее и велел себя везти в какую-нибудь гостиницу. Иван мой был ни жив ни мертв. Он все воображал, что нас обоих с ним

в тюрьму посадят. В гостинице на меня тотчас, как я разделся, напала страшнейшая скука. Видневшаяся мне в окно часть города показалась противною; идущие и едущие людишки, должно быть, были ужасная все дрянь; лошаденки у извозчиков преплохие; церкви все какие-то маленькие. «Что же я буду делать тут?» — спрашивал я с отчаянием самого себя. Читать я не мог, да у меня и не было ни одной книжки. Служебного какого-нибудь дела мне, по моей неблагонадежности, вероятно, не доверят. «Чем же я займу себя, несчастный!» — восклицал я, и скука моя была так велика, что, несмотря на усталость, я сейчас же стал сбираться ехать к Захаревским, чтобы хоть чем-нибудь себя занять. Пришедший меня брить цирюльник рассказал мне, что старший Захаревский считается за очень честного и неподкупного господина. Он из товарищей председателя сделан уж прокурором.

— Ежели вот кого теперь чиновники обидят, он сейчас заступится и обстоит! — объяснял мне цирюльник.

— А младший что?

— Младший — форсун, богач! Что за лошади, что за экипаж у него!

— А губернатор что за человек?

— Строгий,— ух, какой!.. Беда!

— А взятки берет?

— Про самого-то не чуть!.. А тут *дама сердца* есть у него, та, слышно, побирает.

— И потом ему передает?

— Да бог их знает!.. Нет, надо быть!.. У себя оставляет.

Из всех этих сведений я доволен был по крайней мере тем, что старший Захаревский, как видно, был человек порядочный, и я прямо поехал к нему. Он принял меня с удивлением, каким образом я попал к ним в город, и когда я объяснил ему, каким именно, это, кажется, очень подняло меня в глазах его.

— Очень рад, конечно, не за вас, а за себя, что вас вижу здесь! — говорил он, вводя меня в свой кабинет, по убранству которого видно было, что Захаревский много работал, и вообще за последнее время он больше чем возмужал: он как-то постарел,— чиновничье честолюбие, должно быть, сильно его глодало.

— Я прежде всего,— начал я,— прошу у вас совета: какого рода жизнь могу я повести здесь?

Захаревский не понял сначала моего вопроса.

— Как какого рода жизнь? — спросил он.

— Какого? Прежде я писал, но теперь мне это запретили; что же я буду делать после того?

— Вы теперь служить предназначены,— произнес Захаревский с полуулыбкой.

— Но, по моей неблагонамеренности, мне, конечно, ничего не доверят делать!

— Не думаю,— произнес Захаревский,— губернатору, вероятно, предписано даже занять вас. Если хотите, я скажу ему об том же.

— А вы с ним в хороших отношениях?

— Не то что в хороших, но он непременно будет говорить сам об вас, потому что вы — *лицо политическое;* нельзя же ему не сообщить об нем прокурору; кроме того, ему приятно будет огласить это *доверие начальства,* которое прислало к нему вас на выучку и на исправление.

Захаревский на словах *лицо политическое, доверие начальства* делал заметно насмешливое ударение. Я просил его сказать губернатору, чтобы тот дал мне какое-нибудь дело, и потом полюбопытствовал узнать, каким образом губернатор этот попал в губернаторы. Захаревский сделал на это небольшую гримасу.

— Он был сначала взят,— отвечал он,— за высокий рост в адъютанты... Здесь он приучился к писарской канцелярской службе; был потом, кажется, в жандармах и сделан наконец губернатором.

Я объяснил ему, что он мне очень грубым человеком показался.

— Да, он не из нежных! — отвечал Захаревский.

— А умен?

— Очень даже!.. Природного ума пропасть имеет; но надменен и мстителен до последней степени Он, я думаю, во всю жизнь свою никогда и никому не прощал не только малейшей обиды, но даже неповиновения.

— У него, говорят, есть еще любовница, которая за него и взятки берет.

— Есть и это! — сказал с улыбкою Захаревский.

Я объяснил ему, что мне все это весьма неприятно слышать, потому что подобный господин, пожалуй, бог знает как станет надо мной надругаться.

— Не думаю! — возразил Захаревский.—Он слишком лукав для того; он обыкновенно очень сильно давит только людей безгласных, но вы — он это очень хорошо поймет — все-таки человек с голосом!.. Меня он, например, я уверен, весьма желал бы видеть на веревке повешенным, но при всем том не только что на бумаге, но даже в частном обращении ни одним взглядом не позволяет сделать мне что-нибудь неприятное.

От этих житейских разговоров Захаревский с явным умыслом перешел на общие вопросы; ему, кажется, хотелось определить себе степень моей либеральности и узнать даже, как и что я — в смысле религии. С легкой руки славянофилов он вряд ли не полагал, что всякий истинный либерал должен быть непременно православный. На его вопрос, сделанный им мне по этому предмету довольно ловко, я откровенно ему сказал, что я пантеист и что ничем больше этого быть не могу. Это, как я очень хорошо видел, показалось Захаревскому уже немножко сильным или даже просто глуповатым. По своим понятиям он, конечно, самый свободомыслящий человек во всей губернии, но только либерализм его, если можно так выразиться, какой-то местный. Он, видимо, до глубины души возмущается деспотизмом губернатора и, вероятно, противодействует ему всеми силами, но когда тут же разговор коснулся Наполеона III, то он с удовольствием объявил, что тот, наконец, восторжествовал и объявил себя императором, и когда я воскликнул, что Наполеон этот будет тот же губернатор наш, что весь род Наполеонов надобно сослать на остров Елену, чтобы никому из них никогда не удалось царствовать, потому что все они в душе тираны и душители мысли и, наконец, люди в высшей степени антихудожественные,— он совершенно не понял моих слов. Марьеновский как-то мне справедливо говорил, что все правоведы имеют прекрасное направление, но все они — люди весьма поверхностно образованные и стоящие на весьма жидком основании. Во всяком случае, встретить подобного человека в такой глуши — для меня находка. Я просидел у него, по крайней мере, часа четыре и, уезжая, спросил его о брате: когда я могу того застать дома.

— Он очень рад будет вам,— отвечал Захаревский,— и, чтобы не делать вам пустых визитов, приезжайте к нему вечером ужо,— и я у него буду!

Я душевно обрадовался этому приглашению, потому что решительно не знал, что мне вечер делать.

Нанятый мною на вечер извозчик, когда я спросил его, знает ли он, где живет инженер Захаревский, в удивлении воскликнул:

— Как не знать-с, помилуйте! — И потом, везя меня, прибавил: — У них свой дом-с, и отличнеющий!

Дом в самом деле оказался отличнейшим; в сенях пол был мозаик; в зале, сделанной под мрамор, висели картины; мебель, рояль, драпировки — все это было новенькое, свеженькое.

Инженер встретил меня с распростертыми объятиями. Старший Захаревский был уже у брата и рассказал ему о моем приезде.

— Мы решительно встречаемся с вами нечаянно,— говорил инженер, ведя меня по своим нарядным апартаментам,— то у какого-то шулера в Москве, потом вдруг здесь!

Мы все уселись в его хорошеньком кабинете, который скорее походил на кабинет камелии, чем на кабинет мужчины.

Я забыл сказать, что оба брата Захаревские имеют довольно странные имена: старший называется Иларион Ардальоныч, а младший — Виссарион Ардальоныч. Разговор, разумеется, начался о моей ссылке и о причине, подавшей к этому повод. Иларион Захаревский несколько раз прерывал меня, поясняя брату с негодованием некоторые обстоятельства. Но тот выслушал все это весьма равнодушно.

— Нечего делать!.. Надобно подчиняться... — говорил он.

— В том-то и дело,— возразил старший Захаревский,— что у нас нередко хороших людей наказывают, а негодяев награждают.

— Ну, где ж,— произнес Виссарион Захаревский,— и негодяев наказывают... Конечно, это странно, что человека за то, что он написал что-то такое, ссылают! Ну, обяжи его подпиской, чтобы он вперед не писал ничего подобного.

На этих словах какой-то писец или солдат доложил ему, что пришел подрядчик.

— Пожалуйте сюда! — вскрикнул Захаревский на весь свой дом.

В комнату вошел рыжий подрядчик.

— Счет принес?

— Принес!

И подрядчик подал Захаревскому исписанный лист. Тот просмотрел этот лист, помарал в нем что-то карандашом, прикинул несколько раз на счетах и, написав вышедшую на них сумму на бумаге, подал ее подрядчику.

— Извольте получить-с! Тысячу рублей скидки.

У подрядчика и рожа вытянулась и глаза забегали.

— Многонько, ваше высокоблагородие,— проговорил он каким-то глухим голосом.

— Не маленько ли скорей? Не маленько ли? — возразил ему уже громкой фистулой Захаревский.

Подрядчик глубоко-глубоко вздохнул, потом вдруг, как бы собравшись со всем своим духом, произнес:

— Так работать нельзя-с, я не возьму-с — вся ваша воля.

— Не бери,— проговорил ему и на это совершенно хладнокровно Захаревский.

— Да как же браться-то так, помилуйте, ваше высокоблагородие! — почти вопил подрядчик.

— Никто тебя не заставляет, на аркане не тащат! — проговорил Захаревский совершенно развязным тоном.

— Ах ты, боже ты мой! — произнес почти со стоном подрядчик и точно с каким-то остервенением взял из рук Захаревского перо и расписался на счету.

— Прощайте-с, делать нечего,— прибавил он и с понуренной головой, как бы все потеряв на свете, вышел из комнаты.

— Фу, вот пытку-то выдержал! — произнес по уходе его Захаревский взволнованным уже голосом.

Я и брат его взглянули на него с удивлением.

— Заметь этот шельма по моей физиогномии, что у меня ни одного нет подрядчика в виду, он не только бы не снес тысячу, но еще накинул бы.

— А у тебя разве нет в виду других? — спросил его брат.

— Ни единого! — воскликнул инженер.— Сегодня все они в комиссии нахватали работ и за пять рублей ни одного человека в день не дадут.

Странные и невеселые мысли волновали меня, пока я все это видел и слышал; понятно, что оба брата Захаревские были люди, стоящие у дела и умеющие его делать. Чем же я теперь посреди их являюсь? А между тем я им ровесник, так же как ровесник и моему петербургскому

другу, Плавину. Грустно и стыдно мне стало за самого себя; не то, чтобы я завидовал их чинам и должностям, нет! Я завидовал тому, что каждый из них сумел найти дело и научился это дело делать... Что же я умею делать? Все до сих пор учился еще только чему-то, потом написал какую-то повесть — и еще, может быть, очень дурную, за которую, однако, успели сослать меня. Сам ли я ничтожество или воспитание мое было фальшивое, не знаю, но сознаю, что я до сих пор был каким-то *чувствователем жизни* — и только пока. Возвращаюсь, однако, к моему рассказу: по уходе подрядчика, между братьями сейчас же начался спор, характеризующий, как мне кажется, не только их личные характеры, но даже звания, кои они носят. Старший Захаревский передал мне, что он виделся уже с губернатором, говорил с ним обо мне, и что тот намерен был занять меня серьезным делом; передавая все это, он не преминул слегка ругнуть губернатора. Младший Захаревский возмутился этим.

— За что ты этого человека бранишь всегда? — спросил он.

— За то, что он сто́ит того! — отвечал Иларион Захаревский.

— Чем сто́ит!

— Всем!

— Чем же всем? Это ужасно неопределенно!

— А хоть тем, что вашим разным инженерным проделкам потворствует, а вы у него за это ножки целуете! — проговорил резко прокурор и, встав на ноги, начал ходить по комнате.

Инженер при этом немного покраснел.

— Погоди, постой, любезный, господин Вихров нас рассудит! — воскликнул он и обратился затем ко мне: — Брат мой изволит служить прокурором; очень смело, энергически подает против губернатора протесты,— все это прекрасно; но надобно знать-с, что их министр не косо смотрит на протесты против губернатора, а, напротив того, считает тех прокуроров за дельных, которые делают это; наше же начальство, напротив, прямо дает нам знать, что мы, говорит, из-за вас переписываться ни с губернаторами, ни с другими министерствами не намерены. Из-за какого же черта теперь я стану ругать человека, который, я знаю, на каждом шагу может принесть существенный вред мне по службе,— в таком случае уж лучше не слу-

жить, выйти в отставку! Стало быть, что́ же выходит? Он благородствовать может с выгодой для себя, а я только с величайшим вредом для всей своей жизни!.. Теперь второе: он хватил там: *ваши инженерные проделки*. В чем эти *проделки* состоят, позвольте вас спросить? Господин Овер, например, берет за визит пятьдесят рублей, — называют это с его стороны проделкой? Известный актер в свой бенефис назначает цены тройные,— проделка это или нет? Живописец какой-нибудь берет за свои картины по тысяче, по две, по пяти. Все они берут это за свое искусство; так точно и мы, инженеры... Вы не умеете делать того, что я умею, и нанимаете меня: я и назначаю цену десять, двадцать процентов, которые и беру с подрядчика; не хотите вы давать нам этой цены,— не давайте, берите — кого хотите, не инженеров, и пусть они делают вам то, что мы!

— Торговаться-то с вами некому, потому что тут казна — лицо совершенно абстрактное, которое все считают себя вправе обирать, и никто не беспокоится заступиться за него! — говорил прокурор, продолжая ходить по комнате.

— Сделайте милость! — воскликнул инженер.— Казна, или кто там другой, очень хорошо знает, что инженеры за какие-нибудь триста рублей жалованья в год служить у него не станут, а сейчас же уйдут на те же иностранные железные дороги, а потому и дозволяет уж самим нам иметь известные выгоды. Дай мне правительство десять, пятнадцать тысяч в год жалованья, конечно, я буду лучше постройки производить и лучше и честнее служить.

По всему было заметно, что Илариону Захаревскому тяжело было слышать эти слова брата и стыдно меня; он переменил разговор и стал расспрашивать меня об деревне моей и, между прочим, объявил мне, что ему писала обо мне сестра его, очень милая девушка, с которой, действительно, я встречался несколько раз; а инженер в это время распорядился ужином и в своей маленькой, но прелестной столовой угостил нас отличными стерлядями и шампанским.

Домой поехали мы вместе с старшим Захаревским. Ему, по-видимому, хотелось несколько поднять в моих глазах брата.

— Брат Виссарион,— сказал он,— кроме практиче-

ских разных сведений по своей части, и теоретик отличный!

Но я, признаюсь, больше готов был поверить в первое его качество.

Дома я встретил два события; во-первых, посреди моего номера лежал до бесчувствия пьяный Ванька. Я велел коридорному взять его и вывести. Тут этот негодяй очнулся, разревелся и начал мне объяснять, что это он пьет со страха, чтобы его дальше со мной в Сибирь не сослали. Чтобы успокоить его и, главное, себя, я завтра же отправляю его в деревню и велю оттуда приехать вместо него старухе-ключнице и одной комнатной девушке... Второе событие — это уже присланное на мое имя предписание губернатора такого содержания: «Известился я, что в селе Скворцове крестьянин Иван Кононов совратил в раскол крестьянскую девицу Пелагею Мартьянову, а потому предписываю вашему высокоблагородию произвести на месте дознание и о последующем мне донести». Отложив обо всем этом заботы до следующего дня, я стал письменно беседовать с вами, дорогая кузина. Извините, что все почти представляю вам в лицах; увы! Как романисту, мне, вероятно, никогда уже более не придется писать в жизни, а потому я хоть в письмах к вам буду практиковаться в сей любезной мне манере».

II

СЕКТАТОР

Вихров очень невдолге получил и ответ на это письмо от Мари. Она, впрочем, писала не много ему: «Как тебе не грех и не стыдно считать себя ничтожеством и видеть в твоих знакомых бог знает что: ты говоришь, что они люди, стоящие у дела и умеющие дело делать. И задаешь себе вопрос: на что же ты годен? Но ты сам прекрасно ответил на это в твоем письме: *ты чувствователь жизни.* Они — *муравьи, трутни,* а ты — их *наблюдатель* и *описатель;* ты срисуешь с них картину и дашь ее нам и потомству, чтобы научить и вразумить нас тем,— вот ты что такое, и, пожалуйста, пиши мне письма именно в такой любезной тебе форме и практикуйся в ней для нового твоего романа. О себе мне тебе сказать много нечего. Тех господ, которых ты слышал у нас, я уже видеть больше не могу

и не выхожу обыкновенно, когда они у нас бывают. Женечка мой все пристает ко мне и спрашивает: «О чем это ты, maman, когда у нас дядя Павел был, плакала с ним?» — «О глупости людской»,— отвечаю я ему. Жду от тебя скоро еще письма.

Любящая тебя Мари».

Герой мой жил уже в очень красивенькой квартире, которую предложил ему Виссарион Захаревский в собственном доме за весьма умеренную цену, и вообще сей практический человек осыпал Вихрова своими услугами. Он купил ему мебель, нашел повара. Иван был отправлен в деревню, и вместо его были привезены оттуда комнатный мальчик, старуха-ключница и горничная Груша. Последняя цвела радостью и счастьем и, видимо, обращалась с барином гораздо смелее прежнего и даже с некоторою нежностью... В одно утро она вошла к нему и сказала, что какой-то господин его спрашивает.

— Кто такой? — спросил Вихров.

— Не знаю, барин,— нехороший такой,— отвечала Груша.

Вихров велел его просить к себе. Вошел чиновник в вицмундире с зеленым воротником, в самом деле с омерзительной физиономией: косой, рябой, с родимым пятном в ладонь величины на щеке и с угрями на носу. Груша стояла за ним и делала гримасы. Вихров вопросительно посмотрел на входящего.

— Стряпчий палаты государственных имуществ, Миротворский! — отрекомендовался тот.

— Это вы, по поручению моему, депутатом командированы ко мне? — спросил Вихров.

— Точно так-с,— отвечал тот.

Вихров указал ему рукою на стул. Стряпчий сел и стал осматривать Павла своими косыми глазами, желая как бы изучить, что он за человек.

— Мы долго не едем с вами,— сказал ему Вихров.

— Лучше к празднику приедем... завтра Введение во храм, весьма чтимый ими праздник... может, и народу-то к нему пособерется, и мы самую совращенную, пожалуй, захватим тут.

— Стало быть, мы должны оцепить дом?

— Непременно-с! Поедем ночью и оцепим дом.

Вихрову это было уж не по нутру.

— Скажите, пожалуйста, для чего же все это делается? — спросил он стряпчего.

— Для того, что очень много совращается в раскол. Особенно этот Иван Кононов, богатейший мужик и страшный совратитель... это какой-то патриарх ихний, ересиарх; хлебом он торгует, и кто вот из мужиков или бобылок содержанием нуждается: «Дам, говорит, и хлеба и всю жизнь прокормлю, только перейди в раскол».

— Ну да нам-то что за дело? Бог с ними!

— Как, нам что за дело? — произнес стряпчий, как бы даже обидевшись.— Этак, пожалуй, все перейдут в раскол.

Вихров призадумался. Предстоящее поручение все больше и больше становилось ему не по душе.

— Когда же мы поедем? — спросил он.

— Да сегодняшнюю ночь, а теперь потрудитесь написать в полицию, чтобы вам трех полицейских солдат и жандармов дали.

Вихров поморщился и написал.

Стряпчий взял у него бумагу и ушел. Вихров остальной день провел в тоске, проклиная и свою службу, и свою жизнь, и самого себя. Часов в одиннадцать у него в передней послышался шум шагов и бряцанье сабель и шпор,— это пришли к нему жандармы и полицейские солдаты; хорошо, что Ивана не было, а то бы он умер со страху, но и Груша тоже испугалась. Войдя к барину с встревоженным лицом, она сказала:

— Барин, солдаты вас какие-то спрашивают!

— Знаю я,— сказал Вихров,— это они со мной поедут.

— А разве вас, барин, опять повезут куда-нибудь? — спросила Груша, окончательно побледнев.

— Нет, это не меня повезут, а я сам поеду с солдатами по службе.

Груша немного поуспокоилась.

— Это воров, что ли, вы каких, барин, пойдете ловить? — любопытствовала она.

— Воров,— отвечал ей Вихров.

— Смотрите, барин, чтобы вас не убили как,— сказала Груша опять уже встревоженным голосом.

— Не убьют, ничего,— отвечал ей с улыбкой Вихров и поцеловал ее.

Груша осталась этим очень довольна.

— Я, барин, всю ночь не стану спать и буду дожидать вас,— говорила она.

— Нет, спи себе спокойно.

— Не могу, барин, и рада бы заснуть,— не могу.

Вскоре потом приехал и стряпчий в дубленке, но в вицмундире под ней. Он посоветовал также и Вихрову надеть вицмундир.

— Это зачем? — спросил тот.

— Нельзя же ведь, все-таки мы присутствие там составим...— объяснил ему на это Миротворский.

Вихров надел вицмундир; потом все они уселись в почтовые телеги и поехали. Вихров и стряпчий впереди; полицейские солдаты и жандармы сзади. Стряпчий толковал солдатам: «Как мы в селенье-то въедем, вы дом его сейчас же окружите, у каждого выхода — по человеку; дом-то у него крайний в селении».

— Знаем-с! Слава тебе господи, раз шестой едем к нему в гости,— отвечали некоторые солдаты с явным смехом.

Ночь была совершенно темная, а дорога страшная — гололедица. По выезде из города сейчас же надобно было ехать проселком. Телега на каждом шагу готова была свернуться набок. Вихров почти желал, чтобы она кувырнулась и сломала бы руку или ногу стряпчему, который начал становиться невыносим ему своим усердием к службе. В селении, отстоящем от города верстах в пяти, они, наконец, остановились. Солдаты неторопливо разместились у выходов хорошо знакомого им дома Ивана Кононова.

— Пойдемте в дом,— сказал шепотом и задыхающимся от волнения голосом стряпчий Вихрову, и затем они вошли в совершенно темные сени.

Послышалось беганье и шушуканье нескольких голосов. Вихров сам чувствовал в темноте, что мимо его пробежали два — три человека. Стоявшие на улице солдаты только глазами похлопывали, когда мимо их мелькали человеческие фигуры.

— Ведь это все оттуда бегут! — заметил один.

— А бог их знает,— отвечал другой флегматически.

— Погоди, постой, постой! — кричал между тем стряпчий, успевший схватить какую-то женщину. Та притихла у него в руках.

— Солдат! — крикнул он.

Вошел солдат. Он передал ему свою пленницу.

— Держи крепче!

И тотчас же потом закричал: «Ты еще кто, ты еще кто?» — нащупав какую-то другую женщину. Та тоже притихла. Он и ее, передав солдату, приказал ему не отпускать.

— Теперь пойдемте в моленную ихнюю, я дорогу знаю,— прибавил он опять шепотом Вихрову и, взяв его за руку, повел с собой.

Пройдя двое или трое сеней, они вошли в длинную комнату, освещенную несколькими горящими лампадами перед целым иконостасом икон, стоящих по всей передней стене. Людей никого не было.

— Разбежались все, черти! — говорил стряпчий.

— Но, может быть, тут никого и не было,— сказал ему Вихров.

— Как никого не было? Были! — возразил стряпчий.

В это время вошел в моленную и сам Иван Кононов, высокий, худощавый, с длинной полуседой бородой старик. Он не поклонился и не поздоровался со своими ночными посетителями, а молча встал у притолка, как бы ожидая, что его или спросят о чем-нибудь, или прикажут ему что-нибудь.

— Куда это прихожан-то своих спрятал? — спросил его Миротворский.

— Никого я не спрятал,— отвечал Иван Кононов, с какой-то ненавистью взглянув на Миротворского: они старые были знакомые и знали друг друга.

— Что же, разве сегодня службы не было? — продолжал тот.

— Кому служить-то?..— отвечал Иван Кононов опять как-то односложно: он знал, что с господами чиновниками разговаривать много не следует и проговариваться не надо.

— Ты отслужишь за попа,— заметил Миротворский.

— Нет, я не поп! — отвечал уже с усмешкой Иван Кононов.

— Так, значит-с, мы в осмотре напишем, что нашли раскиданными по полу подлобники! — И Миротворский указал Вихрову на лежащие тут и там небольшие стеганые ситцевые подушки.— Это вот сейчас видно, что они молились тут и булдыхались в них своими головами.

Вихров на это молчал, но Кононов отозвался:

— Известно, молимся с семейством каждый день и оставляем тут подушечки эти, не собирать же их каждый час.

— А ладаном отчего пахнет, это отчего? — спросил плутовато Миротворский.

— И ладаном когда с семейством курим, не запираюсь в том: где же нам молиться-то, — у нас церкви нет.

— Это что еще? — воскликнул вдруг Миротворский, взглянув вверх. — Ты, любезный, починивал моленную-то; у тебя три новые тесины в потолке введены!

— Ничего нет, никаких тесин новых! — отвечал Кононов немного сконфуженным голосом и слегка побледнев.

— Как нет? Вы видите? — спросил Миротворский Вихрова.

— Вижу, — отвечал тот, решительно не понимая, в чем тут дело и для чего об этом говорят. В потолке, в самом деле, были три совершенно новых тесины.

— Как же ты говоришь, что не новые? — сказал Миротворский Кононову.

— Не новые, — повторил тот еще раз.

— Нет, это новые! — сказал ему и Вихров.

Кононов ничего не отвечал и только потупился.

— Мы моленную, значит, должны запечатать, — сказал Миротворский. — Дозволено только такие моленные иметь, которые с двадцать четвертого года не были починяемы, а как которую поправят, сейчас же ее опечатывают.

Вихров проклял себя за подтверждение слов Миротворского о том, что тесины новые.

— Ну-с, теперь станемте опрашивать захваченных, — продолжал Миротворский и велел подать стол, стульев, чернильницу, перо и привести сторожимых солдатами женщин.

— Хорошо ли это делать в моленной? — заметил ему Вихров.

— По закону следует на месте осмотра и опрашивать, — отвечал Миротворский.

Все это было принесено. Следователи сели. Ввели двух баб: одна оказалась жена хозяина, старуха, — зачем ее держали и захватили — неизвестно!

Миротворский велел сейчас же ее отпустить и за что-то вместо себя выругал солдата.

— Дурак этакий, держишь, точно не видишь, кого?

Другая оказалась молодая, краснощекая девушка, которая все время, как стояла в сенях, молила солдата:

— Отпусти, голубчик, пожалуйста!

— Не смею, дура; зачем ты сюда приходила?!

— Да я так, на поседки сюда пришла, да легла на печку и заснула.

Миротворский начал плутовато допрашивать ее.

— Ты православная?

— Православная.

— А в церковь редко ходишь?

— Где в церковь-то ходить,— далеко.

— Ну, а сюда, что ли, в моленную ходишь?

— Ино и сюда хожу! — проболталась девушка.

Миротворский все это записывал. Вихрова, наконец, взорвало это. Он хотя твердо и не знал, но чувствовал, что скорее он бы должен был налегать и выискивать все средства к обвинению подследственных лиц, а не депутат ихний, на обязанности которого, напротив, лежало обстаивать их.

— Позвольте, я сам буду допрашивать и писать,— сказал он, почти насильно вырывая у Миротворского перо и садясь писать: во-первых, в осмотре он написал, что подлобники хотя и были раскиданы, но домовладелец объяснил, что они у него всегда так лежат, потому что на них молятся его домашние, что ладаном хотя и пахнуло, но дыма, который бы свидетельствовал о недавнем курении, не было,— в потолке две тесины, по показанию хозяина, были не новые.

Пока он занимался этим, Миротворский будто бы случайно вышел в сени. Вслед же за ним также вышел и Иван Кононов, и вскоре потом они оба опять вернулись в моленную.

Вихров, решившийся во что бы то ни стало заставить Миротворского подписать составленное им постановление, стал ему читать довольно строгим голосом.

— Что ж, хорошо, хорошо! — соглашался сверх ожидания тот.— Но только, изволите видеть, зачем же все это объяснять? Или написать, как я говорил, или уж лучше совсем не писать, а по этому неясному постановлению его хуже затаскают.

— Хуже, ваше высокородие; по этому постановлению совсем затаскают,— произнес жалобным голосом и Иван Кононов.

— Как же делать? — спросил Вихров.

— Да так, ничего не писать! — повторил Миротворский.— Напишем, что никого и ничего подозрительного не нашли.

— Сделайте милость, ваше высокородие,— произнес Иван Кононов и повалился Вихрову в ноги.

Старуха, жена Кононова, тоже повалилась ему в ноги.

— Ваше высокородие, простите и меня! — завопила и молоденькая девушка, тоже кланяясь ему в ноги.

Вихров страшно этим сконфузился.

— Да бог с вами, я готов хоть всех вас простить! — говорил он.

— Притеснять их много нечего; старика тоже немало маяли,— поддержал также и Миротворский.

— Три года наезды все; четвертый раз под суд отдают,— жаловался с слезами на глазах Иван Кононов Вихрову, видно заметив, что тот был добрый человек.

— Но почему же так? Что же ты делаешь такое? — спрашивал Вихров.

— Управляющего он маленько порассердил, ну тот теперь и поналегает на него,— объяснил Миротворский.

— Не один уж управляющий поналегает, а все, кажись, чиновники,— присовокупил сам Иван Кононов.

— Хочешь, я скажу об этом губернатору? — спросил его Павел.

— Ах, боже мой! Как это возможно! — воскликнул Кононов.— Сделайте милость, слезно вас прошу о том, не говорите!

— Как можно говорить это губернатору! — подхватил и Миротворский.

— Отчего же? — спросил Вихров.

— Оттого, что начальство мое государственное съест меня после того,— объяснил Кононов.

— Съедят! — подтвердил и Миротворский.— Управляющий и без того желает, чтобы нельзя ли как-нибудь его без суда, а административно распорядиться и сослать на Кавказ.

Вихров пожал плечами.

— Так ты, значит, ничего больше не желаешь,— доволен, если мы напишем, что ничего у тебя не нашли? — спросил он Кононова.

— Доволен,— отвечал тот.

— Теперь, я думаю, надобно совращенную допросить,— сказал Вихров, все более и более входя в роль следователя.

— Непременно-с,— подхватил Миротворский.— Позовите ее,— сказал он солдату.

Тот привел совращенную. Оказалось, что это была старая и неопрятная крестьянская девка.

— Ты православная? — спросил ее Вихров.

— Православная,— больше промычала она.

— А в церковь ходишь?

— Хожу,— промычала опять девка.

— Но ведь последнее время перестала?

— Перестала,— мычала девка.

— В раскол, что ли, поступила?

Девка несколько время тупилась и молчала.

— Нету,— проговорила, наконец, она.

— Но к нам в церковь больше не ходишь? — спросил ее Миротворский.

— Нет,— отнекивалась и от этого девка.

— И не желаешь ходить?

— Не желаю!

— Значит, ты раскольница?

— Ну, раскольница,— сказала, наконец, уже сердито девка.

— Что ее допрашивать — она дура совсем,— сказал Вихров.

— Дура, надо быть,— согласился стряпчий.

— Для правительства все равно, я думаю, хоть в турецкую бы веру она перешла.

— Да вот поди ты!.. Спросите еще ее, не совращал ли ее кто-нибудь, не было ли у нее совратителя?

— А не совращал ли кто-нибудь тебя?

— Нет, никто! — почти окрысилась девка.

Иван Кононов, стоявший все это время в моленной, не спускал с нее глаз и при последнем вопросе как-то особенно сильно взглянул на нее.

— И все теперь,— сказал Миротворский и принялся писать показания и отбирать к ним рукоприкладства.

Когда все это было кончено, солнце уже взошло. Следователи наши начали собираться ехать домой; Иван Кононов отнесся вдруг к ним:

— Сделайте милость, не побрезгуйте, откушайте чайку!

— Выпьемте, а то обидится,— шепнул Миротворский Вихрову. Тот согласился. Вошли уже собственно в избу к Ивану Кононову; оказалось, что это была почти комната, какие обыкновенно бывают у небогатых мещан; но что приятно удивило Вихрова, так это то, что в ней очень было все опрятно: чистая стояла в стороне постель, чистая скатерть положена была на столе, пол и подоконники были чисто вымыты, самовар не позеленелый, чашки не загрязненные.

Хозяин, хоть и с грустным немножко видом, но сам принялся разливать чай и подносить его своим безвременным гостям.

Вихрову ужасно хотелось чем-нибудь ободрить, утешить и, наконец, вразумить его.

— Зачем ты, Иван Кононыч,— начал он,— при таких гонениях на тебя, остаешься в расколе?

— И христиан гнали, не только что нас, грешных,— отвечал тот.

— То другое дело, тем не позволяли новой религии исповедовать; а у вас с нами очень небольшая разница... Ты по поповщине?

— По поповщине.

— И поэтому вы только не признаете наших попов; и отчего вы их не признаете?

— А оттого, что все они от нечестивца Никона происходят — его рукоположения.

— А ваши ни от кого уж не происходят, ничьего рукоположения.

— Наши все — патриарха Иосифа рукоположения,— произнес каким-то протяжным голосом Иван Кононов.

— Как же это так, я этого не понимаю,— сказал Вихров.

— А так же: кого Иосиф патриарх благословил, тот — другого, а другой — третьего... Так до сих пор и идет,— пояснил Иван Кононов.

— И ты никак, ни для чего и ни для каких благ мира веры своей этой не изменишь? — спросил его Вихров.

— Не изменю-с! И как же изменить ее,— продолжал Иван Кононов с некоторою уже усмешкою,— коли я, извините меня на том, вашего духовенства видеть не могу

с духом спокойным; кто хошь, кажется, приди ко мне в дом,— калмык ли, татарин ли,— всех приму, а священников ваших не принимаю, за что самое они и шлют на меня доносы-то!

— Он сам вряд ли не поп ихной раскольничей,— шепнул между тем Миротворский Вихрову.

Наконец они опять начали собираться домой. Иван Кононов попробовал было их перед дорожкой еще водочкой угостить: Вихров отказался, а в подражание ему отказался и Миротворский. Сев в телегу, Вихров еще раз спросил провожавшего их Ивана Кононова: доволен ли он ими, и не обидели ли они чем его.

— Нет-с, никакой особенной обиды мы от вас не видали,— ответил Иван Кононов, но как-то не совсем искренно; дело в том, что Миротворский сорвал с него десять золотых в свою пользу и сверх того еще десять золотых и на имя Вихрова.

Ничего подобного и в голову герою моему, конечно, не приходило, и его, напротив, в этом деле заняла совершенно другая сторона, о которой он, по приезде в город, и поехал сейчас же поговорить с прокурором.

— Ну, Иларион Ардальонович,— сказал он, входя к Захаревскому,— я сейчас со следствия; во-первых, это— святейшее и величайшее дело. Следователь важнее попа для народа: уполномоченный правом государства, он входит в дом к человеку, делает у него обыск, требует ответов от его совести, это черт знает что такое!

— Значит, вам понравилось?

— Это не то, что понравилось, это какой-то трепет гражданский произвело во мне; и вы знаете ли, что у нас следователь в одном лице своем заключает и прокурора иностранного, и адвоката, и присяжных, и все это он делает один, тайно в своей коморе.

Захаревский, не совсем поняв его мысль, смотрел на него вопросительно.

— Смотрите, что выходит,— продолжал Вихров,— по иностранным законам прокурор должен быть *пристрастно* строг, а адвокат должен быть *пристрастно* человечен, а следователь должен быть то и другое, да еще носить в себе убеждение присяжных, что виновно ли известное лицо или нет, и сообразно с этим подбирать все факты.

— Ну, нет! — возразил Захаревский.— У нас следо-

ватель имеет больше характер обвиняющего прокурора, а роль адвоката играют депутаты сословные.

— Хороши, батюшка, наши депутаты; я у моего депутата едва выцарапал его клиентов. Потом-с, этот наш раскол... смело можно сказать, что если где сохранилась поэзия народная, так это только в расколе; эти их моленные, эти их служения, тайны, как у первобытных христиан! Многие обыкновенно говорят, что раскол есть чепуха, невежество! Напротив, в каждой почти секте я вижу мысль. У них, например, в секте *Христова Любовь* явно заметен протест против брака: соберутся мужчины и женщины и после известных молитв — кому какая временно супружница достается, тою и владеют; в противоположность этой секте, аскетизм у них доведен в хлыстовщине до бичевания себя вервиями, и, наконец, высшая его точка проявилась в окончательном искажении человеческой природы — это в скопцах. Далее теперь: обрядовая сторона религии, очень, конечно, украсившая, но вместе с тем много и реализировавшая ее, у них в беспоповщине совершенно уничтожена: ничего нет, кроме моления по Иисусовой молитве... Как хотите, все это не глупые вещи!

— Еще бы! — согласился и прокурор.— Но надобно знать, что здешние чиновники с этими раскольниками делают, как их обирают,— поверить трудно! Поверить невозможно!..— повторил он несколько раз.

— Ну-с,— подхватил Вихров,— вы говорили, что губернатор хотел мне все дела эти передать, и я обстою раскольников от ваших господ чиновников...

— Вы сделаете великое и благородное дело,— подхватил Захаревский.— Я, откровенно говоря, и посоветовал губернатору отдать вам эти дела, именно имея в виду, что вы повыметете разного рода грязь, которая в них существует.

— Все сделаю, все сделаю! — говорил Вихров, решительно увлекаясь своим новым делом и очень довольный, что приобрел его.— Изучу весь этот быт, составлю об нем книгу, перешлю и напечатаю ее за границей.

— Да благословит вас бог на это! — ободрял его прокурор.

Вслед за тем Вихров объехал все, какие были в городе, книжные лавчонки, везде спрашивал, нет ли каких-нибудь книг о раскольниках,— и не нашел ни одной.

III
РАЗНЫЕ ВЕСТИ И НОВОСТИ С РОДИНЫ

В губернском городе между тем проходила полная самыми разнообразными удовольствиями зима. Дама сердца у губернатора очень любила всякие удовольствия, и по преимуществу любила она составлять благородные спектакли — не для того, чтобы играть что-нибудь на этих спектаклях или этак, как любили другие дамы, поболтать на репетициях о чем-нибудь, совсем не касающемся театра, но она любила только наряжаться для театра в костюмы театральные и, может быть, делала это даже не без цели, потому что в разнообразных костюмах она как будто бы еще сильней производила впечатление на своего сурового обожателя: он смотрел на нее, как-то более обыкновенного выпуча глаза, через очки, негромко хохотал и слегка подрягивал ногами.

Виссарион Захаревский, по окончательном расчете с подрядчиками, положив, говорят, тысяч двадцать в карман, с совершенно торжествующим видом катал в своем щегольском экипаже по городу. Раз он заехал к брату.

— Сейчас я от сестры письмо получил,—сказал он,— она пишет, что будет так добра — приедет гостить к нам.

Лицо прокурора при этом не выразило ни удовольствия, ни неудовольствия. Он был из самых холодных и равнодушных родных.

— Где же ей остановиться? — продолжал инженер, любивший прежде всего решать самые ближайшие и насущные вопросы.— У меня, разумеется!

— Пожалуй, если хочет, и у меня может.

— Где ж тут у тебя — в мурье твоей; но дело в том, что меня разные госпожи иногда посещают. Не прекратить же мне этого удовольствия для нее! Что ей вздумалось приехать? Я сильно подозреваю, что постоялец мой играет в этом случае большую роль. Ты писал ей, что он здесь?

— Писал,— отвечал прокурор.

— То-то она с таким восторгом расписалась об нем, заклинает меня подружиться с ним и говорит, что «дружба с ним возвысит мой материальный взгляд!» Как и чем это он сделает и для чего это мне нужно — неизвестно.

Инженер любил сестру, но считал ее немножко дурой начитанной.

— Вихров — человек отличный,— проговорил Иларион Захаревский.

— Я ничего и не говорю, пусть бы женились, я очень рад; у него и состояние славное,— подхватил инженер и затем, простившись с братом, снова со своей веселой, улыбающейся физиогномией поехал по улицам и стогнам города.

Вихров все это время был занят своим расколом и по поводу его именно сидел и писал Мари дальнейшее письмо.

«Во-первых, моя ненаглядная кузина, из опытов жизни моей я убедился, что я очень живучее животное — совершенно кошка какая-то: с какой высоты ни сбросьте меня, в какую грязь ни шлепните, всегда встану на лапки, и хоть косточки поламывает, однако вскоре же отряхнусь, побегу и добуду себе какой-нибудь клубочек для развлечения. Чего жесточе удара было для меня, когда я во дни оны услышал, что вы, немилосердная, выходите замуж: я выдержал нервную горячку, чуть не умер, чуть в монахи не ушел, но сначала порассеял меня мой незаменимый приятель Неведомов, хватил потом своим обаянием университет, и я поднялся на лапки. Ныне сослали меня почти в ссылку, отняли у меня право предаваться самому дорогому и самому приятному для меня занятию — сочинительству; наконец, что тяжеле мне всего, меня снова разлучили с вами. Как бы, кажется, не растянуться врастяжку совсем, а я все-таки еще бодрюсь и окунулся теперь в российский раскол. Кузина, кузина! Какое это большое, громадное и поэтическое дело русской народной жизни. Кто не знает раскола в России, тот не знает совсем народа нашего. С этой мыслью согласился даже наш начальник губернии, когда я осмелился изъяснить ему оную. «Очень-с рад, говорит, что вы с таким усердием приступили к вашим занятиям!» Он, конечно, думает, что в этом случае я ему хочу понравиться или выслужить Анну в петлицу, и велел мне передать весь комитет об раскольниках, все дела об них; и я теперь разослал циркуляр ко всем исправникам и городничим, чтобы они доставляли мне сведения о том, какого рода в их ведомстве есть секты, о числе лиц, в них участвующих, об их ремеслах и промыслах и, наконец, характеристику каждой секты по обрядам ее и обычаям. Словом, когда я соберу эти сведения, я буду иметь полную

картину раскола в нашей губернии, и потом все это, ездя по делам, я буду поверять сам на месте. Это сторона, так сказать, статистическая, но у раскола есть еще история, об которой из уст ихних вряд ли что можно будет узнать,— нужны книги; а потому, кузина, умоляю вас, поезжайте во все книжные лавки и везде спрашивайте — нет ли книг об расколе; съездите в Публичную библиотеку и, если там что найдете, велите сейчас мне все переписать, как бы это сочинение велико ни было; если есть что-нибудь в иностранной литературе о нашем расколе, попросите Исакова выписать, но только, бога ради,— книг, книг об расколе, иначе я задохнусь без них».

Едва только герой мой кончил это письмо, как к нему вошла Груша, единственная его докладчица, и сказала ему, что его просят наверх к Виссариону Ардальонычу.

— Зачем? — спросил Вихров.

— Там барышня, сестрица их, приехала из деревни; она, кажется, желает вас видеть,— отвечала Груша с не очень веселым выражением в лице.

— Ах, боже мой, mademoiselle Юлия, схожу,—сказал Вихров и начал одеваться.

Груша не уходила от него из комнаты.

— Смотрите, одевайтесь наряднее, надобно понравиться вам барышне-то — она невеста! — сказала она не без колкости.

— Я желаю нравиться только вам,— сказал Вихров, раскланиваясь перед ней.

Груша сама ему присела на это.

Вихров пошел наверх. Он застал Юлию в красивенькой столовой инженера за столом, завтракающую; она только что приехала и была еще в теплом, дорожном капоте, голова у ней была в папильотках. Нетерпение ее видеть Вихрова так было велико, что она пренебрегла даже довольно серьезным неудобством — явиться в первый раз на глаза мужчины растрепанною.

— Merci, что вы так скоро послушались моего приглашения,— сказала она, кланяясь с ним, но не подавая ему руки,— а я вот в каком костюме вас принимаю и вот с какими руками,— прибавила она, показывая ему свои довольно красивые ручки, перепачканные в котлетке, которую она сейчас скушала.

— Как здоровье вашего батюшки? — спросил, бог знает зачем, Вихров.

— Ах, он очень, очень теперь слаб и никуда почти не выезжает!

Виссарион Захаревский, бывший тут же и немножко прислушавшись к этим переговорам, обратился к сестре и Вихрову.

— Ну-с, извините, я должен вас оставить! — проговорил он.— Мне надо по моим делам и некогда слушать ваши бездельные разговоры. Иларион, вероятно, скоро приедет. Вихров, я надеюсь, что вы у меня сегодня обедаете и на целый день?

Юлия при этом бросила почти умоляющий взгляд на Вихрова.

— Пожалуй! — проговорил тот протяжно.

Когда инженер ушел, молодые люди, оставшись вдвоем, заметно конфузились друг друга. Герой мой и прежде еще замечал, что Юлия была благосклонна к нему, но как и чем было ей отвечать на то — не ведал.

— Скажите, monsieur Вихров! — начала, наконец, Юлия с участием.— Вас прислали сюда за сочинение ваше?

— Да, за сочинение,— отвечал он.

— И я, вообразите, никак и нигде не могла достать этой книжки журнала, где оно было напечатано.

— Ее довольно трудно теперь иметь! — отвечал он, потупляясь: ему тяжело было вести этот разговор.

— Но нас ведь сначала,— продолжала Юлия,— пока вы не написали к Живину, страшно напугала ваша судьба: вы человека вашего в деревню прислали, тот и рассказывал всем почти, что вы что-то такое в Петербурге про государя, что ли, говорили,— что вас схватили вместе с ним, посадили в острог,— потом, что вас с кандалами на ногах повезли в Сибирь и привезли потом к губернатору, и что тот вас на поруки уже к себе взял.

— Это мой дуралей Иван отличается,— проговорил Вихров.

— И он ужасы рассказывал; что если, говорит, вы опять не возьмете его к себе и не жените на какой-то девушке Груше, что ли, которая живет у вас, так он что-то такое еще донесет на вас, и вас тогда непременно сошлют.

— Экой негодяй какой! — произнес Вихров.

— Да, но меня так это напугало, что я все это время думала об вас.

Проговоря это, Юлия невольно покраснела.

— Все это вздор! — произнес Вихров.— Но что же, скажите, другие мои знакомые поделывают?

— Ах, другие ваши знакомые! Однако я совсем было и забыла! — сказала Юлия и, вынув из кармана небольшое письмецо, подала его Вихрову.

— От Катишь Прыхиной это к вам,—прибавила она.

— От Прыхиной? — сказал Вихров и начал читать. Письмо было не без значения для него.

«Вы в несчастии, наш общий друг! — писала Катишь своим бойким почерком.— И этого довольно, чтобы все мы протянули вам наши дружеские руки. Мужайтесь и молитесь, и мы тоже молимся за вас, за исключением, впрочем, одной известной вам особы, которая, когда ей сказали о постигшем вас несчастии, со своей знакомой, я думаю, вам насмешливой улыбкой, объявила, что она очень рада, что вас за ваши вольнодумные мысли и за разные ваши приятельские компании наказывают! Какая же теперь ее-то компания, интересно знать, какая ее компания? Цапкин да нынче еще новый господин, некто Хипин,— эти господа могут нравиться только ей одной! Словом, Вихров, я теперь навсегда разочаровалась в ней; не помню, говорила ли я вам, что мои нравственные правила таковы: любить один раз женщине даже преступной любовью можно, потому что она неопытна и ее могут обмануть. Когда известная особа любила сначала Постена, полюбила потом вас... ну, я думала, что в том она ошиблась и что вами ей не увлечься было трудно, но я все-таки всегда ей говорила: «Клеопаша, это последняя любовь, которую я тебе прощаю!» — и, положим, вы изменили ей, ну, умри тогда, умри, по крайней мере, для света, но мы еще, напротив, жить хотим... у нас сейчас явился доктор, и мне всегда давали такой тон, что это будто бы возбудит вашу ревность; но вот наконец вы уехали, возбуждать ревность стало не в ком, а доктор все тут и оказывается, что давно уж был такой же amant [1] ее, как и вы. Таких женщин я ни уважать, ни любить не могу. Про себя мне решительно нечего вам сказать; я, как и прежде вы знали меня, давно уже умерла для всего, что следовало, по-моему, сделать и m-me Фатеевой.

Письмо это передаст вам девушка, у которой золотая душа и брильянтовое сердце.

Остаюсь вся ваша Прыхина.»

---

[1] любовник *(франц.)*.

— Зачем это *вся ваша*,— сказал Вихров, дочитав письмо,— я и частью ее не хочу воспользоваться!

— Это уж она так расписалась от сильной дружбы к вам,— отвечала Юлия, все время чтения письма внимательно смотревшая на Вихрова.

— Что ж она, рассорилась, что ли, с Фатеевой?..— спросил он с небольшой краской в лице и держа глаза несколько потупленными.

— Нет, но Катишь возмутилась против ее поступков. Вы знаете, она ведь этакая поэтическая девушка.

— А что же Фатеева, все доктора любит? — продолжал расспрашивать Вихров, держа по-прежнему глаза опущенными в землю.

— Нет, тот женился уж!.. Теперь, говорят, другой или третий даже; впрочем, я не знаю этого подробно,— прибавила Юлия, как бы спохватившись, что девушке не совсем идет говорить о подобных вещах.

— А что, скажите, Кергель и Живин? — спросил Вихров.

— Кергель продолжает писать стихи, а Живин, как вы уехали, заперся дома, никуда не показывается и все, говорят, скучает об вас.

— Какой отличный человек!

— Отличный; знаете, как у Жорж Занд этот Жак — простой, честный, умный, добрый; я, не знаю почему, всегда его себе Жаком воображаю.

— Удобный муж, значит, из него будет.

— Вероятно; но я, впрочем, никогда бы не желала иметь удобного только мужа.

— А какого же бы вы желали? Какого-нибудь лучше изменщика, что ли?

— Да, уж лучше изменщика,— отвечала Юлия, устремляя при этом такой нежный и такой масленый взгляд на Вихрова, что он даже потупился.

Дальнейший разговор их, впрочем, был прерван приездом прокурора. Он дружески, но не с особенной нежностью, поздоровался с сестрою и, пожав руку Вихрову, сел около нее.

— Это хорошо, что ты к нам приехала,—сказал ей он, потом обратился к Вихрову:—Вы старые знакомые с ней?

— Да,— отвечал тот.

— Я даже все тайны monsieur Вихрова знаю!— подхватила Юлия.

— Все тайны мои знает,— подхватил и Вихров.

— Зато здесь у него нет ни одной, за это тебе ручаюсь,— проговорил прокурор.

— Это очень приятно слышать! — сказала Юлия, опять устремляя на Вихрова почти нежный взор.

— А я сейчас от губернатора,— начал Иларион Ардальоныч, обращаясь снова к Вихрову.— Он поручил мне передать вам, как это назвать... приказание его, предложение, просьбу. Здесь затевается благородный спектакль, и брат Виссарион почему-то сказал ему, что вы — актер отличный, и губернатор просит вас непременно принять участие в составе его спектакля, и так как это дело спешное, то не медля же ехать к madame Пиколовой, которая всем этим делом орудует.

— О, бог с ней, к этой госпоже ехать!

— А кто такая эта Пиколова? — спросила Юлия.

— Она здесь еще известна под именем дамы сердца губернаторского,— объяснил ей брат.

— А! — произнесла Юлия.

— Нет, вы поезжайте,— обратился прокурор к Вихрову,— потому что, во-первых, из этих пустяков вам придется ссориться с этим господином, а, во-вторых, вы и сами любите театр, я вижу это сейчас по лицу вашему, которое приняло какое-то особенное выражение.

— Но мне некогда, у меня другого дела много,— говорил Вихров не таким уж решительным голосом: актерская жилка в нем в самом деле заговорила; при одном слове «театр» у него как будто бы что-то ударило в голову и екнуло в сердце.

— Тебя тоже просили,— прибавил прокурор сестре.

— Я готова, если только monsieur Вихров будет участвовать,— отвечала она,— а то, пожалуй, будут все незнакомые мужчины! — поспешила она прибавить.

— Да, я буду, пожалуй,— проговорил Вихров: у него уже все лицо горело.

— Но только сейчас же и поезжайте к madame Пиколовой, чтобы условиться с ней об пьесах.

— Хорошо,— проговорил Вихров и пошел.

— Обедать только возвращайтесь к нам,— сказала ему вслед Юлия.

— Приеду,— отвечал ей Вихров уже более механически и, придя к себе в комнату, с заметным волнением сел и дописал к Мари:

«У меня появилось еще новое занятие: здесь затевается театр, и я буду участвовать в нем; ну, не живучий ли я и не резвый ли котенок после того: всякий вздор меня увлекает!»

Покуда он потом сел на извозчика и ехал к m-me Пиколовой, мысль об театре все больше и больше в нем росла. «Играть будут, вероятно, в настоящем театре,—думал он, — и, следовательно, можно будет сыграть большую пьесу. Предложу им «Гамлета»!»—Возраст Ромео для него уже прошел, настала более рефлексивная пора — пора Гамлетов.

M-me Пиколову, очень миленькую и грациозную даму, в щегольском домашнем костюме, он застал сидящею около стола, на котором разложены были разные пьесы, и она решительно, кажется, недоумевала, что с ними ей делать: она была весьма недальнего ума.

— Здравствуйте, monsieur Вихров,— сказала она,— научите, пожалуйста, что нам взять играть; вы, говорят, сами пишете!

Вихров, решившийся не откладывать объяснения, начал прямо.

— Все это, что лежит перед вами, совершенная глупость! — сказал он.

— Глупость? — спросила Пиколова, немного с удивлением уставляя на него свои глаза: она никак не полагала, чтобы что-нибудь печатное могло быть глупостью.

— Мы сыграем очень умную и великолепную вещь — «Гамлета»! — проговорил Вихров.

— «Гамлета»? Ах, позвольте, я видела что-то такое в Москве,— проговорила Пиколова, прищурив немного свои хорошенькие глазки.

— Да, вероятно!

— Тут, кажется, представляется весь двор.

— Да, двор с разными негодяями, между которыми страдает честный Гамлет.

— Кого же я тут буду играть? — спросила Пиколова.

— Вы будете, если пожелаете, играть Офелию.

— А какой костюм ей надо?

— Костюм в первых актах у ней — обыкновенное шелковое платье фрейлины со шлейфом.

— Со шлейфом же, однако!.. И все один костюм?..

— Нет, в последнем акте она является сумасшедшей:

в венчальном, сколько я помню, вуале, с белыми цветами на голове и с распущенными волосами.

— Это, должно быть, очень недурно... — И m-me Пиколова, вообразив самое себя в этом костюме, нашла, что она будет очень хороша, а главное, она никогда не бывала в таком костюме.— Платье должно быть белое?

— Белое!

— Это очень будет красиво! — проговорила Пиколова, и таким образом судьба «Гамлета» была решена: его положено было сыграть во что бы то ни стало.

— Я буду играть Гамлета,— сказал Вихров,— и вы будете в меня влюблены,— прибавил он, видя, что его собеседнице надобно было растолковать самое содержание пьесы.

— Но я, однако, не очень буду в вас влюблена? — спросила она.

M-me Пиколова побаивалась в этом случае своего обожателя, который был сильно ревнив.

— Нет, не очень! — успокоил ее Вихров.— Так вы, значит, и скажете Ивану Алексеевичу (имя губернатора), что мы выбрали «Гамлета»?

— Непременно скажу; но только вы наверное ли знаете, что в последнем акте я должна буду быть в вуале и в цветах? — переспросила она еще раз его.

— Наверное знаю,— отвечал он ей и поспешил уехать, потому что наступал уже час обеда Захаревских.

— Довольны ли вы, что я впутал вас в театр? — спросил его Виссарион Захаревский.

— Ни то, ни се,—отвечал Вихров, садясь около Юлии.

— Что же вы решили: что будете играть? — спросил Иларион Захаревский.

— «Гамлета»,—отвечал Вихров и покраснел немного. Он заранее предчувствовал, что ему посыплются возражения.

— Как «Гамлета»?.. — воскликнули все в один голос.

— «Гамлета»-с,— повторил Вихров.

— Но это очень трудно,— заметил Иларион Захаревский.— Кто самого Гамлета будет играть?

— Ваш покорный слуга,— отвечал Вихров.

Прокурор и при этом ответе недоумевал.

— Вы отлично сыграете Гамлета,— подхватила Юлия.

— Но Офелию — кто же? — продолжал прокурор.

— Офелию — madame Пиколова,— отвечал Вихров.

Опять оба брата придали несколько удивленное выражение своим лицам.

— Но разве вы не заметили, что она очень глупа,— проговорил прокурор.

— И Офелия в самой пьесе не очень умна,— отвечал Павел.

— Мне, значит, в вашем спектакле и нет никакой роли — бедная я, бедная! — проговорила как-то шутя, но в глубине души с грустью, Юлия.

— Вам Гертруду можно играть,— сказал ей Вихров.

— Хорошо, я хоть Гертруду буду играть,— сказала Юлия с просиявшим взором.

Слушая все эти переговоры с усмешкой, инженер вмешался, наконец, в разговор.

— Я не знаю, прилично ли девушке играть Гертруду: она немножко дурного поведения.

— О, вздор какой,— проговорила Юлия.

— Ну, это что же! — поддержал ее и Иларион Захаревский.

IV

ГЕРОЙ МОЙ В РОЛИ ГАМЛЕТА

Выбор такой большой пьесы, как «Гамлет», произвел удивление и смех в публике; но m-me Пиколова хотела непременно, чтобы пьесу эту играли,— хотел того, значит, и грозный начальник губернии и в этом случае нисколько не церемонился: роль короля, например, он прислал с жандармом к председателю казенной палаты, весьма красивому и гордому из себя мужчине, и непременно требовал, чтобы тот через неделю выучил эту роль.

Многие насмешники, конечно, исподтишка говорили, что так как Клавдий — злодей и узурпатор, то всего бы лучше, по своим душевным свойствам, играть эту роль самому губернатору. Полония m-me Пиколова отдала мужу, жирному и белобрысому лимфатику, и когда в публике узнали, что Полоний был великий подлец, то совершенно одобрили такой выбор. Прочие роли: Лаэрта, тени, Гильденштерна и Розенкранца — разобрали между собой разные молодые люди и не столько желали сыграть эти роли, сколько посмешить всем этим представлением публику. Все эти насмешки и глумления доходили, разумеется, и до Вихрова, и он в душе страдал от них, но, по наружно-

сти, сохранял совершенно спокойный вид и, нечего греха таить, бесконечно утешался мыслью, что он, наконец, будет играть в настоящем театре, выйдет из настоящим образом устроенных декораций, и суфлер будет сидеть в будке перед ним, а не сбоку станет суфлировать из-за декораций. Перед наступлением первой репетиции он беспрестанно ездил ко всем участвующим и долго им толковал, что если уж играть что-либо на благородных спектаклях, так непременно надо что-нибудь большое и умное, так что все невольно приободрились и начали думать, что они в самом деле делают что-то умное и большое; даже председатель казенной палаты не с таким грустным видом сидел и учил роль короля Клавдия; молодежь же стала меньше насмешничать. Костюм Офелии Пиколова переменила, по крайней мере, раз пять и все совещалась об этом с Вихровым; наконец, он ее одел для последнего акта в белое платье, но совершенно без юбок, так что платье облегало около ее ног, вуаль был едва приколот, а цветы — белые камелии — спускались тоже не совсем в порядке на одну сторону. Пиколова, взглянув на себя в трюмо, была в восторге от этого поэтического растрепе.

Первая репетиция назначена была в доме начальника губернии. Юлию возить на репетицию братья Захаревские поручили в ихней, разумеется, карете Вихрову. Когда Юлия в первый раз поехала с ним, она ужасно его конфузилась и боялась, кажется, кончиком платья прикоснуться к нему. Все действующие лица выучили уже свои роли, так как все они хорошо знали, что строгий их предприниматель, с самого уже начала репетиции стоявший у себя в зале навытяжке и сильно нахмурив брови, не любил шутить в этом случае и еще в прошлом году одного предводителя дворянства, который до самого представления не выучивал своей роли, распек при целом обществе и, кроме того, к очередной награде еще не представил.

Вихров начал учить всех почти с голосу, и его ли в этом случае внушения были слишком велики, или и участвующие сильно желали как можно лучше сыграть, но только все они очень скоро стали подражать ему.

— Бога ради,—кричал Вихров королю,— помните, что Клавдий — не пошлый человек, и хоть у переводчика есть это немножко в тоне его речи, но вы выражайтесь как

можно величественнее! — И председатель казенной палаты начал в самом деле произносить величественно.

— Madame Пиколова,— толковал мой герой даме сердца начальника губернии,— Гамлет тут выше всей этой толпы, и вы только любовью своей возвышаетесь до меня и начинаете мне сочувствовать.

— Тише говорите об этом,— шепнула она ему,— Ивану Алексеевичу может это не понравиться!

— Очень мне нужно, понравится это ему или нет! — возразил ей Вихров.

Пиколова погрозила ему на это пальчиком. Лучше всех у Вихрова сошла сцена с Юлией. Он ей тоже объяснил главный психологический мотив всей этой сцены.

— Это стыд — стыд женщины, предавшейся пороку, и стыд перед самым страшным судьей — своим собственным сыном!

Юлия представила, что она убита была стыдом. О величественности королевы ей хлопотать было нечего: она была величественна по натуре своей.

Всеми этими распоряжениями Вихрова начальник губернии оставался очень доволен.

— Благодарю вас, благодарю! — говорил он, дружески пожимая ему руку, когда тот раскланивался с ним и уезжал с m-lle Захаревской домой.

Та в карете по-прежнему села далеко, далеко от него, и, только уж подъезжая к дому, тихо проговорила:

— А что, хорошо я играла?

— Отлично! — ободрил ее Вихров.

— Это вы меня вдохновили; прежде я очень дурно играла.

Вихров ничего ей на это не отвечал и, высадив ее у крыльца из кареты, сейчас же поспешил уйти к себе на квартиру. Чем дальше шли репетиции, тем выходило все лучше и лучше, и один только Полоний, муж Пиколовой, был из рук вон плох.

Как Вихров ни толковал ему, что Полоний хитрец, лукавец, Пиколов только и делал, что шамкал как-то языком, пришепетывал и был просто омерзителен. Вихров в ужас от этого приходил и, никак не удержавшись, сказал о том губернатору.

— Пиколов невозможен, ваше превосходительство, он все испортит!

— Что за вздор-с, не хуже других будет! — окрысил-

ся на первых порах начальник губернии, но, приехав потом к m-me Пиколовой, объяснил ей о том.

— Я тогда еще говорила,— отвечала та,— где же ему что-нибудь играть... на что он способен?

— Так мы его заменим, значит,— произнес начальник губернии.

— Пожалуйста, замените, а то таскается со мной на репетиции — очень нужно.

Приехав домой, начальник губернии сейчас же послал к Вихрову жандарма, чтобы тот немедля прибыл к нему. Тот приехал.

— Послушайте, Пиколов сам не хочет играть, кому бы предложить его роль?

— Я слышал, что здесь совестный судья хорошо играет,— отвечал Вихров, уже прежде наводивший по городу справки, кем бы можно было заменить Пиколова.

— Ах, да, я помню, что он отлично играл,— подхватил губернатор,— съездите, пожалуйста, и предложите ему от меня, чтобы он взял на себя эту роль.

Из одного этого приема, что начальник губернии просил Вихрова съездить к судье, а не послал к тому прямо жандарма с ролью, видно было, что он третировал судью несколько иным образом, и тот действительно был весьма самостоятельный и в высшей степени обидчивый человек. У диких зверей есть, говорят, инстинктивный страх к тому роду животного, которое со временем пришибет их. Губернатор, не давая себе отчета, почему-то побаивался судьи.

Когда Вихров предложил тому роль Полония, судья, явно чем-то обиженный, решительно отказался.

— Господин губернатор ранее должен был бы подумать об этом; я, сколько здесь ни было благородных спектаклей, во всех в них участвовал.

— Ей-богу, в этом виноват не губернатор, а я,— заверял его Вихров.

— Вы здесь — человек новый, а потому не можете знать всего общества, а он его должен знать хорошо.

— Пожалуйста, сыграйте! — настойчиво упрашивал его Вихров.

— Устройте сами театр,— я сейчас буду играть, а если устраивает губернатор,— я не стану.

Вихров возвратился к губернатору и передал, что судья решительно отказался.

— Хорошо-с,— сказал начальник губернии и побледнел только в лице.

Вихров, после того, Христом и богом упросил играть Полония—Виссариона Захаревского, и хоть военным, как известно, в то время не позволено было играть, но начальник губернии сказал, что — ничего, только бы играл; Виссарион все хохотал: хохотал. когда ему предлагали, хохотал, когда стал учить роль (но противоречить губернатору, по его уже известному нам правилу, он не хотел), и говорил только Вихрову, что он боится больше всего расхохотаться на сцене, и игра у него выходила так, что несколько стихов скажет верно, а потом и заговорит не как Полоний, а как Захаревский.

В городе между тем, по случаю этого спектакля, разные небогатые городские сплетницы, перебегая из дома в дом, рассказывали, что Пиколова сделала себе костюм для Офелии на губернаторские, разумеется, деньги в тысячу рублей серебром,— что инженер Виссарион Захаревский тоже сделал себе и сестре костюм в тысячу рублей: и тот действительно сделал, но только не в тысячу, а в двести рублей для Юлии и в триста для себя; про Вихрова говорили, что он отлично играет. Молодежь, участвующая в спектакле, жаловалась, что на репетициях заведена такая строгость: чуть кто опоздает, губернатор, по наущению Вихрова, сейчас же берет с виновного штраф десять рублей в пользу детского приюта.

Наступил, наконец, и час спектакля.

Когда Вихров вышел из своей уборной, одетый в костюм Гамлета, первая его увидала Юлия, тоже уже одетая королевой.

— Ах, как к вам идет этот костюм! — как бы невольно воскликнула она.

— А что же? — спросил Вихров не без удовольствия.

— Чудо что такое! — повторяла Юлия с явным восторгом.

Даже Пиколова, увидав его и отойдя потом от него, проговорила королю: «Как Вихров хорош в этом костюме!»

Когда потом занавес открылся и король с королевой, в сопровождении всего придворного кортежа, вышли на сцену, Гамлет шел сзади всех. Он один был одет в траурное платье и, несмотря на эту простую одежду, сейчас же показался заметнее всех.

Ни слезы, ни тоска, ни черная одежда,
Ничто не выразит души смятенных чувств,
Которыми столь горестно терзаюсь я! —

говорил Вихров, и при этом его голос, лицо, вся фигура выражали то же самое.

Башмаков еще не износила! —

восклицал он потом, оставшись уже один на сцене,—

В которых шла за гробом мужа,
Как бедная вдова в слезах,—
И вот она жена другого;
Зверь без разума, без чувств
Грустил бы долее! —

и при этом начальник губернии почему-то прослезился даже; одно только ему не понравилось, что Пиколова играла какую-то подчиненную роль; она, по научению Вихрова, представляла какое-то совершенно покорное ему существо. Начальник губернии любил, чтобы дама его сердца была всегда и везде первая.

В последующей затем сцене Гамлета и матери Юлия прекрасно стыдилась, и, когда Вихров каким-то печальным голосом восклицал ей:

Если ты не добродетельна, то притворись!
Привычка — чудовище и может к добру нас обратить! —

начальник губернии опять при этом прослезился, но что привело его в неописанный восторг, это — когда Пиколова явилась в костюме сумасшедшей Офелии. Она, злодейка, прежде и не показалась ему в этом наряде, как он ни просил ее о том... Начальник губернии как бы заржал даже от волнения: такое впечатление произвела она на него своею поэтическою наружностью и по преимуществу еще тем, что платье ее обгибалось около всех почти форм ее тела...

— Отлично, отлично! — говорил он, закрывая даже глаза под очками, как бы страшась и видеть долее это милое создание, но этим еще не все для него кончилось.

Вдруг m-me Пиколова (она также и это от него хранила в тайне), m-me Пиколова, в своем эфирном костюме, с распущенными волосами, запела:

В белых перьях
Статный воин,
Первый Дании боец!

У начальника губернии, как нарочно, на коленях лежала шляпа с белым султаном...

В белых перьях! —

повторяла m-me Пиколова своим довольно приятным голосом. Губернатор при этом потрясал только ногой и лежащею на ней шляпой... Когда занавес опустили, он как-то судорожно подмахнул к себе рукою полицеймейстера, что-то сказал ему; тот сейчас же выбежал, сейчас поскакал куда-то, и вскоре после того в буфетной кухне театра появились повара губернатора и начали стряпать.

Когда затем прошел последний акт и публика стала вызывать больше всех Вихрова, и он в свою очередь выводил с собой всех,— губернатор неистово вбежал на сцену, прямо подлетел к m-me Пиколовой, поцеловал у нее неистово руку и объявил всем участвующим, чтобы никто не раздевался из своих костюмов, а так бы и сели все за ужин, который будет приготовлен на сцене, когда публика разъедется.

Всем это предложение очень понравилось.

После Пиколовой губернатор стал благодарить Вихрова.

— Благодарю, благодарю,— говорил он, дружески потрясая ему руку.— И вы даже не смеялись на сцене,— прибавил он все немножко вертевшемуся у него перед глазами Захаревскому.

— Вас все боялся, ваше превосходительство,— отвечал тот бойко,— только захочется смеяться, взгляну на вас, и отойдет.

— Почему же отойдет? — спрашивал губернатор.

— Не до смеху, ваше превосходительство, при вас никому; очень уж вы грозны.

— Ха-ха-ха! — засмеялся самодовольно губернатор.

Виссарион Захаревский знал, когда и чем можно было шутить с начальником губернии.

Вскоре официанты губернатора начали накрывать на сцене довольно парадный ужин. Из числа публики остались и вздумали войти на сцену прокурор и упрямый судья. Увидав последнего, губернатор сейчас же окрысился и с мгновенно освирепевшим взором закричал на него:

— Уходите, уходите, вам здесь нечего делать!

Судья немного опешил.

— Я к знакомым моим,— проговорил было он.

— Нет тут ваших знакомых,— говорил губернатор,—

можете в другом месте с ними видеться; извольте уходить,— иначе я полицеймейстеру велю вас вывести.

Судья, очень хорошо знавший, что начальник губернии, вероятно, и не замедлит исполнить это намерение, счел за лучшее насмешливо улыбнуться и уйти.

Прокурор тоже находился в не совсем ловком положении и тоже хотел было уйти, но губернатор остановил его:

— Вы останьтесь; ваша сестрица и братец играли, мы просим вас остаться!

Прокурор усмехнулся и остался.

Начальник губернии пригласил его даже и за ужин, за который все сейчас же и уселись. Шампанское подали после первого же блюда.

— Первый тост, я полагаю, следует выпить за господина Вихрова, который лучше всех играл,— проговорил прокурор.

— Вы думаете? — спросил начальник губернии, как-то замигав под очками.

— За здоровье господина Вихрова!— закричала вслед за тем молодежь, и между всеми громче всех раздался голос Юлии.

Начальник губернии не поднимал своего бокала.

Инженер первый заметил это и спохватился.

— Что вы, что вы, господа,— шептал он сидевшим рядом с ним и потом, подняв бокал, проговорил: — Первый тост, господа, следует выпить за здоровье учредителя Ивана Алексеевича Мохова, который всегда и всем желает доставить удовольствие обществу.

— За здоровье Ивана Алексеевича Мохова! — повторила за ним и молодежь.

Начальник губернии улыбался на это и слегка кланялся всем.

— За здоровье дам! — проговорил он с своей стороны.

Все выпили за здоровье дам.

— За здоровье господина Вихрова уже пили, впрочем, еще раз можно. За здоровье господина Вихрова!— произнес ловкий инженер.

— Позвольте, господа, предложить за здоровье всех участвующих,— поспешил сказать Вихров.

Выпито было и за здоровье всех участвующих.

Губернатор и Пиколова, наконец, уехали: он до неистовства уже начал пламенно посматривать на нее...

— Как же можно было не начать тоста с губернатора! — воскликнул инженер брату своему прокурору.

— О, черт с ним! Я и забыл об нем совсем,— отвечал тот равнодушно.

Когда стали разъезжаться, то Юлия обманула даже братьев и опять очутилась в карете с Вихровым. Оба они ехали еще в театральных костюмах.

Юлии очень хотелось спросить или, вернее, попросить Вихрова об одной вещи.

— Послушайте,— начала она не совсем смелым голосом,— снимите, пожалуйста, с себя фотографию в этом костюме и подарите мне ее на память.

— Нет, зачем! — отвечал ей на это Вихров как-то совершенно небрежно.

Если бы он не был занят в это время своими собственными мыслями, то он увидел бы, что Юлия от этого ответа побледнела даже и совсем почти опустилась на спинку кареты.

Героя моего в эту минуту занимали странные мысли. Он думал, что нельзя ли будет, пользуясь теперешней благосклонностью губернатора, попросить его выхлопотать ему разрешение выйти в отставку, а потом сейчас же бы в актеры поступить, так как литературой в России, видимо, никогда невозможно будет заниматься, но, будучи актером, все-таки будешь стоять около искусства и искусством заниматься...

V

НОВАЯ ПУБЛИКА СЛУШАТЕЛЕЙ

О своем намерении поступить в актеры (до того оно сильно запало ему в голову) Вихров даже написал Мари, спрашивая ее,— должен ли он этого желать и следует ли ему о том хлопотать; и в ответ на это получил почти грозное послание от Мари. Она писала: «Ты с ума сошел, mon cousin, и что ты такое наконец хочешь делать с собой?.. Тебе, тебе поступать в актеры? Я это говорю не из глупого какого-нибудь барства, но ты вспомни, какого невысокого рода самое искусство это. Ты помнишь, какой тонкий критик был Еспер Иваныч, а он всегда говорил, что у нас актерам дают гораздо больше значения, чем они стоят того, и что их точно те же должны быть отношения к писателю, как исполнителя — к композитору; они ничего не должны придумывать своего, а только обязаны стараться-

ся выполнить хорошо то, что им дано автором,— а ты знаешь наших авторов, особенно при нынешнем репертуаре. Вдруг тебе придется, например, выражать душу г. Кони или ум г. Каратыгина; я бы умерла, кажется, с горя, если бы увидела когда-нибудь тебя на сцене в таких пьесах. Я полагаю, что актерство даже требует некоторой степени невежества, чтобы заучивать всякую чужую дребедень. Ты вспомни твое образование, вспомни данный тебе от бога замечательный талант писателя. Писатель ты, друг мой, а не актер!.. Я думаю, ты и театр-то любишь настолько, насколько это тебе нужно для представления и описания творимых тобою лиц. Занимайся лучше твоим расколом, наконец напиши что-нибудь, но об актерстве и не помышляй!» Вихров не утерпел и в первый раз, как пошел к Захаревским, взял это письмо и прочел его Юлии.

Та закусила губки и несколько времени молчала.

— Что ж, эта кузина ваша молода? — спросила она. Вихров в первый еще раз заговорил с ней о Мари.

— Нет,— отвечал он.

Юлия вздохнула несколько посвободнее.

— Она, должно быть, очень умная женщина,— продолжала Юлия.

— О, какая еще умница! — воскликнул Вихров.— Главное, образование солидное получила; в Москве все профессора почти ее учили, знает, наконец, языки, музыку и сверх того — дочь умнейшего человека.

— Какая счастливица она! — произнесла Юлия, как-то съеживаясь и потупляя глаза.— Как бы я желала образовать себя еще хоть немного.

— Что же, вы достаточно образованы,— сказал ей в утешение Вихров.

— Я больше сама себя образовала,— отвечала она,— но я желала бы быть так образована, как вот эта ваша кузина.

— Да чего же у вас недостает для этого?

— Во-первых, я не знаю языков; в пансионе нас выучили болтать по-французски, но и то я не все понимаю, а по-немецки и по-английски совсем не знаю.

— Это так,— подтвердил Вихров,— без языков — дело плохое: читая одну русскую литературу, далеко не уйдешь, и главное дело — немецкий язык!.. Мой один приятель Неведомов говаривал, что человек, не знающий немецкого языка, ничего не знает.

— Но как мне теперь учиться, у кого? — проговорила, как бы в грустном раздумье, Юлия.

— Давайте, я вас буду учить,— сказал Вихров, больше шутя.

Юлия вспыхнула даже вся от восторга.

— Этакого счастья, кажется, и быть не может для меня...— сказала она.

— Отчего же не может? — проговорил Вихров и сам даже сконфузился от такого комплимента.

— Оттого, что вы соскучитесь со мной,— произнесла Юлия.

— Вовсе не соскучусь,— отвечал Вихров.

Странное дело: m-lle Захаревская со всеми другими мужчинами была очень бойкая и смелая девушка, но, разговаривая с Вихровым, делалась какая-то кроткая, тихая, покорная.

— Вы хоть бы то для меня великое одолжение сделали,— продолжала она,— если бы прочли мне вашу повесть!.. Сколько времени я прошу вас о том.

Вихров, напуганный своим чтением Фатеевой, немножко уже побаивался читать в провинциальном обществе.

— Надоела она мне самому-то очень, когда вспомню я, сколько я за нее страдал...— проговорил он.

— Ах, боже мой, мы ведь ваши друзья, а потому, я думаю, будем слушать с участием,— проговорила Юлия.

— Что же, и ваши братья желают слушать? — спросил ее Вихров.

— Да, они очень желают,— отвечала она, немного покраснев: в сущности, ей одной только очень этого хотелось.

— Хорошо! — согласился, наконец, Вихров.

Иларион Захаревский, впрочем, с удовольствием обещался приехать на чтение; Виссарион тоже пожелал послушать и на этот вечер нарочно даже остался дома. Здесь я считаю не лишним извиниться перед читателями, что по три и по четыре раза описываю театры и чтения, производимые моим героем. Но что делать?.. Очень уж в этом сущность его выражалась: как только жизнь хоть немного открывала ему клапан в эту сторону, так он и кидался туда.

Чтение предположено было произвести в кабинете Виссариона, и он был так предусмотрителен, что приготовил для автора воды, сахару и лимон. Вихров начал чтение. Слушатели сначала внимали ему молча и склонив го-

ловы, и только Юлия по временам вспыхивала и как бы вздрагивала немного. В том месте, где муж героини едет в деревню к своей любовнице, и даже описывается самое свидание это,— Виссарион посмотрел на сестру, а потом — на брата; та немножко сконфузилась при этом, а по лицу прокурора трудно было догадаться, что он думал. Когда Вихров немного приостановился, чтобы отдохнуть и выпить воды, Виссарион сейчас же подошел и спросил его на ухо:

— А что, у вас много еще таких вольных мест будет?

— Будет еще,— отвечал Вихров, думая, что тому нравятся такие места.

— А в которых главах? — продолжал спрашивать Виссарион.

— В пятой и седьмой,— отвечал Вихров, припоминая.

Инженер сейчас же вслед за тем вышел из комнаты и велел к себе вызвать сестру.

— На пятой и седьмой главе изволь выйти, там черт знает, он сам говорит, какие еще вольности пойдут,— сказал он ей.

— Какие вольности? — спросила та, как бы не понимая.

— Такие, какие девушке слушать неприлично.

Юлия насмешливо улыбнулась.

— Ах, глупости какие, разве я не читаю других романов и повестей,— ни за что не выйду! — сказала она и возвратилась в кабинет.

— Ну, дура, значит,— проговорил Виссарион ей вслед и потом с недовольным лицом возвратился в кабинет.

Там тоже происходил по поводу повести разговор между Вихровым и прокурором.

— Это не мудрено, что вас за эту вещь сослали,— говорил сей последний.

— А что же? — спросил Вихров.

— То, что тут все подламывается: и семейство и права все,— говорил прокурор.

— Не слушайте, пожалуйста, Вихров, никого из них и читайте далее; они оба в литературе ничего не смыслят,— перебила его Юлия.

— Ты-то больше смыслишь,— возразил ей инженер, уже от досады сидя не на стуле, а у себя на столе, и болтая сильно ногами.

— Конечно, уж больше твоего! — произнесла Юлия.

Вихров начал снова свое чтение. С наступлением пятой главы инженер снова взглянул на сестру и даже делал ей знак головой, но она как будто бы даже и не замечала этого. В седьмой главе инженер сам, по крайней мере, вышел из комнаты и все время ее чтения ходил по зале, желая перед сестрой показать, что он даже не в состоянии был слушать того, что тут читалось. Прокурор же слушал довольно равнодушно. Ему только было скучно. Он вовсе не привык так помногу выслушивать чтения повестей.

Вихров, наконец, заметил все это и остановил чтение свое. Он нарочно потом несколько времени молчал и ждал мнения своих слушателей.

— Какая чудная вещь! Превосходная!— проговорила, наконец, Юлия.

Прокурор при этом только усмехнулся.

— А вам она не понравилась? — обратился к нему Вихров.

— Не то, что не понравилась,— отвечал Захаревский, пожимая плечами,— но она произвела на меня тяжелое, нервное и неприятное впечатление.

— Что же, тебе какое надобно впечатление? — перебила его сестра.— Если уж ты так хлопочешь о спокойствии, так не читай, а пей вот лучше эту воду с сахаром.

— Но я другое же читаю, и на меня не производит такого неприятного впечатления.

— На тебя все решительно производит бог знает какое впечатление,— говорила Юлия,— ты и «Бедных людей» Достоевского не мог дочитать и говорил, что скучно.

— Конечно, скучно,— подтвердил правовед.

— Ну да, для тебя, пожалуй, и Акакий Акакиевич Гоголя покажется скучным; в жизни ты ему посочувствуешь, а в книге он тебе покажется скучен.

— Нет, мне многое кажется не скучным,— возразил прокурор, как бы обдумывая каждое свое слово.— Вот я недавно читал одну вещь, которую мне товарищи прислали и которая, конечно, никогда не печатается; это «Сцены в уголовной палате» Аксакова,— это точно что вещь, которая заставит задуматься каждого.

— Это потому, что ты сам сидел в этой уголовной палате,— возразила ему опять Юлия,— а жизни и души человеческой ты не знаешь, женщин — тоже.

Вихров очень хорошо видел, что прокурор никак не мог

добраться до смысла его повести, а потому решился несколько помочь ему.

— Вы, как вот видно из ваших последних слов, признаете важность повести, рассказов и сцен, написанных с общественным значением, с задней мыслью, как нынче осторожно выражаются критики.

— Признаю,— отвечал прокурор.

— Так это же значение имеет и моя повесть; она написана в защиту прав женщины; другая моя повесть написана против крепостного права.

— Но каким же образом вы обстоите права женщин, если напишете несколько возмутительных сцен.

— А как же «Сцены в уголовной палате» могут действовать на наше законодательство?

— Да тут прочтут и поймут сразу, что там за нелепость происходит.

— И меня прочтут и поймут, что тут ужасные вещи происходят.

— Ну, а потом — что же? Для уголовных дел можно издать новые законоположения.

— А потом — то, что улучшатся нравы: общество доведется до сознания разных его скверностей, с которыми оно прежде спокойно уживалось.

Прокурор все-таки остался еще не совсем убежден; его по преимуществу возмущало то, что повесть производила на него неприятное впечатление.

— Я вот читаю Гоголя, но он не производит на меня такого неприятного впечатления, а между тем до какой степени он осмеивает наши нравы.

— Очень просто, потому что там вы читаете комедию. Писатель двоякое впечатление производит на публику — или комическое, или трагическое. В первом случае его цель, чтобы публика хохотала до упаду, а во втором,— чтобы плакала навзрыд. Еще в древних риториках сказано, что трагедия должна возбуждать в зрителях чувство ужаса и сострадания.

— И трагическое впечатление гораздо возвышеннее, чем комическое,— подхватила Юлия.

Прокурор на это пожал только плечами. Он все-таки еще вполне не убедился.

Что касается до инженера, то он молчал и как бы собирался с силами, чтобы грознее разразиться над произведением моего героя.

— Вы говорите,— начал он наконец, обращаясь к Вихрову и придавая мыслящее выражение своему лицу,— что все это пишете затем, чтобы исправить нравы; но позвольте вас спросить, начну в этом случае примером; заведу ли я на улицах чистоту и порядок, если стану всю грязь, которая у меня дома, выносить и показывать всем публично? Напротив, чистота только тогда будет заведена, если я весь сор буду прятать куда-нибудь к стороне; так и нравы: людей совершенно добродетельными сделать нельзя, но пусть все это они делают только поскромнее, поосторожнее,— тогда и нравы улучшатся.

— Хорошо исправление нравов!..— проговорил Вихров, улыбаясь.

— Ну, уж это что ж! Какое исправление,— подтвердил и прокурор.

— Это не улучшение, а ухудшение, напротив; он иезуитизм хочет ввести во всех,— подхватила Юлия.

Инженер немного сконфузился; он сам понял, что немного проговорился, но в глубине души своей, в самом деле, думал так.

— Ваша повесть,— продолжал он, уже прямо обращаясь к Вихрову,— вместо исправления нравов может только больше их развратить; я удивляюсь смелости моей сестрицы, которая прослушала все, что вы читали, а дайте это еще какой-нибудь пансионерке прочесть,— ей бог знает что придет после того в голову.

Юлия в этом случае никак не могла уже, разумеется, заступиться за Вихрова; она только молчала и с досадою про себя думала: «Вот человек! Сам бог знает какие вещи говорит при мне, совершенно уж не стесняясь,— это ничего, а я прослушала повесть — это неприлично».

— Что же ей может прийти в голову? — возразил Вихров.— Я все пороки описываю далеко не в привлекательном виде.

— Но достаточно, что вы говорите об них, называете их.

— Если не называть пороков и не говорить об них, так и писать решительно будет нечего.

— Ах, мало ли, боже мой! Написан же «Монте-Кристо» без пороков! — договорился наконец инженер до своего любимого романа, в котором ему по преимуществу нравилось богатство Монте-Кристо, который мог жить, кутить и покупать всевозможные вещи: все это ужас-

но раздражительно действовало на воображение инженера.

— У вас, я вижу, один вкус с mademoiselle Прыхиной,— проговорил не без досады Вихров.

— Именно с Прыхиной,— подтвердила и Юлия насмешливо.

— Черт знает, кто такая там Прыхина, а я говорю, что я сам думаю и чувствую,— произнес инженер.

Вихров, видя, что конца не будет этим спорам и замечаниям, свернул свою тетрадку и раскланялся со всеми, и как Виссарион ни упрашивал его остаться ужинать, и как Юлия ни кидала на него пламенные взгляды, он ушел. Душевное состояние его было скверное, и не то, чтобы его очень смутили все эти отзывы: перебрав в голове слышанные им мнения об его произведении, он очень хорошо видел, что все люди, получившие университетское образование, отзывались совершенно в его пользу,— стало быть, тут, очевидно, происходила борьба между университетским мировоззрением и мировоззрением остального общества. Главным образом его возмутило то, что самому-то ему показалось его произведение далеко не в таком привлекательном свете, каким оно казалось ему, когда он писал его и читал на первых порах. «Да, все это — дребедень порядочная!» — думал он с грустью про себя и вовсе не подозревая, что не произведение его было очень слабо, а что в нем-то самом совершился художественный рост и он перерос прежнего самого себя; но, как бы то ни было, литература была окончательно отложена в сторону, и Вихров был от души даже рад, когда к нему пришла бумага от губернатора, в которой тот писал:

«До сведения моего дошло, что в деревне Вытегре крестьянин Парфен Ермолаев убил жену, и преступление это местною полициею совершенно закрыто, а потому предписываю вашему высокоблагородию немедленно отправиться в деревню Вытегру и произвести строжайшее о том исследование. Дело сие передано уже на рассмотрение уездного суда».

Вихрову в этом поручении, сверх того, было приятно и то, что он тут будет иметь дело с убийцею и станет открывать пролитую кровь человеческую. Он в тот же вечер пошел к Захаревским, которых застал всех в сборе, и рассказал им о своем отъезде. Известие это, видимо, очень испугало и огорчило Юлию.

— Но долго ли же вы пробудете на этом деле? — спросила она.

— Не знаю, пожалуй, и месяц провозишься! — отвечал Вихров.

— Как месяц!..— почти воскликнула Юлия.— Неужели же вы не можете поспешить и раньше вернуться?

— Вряд ли!..— отвечал ей Вихров довольно равнодушно.

Юлия после этого стала как опущенная в воду; прокурор тоже выглядел как-то еще солиднее; даже беспечный инженер был явно мрачен и все кусал себе ногти. Разговор тянулся вяло.

— Вы мне, значит, и не дочитаете вашей повести,— говорила Юлия.

— Нет, не дочитаю,— отвечал Вихров.

— Дайте же мне ее, по крайней мере, я сама ее дочту.

— Возьмите хоть совсем; я подарить вам ее могу.

— Ну, совсем подарите,— сказала с улыбкой Юлия.

— Хорошо,— отвечал Вихров и, позвав человека, велел ему сходить вниз и принести лежащую на столе книжку.

Тот принес.

— Надпишите же на ней что-нибудь,— сказала Юлия.

— Вихров взял и надписал: «Единственной благосклонной слушательнице от автора».

Оба брата Захаревские смотрели на всю эту сцену молча и нахмурившись.

Вихров вскоре распрощался с ними, чтобы завтра рано утром выехать.

По уходе его между Захаревскими несколько времени продолжалось молчание.

— Что же мне отвечать отцу: приедешь ты или нет? — заговорил первый Виссарион, обращаясь к сестре.

Ту как бы немного при этом подернуло.

— Я сама напишу отцу. Он должен знать и понимать, зачем я здесь живу,— отвечала она.— Я надеюсь, что ты не потяготишься мною,— прибавила она уже с улыбкой брату.

— Что же мне тяготиться! — пробурчал тот.— Не про меня говорят, а про то, что когда же и чем это кончится?

— Может быть, никогда и ничем не кончится,— отвечала Юлия опять с маленькою судоргою в лице.

— Так для чего же вся эта и комедия? — возразил инженер.

— А если мне и в комедии этой хорошо, так чего ж тебе жаль? — сказала Юлия.

— Я с его стороны решительно ничего не вижу, кроме простой вежливости,— проговорил прокурор.

— И я тоже! — подхватил инженер.

— И я тоже! — сказала и Юлия грустно-насмешливым голосом.

— Так к чему же все это поведет? — спросил инженер.

— А я почему знаю! — отвечала Юлия, и глаза ее наполнились уже слезами.

Оба брата только переглянулись при этом и прекратили об этом разговор.

VI

УБИТАЯ КРЕСТЬЯНСКАЯ ЖЕНКА

Говоря по правде, герой мой решительно не знал, как приняться за порученное ему дело, и, приехав в маленький город, в уезде которого совершилось преступление, придумал только послать за секретарем уездного суда, чтобы взять от него самое дело, произведенное земскою полициею.

На это приглашение Вихрова к нему явился господин высокий, худой и плешивый.

— У вас есть дело об убийстве крестьянином Ермолаевым жены своей? — спросил его прямо Вихров.

— У нас это дело называется о скоропостижно умершей жене крестьянина Ермолаева.

— Тут нечисто что-то! — сказал Вихров.

Секретарь только развел на это руками и вздохнул.

— Не по одному этому делу полиция наша так распоряжается; пишешь-пишешь на нее в губернское правление,— хоть брось!

— Но как мне поступить тут? Губернатор мне ничего не пояснил в предписании.

Секретарь на это слегка усмехнулся.

— До начальника губернии,— начал он каким-то размышляющим и несколько лукавым тоном,— дело это, надо полагать, дошло таким манером: семинарист к нам из

самых этих мест, где убийство это произошло, определился в суд; вот он приходит к нам и рассказывает: «Я, говорит, гулял у себя в селе, в поле... ну, знаете, как обыкновенно молодые семинаристы гуляют... и подошел, говорит, я к пастуху попросить огня в трубку, а в это время к тому подходит другой пастух — из деревни уж Вытегры; сельский-то пастух и спрашивает: «Что ты, говорит, сегодня больно поздно вышел со стадом?» — «Да нельзя, говорит, было: у нас сегодня ночью у хозяина сын жену убил». Пастухи-то, знаете, всем обществом кормятся: понедельно, что ли, там в каждом доме живут. Пастух-то у этого именно Парфена Ермолаева и жил. Он рассказывает это, а я самое дело-то читаю... складно да ладно там написано: что была жена у Парфена Ермолаева, что жили они согласно и умерла она по воле божьей. Так меня, знаете, злость взяла, думал требовать дополнения по делу — пользы нет, я и говорю этому мальчику-то (он шел в губернский город — хлопотать по своему определению): «Ступай, говорю, скажи все это губернатору!» Мальчик-то, вероятно, пошел да и донес.

— Мне, значит, с пастуха и начать надо,— проговорил Вихров.

— С пастуха непременно,—подтвердил и секретарь.— Да чего, ведь и медицинского осмотра телу произведено не было.

— Я произведу медицинский осмотр.

— Следует, по закону, безотлагательно... Тысячу рублей, говорят, исправнику-то дали за это дело,— присовокупил секретарь.— Вот у меня где эта земская полиция сидит! — произнес он затем, слегка ударяя себя в грудь.— Она всю кровь мою мне испортила, всю душу мою истерзала...

Земская полиция, действительно, страшно мучила бедного секретаря. Лет двадцать пять сидел он на секретарском стуле и, рассматривая почти каждодневно в делах действия полицейских чинов, конечно полагал, желал и ожидал, что они хоть когда-нибудь и чем-нибудь возблагодарят его, но те упорно не давали ему ни копейки.

— Откуда же крестьянин мог взять тысячу рублей, чтобы дать исправнику? — спросил его Вихров.

— Тут, изволите видеть, какая статья вышла! — продолжал секретарь.— По крайности, на базаре так болтал народ: малый-то этот, убийца, еще допреж того продался

в рекруты одному богатому мужику; так я полагаю, что не тот ли откупил его.

— Может быть! — согласился с этим и Вихров и затем, попросив секретаря, чтобы тот прислал ему дело, отпустил его в суд.

Жрец Фемиды, обругав еще раз земскую полицию, отправился и через несколько минут прислал требуемое от него дело, а Вихров между тем, написав к доктору отношение, чтобы тот прибыл для освидетельствования тела умершей крестьянки Анны Петровой, сам, не откладывая времени, сел в почтовую повозку и поехал. В Вытегру он приехал на рассвете. Все какие-нибудь хитрые и лукавые приемы были ему противны по натуре его. Он прямо подъехал к дому убийцы, вошел и велел позвать к себе всех домашних. Пришли: старик отец, старуха жена его девка-работница, а парня не было.

— Где же сын твой? — спросил Вихров старика.

— За сеном он, судырь, уехал,— отвечал тот несколько сконфуженным голосом.

Вихров в это время случайно взглянул в окно и увидел, что какой-то молодой малый все как-то жался к стене и точно прятался за нее.

— Да это не он ли? — спросил он вдруг старика.

— Он и есетко,— отвечал тот и рассмеялся как-то неестественно.

— Ну, уж позови и его сюда,— сказал Вихров.

Старик ушел.

Старуха мать стояла в это время, совсем опустив голову в землю, а девушка-работница как-то глядела все в сторону. Малый вошел вместе со стариком отцом. Он, видимо, бодрился и старался казаться смелым; собой он был белокурый, черты лица имел мелкие и незначительные, но довольно неприятные. Взглянув на него, Вихров совершенно убедился, что он был убийца. Он велел его явившемуся сотскому держать под надзором и затем приказал позвать к себе деревенского пастуха их. Тот пришел. Это был огромный мужик, с страшно загорелым лицом и шеей, так что шивороток у него был почти в воспалительном состоянии; на ногах у него были кожаные башмаки, привязанные крепко увитыми на голенях ремнями; кафтан серый и в заплатах, и от всего его пахнуло сильно сыростью, точно от гриба какого-нибудь. Войдя в избу, он оставил за собою сильный след грязи.

— Как намокли, проклятые! — говорил он, смотря себе на ноги.

Вихров сначала не принял осторожности и, не выслав старика отца (парень, мать и девка сами вышли из избы), стал разговаривать с пастухом.

— Ты у здешнего хозяина ночуешь?

— Нет, не ночую! — отвечал пастух каким-то глухим голосом.

— А как молодой хозяин жил с женою — согласно, али нет?

— Почем же я знаю? — отвечал пастух мрачно.

— А если я знаю, что ты знаешь — и знаю даже, что ты говорил, как хозяин твой убил жену свою,— сказал Вихров.

Пастух при этом посмотрел ему исподлобья в лицо, а потом повел глазами в ту сторону, где стоял старик, отец убийцы. Вихров догадался и выслал того. Они остались вдвоем с пастухом.

— Что же, парень убил жену? — спросил Вихров.

Пастух молча, не произнеся ни слова, мотнул только ему головой.

— Как же он убил ее, каким орудием? — спрашивал Вихров.

Пастух взял себя за горло рукой и сдавил ею горло.

— Удавил или задушил?

Пастух опять, как немой, показал себе пальцем на руку.

Вихров понял его.

— Больше ты ничего не знаешь? — спросил он его.

— Ничего,— отвечал пастух.

Вихров отпустил его до поры до времени.

Уходя, пастух оставил снова сильный след грязи.

— Извините! — сказал он, обертываясь в дверях к Вихрову с какой-то полуулыбкой.

Вскоре после того приехал доктор. Оказалось, что это был маленький Цапкин, который переменился только тем, что отпустил подлиннее свои бакенбарды... С Вихровым он сделал вид, что как будто бы и знаком не был, но тот не удержался и напомнил ему.

— Мы встречались с вами у женщины, несчастливой в семейной жизни, а теперь сходимся у женщины, уже убитой своим мужем,— проговорил он.

Доктор сначала на это ничего не отвечал и даже сконфузился немного.

— Я уже женат,— проговорил он.

— Слышал это я,— подхватил Вихров.

Маленький доктор перешел, посредством протекции Захаревского, в эту губернию именно потому, что молодая жена его никак не хотела, чтобы он жил так близко к предмету прежней своей страсти.

— Мы тело должны выкопать и вскрыть,— сказал ему Вихров.

— Да,— отвечал ему доктор с важным видом: как большая часть малорослых людей, он, видимо, хотел этим нравственным раздуваньем себя несколько пополнить недостаток своего тела.

Вихров для раскапывания могилы велел позвать именно тех понятых, которые подписывались к обыску при первом деле. Сошлось человек двенадцать разных мужиков: рыжих, белокурых, черных, худых и плотноватых, и лица у всех были невеселые и непокойные. Вихров велел им взять заступы и лопаты и пошел с ними в село, где похоронена была убитая. Оно отстояло от деревни всего с версту. Доктор тоже изъявил желание сходить с ними.

Дорогой Вихров стал разговаривать с понятыми.

— Ведь баба-то, братцы, говорят, убита мужем? — обратился он ко всем им.

— Бог ее знает, батюшка,— отвечали те в один голос.

— Нет, не бог, а и вы знаете! — сказал им укоризненным тоном Вихров.

Мужики на это ничего не сказали.

— Как же это вы показывали, что муж всегда жил с ней в согласии и ссор промеж их никогда никаких не было?

— Нет, судырь, мы этого не говорили,—возразил один из мужиков, поумнее других на лицо.

— Как не говорили, вот ваше показание! — И Вихров прочел им показания их.

— Мы точно что, судырь,— продолжал тот же мужик, покраснев немного,— баяли так, что мы не знаем. Господин, теперича, исправник и становой спрашивают: «Не видали ли вы, чтобы Парфенка этот бил жену?» — «Мы, говорим, не видывали; где же нам видеть-то? Дело это семейное, разве кто станет жену бить на улице? Дома на это есть место: дома бьют!»

— Нет, вы не то показали: вы показали, что они согласно и в мире всегда жили.

— Нет-с, как это мы можем показать! — возразил все тот же мужик, более и более краснея. — Ведь мы, судырь, неграмотные; разве мы знаем, что вы тут напишете: пишите, что хотите, — мы народ темный.

— Но тот грамотный, который за вас прикладывал руку, тот не темный; пусть бы он прочел вам! — возразил Вихров. — Кто тут рукоприкладствовал за всех, — какой-то Григорий Федосеев?

— Я-с это, — отвечал один из понятых, ужасно корявый и невзрачный мужик.

— Когда ж мы говорили так? — спрашивали его прочие мужики.

— Как же вы говорили? Известно, так говорили, — отвечал тот, заметно уже обозлившись.

— Никогда мы так не говаривали; ты теперь и отвечай за то! — продолжал прежний, более умный мужик.

— Известно, не говорили, — подтвердили и другие мужики.

Корявый мужичонка совсем обозлился.

— Как не говорили, черти этакие, дьяволы, — вино-то с них пили, а тут и не говорили!

— Никакого вина не было, что ты врешь, дурак этакой, — унимал его прежний умный мужик.

— Какое это вино? — спросил Вихров.

— А вино, судырь, которое Федор Романыч купил, — ишь, больно ловки, отвечай теперь я за них один!

— Какой Федор Романыч? — спросил Вихров.

— А мужичок, которому Парфенка в рекруты продался.

— Что ты тут Федора-то Романова плетешь, пошто он тебе, дурак этакой и свинья! — отозвался вдруг на это высокий мужик.

— Сам свинья, что ты лаешься-то? Ты всем делом этим и орудовал.

— Ну, слава тебе господи, и я уж орудовал! — сказал как бы со смехом высокий мужик.

В это время вошли все в село и прошли прямо на церковный погост. Один из мужиков показал могилу убитой. На ней стоял совершенно новый крест. Вихров послал к священнику просить позволения разрыть эту могилу. Тот благословил. Стали вынимать крест. Мужики заметно при-

нялись за это дело с неудовольствием, а высокий мужик и не подходил даже к могиле. Вихрэв — тоже сначала принявшийся смотреть, как могила все более и более углублялась — при первом ударе заступа у одного из мужиков во что-то твердое, по невольному чувству отвращения, отвернулся и более уж не смотрел, а слышал только, как корявый мужик, усерднее всех работавший и спустившийся в самую даже могилу, кричал оттуда:

— Давайте веревки-то поскорей, а то расчихаешься тут!

Потом Вихров через несколько минут осмелился взглянуть в сторону могилы и увидел, что гроб уж был вынут, и мужики несли его. Он пошел за ними. Маленький доктор, все время стоявший с сложенными по-наполеоновски руками на окрайне могилы и любовавшийся окрестными видами, тоже последовал за ними.

Мужики, неся гроб, по свойству русских людей — позубоскалить при каждом деле, как бы оно неприятно ни было, и тут не утерпели и пошутили.

— Григорий Федосеич, завывай; ты мастер выть-то! — сказал молодой парень, обращаясь к корявому мужику.

— Сами вы, черти, мастера! — выругался тот.

— Как же ты, братец, ругаешься; гроб несешь и ругаешься, а еще грамотный! — укорял его молодой парень.

— Он ведь только на блины, да на кутью выть-то любит, а без этого не станет! — объяснил про Григорья Федосеева другой мужик.

— Ты-то пуще станешь! — отругивался и от него Григорий Федосеич.

Прочие мужики ухмылялись и усмехались, и один только высокий мужик шел все молча, не улыбнувшись и, видимо, стараясь даже отставать от идущих.

В доме Парфена Ермолаева, должно быть, сильно перепугались, когда увидали, что гроб несут назад, а особенно — девушка-работница...

— Матушка, гроб-то Анны назад несут! — воскликнула она, первая увидев это и обращаясь к старой хозяйке.

— Ну, вот, матери!.. Господи помилуй! — произнесла та.

— Анну выкопали и назад принесли! — сказал и старик, войдя в избу.

— Куда же, баунька, поставить-то ее, поставить-то ее куда? — спрашивала работница.

— Не ведаю уж! — отвечала ей старуха.

Парфен в это время сидел на улице, на бревнах, под присмотром сотского. Когда он увидал подходящих с гробом людей, то, заметно побледнев, сейчас же встал на ноги, снял шапку и перекрестился.

Доктор вошел первый в дом Парфена, осмотрел его весь и велел в нем очистить небольшую светелку, как более светлую комнату.

Там разложили на козлах несколько досок и поставили гроб. Открыть его Вихров сначала думал было велеть убийце, но потом сообразил, что это может выйти пытка,— таким образом гроб открыть опять выискался тот же корявый мужик.

— Они на меня, ваше высокородие, все теперь сваливают, — говорил он, заметив, что он один с Вихровым в светелке, — а вот, матерь божия, за все мое рукоприкладство мне только четвертак и дано было.

— А кто такой этот высокий мужик, с которым ты спорил? — спросил его Вихров.

— Да ведь это сын, ваше высокородие, того мужичка, который купил Парфенку-то в рекруты; вот ему это и не по нутру, что я говорю, — отвечал корявый мужик. — Ну-те, черти, — крикнул он затем в окно другим понятым, стоявшим на улице, — подите, пособите покойницу-то вынуть из гроба.

Те неохотно и неторопливо вошли в светелку и больше вытряхнули труп из гроба, чем вынули. Вошел потом и доктор.

Он был без сюртука, с засученными рукавами рубашки, в кожаном переднике, с пилой и с ножом в руках; несмотря на свой маленький рост, он в этом виде сделался даже немного страшен. Без всякой церемонии, он вынул из-за своего пояса заткнутые ножницы и разрезал ими на покойнице саван, сарафан и рубашку, начиная с подола до самой шеи, разрезал также и рукава у рубашки, и все это развернул. Понятые отворотились; даже и корявый мужик не смотрел на это. Вихров тоже с величайшим усилием над собой взглянул на покойницу и успел только заметить, что она была недурна лицом и очень еще молода.

— Не угодно ли вам записывать судебно-медицинский осмотр, — сказал маленький доктор, обращаясь к нему с важностью. — Ну, смотрите и вы хорошенько! — прибавил он мужикам уже строго.

Вихров сел и приготовился записывать.

— На теменных костях,— начал доктор громко, как бы диктуя и в то же время касаясь головы трупа, — большой пролом, как бы сделанный твердым и тупым орудием. Смотрите! — обратился он к понятым.

Некоторые из них, а в том числе и корявый мужик, подошли, посмотрели и отошли.

— А это штука еще лучше! — произнес доктор как бы про себя и потом снова задиктовал: — Правое ухо до половины оторвано; на шее — три пятна с явными признаками подтеков крови; на груди переломлено и вогнуто вниз два ребра; повреждены легкие и сердце. Внутренности и вскрывать нечего. Смерть прямо от этого и последовала,— видите все это?

Понятые молчали. Высокий мужик как будто бы хотел что-то возразить, но, кажется, не посмел.

— Теперь надобно мужа и домашних привести, чтобы они видели.

Вихров велел.

Те пришли, за исключением девки-работницы. Парень явно трепетал всем телом.

— Видите! — сказал доктор и показал им голову.— Видите! — и он указал на отодранное ухо.— И вот эти маленькие дырки в полтора вершка величины; ну, и подпишитесь ко всему этому! — прибавил он, показывая на осмотр, написанный Вихровым.

Тот начал читать бумагу громко и внятно.

Парень стоял все время, отвернувшись от трупа, и, кажется, даже старался не слышать того, что читают. Доктор непременно потребовал, чтобы все мужики дали правые руки для доверия в рукоприкладстве тому же корявому мужику: он, кроме важности, был, как видно, и большой формалист в службе.

— Как бы мне, ваше высокородие, и за это чего не было? — спросил мужик Вихрова.

— Нет, за это ничего не будет, — успокоил его тот.

Доктор между тем потребовал себе воды; с чрезвычайно серьезною физиономией вымыл себе руки, снял с себя фартук, уложил все свои инструменты в ящик и, не сказав Вихрову ни слова, раскланялся только с ним и, сев в свой тарантасик, сейчас уехал.

По отъезде его труп надобно было снова снести на кладбище и зарыть в могилу.

— Ну, положите, братцы, в гроб покойницу и снесите

ее в село, — сказал было Вихров понятым; но те решительно возопияли против того.

— Помилуйте, ваше высокоблагородие, — заговорили они все в один голос, — и то уж мы с ними намаялись: тот раз по их делу таскали-таскали, теперь тоже требуют.

— Пусть сами они свезут!.. Батько-то старик ни черта у них не делает! — присовокупил и корявый мужик.

— Да я, пожалуй, свезу, — отвечал старик-отец, кидая вокруг себя какой-то беспокойный взор. — Подсобите хоть положить-то ее, — прибавил он понятым.

— Да это подсобим, — отвечал корявый мужик и пошел, впрочем, один только подсоблять старику.

Через несколько минут Вихров увидал, что они вдвоем поставили гроб на старую тележонку, запрягли в нее лошадь, и потом старикашка-отец что есть духу погнал с ним в село.

VII
УБИЙЦА

Тем же днем Вихров начал и следствие. Прежние понятые, чтобы их не спросили другой раз, разбежались. Он позвал других и пригласил священника для привода их к присяге. Священник пришел в ужасно измятой, но новой рясе и с головой, для франтовства намоченной квасом. Он был очень широколиц и с какой-то необыкновенно добродушной физиогномией. Мужиков сошлось человек двенадцать.

— Внушите им, батюшка, чтобы они говорили правду, и потрудитесь их привести к присяге! — проговорил Вихров.

Священник разложил на столе евангелие, надел епитрахиль и начал каким-то неестественным голосом:

— Вы теперь должны показывать правду, потому что, ежели покажете неправду, то будете наказаны и лишены навеки царствия небесного, а ежели покажете правду, то бог вас наградит, и должны вы показать, не утаивая, потому что утаить, все равно, что и солгать! Ну, сложите теперь крестом персты ваши и поднимите ваши руки!

Мужики неуклюже сложили руки крестом и подняли их.

— Говорите за мной! — произнес священник и зачитал: — «Обещаюсь и клянусь!»

Мужики что-то такое бормотали за ним.

— Ну, целуйте теперь евангелие!

Мужики все перецеловали евангелие.

Священник снял епитрахиль, завернул в ней евангелие и хотел было уйти.

— Посидите, батюшка, побудьте при следствии; я один тут, — остановил его Вихров.

— Хорошо-с, — отвечал священник и сел на лавку.

Вихров начал сразу спрашивать всех крестьян.

— Скажите, пожалуйста, как же Парфен Ермолаев жил с женою — дурно или хорошо?

— Да что, ваше высокоблагородие, — вызвался один из мужиков, самой обыкновенной наружности и охотник только, как видно, поговорить, — сказать тоже надо правду: по слухам, согласья промеж их большого не было.

— Но не видали ли вы, чтобы он бил ее, ругал?

— Это где же видать! — произнес как бы с некоторою печалью мужик с обыкновенною физиогномией.

— Я, судырь, видел, — отозвался вдруг один старик, стоявший сзади всех, и при этом даже вышел несколько вперед.

— Что же ты видел, дедушка? — спросил его Вихров.

— Видел я, судырь, то: иду я раз, так, примерно сказать, мимо колодца нашего, а он ее и бьет тут... отнял от бадьи веревку-то, да с железом-то веревкою-то этою и бьет ее; я даже скрикнул на него: «Что, я говорю, ты, пес эдакий, делаешь!», а он и меня лаять начал... Вздорный мальчишка, скверный, не потаю, батюшка.

— Зачем таить! — заметил ему священник.

— Не потаю; ты же вот говорил, что за правду бог наградит, а за ложь накажет.

— А вы никто другие не видали, чтобы он ее бил? — спросил Вихров прочих мужиков.

— Мы не видали, а что они несогласно жили, это слыхали, — отвечали все они единогласно.

— Да из чьего роду-то она шла? — спросил священник.

— Да Марьи, судырь, вдовы дочка, изволите знать, — отвечал ему тот же старик.

— Из дому-то она небогатого шла; от этого, чай, и согласья-то у них не было, — проговорил священник, запуская руку в карман подрясника и вынимая оттуда новый бумажный платок носовой, тоже, как видно, взятый для франтовства

Вихров посмотрел на него вопросительно.

— Они все ведь, — продолжал священник, — коли тесть и теща небогаты, к которым можно им в гости ездить и праздновать, так не очень жен-то уважают, и поколачивают.

— Это точно что: есть это, есть!..— подтвердил и старик. — А тут уж что-то и особенное маленько было, — прибавил он, внушительно мотнув головой.

— Что же особенное было?

— Что особенное? Все вон они знают!.. Что они молчат! — проговорил старик, указывая на прочих мужиков.

— Что же, братцы, говорите, — отнесся к ним Вихров.

— Что, ваше высокородие, пустое он только болтает,— ответил мужик с обыкновенной наружностью.

— Нет, не пустое, не пустое! — отозвался досадливо старик.

— Да что такое, говорите! — прикрикнул уже Вихров.

— Да болтают, ваше высокородие, — отвечал мужик с обыкновенной наружностью, — что у них работница есть и что будто бы она там научила Парфенку это сделать.

— Были слухи об этом, были, — подтвердил и священник.

— Да ведь это, батюшка, мало ли что: не то что про какую-нибудь девку, а и про священника, пожалуй, наболтают невесть чего, — возразил мужик с обыкновенной наружностью: он, видно, был рыцарских чувств и не любил женщин давать в обиду.

— Что рассказывать-то, сам парень-то болтал пьяный в кабаке о том, — подхватил старик.

— Ну, мы это там увидим; расследую, — сказал ему Вихров. — Позовите ко мне Парфена Ермолаева.

Ему скорее хотелось посмотреть и поговорить с самим убийцей, в преступлении которого он более уже не сомневался.

Парня ввел сотский.

— Сделайте, батюшка, предварительное ему наставление.

Священник встал, утерся своим бумажным платком и начал снова каким-то неестественным голосом:

— Ты, братец, должен покаяться, и если совершил этот грех, то ты тем только душу свою облегчишь, а хоть и будешь запираться, то никак тем казни не избегнешь ни в сей жизни, ни в будущей.

— Я знать ничего не знаю, ваше благословение, — проговорил малый.

— Опять тебе повторяю: начальство все уж знает про тебя, а потому покайся лучше, и тебя, может быть, за то помилуют.

— Мне каяться, ваше благословение, не в чем.

— Расскажи ты мне,— начал Вихров,— весь последний день перед смертью жены: как и что ты делал, виделся ли с женой и что с ней говорил? Рассказывай все по порядку.

— Я не знаю, ваше благородие, как это сказывать-то.

— Очень просто. Ну, что делал поутру?

— Да теперь уж не помнится, ваше благородие.

— Ну, помнишь, однако, что завтракал?

— Завтракал.

— С женой?

— Со всем семейством.

— Потом?

— Потом я словно бы в лес уехал.

— Потом?

— Потом-с приехал, обедали.

— Ну, а виделся с женой?

— Виделся-с.

— О чем же ты говорил с ней?

— Что говорить? Я сказал ей, чтобы шла лошадь мне подсобить отпрячь.

— Что ж она — пособила?

— Нету-тка.

— И что ж, ты за это забранил ее?

— Нет-с.

— Никогда ни за что ее не бранил?

— Нет-с, не бранил.

— Значит, жили душа в душу?

— Жили согласно мы-с! — Парень при этом вздохнул.

— Стало быть, тебе жаль, что она умерла?

— Кому, ваше благородие, не жаль своей жены, — прибавил он, смотря себе на руки.

— А как вы спали с ней — на одной постели?

— На одной, ваше благородие.

— Это вот та постель, что я видел в сенях с занавеской?

— Да-с.

— А в эту ночь она с тобой тоже спала?

— Со мной-с!

— Но она ведь у вас найдена мертвою на дворе; ну, когда она уходила, — ты слышал это или нет?

— Нет, не слыхал, ваше благородие! — говорил малый, и едва заметная краска пробежала по лицу его.

— Вот видишь, есть подозрение, братец, что жена твоя убита; не подозреваешь ли ты кого-нибудь?

— Кого мне, ваше высокородие, подозревать; никого я не подозреваю.

— Но как же, однако, она умерла там?

— Мало ли, ваше высокородие, люди в одночасье умирают!

— Однако позволь, любезный: у жены твоей, оказалось, голова проломлена, грудь прошиблена, ухо оторвано, — ведь это кто-нибудь сделал же?

— Это, может, ваше высокородие, скотина на нее наступила, как упала она в бесчувствии; лошадь какая или корова на нее наступила.

— Ты думаешь так?

— Думаю, ваше высокородие; все ведь думается; на все придешь.

— А кто же, злодей, это с ней сделал? — вскричал вдруг Вихров бешеным голосом, вскочив перед парнем и показывая рукой себе на горло — как душат человека.

Голос его так был страшен в эти минуты, что священник даже вскочил с лавки и проговорил:

— Ой, господи помилуй!

Парень затрясся и побледнел.

— Говори, злодей этакий, а не то и себя не пожалею, убью тебя, — ревел между тем Вихров.

Парень окончательно затрясся и опустился медленно на колени.

— Мой грех, ваше благородие, до меня дошел; только то, что помилуйте! — проговорил он.

— А коли твой, так и прекрасно, — сказал Вихров и сейчас записал его признание в двух словах и просил приложить руку за него священника.

— Давно бы так надо, чем запираться-то, — говорил тот с укором парню.

Последний все стоял на коленях и плакал.

Вихров сказал ему, чтобы он встал, посадил его на лавку и велел ему подать воды выпить.

Малый выпил воды и потер себе грудь.

— Мне легче теперь словно стало, ваше благородие, — проговорил он.

— Еще бы, — сказал Вихров. — Ты мне должен все рассказать по этому делу.

— Все, ваше высокородие, расскажу.

— Как же ты убил ее? — спросил Вихров.

— Убил, ваше благородие, как легли мы с ней спать, я и стал ее бранить, пошто она мне лошадь не подсобила отпрячь; она молчит; я ударил ее по щеке, она заплакала навзрыд. Это мне еще пуще досадней стало; я взял да стал ей ухо рвать; она вырвалась и убежала от меня на двор, я нагнал ее, сшиб с ног и начал ее душить.

— Стало быть, ты намерен был ее убить?

— Намерен, ваше благородие, я уже давно все собирался ее убить.

— Но отчего ж у нее эти проломы, если ты только задушил ее?

— Мне опосля показалось, что она маленько все еще трепещет; я взял да через нее раз пять лошадь провел; та, надо полагать, копытом-то и проломила это место, а лошадь-то была кованая.

— Но что же заставило тебя так зверствовать? — спросил Вихров.

— Не со своего, ваше благородие, разуму делал все это, и другие тоже меня подучали к тому.

— Что же это, работница, что ли, ваша? — спросил Вихров.

— Она-с и есть, бестия этакая.

Беспрестанное повторение Парфеном слов: *ваше высокоблагородие, ваше благословение,* вдетая у него в ухе сережка, наконец какой-то щеголеватого покроя кафтан и надетые на ноги старые резиновые калоши — дали Вихрову мысль, что он не простой был деревенский малый.

— Да что ты — мастеровой, что ли, какой-нибудь? — спросил он его.

— Я — фабричный, ваше высокоблагородие, — отвечал он.

— А, ну теперь оно и понятно: ты там, значит, всем этим добродетелям и научился.

— Уж там точно, ваше высокоблагородие, добру мало научат, — согласился и малый.

— Народ самый отчаянный — все эти фабричные, — подтвердил и священник.

— А давно ли у тебя любовь эта с работницей началась?

— Давно, ваше высокоблагородие, она давно уж у нас тоже живет.

— Стало быть, ты и до женитьбы ее любил?

— Известно, ваше высокородие.

— Отчего же ты не женился на ней?

— Что ж на ней жениться-то,— разве она стоит того?

— Поэтому жена твоя тебе больше нравилась, чем она?

— Не то что больше, а что точно, что женщина смиренная была.

— Зачем же ты убил ее?

— По наговорам все.

— Работницы этой?

— Да-с. Все смеялась она: «Жена у тебя дура, да ты ее очень любишь!» Мне это и обидно было, а кто ее знает, другое дело: может, она и отворотного какого дала мне. Так пришло, что женщины видеть почесть не мог: что ни сделает она, все мне было не по нраву!

— И что же, работница тебе прямо говорила, чтобы ты убил жену?

— Смеялась как-то раз: «Ты бы, говорит, жену-то твою утопил в проруби. Что ты, говорит, больно ее бережешь».

— Ну, а где же ты, скажи мне, денег взял, чтобы откупиться на первом следствии?

— Тоже, ваше благородие, добрые люди помогли в том случае.

— Что же, это хозяин, которому ты в рекруты продался?

— Самый он-с,— отвечал откровенно и даже как бы с некоторым удовольствием малый.— Меня, ваше благородие, при том деле почесть что и не спрашивали: «Чем, говорит, жена твоя умерла? Ударом?» — «Ударом»,— говорю; так и порешили дело!

— Что же, ты сам просил хозяина, чтобы он тебя откупил? — спросил вдруг и почему-то священник.

Ему, кажется, было не совсем приятно, что одного из самых богатых его прихожан путают в дело.

— Он сам, ваше благословение, пожелал того: «Что ты теперь, говорит, у нас пропадешь; мы, говорит, лучше остальные деньги, что тебе следует, внесем начальству, тебя и простят».— «Вносите»,— говорю.

— Болтовня, братец, твоя одна только это! — проговорил священник.

— Нет, ваше благословение, верно так; всю сущую правду говорю; мне что теперь: себя я не пожалел, что ж мне других-то скрывать?

Всеми этими оговорами, так же как тоном голоса своего и манерами, Парфен все больше и больше становился Вихрову противен. Опросивши его, он велел позвать работницу. Та вошла с лицом красным и, как кажется, заплаканным.

Вихров велел ей стать рядом с Парфеном. Она стала и тотчас же отвернулась от него.

— Скажи, любезная, не находилась ли ты в любовной связи вот с этим Парфеном Ермолаевым? — начал Вихров.

— Нету-с, как это возможно! — отвечала она.

Ее синяя шубка и обшитые красным сукном коты тоже бросились Вихрову в глаза.

— Ты всегда в работницах жила? — спросил он ее.

— Нет, мы по летам только в работницах живем, а по зимам на фабрике шерсть мотаем.

— С одной, значит, фабрики с ним? — сказал Вихров, указывая девке на Парфена.

— С одной и той же,— отвечала девка.

— Может быть, ты там с ней и слюбился? — спросил он Парфена.

— И там и здесь, везде-ся-тко! — отвечал тот.

— Как же ты запираешься? Вот он сам признается в том,— сказал Вихров девке.

— Мало ли что он наболтает; я не то что его, а и никого еще не знаю,— отвечала она, потупляя глаза.

— Да, не знаешь, девка, как же! Поди-ко, какая честная! — возразил ей парень.

— Здесь этаких нет, чтобы никого-то в девушках не знали,— произнес и священник, грустно качнув головой.

— Ни единой!..— подхватил малый.— Что она, ваше высокородие, запирается! — отнесся он к Вихрову.— Я прямо говорю — баловать я с ней баловал, и хозяйку мою бить и даже убить ее — она меня подучала!

Девка при этом заплакала.

— Вот уж это врешь, грех тебе!.. Грех на меня клепать!.. Спросите хоть родителей его! — говорила она.

— Не было, ах ты, шельма этакая!.. Что моих родителей-то спрашивать; известно, во всем нашем семействе словно, ваше высокородие, неспроста она всех обошла; коли ты запираешься, хочешь — я во всем этом свидетелей могу представить.

— Каких свидетелей? Каких? — спрашивала девка, еще более покраснев.

— А таких! Знаю уж я каких! — говорил Парфен.

Девка после этого вдруг обратилась к Вихрову. Тон голоса ее при этом совершенно переменился, глаза сделались какие-то ожесточенные.

— Это точно что! Что говорить,— затараторила она,— гулять — я с ним гуляла, каюсь в том; но чтобы хозяйку его убить научала,— это уж мое почтенье! Никогда слова моего не было ему в том; он не ври, не тяни с собой людей в острог!

— Я потяну, посадят,— говорил парень.

— Нет, врешь, не посадят,— возражала ему бойко девка.

Вихров велел им обоим замолчать и позвал к себе того высокого мужика, отец которого покупал Парфена за свое семейство в рекруты.

— Вот он говорит,— начал он прямо, указывая мужику на Парфена,— что вы деньгами, которые следовали ему за его рекрутчество, закупили чиновников.

Высокий мужик усмехнулся.

— Что мы — осьмиголовые, что ли, что в чужое-то дело нам путаться: бог с ним... Мы найдем и неподсудимых, слободных людей идти за нас! Прежде точно, что уговор промеж нас был, что он поступит за наше семейство в рекруты; а тут, как мы услыхали, что у него дело это затеялось, так сейчас его и оставили.

— Ну, что ж ты на это скажешь? — обратился Вихров к Парфену.

— Что сказать-то, ваше благородие?.. Его словам веры больше дадут, чем моим.

— Стало быть, ты ничем не можешь доказать против его слов?

— Ничем,— отвечал Парфен утвердительно.

Он уже очень хорошо понял кинутый на него выразительный взгляд высоким мужиком. Священник тоже поддерживал последнего.

— Это семейство степенное, хорошее,— говорил он.

— Но вы, однако, такие же фабричные? — обратился Вихров к мужику.

— Нет, сударь, мы скупщики,— отвечал тот.

Вихров на него и на священника посмотрел вопросительно.

— Здесь ведь вот как это идет,— объяснил ему сей последний,— фабричные делают у купцов на фабрике сукна простые, крестьянские, только тонкие, а эти вот скупщики берут у них и развозят эти сукна по ярмаркам.

Вихров, разумеется, очень хорошо понимал, что со стороны высокого мужика было одно только запирательство; но как его было уличить: преступник сам от своих слов отказывался, из соседей никто против богача ничего не покажет, чиновники тоже не признаются, что брали от него взятки; а потому с сокрушенным сердцем Вихров отпустил его, девку-работницу сдал на поруки хозяевам дома, а Парфена велел сотскому и земскому свезти в уездный город, в острог. Парфен и родные его, кажется, привыкли уже к этой мысли; он, со своей стороны, довольно равнодушно оделся в старый свой кафтан, а новый взял в руки; те довольно равнодушно простились с ним, и одна только работница сидела у окна и плакала; за себя ли она боялась, чтобы ей чего не было, парня ли ей было жаль — неизвестно; но между собой они даже и не простились. Земским, предназначенным сопровождать преступника, оказался тот же корявый мужик. Он вместе с сотским связал Парфену ноги и посадил его на середнее место в телегу.

— Сиди, друг любезный, покойно; свезем мы тебя с почетом,— говорил он, садясь сбоку его.

— Ноги-то уж больно затянули! — жаловался Парфен.

— Ничего, друг любезный, привыкай; приведется еще железные крендельки носить на них! — утешил его земский.

VIII

АРЕСТАНТЫ И АРЕСТАНТКИ

По возвращении Вихрова снова в уездный город, к нему сейчас же явился исправник, под тем будто бы предлогом, чтобы доставить ему два предписания губернатора, присланные на имя Вихрова.

— А вы в Вытегре изволили открыть, что эту женщину муж убил? — спросил он как бы к слову.

— Открыл! — отвечал Вихров.

— Удивительное дело! — произнес исправник, вскинув к небу свои довольно красивые глаза.— Вот уж по пословице — не знаешь, где упадешь! Целую неделю я там бился, ничего не мог открыть!

Вихров молчал. Ему противно даже было слушать этого господина, который с виду был такой джентльмен, так изящно и благородно держал себя, имел такие аристократические руки и одет был почти столичным франтом.

— Вы где прежде служили? — спросил он его.

— Прежде в военной-с. Был адъютантом и казначеем полковым и все вот это, женившись по страсти, променял на кляузную должность исправника.

— Но зато здесь повыгодней! — произнес не без иронии Вихров.

— Бог с ней — с этой выгодой,— отвечал исправник, не зная, как и понять эти слова.

Вихров затем принялся читать бумаги от губернатора: одною из них ему предписывалось произвести дознание о буйствах и грубостях, учиненных арестантами местного острога смотрителю, а другою — поручалось отправиться в село Учню и сломать там раскольничью моленную. Вихров на первых порах и не понял — какого роду было последнее поручение.

— А скажите, пожалуйста, далеко ли отсюда село Учня? — спросил он исправника.

— Верст сорок,— отвечал тот.

— Мне завтра надо будет ехать туда,— продолжал Вихров.

— В таком уж случае,— начал исправник несколько меланхолическим голосом,— позвольте мне предложить вам экипаж мой; почтовые лошади вас туда не повезут, потому что тракт этот торговый.

— Но я возьму обывательских,— возразил Вихров.

Исправник на это грустно усмехнулся.

— Здесь об обывательских лошадях и помину нет; мои лошади такие же казенные.

— Но мне все-таки совестно,— сказал Вихров,— позвольте, по крайней мере, мне следующие с меня прогоны отдать вашему кучеру.

— Это как вам угодно будет,— отвечал с покорностью

исправник и, посеменя после того немного перед Вихровым ногами, сказал негромким голосом:

— Я, вероятно, буду подвергнут ответственности за мое упущение?

— Вероятно! — отвечал тот ему откровенно.

— Но за что же?.. За что? — произнес исправник вкрадчивым уже тоном.— Irren ist menschlich![1]— прибавил он даже по-немецки.

— В службе и за irren наказывают,— отвечал ему Вихров.

— Конечно-с! — согласился исправник и, поняв, как видно, что с этим молокососом ему разговаривать было больше нечего, раскланялся и ушел.

Оставшись один, герой мой предался печальным размышлениям об этом мерзейшем внешнем русском образовании, которое только дает человеку лоск сверху, а внутри, в душе у него оставляет готовность на всякую гнусность и безобразие,— и вместе с тем он послал сказать смотрителю, что приедет сейчас в острог произвести дознание о происшедших там беспорядках. Острог помещался на самом конце города в частном доме и отличался от прочих зданий только тем, что имел около себя будку с солдатом и все окна его были с железными решетками. Когда Вихров подошел к этому дому, перепуганный смотритель, с небритой бородой и в отставном военном вицмундире, дожидался уже его у подъезда. Вихров в первый еще раз входил в какой бы то ни было острог. Прежде всего его обдал страшный смрад, в котором по преимуществу разило запахом кислых щей и махорки.

— А у вас курят арестанты? — спросил Вихров смотрителя.

— Курят. Никак не могу их отбить от этого,— отвечал смотритель.

Он ввел Вихрова сначала в верхний этаж, в переднюю, в которой даже оказалось огромное зеркало, вделанное в стену и, видимо, некогда предназначенное для того, чтобы приезжие гости поправляли перед ним свой туалет: дом этот принадлежал когда-то богатому купцу, но теперь проторговавшемуся и спившемуся. Далее затем следовало зало с расписными стенами, на которых изображены были беседки, сады, разные гуляющие дамы, к большей

---

[1] Людям свойственно заблуждаться! *(нем.)*

части которых арестанты приделали углем усы. Кругом всех стен шли нары, на которых арестанты лежали и сидели. При появлении Вихрова и смотрителя они все вскочили и вытянулись.

— А внизу у вас — женское отделение? — спросил Вихров, чтобы что-нибудь только спросить смотрителя: вид всех этих людей не то что испугал, но как-то смутил и сконфузил Вихрова.

— Внизу — женское,— отвечал тот, покорно склоняя свою голову.

— Которые же вам из арестантов грубили? — спросил Вихров, вспомнив, наконец, главную причину своего посещения острога.

— Вот-с эти трое,— отвечал смотритель, показывая на двух довольно молодцеватых арестантов и на третьего — еще молодого малого, но совсем седого.

Вихров обратился к двум первым арестантам:

— За что вы посажены?

— Не знаем, ваше благородие! — отвечал один из них.

— Как не знаете? Но кто вы такие? — прибавил Вихров.

— Не знаем, ваше благородие,— отвечал и на это арестант.

— Стало быть, вы — не помнящие родства? — продолжал Вихров.

— Точно так, ваше благородие! — отвечал арестант, и на губах его промелькнула, как кажется, легкая насмешка.

— Руки по швам! — крикнул было Вихров.

Арестант на это еще более усмехнулся.

— Уж это, ваше благородие, командовали нам, приказывали многие! Нет-с, я не солдат,— отвечал арестант, и насмешливая улыбка по-прежнему не сходила с его губ.

— Но где же ты пробывал все время до острога? — продолжал спрашивать его Вихров.

— Да где, ваше высокоблагородие, пробывал?.. Где день, где ночь!

— Но где же именно? Что за ответ: где день, где ночь.

— Не упомню, ваше благородие.

— Как не помнишь! — воскликнул Вихров.— Неужели тебе не совестно говорить подобные вещи?

Арестант моргал только при этом слегка глазами.

— Не упомню-с! — повторил он еще раз.

— А ты где жил? — обратился Вихров к другому арестанту.

— А я там же, где и он, супротив его-с! — отвечал тот с еще бо̀льшим, кажется, нахальством, чем товарищ его.

Прочие арестанты довольно громко при этом засмеялись, и Вихров сам тоже не мог удержаться и усмехнулся; а смотритель развел только горестно руками.

— Вот и поговори с ними, и посуди их,— произнес он как бы сам с собою.

— Что же такое они вам нагрубили? — обратился к нему Вихров.

— То, что не слушаются, делают — что хотят! Голубей вон под нарами завели; я стал их отбирать, не дают!

— Вы заводили голубей? — спросил Вихров опять первого арестанта.

— Да, это виноваты, ваше благородие, точно что завели: скучно ведь здесь оченно сидеть-то, так эту забавку маленькую завели было...

— Да где же вы достали голубей?

— Я достал,— отвечал арестант откровенно.— Меня к допросу тоже в суд водили, я шел по площади да и словил их, принес сюда в рукаве; тут они и яички у нас нанесли и новых моло̀дых вывели.

— Но все-таки, когда смотритель стал у тебя требовать их, отчего ж ты не отдавал их ему?

— Жалко, ваше благородие, было: мы тоже привыкли к ним; а потом мы и отдали-с!

— Отдали? — обратился Вихров к смотрителю.

— Отдали-с! Голуби-то у меня и теперь с опечатанными крыльями гуляют на дворе. Прикажете принести? — говорил смотритель.

— После. В этом только грубость арестантов и состояла? — прибавил Вихров.

— Нет, вон за этим молодцом много еще и других историй,— произнес смотритель, показывая на первого арестанта,— его вон на двор нельзя выпустить!

Арестант при этом заметно сконфузился и потупил глаза в землю.

— Почему нельзя выпустить? — спросил Вихров.

— А потому-с...— отвечал смотритель и, как видно, не решался доканчивать своего обвинения.

— Все это одна напраслина на меня, ваше высоко-

благородие,— говорил арестант окончательно сконфуженным голосом.

— Какая же напраслина — на других же не говорят.

— Это все, ваше высокоблагородие, Гаврюшка вам солдат насказал,— говорил арестант.

— Ну, хоть и Гаврюшка — что же?

— А то, ваше благородие, что он перед тем только четвертак с меня на полштофа требовал.

— За что же он именно требовал с тебя? — вмешался в их разговор Вихров.

— Прах его знает! — отвечал арестант, по-прежнему сконфуженным голосом.

— В чем же именно он еще обвиняется? — отнесся Вихров к смотрителю.

— А в том, ваше высокоблагородие, что по инструкции их каждый день на двор выпускают погулять; а у нас женское отделение все почесть на двор выходит, вот он и завел эту методу: влезет сам в окно да баб к себе, арестанток, и подманивает.

Арестант при этом обвинении окончательно уже покраснел, как рак вареный. Прочие арестанты — кто тихонько смеялся себе в кулак, кто только улыбался.

— И те подходили к нему? — спрашивал Вихров.

— Еще бы! Бунт такой на меня подняли, когда я запретил было им к окнам-то подходить: «Что, говорят, ты свету божьего, что ли, нас лишаешь!» Хорош у них свет божий!

— Что же, ты подманивал арестанток?— спросил Вихров арестанта.

— Да так, ваше благородие, пошутил раз как-то,— отвечал тот.

— Да, пошутил! Отчего же Катька-то в таком теперь положении?

— Я ничего того не знаю.

— Кто же знает-то — я, что ли?

— Да, может, и вы; я неизвестен в том.

— Как же я? Ах ты, подлец этакой!.. Вот, ваше высокородие, как они разговаривают! — жаловался смотритель Вихрову, но тот в это время все свое внимание обратил на моложавого, седого арестанта.

— Ты за что посажен? — обратился он к нему, наконец, с вопросом.

— За покражу церковных вещей-с,— отвечал тот.

— Что же такое он вам грубил? — обратился Вихров к смотрителю.

— Да тоже вон голубей-то не давал,— отвечал тот.

— И больше ничего?

— Больше ничего-с.

— Отчего ты такой седой — который тебе год? — спросил Вихров арестанта.

— Двадцать пять всего-с. Я в одну ночь поседел.

— Как так?

— Так-с! Испугался очень, укравши эти самые вещи.

— Но как же ты украл их?

У парня при этом как-то лицо все подернуло и задрожали губы.

— Я-с,—начал он каким-то отрывистым голосом,— за всенощную пришел-с и спрятался там вверху на этих палатцах-то, что ли, как они там называются?

— На хорах.

— Да-с!.. Священники-то как ушли, меня в церкви-то они и заперли-с, а у спасителя перед иконой лампадка горела; я пошел — сначала три камешка отковырнул у богородицы, потом сосуды-то взял-с, крест, потом и ризу с Николая угодника, золотая была, взял все это на палатцы-то и унес,— гляжу-с, все местные-то иконы и выходят из мест-то своих и по церкви-то идут ко мне. Я стал кричать, никто меня не слышит, а они ходят тут-с! «Подай, говорят, подай нам наше добро!» Я хочу им подать, а у меня руки-то не действуют. Потом словно гроб какой показался мне.

— Какой гроб?

— Не знаю-с. Меня поутру, как священники-то пришли служить, замертво почесть подняли, со всеми этими поличными моими вещами, и прямо же тогда в острог, в лазарет, и привезли.

— С этого времени ты поседел?

— С этого самого разу-с,— отвечал малый.

В числе арестантов Вихров увидел и своего подсудимого Парфена, который стоял, как-то робко потупя глаза, и, видимо, держал себя, как человек, находящийся в непривычном ему обществе.

Вихров довольно отрывисто и довольно нескладно сказал арестантам, чтобы они не буянили и слушались смотрителя, а что в противном случае они будут наказаны.

— Мы слушаемся, ваше благородие,— отвечало несколько голосов, но насмешливый оттенок явно слышался в тоне их голоса.

Чтобы дать такое же наставление и женщинам, Вихров, по просьбе смотрителя, спустился в женское отделение.

— Вы к окнам не смейте подходить, когда арестанты на дворе гуляют! — сказал он арестанткам.

— Нам зачем подходить — пошто! — отвечала одна старуха.

— Вот это самая Катюшка-то и есть! — сказал потихоньку смотритель, показывая Вихрову на одну довольно еще молодую женщину, сидевшую в темном углу.

Вихров подошел к ней. Арестантка встала.

— Давно ли ты содержишься в остроге? — спросил Вихров, осматривая ее круглый стан.

— Полтора года-с,— отвечала арестантка.

— Но как же ты очутилась в таком положении?

— Да что кому за дело до того? — отвечала арестантка.

— Да дело-то не до тебя, а до порядков в остроге.

— Мы не в одном остроге сидим, а нас и по улицам водят,— отвечала арестантка.

— Да, но вас водят с конвоем.

— А конвойные-то разве святые?

— Кто же такой именно этот конвойный?

— Я не знаю-с!.. Солдат — известно!.. Разве сказывают они, как им клички-то,— отвечала довольно бойко арестантка, видно, заранее уже наученная и приготовленная, как говорить ей насчет этого предмета.

Вихров пошел из острога. Все, что он видел там, его поразило и удивило. Он прежде всякий острог представлял себе в гораздо более мрачном виде, да и самые арестанты показались ему вовсе не закоренелыми злодеями, а скорей какими-то шалунами, повесами.

— Скажите, отчего эти два арестанта называют себя не помнящими родства? — спросил он провожавшего его смотрителя.

— Солдаты, надо быть, беглые,— отвечал тот,— ну, и думают, что «пусть уж лучше, говорят, плетьми отжарят и на поселение сошлют, чем сквозь зеленую-то улицу гулять!»

IX

СЕЛО УЧНЯ

Село Учня стояло в страшной глуши. Ехать к нему надобно было тридцативерстным песчаным волоком, который начался верст через пять по выезде из города, и сразу же пошли по сторонам вековые сосны, ели, березы, пихты,— и хоть всего еще был май месяц, но уже целые уймы комаров огромной величины садились на лошадей и ездоков. Вихров сначала не обращал на них большого внимания, но они так стали больно кусаться, что сейчас же после укуса их на лице и на руках выскакивали прыщи.

— Вы, барин, курите побольше, а то ведь эти пискуны-то совсем съедят! — сказал, обертываясь к нему, исправнический кучер, уже весь искусанный комарами и беспрестанно смахивавший кнутом целые стаи их, облипавшие бедных лошадей, которые только вздрагивали от этого в разных местах телом и все порывались скорей бежать.

— И ты кури! — сказал Вихров, закуривая трубку.

— И мне уж позвольте,— сказал кучер. Он был старик, но еще крепкий и довольно красивый из себя.— Не знаю, как вашего табаку, а нашего так они не любят,— продолжал он, выпуская изо рта клубы зеленоватого дыма, и комары действительно полетели от него в разные стороны; он потом пустил струю и на лошадей, и с тех комары слетели.

— Здесь вот и по деревням только этаким способом и спать могут,— объяснял кучер,— разведут в избе на ночь от мужжевельнику али от других каких сучьев душину,— с тем только и спят.

— Отчего же здесь так много комаров? — спросил Вихров.

— Оттого, что места уж очень дикие и лесные. Вот тут по всей дороге разные бобылки живут, репу сеют, горох,— так к ним в избушку-то иной раз медведь заглядывает; ну так тоже наш же исправник подарил им ружья, вот они и выстрелят раз — другой в неделю, и поотвалит он от них маленько в лес.

— А ты крепостной исправника? — спросил Вихров.

— Нет, я вольный... годов тридцать уж служу по земской полиции. Пробовали было другие исправники брать

своих кучеров, не вышло что-то. Здесь тем не выездить, потому места хитрые... в иное селение не дорогой надо ехать, а либо пашней, либо лугами... По многим раскольничьим селеньям и дороги-то от них совсем никуда никакой нет.

— Как же они сами-то ездят?

— Сами они николи не ездят и не ходят даже по земле, чтобы никакого и следа человеческого не было видно,— а по пням скачут, с пенька на пенек, а где их нет, так по сучьям; уцепятся за один сучок, потом за другой, и так иной раз с версту идут.

— Зачем они делают это?

— Чтобы скрытнее жить... Не любят они, как наш русский-то дух узнает про них и приходит к ним.

— А Учня — сильно раскольничье село? — сказал Вихров, с удовольствием думая, что он, наконец, увидит настоящих закоренелых раскольников.

— Сильно раскольничье! — отвечал кучер.— И там не один раскол, а всего есть. Ныне-то вот потише маленько стало, а прежде они фальшивую монету делали; все едино, как на монетном дворе в Питере... я еще, так доложить, молодым мальчиком был, как переловили их на этом.

— Как же их переловили? — спросил Вихров.

— Да что, разве хитро было-то! Начальство-то только им прежде поблажало, потому что деньги с них брало.

— Фальшивые же?

— Нет, не фальшивые, а требовали настоящих! Как теперь вот гляжу, у нас их в городе после того человек сто кнутом наказывали. Одних палачей, для наказания их, привезено было из разных губерний четверо. Здоровые такие черти, в красных рубахах все; я их и вез, на почте тогда служил; однакоже скованных их везут, не доверяют!.. Пить какие они дьяволы; ведро, кажется, водки выпьет, и то не заметишь его ни в одном глазе.

— На что же они пьют, на какие деньги? — сказал Вихров.

— Палачи-то? — воскликнул как бы в удивлении кучер.— Кому же и пить, как не им. Вот по этому по учневскому делу они наказывали тогда; по три тысячи, говорят, каждому из них было дано от сродственников. Замахивались, кажись, вот я сам видел, страсть! А у наказуемого только слегка спина синела, кровь даже не выступила; сам один у меня вот тут в телеге хвастался: «Я, говорит,

кнутом и убить человека могу сразу, и, говорит, посади ты ему на спину этого комарика, я ударю по нем, и он останется жив!» — На лубу ведь их все учат.

— На лубу?

— Да, каждый день жарят по лубу, чтобы верность в руке не пропала... а вот, судырь, их из кучеров или лакеев николи не бывает, а все больше из мясников; привычней, что ли, они, быков-то и телят бивши, к крови человеческой. В Учне после этого самого бунты были сильные.

— Бунты?

— Да!.. Придрались они к тому, что будто бы удельное начальство землей их маненько пообидело,— сейчас перестали оброк платить и управляющего своего — тот было приехал внушать им — выгнали, и предписано было команде с исправником войти к ним. Ловкий такой тогда исправник был, смелый, молодой, сейчас к этому гарнизонному командиру: «Едем, говорит, неприятеля усмирять»; а тот испугался, матерь божья. Гарниза ведь пузатая! — Пьяница тогда такой был! Причащался, исповедывался перед тем, ей-богу, что смеху было,— с своим, знаете, желтым воротником и саблишкой сел он, наконец, в свой экипаж,— им эти желтые воротники на смех, надо быть, даны были; поехали мы, а он все охает: «Ах, как бы с командой не разъехаться!» — команду-то, значит, вперед послал. Подошли мы таким манером часов в пять утра к селенью, выстроились там солдаты в ширингу; мне велели стать в стороне и лошадей отпрячь; чтобы, знаете, они не испугались, как стрелять будут; только вдруг это и видим: от селенья-то идет громада народу... икону, знаете, свою несут перед собой... с кольями, с вилами и с ружьями многие!.. Только этот капитанишка дрожит весь, кричит своей команде: «Заряжайте ружья и стреляйте!» Но барин мой говорит: «Погодите, не стреляйте, я поговорю с ними». Знаете, этак выскочил вперед из-за солдат: «Что вы, говорит, канальи, государю вашему императору не повинуетесь. На колени!» — говорит. Только один этот впереди мужчинища идет, как теперь гляжу на него, плешивый эдакой, здоровый черт, как махнул его прямо с плеча дубиной по голове, так барин только проохнул и тут же богу душу отдал. Ах, братец ты мой, и меня уж злость взяла. «Братцы! — крикнул я солдатам.— Видите, что делают!» Прапорщик тоже кричит им: «Пали!» Как шарахнули они в толпу-то, так человек двадцать сразу и

повалились; но все-таки они кинулись на солдат, думали народом их смять, а те из-за задней ширинги — трах опять, и в штыки, знаете, пошли на них; те побежали!.. Я, матерь божья, так за барина остервенился, выхватил у солдата одного ружье, побежал тоже на неприятеля, и вот согрешил грешный: бабенка тут одна попалась, ругается тоже,— так ее в ногу пырнул штыком, что завертелась даже, и пошли мы, братец, после того по избам бесчинствовать. Главные-то бунтовщики в лес от нас ушли; прислали после того вместо исправника другого... привели еще свежей команды, и стали мы тут военным постоем в селенье, и что приели у них, боже ты мой! Баранины, говядины, муки всякой, крупы, из лавок что ни есть сластей разных, потому постой военный — нельзя иначе: от начальства даже было позволение, чтобы делали все это.

— А бунтовщики так все в лесу и были? — спросил Вихров.

— Два месяца, братец, в болотах неприступных держались, никак ни с которой стороны подойти к ним невозможно было.

— Чем же они там питались?

— Заранее уж, видно, запасено было там всего... холода только уж их повыгнали оттуда: прислали сначала повинную, а потом и сами пришли. Тот, впрочем, который исправника убил, скрылся совсем куды-то, в какой-нибудь скит ихней, надо быть, ушел!..

— Они, может быть, и меня убьют; я тоже еду к ним по неприятному для них делу,— проговорил Вихров.

— Слышали мы это: моленную это ихнюю ломать,— сказал кучер.— Какой богатый храм, богаче других церквей христианских! Тоже вы хоть бы из сотских кого взяли, а то один-одинехонек едете! — прибавил он.

— Да это все равно.

— Все равно, конечно!.. Они, впрочем, и тогда говорили: «Не выругайся, говорит, исправник, старик бы его не убил; а то, говорит, мы с иконой идем, а он — браниться!»

Дорога между тем все продолжала идти страшно песчаная. Сильные лошади исправника едва могли легкой рысцой тащить тарантас, уходивший почти до половины колес в песок. Вихров по сторонам видел несколько избушек бобылей и небольшие около них поля с репой и картофелем. Кучер не переставал с ним разговаривать.

— Глядите-ко, глядите: в лесу-то пни все идут!..— говорил он, показывая на мелькавшие в самом деле в лесу пни и отстоящие весьма недалеко один от другого.— Это нарочно они тут и понаделаны — в лесу-то у них скит был, вот они и ходили туда по этим пням!..

— А что, скажи,— перебил его Вихров,— не знаешь ли ты, что значит слово *Учня?*

Кучер усмехнулся.

— Здесь ведь Учней много. Не одно это село так называется — это вот *Учня* верхняя, а есть Учня нижняя и есть еще Учня в Полесье, смотря на каком месте селенье стоит, на горе или в лесу.

— Может быть, это все равно, что и Починок,— толковал Вихров,— здесь как больше говорят — почал или учал?

— Учал — больше говорят,— отвечал кучер, как бы соображая то, что ему говорил Вихров.

— А чем, собственно, промышляют в Учне? — продолжал тот расспрашивать его.

— Рогожами!.. Рогожу ткут и в Нижное возят. И что они для этого самого казенных лесов переводят — боже ты мой! — заключил кучер.

— Как казенных? — сказал Вихров.

— Так, свой-то поберегают маненько, а в казенный-то придут, обдерут с липы-то десятинах на двух лыко да и зажгут, будто по воле божьей это случилось.

— Но как же их не ловят?

— Ловят, но откупаются. Вот она!.. Матушка наша Учня великая! — присовокупил старик, показывая на открывшееся вдруг из лесу огромное село, в котором, между прочим, виднелось несколько каменных домов, и вообще все оно показалось Вихрову как-то необыкновенно плотно и прочно выстроенным.

Подъехав к самой подошве горы, на которой стояло селенье, кучер остановил лошадей, слез с козел и стал поправлять упряжь на лошадях и кушак на себе.

— Пофорсистей к ним надо въехать, чтобы знали — кто едет! — говорил он, ухмыляясь сквозь свою густую и широкую бороду.— Вы тоже сядьте маненько построже,— прибавил он Вихрову.

Тот сел построже. Кучер, сев на козлы, сейчас же понесся скоком в гору. Колокольчик под дугой сильно звенел. При этом звуке два — три человека, должно быть,

сотские, с несколько встревоженными лицами пробежали по площади.

— А, зашевелились, проклятые! — говорил кучер, заметив это.— К приказу, что ли, вас прямо вести?

— К приказу! — отвечал Вихров.

Кучер поехал прямо по площади. Встретившийся им мужик проворно снял шапку и спросил кучера:

— Путь да дорога — кого везешь?

— Губернаторского чиновника! — отвечал не без важности кучер и молодецки подлетел с Вихровым к приказу.

Это был каменный флигель, в котором на одной половине жил писарь и производились дела приказские, а другая была предназначена для приезда чиновников. Вихров прошел в последнее отделение. Вскоре к нему явился и голова, мужик лет тридцати пяти, красавец из себя, но довольно уже полный, в тонкого сукна кафтане, обшитом золотым позументом.

— Я к вам с довольно неприятным для вас поручением,— начал Вихров, обращаясь к нему,— вашу моленную вышло решение сломать.

Голова при этом явно сконфузился.

— Не охлопотали, видно, ходоки наши,— проговорил он как бы больше сам с собой.

— А вы посылали ходатаев?

— Как же,— отвечал со вздохом голова.

— Сломать вашу моленную я желаю,— продолжал Вихров,— не сам как-нибудь, а пусть ее сломает сам народ.

— Это ведь все едино! — возразил голова.

— Но для меня-то это не все едино,— перебил его Вихров,— я не хочу, чтобы меня кто-нибудь из вас обвинил в чем-нибудь, а потому попроси все ваше село выйти на площадь; я объявлю им решение, и пусть они сами исполнят его.

— Можно и так! — произнес голова, подумав немного, и затем довольно медленным шагом вышел из комнаты.

Вихров, оставшись один, невольно взялся за сердце. Оно у него билось немного: ему предстояла довольно важная минута, после которой он, может быть, и жив не останется.

Вскоре за тем на площади стал появляться народ и с

каждой минутой все больше и больше прибывал; наконец в приказ снова вошел голова.

— Пожалуйте, коли угодно вам выйти! — сказал он Вихрову каким-то негромким голосом.

Тот надел вицмундир и пошел. Тысяч около двух мужчин и женщин стояло уж на площади. Против всех их Вихров остановился; с ним рядом также стал и голова.

— Братцы! — начал Вихров сколько мог громким голосом.— Состоялось решение сломать вашу моленную — вот оно!.. Прочти его народу! — И он подал бумагу голове.

Тот начал ее читать. Толпа выслушала все внимательно и ни звука в ответ не произносила, так что Вихров сам принужден был начать говорить.

— Я прислан исполнить это решение. Вы, конечно, можете не допустить меня до этого, можете убить, разорвать на части, но вместо меня пришлют другого, и уже с войском; а войско у вас, как я слышал, бывало,— и вы знаете, что это такое!

— За что же это, судырь, начальствующие лица так гневаться на нас изволят? — спросил один старик из толпы.

— За веру вашу! Желают, чтобы вы в православие обратились.

— Да как же, помилуйте, судырь: татарам, черемисам и разным всяким идолопоклонникам, и тем за их веру ничего,— чем же мы-то провиннее других?

Вихров решительно не знал, что ответить старику.

— Любезный, я только исполнитель, а не судья ваш.

— Не от господина чиновника это произошло,— заметил и голова старику,— словно не понимаешь — говоришь.

— Да это понимаем мы,— согласился и старик.

— Так как же, братцы, сами вы и сломаете моленную? — спросил Вихров.

Но толпа что-то ничего на это не ответила.

— Говорил уж я им,— отвечал за всех голова,— сломаем завтра, а сегодняшний день просят, не позволите ли вы еще разок совершить в ней общественное молитвословие?

— Сделайте одолжение,— подхватил Вихров,— но только и я уж, в свою очередь, попрошу вас пустить меня

на вашу службу не как чиновника, а как частного человека.

— Да это что же,— ответил голова.— Мы на моленьях наших ничего худого не делаем.

Часов в семь вечера Вихров услыхал звон в небольшой и несколько дребезжащий колокол. Это звонили на моленье, и звонили в последний раз; Вихрову при этой мысли сделалось как-то невольно стыдно; он вышел и увидел, что со всех сторон села идут мужики в черных кафтанах и черных поярковых шляпах, а женщины тоже в каких-то черных кафтанчиках с сборками назади и все почти повязанные черными платками с белыми каймами; моленная оказалась вроде деревянных церквей, какие прежде строились в селах, и только колокольни не было, а вместо ее стояла на крыше на четырех столбах вышка с одним колоколом, в который и звонили теперь; крыша была деревянная, но дерево на ней было вырезано в виде черепицы; по карнизу тоже шла деревянная резьба; окна были с железными решетками. Народу в моленной уже не помещалось, и целая толпа стояла на улице и только глядела на храм свой. Вихрова провел встретивший его голова: он на этот раз был не в кафтане своем с галунами, а, как и прочие, в черном кафтане.

В самой моленной Вихров увидел впереди, перед образами, как бы два клироса, на которых стояли мужчины, отличающиеся от прочих тем, что они подпоясаны были, вместо кушаков, белыми полотенцами. Посреди моленной был налой, перед которым стоял мужик тоже в черном кафтане, подпоясанном белым кушаком. Он читал громко и внятно, но останавливался вовсе не на запятых и далеко, кажется, не понимал, что читает; а равно и слушатели его, если и понимали, то совершенно не то, что там говорилось, а каждый — как ближе подходило к его собственным чувствам; крестились все двуперстным крестом; на клиросах по временам пели: «Богородицу», «Отче наш», «Помилуй мя боже!». Словом, вся эта служба производила впечатление, что как будто бы она была точно такая же, как и наша, и только дьякона, священника и алтаря, со всем, что там делается, не было,— как будто бы алтарь отрублен был и отвалился; все это показалось Вихрову далеко не лишенным значения.

В конце всенощной обычной песни: «Взбранной Воеводе» не пели.

— Отчего же не пели «Взбранной Воеводе»? — спросил он невольно голову.

Тот при этом немного сконфузился.

— Это молитва новая, ее не поют у нас,— отвечал он.

X

ЛОМКА МОЛЕННОЙ

Было раннее, ясное, майское утро. Вихров, не спавший всю ночь, вышел и сел на крылечко приказа. С судоходной реки, на которой стояла Учня, веяло холодноватою свежестью. Почти в каждом доме из чернеющихся ворот выходили по три и по четыре коровы, и коровы такие толстые, с лоснящеюся шерстью и с огромными вымями. Проехали потом верхом два — три мужика, и лошади под ними были тоже толстые и лоснящиеся; словом, крестьянское довольство являлось всюду. Несколько старушек, в тех же черных кафтанах и повязанные теми же черными, с белыми каймами, платками, сидели на бревнах около моленной с наклоненными головами и, должно быть, потихоньку плакали. К Вихрову подошел голова по-прежнему уже в кафтане с галуном.

— Не прикажете ли пока образа выносить? — сказал он.

— Хорошо; но куда же их поставите?

— Да вот хоть тут, на виду будут ставить побережнее, около моего дома,— отвечал голова.

— Делайте, как знаете,— разрешил ему Вихров.

Голова ушел.

Герой мой тоже возвратился в свою комнату и, томимый различными мыслями, велел себе подать бумаги и чернильницу и стал писать письмо к Мари,— обычный способ его, которым он облегчал себя, когда у него очень уж много чего-нибудь горького накоплялось на душе.

«Пишу к вам это письмо, кузина, из дикого, но на прелестнейшем месте стоящего, села Учни. Я здесь со страшным делом: я по поручению начальства ломаю и рушу раскольничью моленную и через несколько часов около пяти тысяч человек оставлю без храма,— и эти добряки слушаются меня, не вздернут меня на воздух, не разорвут на кусочки; но они знают, кажется, хорошо по опыту, что этого им не простят. Вы, с вашей женскою наивностью, может быть, спросите, для чего же это делают? Для поль-

зы, сударыня, государства,— для того, чтобы все было ровно, гладко, однообразно; а того не ведают, что только неровные горы, разнообразные леса и извилистые реки и придают красоту земле и что они даже лучше всяких крепостей защищают страну от неприятеля. Есть же за океаном государство, где что ни город — то своя секта и толк, а между тем оно посильнее и помогучее всего, что есть в Европе. Вы далее, может быть, спросите меня, зачем же я мешаю себя в это дело?.. Во-первых, я не сам пришел, а меня прислали на него; а потом мне все-таки кажется, что я это дело сделаю почестней и понежней других и не оскорблю до такой степени заинтересованных в нем лиц. А, наконец, и третье,— каюсь, что очень уж оно любопытно. Я ставлю теперь перед вами вопрос прямо: что такое в России раскол? Политическая партия? Нет! Религиозное какое-нибудь по духу убеждение?.. Нет!.. Секта, прикрывающая какие-нибудь порочные страсти? Нет! Что же это такое? А так себе, только склад русского ума и русского сердца,— нами самими придуманное понимание христианства, а не выученное от греков. Темто он мне и дорог, что он весь — цельный наш, ни от кого не взятый, и потому он так и разнообразен. Около городов он немножко поблаговоспитанней и попов еще своих хоть повыдумал; а чем глуше, тем дичее: без попов, без брака и даже без правительства. Как хотите, это что-то очень народное, совсем по-американски. Спорить о том, какая религия лучше, вероятно, нынче никто не станет. Надобно только, чтоб религия была народная. Испанцам нужен католицизм, а англичанин непременно желает, чтобы церковь его правительства слушалась...»

Остановившись на этом месте писать, Вихров вышел посмотреть, что делается у молельни, и увидел, что около дома головы стоял уже целый ряд икон, которые на солнце блестели своими ризами и красками. Старый раскольник сидел около них и отгонял небольшой хворостиной подходящих к ним собак и куриц.

К Вихрову сейчас подошел голова, а за ним шло человек девять довольно молодых мужиков с топорами в руках и за поясом.

— Ломать теперь надо,— сказал голова, и тон голоса его был грустен, а черные глаза его наполнились слезами.

— Ломайте,— ответил ему Вихров.

В это время к нему подошли две старушки, красивые

еще из себя и преплутовки, должно быть. Они сначала ему обе враз низко поклонились, сгибая при этом только спины свои, а потом обе вместе заголосили:

— Батюшка! В моленной наши две иконы божии, не позволишь ли их взять?

Оказалось впоследствии, что они были девицы и две родные между собой сестрицы.

— Пожалуй, возьмите! — разрешил им сейчас же Вихров.

Старушки даже вспыхнули при этом от удовольствия.

— Благодарим, батюшка, покорно, государь наш милостивый,— оттрезвонили они еще раз в один голос и, опять низко-низко поклонившись, скрылись в народе, который в большом уже количестве собрался около моленной.

— С колокола начинать надобно! — толковали между собой плотники.

— Вестимо, с колокола! — подтверждали им и старики.

— А как его спустить-то? — спрашивал один из плотников.

— Как спустить? Уставим в перекладину-то слегу, привяжем его за уши-то к ней на слабой веревке, старые-то перекладины его перерубим,— вот он и пойдет,— объяснил другой, молодой еще довольно малый.

— Это так, складно будет! — поддержал его и голова.

После чего достали сейчас же огромную слегу, и на крыше моленной очутились мгновенно взлезшие по углу ее плотники; не прошло и четверти часа, как они слегу эту установили на крыше в наклонном положении, а с земли конец ее подперли другою слегою; к этой наклонной слеге они привязали колокол веревками, перерубили потом его прежние перекладины, колокол сейчас же закачался, зазвенел и вслед за тем начал тихо опускаться по наклонной слеге, продолжая по временам прозванивать. Плотники при этом начали креститься; в народе между старух и женщин раздался плач и вопль; у всех мужчин были лица мрачные; колокол продолжал глухо прозванивать, как бы совершая себе похоронный звон.

— Остановите его, робя, а то он прямо на землю бухнет! — воскликнул голова, заметив, что плотники, под влиянием впечатления, стояли с растерянными и ротозеющими лицами. Те едва остановили колокол и потом, привя-

зав к нему длинную веревку, стали его осторожно спускать на землю. Колокол еще несколько раз прозвенел и наконец, издавши какой-то глухой удар, коснулся земли. Многие старухи, старики и даже молодые бросились к нему и стали прикладываться к нему.

— И его по начальству увезешь, государь милостивый? — спросила Вихрова одна старуха, указывая головой на колокол.

— И его увезу вместе с образами,— отвечал он.

— Ах, напасти наши великие пришли,— проговорила старуха.

Две прежние старушки между тем лучше всех распорядились: пользуясь тем, что образа были совершенно закрыты от Вихрова народом, они унесли к себе не две иконы, а, по крайней мере, двадцать, так что их уже остановил заметивший это голова.

— Будет вам, старухи! — проговорил он им негромко.

— Ну, теперь, братцы, начинайте ломать,— сказал Вихров. Ему страшно тяжела была вся эта сцена.

— Ломайте, братцы,— проговорил за ним и голова.

Один из плотников взлез на самый конек вышки, перекрестился и ударил топором; конек сразу же отлетел, а вслед за ним рассыпалась и часть крыши. В народе как бы простонало что-то. Многие перекрестились — и далее затем началась ломка: покатился с крыши старый тес, полетела скала; начали, наконец, скидывать и стропилы. Плотники беспрестанно кричали стоявшему внизу народу: «Отходите, убьет!»

— Куда же нам теперь материал этот лесной девать? — спросил голова Вихрова.

— Я тебе сдам его под расписку, а ты продай его и деньги вырученные обрати в общественный капитал.

— Что же, мы же ведь опять и купим его себе,— заметил голова.

— Вы же и покупайте!

— Удивительная вещь, право! — проговорил голова и вздохнул.

Вихров снова возвратился в свою комнату и стал продолжать письмо к Мари.

«Сейчас началась ломка моленной. Раскольники сами ее ломают. Что такое народ русский? — невольно спросишь при этом.— Что он — трусоват, забит, загнан очень или очень уж умен? Кажется, последнее вероятнее. Сейчас

голова, будто к слову, спросил меня: Куда же денут материал от моленной?.. Я сказал, что сдам ему,— и они, я убежден, через месяц же выстроят из него себе где-нибудь в лесу новую моленную; образов они тоже, вероятно, порастащили порядочно. По крайней мере, сегодня я видел их гораздо уж меньше, чем вчера их было в моленной за всенощной. Я стараюсь быть непредусмотрительным чиновником...»

На этом месте письма в комнату вошел голова; лицо его было бледно, борода растрепана, видно, что он бежал в сильных попыхах.

— Неладно, ваше высокородие,— начал он взволнованным голосом,— плотник там один зарубился сильно.

— Как зарубился? — воскликнул и Вихров, тоже побледнев немного.

— Так, упал с крыши прямо на топор, что в руках у него был,— весь бок себе разрубил!

— Ну, что же делать! — проговорил Вихров и хотел было выйти на улицу.

— Погодите маненько, ваше высокородие,— остановил его голова,— народ сильно оченно тронулся от этого!.. Бунтуют!.. «Это, говорят, все божеское наказание на нас, что слушаемся мы!» — не хотят теперь и моленной вовсе ломать!

— Да они это хуже сделают для себя, понимаешь ты? — говорил Вихров.

— Я-то понимаю, судырь, это.

— Я все-таки пойду, пусть они меня убьют,— сказал Вихров и, надев фуражку, пошел.

Народ в самом деле был в волнении: тут и там стояли кучки, говорили, кричали между собою. Около зарубившегося плотника стояли мужики и бабы, и последние выли и плакали.

Вихров подошел к этой первой группе. Зарубившийся плотник только взмахнул на него глазами и потом снова закрыл их и поник вместе с тем головою. Рана у него, вероятно, была очень дурно перевязана, потому что кровь продолжала пробиваться сквозь рубашку и кафтан.

— Перевяжите его хорошенько! — воскликнул было Вихров, но на это приказание его в толпе никто даже и не пошевелился, а только послышался глухой говор в народе

— Поганое дело этакое заставляете делать, за неволю так вышло! — раздалось почти у самого его уха.

— Всех бы их самих, барь-то, этак перерубить! — проговорил на это другой голос.

Вихров вспыхнул: кровь покойного отца отозвалась в нем.

— Кто тут говорит, что всех бар перерубить надо? Кто? Выходи сюда! — крикнул он.

Толпа сейчас же отшатнулась от него.

— Выходите и убивайте меня, если только сам я дамся вам живой! — прибавил он и, выхватив у стоящего около него мужика заткнутый у него за поясом топор, остановился молодцевато перед толпой; фуражка с него спала в эту минуту, и курчавые волосы его развевались по ветру.

— Что случилось, того не воротишь,— доламывайте моленную сейчас же! — кричал он звучным голосом.

Мужики не двигались.

— Говорят вам, сейчас же! — повторил Вихров уже с пеною у рта.

— Нет, ваше высокоблагородие, мы ломать больше моленной не будем,— произнес тот старик, который спрашивал его, за что начальство на них разгневалось.

— Вы не будете,— ну, так я ее буду ломать. Любезные! — крикнул он, заметив в толпе писаря удельного и кучера своего.— Будемте мы с вами ломать,— берите топоры и полезайте за мною, по двадцати пяти рублей каждому награды!

Кучер и писарь сейчас же взяли у стоявших около них раскольников топоры, которые те послушно им отдали,— и взлезли за Вихровым на моленную. Втроем они стали катать бревно за бревном. Раскольники все стояли около, и ни один из них не уходил, кроме только головы, который куда-то пропал. Он боялся, кажется, что Вихров что-нибудь заставит его сделать, а сделать — он своих опасался.

— Послушайте, братцы,— произнес Вихров, переставая работать и несколько приходя в себя от ударившей его горячки в голову,—я должен буду составить протокол, что я ломал все сам и что вы мне не повиновались; к вам опять пришлют войско на постой, уверяю вас!

— Да что, братцы, ломайте,— что это вы затеяли! — произнес вдруг голова, откуда-то появившийся и заметивший, что толпа начинала уже немного сдаваться.

— Повинуйтесь, дружки мои, властям вашим! — проголосила за ним одна из старух-девиц, успевшая в эту сумятицу стащить еще две — три иконы.

— Пойдемте,— проговорили прежние же плотники, и через несколько минут они опять появились на срубе моленной и стали ее раскатывать.

Вихров, утомленный трудами своими и всею этою сценою и видя, что моленная вся уже почти была разломана, снова возвратился в свой приказ, но к нему опять пришел голова.

— Как же насчет икон и колокола, ваше высокородие, прикажете? — спросил он.

— В губернский город, в консисторию их надобно отправить,— отвечал Вихров.

— Что там с ними будут делать, осмелюсь спросить, ваше высокородие? — продолжал голова.

— А рассмотрят: нет ли в них чего противного вере, и возвратят их вам.

— Нет, ваше высокородие,— возразил голова,— сколько вот мы наслышаны, моленных сломано много, а мало что-то икон возвращают. Разве кто денег даст, так консисторские чиновники потихоньку отдают иконы по две, по три.

— Ну, да которые вам нужны были, вы тоже побрали их себе,— заметил Вихров.

— Да это, благодарим милость вашу, было немножко,— отвечал с улыбкою голова.— То, ваше высокородие, горестно, что иконы все больше родительского благословения,— и их там тоже, как мы наслышаны, не очень хранят, в сарай там али в подвал даже свалят гуртом: сырость, прель, гадина там разная,— кровью даже сердце обливается, как и подумаешь о том.

— Я вам выхлопочу очень скоро, чтобы их рассмотрели, но как же, однако, ты их доставишь?

— Да уж буду милости просить, что не позволите ли мне взять это на себя: в лодке их до самого губернского города сплавлю, где тут их на телеге трясти — все на воде-то побережнее.

— Что же — в барках, что ли?

— Да-с, у меня этакая лодка большая есть, парусная, я и свезу в ней, а вам расписку дам на себя, что взялся справить это дело.

— Только ведь это надо сейчас же!

— Да мы сейчас же, судно у меня готово, совсем снаряжено,— проговорил голова, очень довольный, что ему позволили самому до города довезти святыню.

Через несколько времени в селе снова раздался вой и стон. Это оплакивали уносимые иконы. Сам голова, с чисто-начисто вымытыми руками и в совершенно чистой рубашке и портах, укладывал их в новые рогожные кули и к некоторым иконам, больше, вероятно, чтимым, прежде чем уложить их, прикладывался, за ним также прикладывались и некоторые другие мужики. Когда таким образом было сделано до тридцати тюков, их стали носить в лодку и укладывать на дно; переносили их на пелене, пришитой к двум шестам, на которых обыкновенно раскольники носят гробы своих покойников. Носившие мужики обнаруживали то же благоговение, как и голова, который побежал домой, чтобы перекусить чего-нибудь и собраться совсем в дорогу. Наконец лодка была совсем нагружена и плотно закрыта рогожками сверху, парус на ней подняли, четверо гребцов сели в подмогу ему грести, а голова, в черном суконном, щеголеватом полушубке и в поярковой шапке, стал у руля.

Почти все жители высыпали на улицу; некоторые старухи продолжали тихонько плакать, даже мальчишки стояли как-то присмирев и совершенно не шаля; разломанная моленная чернела своим раскиданным материалом. Лодка долго еще виднелась в перспективе реки...

Вихров пришел домой и дописал письмо к Мари.

«Все кончено, я, как разрушитель храмов, Александр Македонский, сижу на развалинах. Смирный народ мой поершился было немного, хотели, кажется, меня убить,— и я, кажется, хотел кого-то убить. Завтра еду обратно в губернию. На душе у меня очень скверно».

XI

ЮЛИЯ И ГРУНЯ

Дома Вихрова ужасно ожидали. Груня вскрикнула даже, когда увидела, что он на почтовой тройке в телеге подъехал к крыльцу,— и, выбежав ему навстречу, своими слабыми ручонками старалась высадить его из экипажа.

— Барин, я думала, что вы уж и не приедете совсем,— говорила она задыхающимся от радости голосом.— Благодарю покорно, что вы мне написали,— прибавила она и поцеловала его в плечо.

— Я знал, что ты будешь беспокоиться обо мне,— отвечал Вихров.

— Ужас, барин, чего-чего уж не передумала! Вы другой раз, как поедете, так меня уж лучше вместо лакея возьмите с собой.

— Как это на следствие с горничной ехать — это противозаконно,— возразил Вихров.

— Да я мальчиком, барин, оденусь; я уж примеривала с верхнего мальчика чепан, никак меня не отличить от мужчины — ужасно похожа!

— А что верхние? — спросил Вихров.

— Ничего-с!.. Барышня-то была нездорова. Все по вас тоже, говорят, скучает.

— По мне?

— Да-с. Ей-богу, люди их смеялись: «Что, говорят, ваш барин — женится ли на нашей барышне?.. Она очень влюблена в него теперь».

— И что же ты на это сказала?

— Я говорю: «Наш барин никогда и ни на ком не женится!»

— Отчего ж ты так думаешь? — спросил ее Вихров с улыбкою.

— Оттого, барин, куда же вам меня-то девать будет? Вам жаль меня будет: вы добрый.

Вопрос этот в первый еще раз представлялся Вихрову с этой стороны: что если он в самом деле когда-нибудь вздумает жениться, что ему с Груней будет делать; деньгами от нее не откупишься!

«Э,— подумал он,— где мне, бобылю и скитальцу, жениться»,— и то же самое высказал и вслух:

— Не бойся, никогда и ни на ком не женюсь.

— Ну, вот, барин, благодарю покорно,— сказала Груня и поцеловала опять его в плечо.

— А то, барин, еще умора... — продолжала она, развеселившись,—этта верхний-то хозяин наш, Виссарион Ардальонович встретил меня в сенях; он наглый такой, ни одной девушки не пропустит... «Что, говорит, ты с барином живешь?» — «Живу,— говорю я,— где же мне жить, как не у барина?»—«Нет»,—говорит,—и, знаете, сказал нехорошее. «Нет уж, говорю,—это извините, барин наш не в вас!» — «Ну, коли он не такой, так я за тобой стану волочиться». Я взяла да кукиш ему и показала; однако он тем не удовольствовался: кухарку свою еще подсылал после того; денег ужас сколько предлагал, чтобы только я полюби-

ла его... Я ту так кочергой из кухни-то прогнала, что чудо!

— Что ж ты нравишься, что ли, ему очень?

— Не знаю, зачем уж так я оченно ему нужна; точно мало еще к нему разных мамзелей его ходит.

— А много?

— Много!.. Прескверный насчет этого мужчина.

В это время сверху пришел к Вихрову посол.

— Шлет уж — не терпится! — сказала Груня с гримаской, увидя горничную Юлии Ардальоновны.

— Барышня велела поздравить вас с приездом,— проговорила та,— и сказать вам, что если вы не очень устали, так пожаловали бы к ним: они весьма желают вас видеть.

— Хорошо, скажи, что приду,— отвечал Вихров.

Груня сделала при этом не совсем довольное личико, впрочем, молча и с покорностью пошла подавать барину умываться и одеваться.

Он, придя наверх, действительно застал Юлию больной. Она сидела на кушетке, похудевшая, утомленная, но заметно с кокетством одетая. При входе Вихрова она кинула на него томный взгляд и очень слабо пожала ему руку.

— Вы больны?—спросил ее Вихров, почему-то сконфуженный ее печальным видом.

— Да, немножко,— отвечала Юлия, а сама между тем с таким выражением взяла себя за грудь, которым явно хотела показать, что, напротив,— *множко*.

— Чем же, собственно? — спросил Вихров, садясь от нее довольно далеко.

— Я не спала все это время, а потому сил совершенно нет,—отвечала Юлия, устремляя на Вихрова нежный взор.

Он, со своей стороны, просто не знал — куда себя и девать.

— Послушайте, Вихров,— начала Юлия,— скажите мне, могу я вас считать себе другом?

— Сколько вам угодно!— отвечал он, стараясь придать начинающемуся разговору шутливый тон.

— И вы будете со мной откровенны? — продолжала Юлия.

— В чем могу! — отвечал Вихров, пожимая плечами.

— Скажите,— говорила Юлия (она в это время держала глаза опущенные вниз),— вы кроме Фатеевой не любили и не любите никакой другой женщины?

— Любил! — отвечал Вихров односложно.

— Но надеюсь,— продолжала Юлия,— что в этом случае ваш вкус не унизился до какой-нибудь госпожи — очень уж невысокого происхождения?

Вихров при этом взглянул на Юлию: он догадался, что она намекает ему на Грушу,— и ему вздумалось немного подшутить над ней за ее барскую замашку.

— А отчего же и не унизиться? — спросил он.

— Да потому что.. — отвечала Юлия, вся вспыхнув и пожимая плечами,— интересного тут ничего нет... может быть, впрочем, это только какое-нибудь временное увлечение?

— Может быть и временное,— отвечал загадочно Вихров.

Юлия не знала — как и понять его. Насчет Груши ей разболтал и этим очень обеспокоил ее брат Виссарион.

— Никогда он на тебе не женится,— бухнул он ей прямо,— потому что у него дома есть предмет страсти.

Юлия вопросительно посмотрела на брата.

— Я пятьсот рублей предлагал, чтобы получить только взаимность,— не приняла.

Виссарион более вящего доказательства не полагал и нужным прибавлять со своей стороны.

— Может быть — ты не нравишься ей,— проговорила Юлия, потупляясь.

— Ну да, не нравишься... Нравятся им только деньги, а если не берет, значит — с той стороны дают больше.

Тысячи мрачных мыслей наполнили голову Юлии после разговора ее с братом. Она именно после того и сделалась больна. Теперь же Вихров говорил как-то неопределенно. Что ей было делать? И безумная девушка решилась сама открыться в чувствах своих к нему, а там — пусть будет, что будет!

— Послушайте,— начала она, побледнев вся в лице,— за то, что вы мне открыли вашу тайну...

Какую ей Вихров тайну открыл — неизвестно.

— Я сама вам открою тайну.

Вихров понял, куда начинал склоняться разговор — и очень этого испугался. Главное, он недоумевал: остановить ли Юлию, чтобы она не открывала ему тайны; если же не остановить ее, то что ей сказать на то? К счастью его, разговор этот перервал возвратившийся домой Виссарион.

— А, изволили прибыть?.. — воскликнул он не без удовольствия и в то же время мельком взглянув на сестру,

сидевшую в какой-то сконфуженной и недовольной позе. Недовольна Юлия была, по преимуществу, его приходом.

— Вы там, батюшка, говорят, чудеса напроизводили,— продолжал инженер,— бунт усмирили, смертоубийство открыли!

— Было все это отчасти,— отвечал Вихров.

— А губернатора видели?

— Нет еще.

— Так как же это?

— А так же, завтра успею.

— Этого нельзя,—воскликнул Захаревский,—со следствия вы должны были бы прямо проехать к нему; поезжайте сейчас, а то он узнает это — и бог знает как вас распудрит.

— Пусть себе, очень мне нужно!— сказал сначала Вихров, но потом подумал, что инженер может опять куда-нибудь уехать, и он снова останется с Юлией вдвоем, и она ему сейчас же, конечно, откроет тайну свою.

— В самом деле, я съезжу,— проговорил он, вставая.

Юлия обратила на него умоляющий взор.

— Поезжайте, поезжайте! — говорил Захаревский.

Юлия спросила его тихим голосом:

— А к нам еще придете?

— Может быть,— отвечал Вихров и проворно ушел.

— Что, поразила его грустным своим видом?—спросил Захаревский сестру.

Та рассердилась на это.

— Что это у тебя за глупые шутки надо мной!

— Не шутки, а, право, уж скучно на все это смотреть! — отвечал с сердцем инженер.

К губернатору Вихров, разумеется, не поехал, а отправился к себе домой, заперся там и лег спать. Захаревские про это узнали вечером. На другой день он к ним тоже не шел, на третий — тоже,— и так прошла целая неделя. Захаревские сильно недоумевали. Вихров, в свою очередь, чем долее у них не бывал, тем более и более начинал себя чувствовать в неловком к ним положении; к счастию его, за ним прислал губернатор.

Вихров сейчас же поспешил к нему поехать.

Начальник губернии в это время сидел у своего стола и с мрачным выражением на лице читал какую-то бумагу. Перед ним стоял не то священник, не то монах, в черной рясе, с худым и желто-черноватым лицом, с чер-

ными, сверкающими глазами и с густыми, нависшими бровями.

Окончив чтение бумаги, губернатор порывисто позвонил.

В кабинет вбежал адъютант.

— Что же Вихрова мне? — произнес сердито начальник губернии.

— Он здесь, ваше превосходительство,— отвечал адъютант.

— Позовите его сюда!

Вихров вошел.

Лицо губернатора приняло более ласковое выражение.

— Здравствуйте, любезнейший,— сказал он,— потрудитесь вот с отцом Селивестром съездить и открыть одно дело!..— прибавил он, показывая глазами на священника и подавая Вихрову уже заранее приготовленное на его имя предписание.

Тот прочел его.

— Когда же ехать туда надо? — спросил он священника.

— Сейчас же! — отвечал тот ему сурово.— В воскресенье они были для виду у меня в единоверии; а завтра, на Петров день, сбегутся все в свою моленную.

— Тут становой им миротворит. Моленная должна быть запечатана, а он ее держит незапечатанною; его хорошенько скрутить надобно! — приказывал губернатор.

Вихров молчал: самое поручение было сильно ему не по душе, но оно давало ему возможность уехать из города, а возвратившись потом назад, снова начать бывать у Захаревских,— словом, придать всему такой вид, что как будто бы между ним и Юлией не происходило никакого щекотливого разговора.

— С богом, поезжайте,— сказал ему губернатор.

Вихров раскланялся и вышел. Священник тоже последовал за ним.

— Не угодно ли вам будет со мной ехать, на моей паре? — сказал он, нагоняя Вихрова на улице.

— А это далеко?

— Нет, одна пряжка всего.

— Хорошо!

Согласием этим священник, кажется, остался очень доволен.

— Вам будет без сумнения, да и мне тоже! — говорил

он.— А вот и кони мои,— прибавил он, показывая на ехавшую по улице пару, которою правил, должно быть, работник.

Вихров шел быстро; священник не отставал от него: он, по всему заметно было, решился ни на минуту не выпускать его из глаз своих.

— А кто такой становой у вас? — спросил его Вихров.

— Огарков, переведенный к нам из другой губернии,— отвечал священник.

— Ах, боже мой, Огарков! — воскликнул Вихров.

Оказалось, что это был муж уже знакомой нам становой, переведенный в эту губернию тоже по рекомендации Захаревских.

— У него жена,— этакая толстая и бойкая? — спросил Вихров.

— Она самая и есть,— отвечал священник.—Пострамленье кажись, всего женского рода,— продолжал он,— в аду между блудницами и грешницами, чаю, таких бесстыжих женщин нет... Приведут теперь в стан наказывать какого-нибудь дворового человека или мужика. «Что, говорит, вам дожидаться; высеки вместо мужа-то при мне: я посмотрю!» Того разложат, порют, а она сидит тут, упрет толстую-то ручищу свою в колено и глядит на это.

При таком описании образ милой становой, как живой, нарисовался в воображении Вихрова.

— Ужасная она госпожа,— знаю я ее!— проговорил он.

Груня чрезвычайно удивилась, когда увидела, что барин возвратился с священником.

— Я опять сейчас, Груша, уезжаю,— сказал он ей.

— Вот тебе раз!—произнесла она испуганным голосом.

— И тебя никак уже не могу взять с собой, потому что еду с священником,— шутил Вихров.

— Где уж, если с священником... А куда же вы едете?.. Опять к раскольникам?

— Опять к раскольникам.

— Ну, что, барин, вы нарочно, должно быть, напрашиваетесь, чтобы кутить там с раскольническими девушками: у них там есть прехорошенькие!

— Есть недурные! — шутил Вихров и, чтобы хоть немножко очистить свою совесть перед Захаревскими, сел и

написал им, брату и сестре вместе, коротенькую записку: «Я, все время занятый разными хлопотами, не успел побывать у вас и хотел непременно исполнить это сегодня; но сегодня, как нарочно, посылают меня по одному экстренному и секретному делу — так что и зайти к вам не могу, потому что за мной, как страж какой-нибудь, смотрит мой товарищ, с которым я еду».

Священник все это время, заложив руки назад, ходил взад и вперед по зале — и в то же время, внимательно прислушиваясь к разговору Вихрова с горничной, хмурился; явно было, что ему не нравились слышимые им в том разговоре шутки.

XII

ЕДИНОВЕРЦЫ

Уже ударили к вечерне, когда наши путники выехали из города. Работник заметно жалел хозяйских лошадей и ехал шагом. Священник сидел, понурив свою сухощавую голову, покрытую черною шляпою с большими полями. Выражение лица его было по-прежнему мрачно-грустное: видно было, что какие-то заботы и печали сильно снедали его душу.

— Вы давно, батюшка, в единоверие перешли? — спросил его Вихров.

— Седьмой год-с,— отвечал священник.

— Что же за цель ваша была?

— Сначала овдовел, лишился бесценной и незаменимой супруги, так что жить в городе посреди людских удовольствий стало уже тяжко; а другое — и к пастве божией хотелось покрепче утвердить отшатнувшихся, но все что-то ничего не могу сделать в том.

— Стало быть, единоверие они не искренно принимают? — заметил Вихров.

— Хе, искренно!..— грустно усмехнулся священник.— По всей России это единоверие — один только обман и ложь перед правительством! Нами, пастырями, они нисколько не дорожат,—продолжал он, и взор его все мрачней и мрачней становился: — не наживи я — пока был православным священником — некоторого состояния и не будь одинокий человек, я бы есть теперь не имел что: придешь со славой к богатому мужику — копейку тебе дают!.. Уж не говоря то, что мы все-таки тем питаемся,— обидно

то даже по сану твоему: я не нищий пришел к нему, а посланник божий!.. Я докладывал обо всем этом владыке... «Что ж, говорит, терпи, коли взял этот крест на себя!»

— Зачем было и вводить это единоверие? Наперед надобно было ожидать, что будет обман с их стороны.

— Как зачем? — спросил с удивлением священник.— Митрополит Платон вводил его и правила для него писал; полагали так, что вот они очень дорожат своими старыми книгами и обрядами,— дали им сие; но не того им, видно, было надобно: по духу своему, а не за обряды они церкви нашей сопротивляются.

— В чем же дух-то этот состоит? — спросил Вихров.

Священник еще больше нахмурил при этом лицо свое.

— В глупости их, невежестве и изуверстве нравов,— проговорил он,— главная причина, законы очень слабы за отступничество их... Теперь вот едем мы, беспокоимся, трудимся, составим акт о захвате их на месте преступления, отдадут их суду — чем же решат это дело? «Вызвать, говорят, их в консисторию и сделать им внушение, чтобы они не придерживались расколу».

— Но что же и сделать за то больше? — спросил Вихров.

— Как что? — произнес мрачно священник.— Ведь это обман, измена с их стороны: они приняли единоверие — и будь единоверцами; они, значит, уклоняются от веры своей,— и что за перемену нашей веры на другую бывает, то и им должно быть за то.

— Ну, прекрасно-с, это в отношении единоверцев — их можно считать отступниками от раз принятой веры; но тогда, разумеется, никто больше из расколу в единоверие переходить не будет; как же с другими-то раскольниками сделать?

— Ежели бы я был член святейшего синода,— отвечал священник,— то я прямо подал бы мнение, что никакого раскола у нас быть совсем не должно! Что он такое за учение? На каком вселенском соборе был рассматриваем и утверждаем?.. Значит, одно только невежество в нем укрывается; а дело правительства — не допускать того, а, напротив, просвещать народ!

— А народ не хочет принимать этого просвещения?

— Карай его лучше за то, но не оставляй во мраке... Что ежели кто вам говорил, что есть промеж них начетчики: ихние попы, и пастыри, и вожди разные — все это

вздор! Я имел с ними со многими словопрение: он несет и сам не знает что, потому что понимать священное писание — надобно тоже, чтоб был разум для того готовый.

— Однако у Христа первые апостолы были простые рыбари.

— Тогда они устно слышали от него учение, а мы ныне из книг божественных оное почерпаем: нас, священников, и философии греческой учили, и риторике, и истории церкви христианской,— нам можно разуметь священное писание; а что же их поп и учитель — какое ученье имел? Он — такой же мужик, только плутоватей других!

— Что же, вы говорили когда-нибудь об этом раскольникам?

— Сколько раз!.. Прямо им объяснял: «Смотрите, говорю,— нет ни единого царя, ни единого дворянина по вашему толку; ни един иностранец, переходя в православие, не принял раскола вашего. Неужели же все они глупее вас!»

— Что ж они отвечали на то? — спросил Вихров с любопытством.

Священник при этом вопросе вздохнул.

— «Оттого, говорят, что на вас дьявол снисшел!» — «Но отчего же, говорю, на нас, разумом светлейших, а не на вас, во мраке пребывающих?» «Оттого, говорят, что мы живем по старой вере, а вы приняли новшества»,— и хоть режь их ножом, ни один с этого не сойдет... И как ведь это вышло: где нет раскола промеж народа, там и духа его нет; а где он есть — православные ли, единоверцы ли, все в нем заражены и очумлены... и который здоров еще, то жди, что и он будет болен!

Покуда священник говорил все это суровым голосом, а Вихров слушал его,— они, как нарочно, проезжали по чрезвычайно веселой местности: то по небольшому сосновому леску, необыкновенно чистому и редкому, так что в нем можно было гулять — как в роще; то по низким полянам, с которых сильно их обдавало запахом трав и цветов. Солнце уже садилось, соловей где-то отчаянно свистал. Леменец работник, в своем зипуне, с своими всклоченными, белокурыми волосами, выбивающимися из-под худой его шапенки, как бы в противоположность своему суровому и мрачному хозяину, представлял из себя чрезвычайно добродушную фигуру. У Вихрова было хорошо на душе оттого, что он услыхал от священника, что если

они и захватят на молитве раскольников, то тех только позовут в консисторию на увещевание, а потому он с некоторым даже любопытством ожидал всех грядущих сцен.

Лошади, вероятно, почуявшие близость дома, побежали быстрей.

— Недалеко, видно? — спросил Вихров священника, не обращавшего никакого внимания ни на прекрасный вечер, ни на красивую местность, ни на соловья.

— Недалеко; вон село наше,— отвечал он, показывая на стоящее несколько в стороне село.— Вы уж у меня и остановиться извольте на квартире,— прибавил он.

— Очень хорошо,— отвечал Вихров, и потом не удержался и сказал: — Вы, кажется, и меня немного подозреваете — как бы я не перешел в раскол?

— Нет, не то что подозреваю,— отвечал священник угрюмо,— а что если остановитесь в другом месте, то болтовня сейчас пойдет по селу: что чиновник приехал!.. Они, пожалуй, и остерегутся, и не соберутся к заутрени.

— Так вы меня этак поспрятать хотите! — проговорил Вихров.

— Да, поспрячу,— отвечал священник, и в самом деле, как видно, намерен был это сделать,— потому что хоть было уже довольно темно, он, однако, велел работнику не селом ехать, а взять объездом, и таким образом они подъехали к дому его со двора.

Введя в комнаты своего гостя, священник провел его в заднюю половину, так чтобы на улице не увидели даже огня в его окнах — и не рассмотрели бы сквозь них губернаторского чиновника.

— Но завтра нам надобно будет хоть какого-нибудь десятского взять с собой,— сказал ему Вихров.

— А вот я сейчас схожу за сельским старостой,— сказал священник и, уходя, плотно-плотно притворил дверь в сенях, а затем в весьма недолгом времени возвратился, приведя с собой старосту.

Вихров сказал тому, что он завтра с ним чуть свет пойдет, но куда именно — не пояснил того.

— Слушаю-с,— сказал староста и хотел было уйти.

Но священник остановил его.

— Нет, любезный, ты ночуй уж здесь — у меня; пойди ко мне в избу.

Староста усмехнулся только на это, впрочем, послушался его и пошел за ним в избу, в которую священник

привел также и работника своего, и, сказав им обоим, чтобы они ложились спать, ушел от них, заперев их снаружи.

— Вот этак лучше — посидят и не разболтают никому! — проговорил он.

С Вихровым священник (тоже, вероятно, из опасения, чтобы тот не разболтал кому-нибудь) лег спать в одной комнате и уступил даже ему свою под пологом постель, а сам лег на голой лавке и подложил себе только под голову кожаную дорожную подушку. Ночь он всю не спал, а все ворочался и что-то такое бормотал себе под нос. Вихрову тоже не спалось от духоты в комнате и от клопов, которыми усыпана была хозяйская постель. Часа в четыре, наконец, раздался сухой, как бы великопостный звон в единоверческой церкви. Вихров открыл глаза—он только что перед тем вздремнул было. Священник стоял уже перед ним совсем одетый.

— Пойдемте, пора!— сказал он Вихрову.

Тот мигом оделся в свой вицмундир.

Староста и работник тоже были выпущены. Последний, с явно сердитым лицом, прошел прямо на двор; а староста по-прежнему немного подсмеивался над священником. Вихров, священник и староста отправились, наконец, в свой поход. Иерей не без умысла, кажется, провел Вихрова мимо единоверческой церкви и заставил его заглянуть даже туда: там не было ни одного молящегося.

— Как много прихожан-то!—сказал он с усмешкой.— А ведь звоном-то почесть колокол разбили, а туды и без зову божьего соберутся.

Звон до самого своего возвращения он наказал дьячку не прекращать и повел за собой Вихрова и старосту. Сначала они шли полем по дороге, потом пошли лугом по берегу небольшой реки.

Священник внимательнейшим образом осматривал все тропинки, которыми они проходили.

— Много их тут сегодня прошло: след на следе так и лепится! — говорил он.— И мостик себе даже устроили! — прибавил он, показывая Вихрову на две слеги, перекинутые через реку.

— Слышите! — воскликнул он вдруг, показывая рукой в одну сторону.— Это ведь служба их идет!

С той стороны в самом деле доносилось пение мужских и женских голосов; а перед глазами между тем были:

орешник, ветляк, липы, березы и сосны; под ногами — высокая, густая трава. Утро было светлое, ясное, как и вчерашний вечер. Картина эта просто показалась Вихрову поэтическою. Пройдя небольшим леском (пение в это время становилось все слышнее и слышнее), они увидели, наконец, сквозь ветки деревьев каменную часовню.

— Не хуже нашего единоверческого храма! — произнес священник, показывая глазами Вихрову на моленную.— Ну, теперь ползком ползти надо; а то они увидят и разбегутся!..— И вслед за тем он сам лег на землю, легли за ним Вихров и староста,— все они поползли.

Священник делал все это с явным увлечением, а Вихрову, напротив, казалось смешно и не совсем честно его положение. Он поотстал от священника. Староста тоже рядом с ним очутился.

— Беда какой строгий священник,— шепнул он Вихрову.

— Что же? — спросил Вихров.

— Попервоначалу-то, как поступил, так на всех раскольников, которые в единоверие перешли, епитимью строгую наложил — и чтобы не дома ее исполняли, а в церкви;—и дьячка нарочно стеречь ставил, чтобы не помирволил кто себя.

— Зачем же народ, зная, что он такой строгий, в моленную еще к себе собирается? — говорил Вихров.

— Да поди ты вот — глупость-то наша крестьянская: обмануть все думают его! Ну, где тут, обманешь ли экаго! — отвечал староста.

В это время они были около самого уже храма.

Священник проворно поднялся на ноги и загородил собой выход из моленной.

— Подползайте скорей,— зыкнул он шепотом Вихрову и старосте.

Те подползли и поднялись на ноги — и все таким образом вошли в моленную. Народу в ней оказалось человек двести. При появлении священника и чиновника в вицмундире все, точно по команде, потупили головы. Стоявший впереди и наряженный даже в епитрахиль мужик мгновенно стушевался; епитрахили на нем не стало, и сам он очутился между другими мужиками, но не пропал он для глаз священника.

— Поди-ка ты сюда, священнодействователь! — сказал он ему.

Мужик не трогался, как будто бы не понимая, что это к нему относится.

— Григорий, поди сюда; я тебя кличу! — повторил священник.

Григорий, делать нечего, вышел.

— Где же облачение-то твое — подай мне! — говорил священник.

— Нет у меня никакого облачения,— отвечал мужик, распуская перед ним руки; но священник заглянул к нему в пазуху, велел выворотить ему все карманы — облачения нигде не было.

Священник велел старосте обыскать прочих, нет ли у кого облачения.

Тот, с обычной своей усмешкой на лице, принялся обыскивать; но облачения не нашлось.

— Ну, бог с ним! — произнес Вихров.

— Вот это *бог с ним* и дает им поблажку,— проговорил ему укоризненно священник.— Переписать их всех надо! — прибавил он; но Вихров прежде спросил народ:

— Что вы, братцы, все единоверцы?

— Все, почесть, единоверцы! — отвечали ему мужики.

— Зачем же вы не посещаете вашего храма, а ходите в моленную, которая должна быть запечатана?

— Так как родители наши ходили сюда, и нам желается того,— отвечал один из раскольников.

— Мы, бачка, думали, что в нашей церкви службы не будет,— подхватил другой раскольник.

— Врешь, врешь,— остановил его священник.— Благовест у меня начался с двух часов ночи и посейчас идет.

Из села в самом деле доносился сухой и немного дребезжавший благовест единоверческой церкви.

— А эта вот и православная даже! — прибавил священник, указывая на одну очень нарядную и довольно еще молодую женщину.

— Ты православная? — спросил ее Вихров.

— Православная-с! — отвечала та, вся вспыхнув и с дрожащими щеками.

— Ей вот надо было,— объяснил ему священник,— выйти замуж за богатого православного купца: это вот не грех по-ихнему, она и приняла для виду православие; а промеж тем все-таки продолжают ходить в свою раскольничью секту — это я вас записать прошу!

— Все запишут! — отвечал ему с сердцем Вихров

и опрашивать народ повел в село. Довольно странное зрелище представилось при этом случае: Вихров, с недовольным и расстроенным лицом, шел вперед; раскольники тоже шли за ним печальные; священник то на того, то на другого из них сурово взглядывал блестящими глазами. Православную женщину и Григория он велел старосте вести под присмотром — и тот поэтому шел невдалеке от них, а когда те расходились несколько, он говорил им:

— Не расходитесь оченно далеко!

Допросы отбирать Вихров начал в большой общественной избе — и только еще успел снять показание с одного мужчины, как дверь с шумом распахнулась, и в избу внеслась какой-то бурей становая.

— Друг сердечный, тебя ли я вижу! — воскликнула она, растопыривая перед Вихровым руки. Она, видимо, решилась держать себя с ним с прежней бойкостью.— И это не грех, не грех так приехать! — продолжала она, восклицая.— Где ты остановился? У вас, что ли? — прибавила она священнику.

— У меня-с,— отвечал тот.

— В мурье-то у него — на клопах да на комарах! Я бы тебя на мягкую постельку уложила, побаюкала бы и полюлюкала!.. Что это переловил ребят-то? — прибавила она, показывая головой на раскольников.

— А все это ваш супруг причиной тому: держит моленную незапертою, тогда как она запечатана даже должна быть,— заметил ей священник.

— Это кто вам, батюшко, донес так да отрапортовал о том—нет-с! Извините! Я нарочно все дело захватила— читайте-ка!..— проговорила становая и, молодцевато развернув принесенное с собою дело, положила его на стол.

— Читай, читай!..— повторила она священнику.

В одном предписании в самом деле было сказано: «а моленную в селе Корчакове оставить незапечатанною и отдать ее в ведение и под присмотр земской полиции с тем, чтобы из оной раскольниками не были похищаемы и разносимы иконы».

— Только бы не были расхищаемы и уносимы иконы — понял?—отнеслась становая к священнику.—А они все тут; есть еще и лишние.

— Моленная не должна быть запечатана,— повторил и Вихров.

Священник пожал только плечами.

— Но сборища в ней все-таки не могли быть дозволены, особенно для единоверцев,— возразил он,— и ваш супруг, я знаю, раз словил их; но потом, взяв с них по рублю с человека, отпустил.

— Это как вы знаете, кто вам объяснил это? — возразила ему становая насмешливо,— на исповеди, что ли, кто вам открыл про то!.. Так вам самому язык за это вытянут, коли вы рассказываете, что на духу вам говорят; вот они все тут налицо,— прибавила она, махнув головой на раскольников.— Когда вас муж захватывал и обирал по рублю с души? — обратилась она к тем.

— Не было того-с,— отвечали из них некоторые, и все при этом держали головы потупленными.

— Чем на других-то, иерей честной, указывать, не лучше ли прежде на себя взглянуть: пастырь сердцем добрым и духом кротким привлекает к себе паству; при вашем предшественнике никогда у них никаких делов не было, а при вас пошли...

— Зато и единоверия не было! — возразил ей священник.

— Я уже этого не знаю — я баба; а говорю, что в народе толкуют. Изволь-ка вот ты написать,— прибавила она Вихрову,— что в предписании мужу сказано насчет моленной; да и мужиков всех опроси, что никогда не было, чтобы брали с них!

Такие почти повелительные распоряжения становой сделались, наконец, Вихрову досадны.

— Все это очень хорошо — и будет сделано; но вам-то здесь быть совершенно неприлично! — сказал он.

— Уйду, уйду, не навеки к вам пришла,— сказала она, поднимаясь,— только ты зайди ко мне потом; мне тебе нужно по этому делу сказать — понимаешь ты, по этому самому делу, чтобы ты сказал о том начальству своему.

— Хорошо, зайду,— отвечал Вихров, чтобы только отвязаться от нее: почему становая говорила ему *ты* и назвала его *другом сердечным* — он понять не мог.

Та между тем встала и пошла; проходя мимо мужиков, она подмигнула им.

— Не робейте, паря, не больно поддавайтесь!

Вихров, отобрав все допросы и написав со священником подробное постановление о захвате раскольников в моленной, хотел было сейчас же и уехать в город — и поэтому послал за земскими почтовыми лошадьми; но тех

что-то долго не приводили. Он велел старосте поторопить; тот сходил и донес ему, что лошади готовы, но что они стоят у квартиры становой — и та не велела им отъезжать, потому что чиновник к ней еще зайдет. Вихров послал другой раз старосту сказать, что он не зайдет к ней, потому что ему некогда, и чтобы лошади подъехали к его избе. Староста сходил с этим приказанием и, возвратясь, объявил, что становая не отпускает лошадей и требует чиновника к себе. Вихрова взорвало это; он пошел, чтобы ругательски разругать ее.

— Что это такое вы делаете — не даете мне лошадей! — воскликнул он, входя к ней в залу, в которой на столе были уже расставлены закуска и вина разные.

— Ты не горлань, а лучше выпей водочки! — сказала она ему.

— Не хочу я вашей водочки! — кричал он.

— Ты вот погоди, постой! Не благуй! — унимала она его.— Я вот тебе дело скажу: ты начальству своему заяви, чтобы они попа этого убрали отсюда, а то у него из единоверия опять все уйдут в раскол; не по нраву он пришелся народу, потому строг — вдруг девицам причастья не дает, изобличает их перед всеми. Мужик придет к нему за требой — непременно требует, чтобы в телеге приезжал и чтобы ковер ему в телеге был: «Ты, говорит, не меня, а сан мой почитать должен!» Кто теперь на улице встретится, хоть малый ребенок, и шапки перед ним не снимет, он сейчас его в церковь — и на колени: у нас народ этого не любит!

— Ну, только? — спросил Вихров.— Прощайте!

— Погоди, не спеши больно!.. Что у тебя дома-то — не горит ведь! Раскольники-то ходатая к тебе прислали, сто целковых он тебе принес от них, позамни маненько дело-то!

Вихров усмехнулся и покачал головой.

— Что же, этот ходатай здесь, что ли? — спросил он.

— Здесь стоит, дожидается.

— Ну, позовите его ко мне!

Становая пошла и привела мужика с плутоватыми, бегающими глазами.

— Ты мне сто целковых принес? — спросил его Вихров.

— Да-с! — отвечал мужик и торопливо полез себе за пазуху, чтобы достать, вероятно, деньги.

— Не трудись их вынимать, а, напротив, дай мне расписку, что я их не взял у тебя! — сказал Вихров и, подойдя к столу, написал такого рода расписку.— Подпишись,— прибавил он, подвигая ее к мужику.

Тот побледнел и недоумевал.

— Подпишись, а не то я дело из-за этого начну и тебя потяну! — произнес Вихров явно уже сердитым голосом.

Мужик посмотрел на становую, которая тоже стояла сконфуженная и только как-то насильственно старалась улыбнуться.

— Подпишись уж лучше! — сказала она мужику.

Тот дрожащею рукой подписался и затем, подобрав свою шапку, ушел с совершенно растерянным лицом.

— Ну, паря, модник ты, я вижу, да еще и какой! — сказала Вихрову становая укоризненным голосом, когда они остались вдвоем.

— А вы, извините меня, очень глупы! — возразил он ей.

— Где уж нам таким умником быть, как ты! Не все такие ученые,— произнесла становая в одно и то же время насмешливым и оробевшим голосом.

Вихров взялся снова за фуражку, чтобы уехать.

— Не пущу, ни за что не пущу без закуски, а не то сама лягу у дверей на пороге!..— закричала становая — и в самом деле сделала движение, что как будто бы намерена была лечь на пол.

Вихров лучше уже решился исполнить ее желание, тем более, что и есть ему хотелось. Он сел и начал закусывать. Становая, очень довольная этим, поместилась рядом с ним и положила ему руку на плечо.

— А что, с Фатеихой до сих пор все еще путаешься? — спросила она, заглядывая ему с какой-то нежностью в лицо.

— Нет, уж не путаюсь,— отвечал ей Вихров.

— Слышала я это, слышала,— отвечала становиха.— Вот как бы ты у меня ночевал сегодня, так я тебе скажу...

— Что же такое? — спросил Вихров.

Становая пожала только плечами.

— У!..— воскликнула она.— Такую бы тебе штучку подвела — букет!

Вихров только усмехнулся.

— Ну, однако, прощайте! — сказал он, вставая.

— Прощай, друг любезный,— проговорила становиха и вдруг поцеловала его в лицо.

Вихров поспешно обтер то место, к которому она прикоснулась губами. Становиха потом проводила его до телеги, сама его подсадила в нее, велела подать свое одеяло, закрыла им его ноги и, когда он, наконец, совсем поехал, сделала ему ручкой.

XIII

ВЕЧЕР У m-me ПИКОЛОВОЙ

То, что Вихров не был у Захаревских и даже уехал из города, не зайдя проститься с ними,— все это сильно огорчало не только Юлию, отчасти понимавшую причину тому, но и Виссариона, который поэтому даже был (в первый раз, может быть, во всю жизнь свою) в самом сквернейшем расположении духа. Судя несколько по своим собственным поступкам, он стал подозревать, что уж не было ли между сестрой и Вихровым чего-нибудь серьезного и что теперь тот отлынивает, тем более, что Юлия была на себя не похожа и проплакивала почти целые дни. Виссарион решился непременно расспросить ее об этом.

— Интересно мне знать,— заговорил он однажды, ходя взад и вперед по комнате и как бы вовсе не желая ничего этим сказать,— говорила ли ты когда-нибудь и что-нибудь с этим господином о любви?

— Никогда и ничего,— отвечала Юлия.

— О, вздор какой! — воскликнул инженер

— Уверяю тебя! — повторила Юлия совершенно искренним голосом.

«Ну, когда еще в таком положении дело, так это пустяки, вздор!»—успокоил себя мысленно Виссарион.

— Так у вас, может быть, все это одним пуфом и кончится? — присовокупил он.

— Всего вероятнее!..— сказала Юлия, и голос ее при этом дрожал: сознавая, что она не в состоянии уже будет повторить своего признания Вихрову, она решилась сама ничего не предпринимать, а выжидать, что будет; но Виссарион был не такого характера. Он любил все и как можно скорей доводить до полной ясности. Услыхав, что Вихров вернулся со следствия, но к ним все-таки нейдет, он сказал сестре не без досады:

— Что же этот ваш возлюбленный не жалует?

В ответ на это Юлия устремила только на брата умоляющий взор.

— Пошли за ним, если хочешь...— присовокупил Виссарион.

— Если он не хочет идти, зачем же посылать за ним? — возразила Юлия.

— Ну, так я сам пойду к нему и посмотрю, что он там делает,— произнес почти со злобою Виссарион: ему до души было жаль сестры.

Когда Вихрову сказали, что пришел Захаревский, он, по какому-то предчувствию, как бы отгадывая причину его прихода, невольно сконфузился. У Виссариона не сорвалось это с глазу.

«Он однако потрухивает, как видно, меня?» — подумал он про себя.

— Что это, батюшка, вы за штуку выкинули? — произнес он затем вслух.— Уехали совсем из города и не зашли даже проститься.

— Невозможно было: губернатор меня экстренно послал и под присмотром еще попа.

— Что за вздор такой — экстренно послал?.. Невозможно было на две минуты забежать проститься!..— говорил инженер и затем, сев напротив Вихрова, несколько минут смотрел ему прямо в лицо.

Тот при этом явно покраснел.

— Что это вы, устали, что ли, или больны? — спросил Виссарион.

— И устал и болен! — отвечал Вихров.

— Все это проистекает оттого-с,— продолжал инженер,— что вы ужасно какую нелепую жизнь ведете.

— Я? — спросил Вихров, несколько уже и удивленный бесцеремонностью такого замечания.

— Да, вы!.. Жениться вам надо непременно!

— Но отчего же вы сами не женитесь?

— Оттого, что я совершенно неспособен к женатой жизни: мне всякая женщина в неделю же надоедает!

— Но, может быть, и я такой же! — проговорил Вихров.

— Ну, нет, вы постоянны: вот вы экономке вашей сколько времени верны!

Виссарион под именем экономки разумел Груню.

— А вы думаете, что я в отношении ее могу быть верен и неверен?

— Совершенно уверен в том,— подхватил Виссарион.

— Кто же вам сказал это? — спросил Вихров.

— Мои собственные глаза.

— Ваши глаза совершенно вас обманывают.

— Не шутя?

— Не шутя обманывают!

Вихров не хотел Виссариона посвящать ни в какую свою тайну.

«Черт знает, ничего тут не понимаю!» — думал между тем инженер, в самом деле поставленный в недоумение: Груню он считал главной и единственною виновницею того, что Вихров не делал предложения его сестре.

— Что же, вы зайдете ли когда-нибудь к нам? Осчастливите ли вашим посещением? — полушутил, полусерьезно говорил он, вставая с тем, чтобы уйти.

— Я сегодня же вечером буду у вас,— отвечал, опять немного растерявшись, Вихров.

— Но вечером мы с сестрой у Пиколовой будем... Там будет губернатор, и прочее, и прочее,— проговорил Виссарион.

— А, и прекрасно, и я туда же приеду! — подхватил Вихров, очень обрадованный тем, что он встретится в первый раз с Юлией в обществе.

— Приезжайте! — сказал инженер и ушел.

Когда он возвратился в комнату сестры, то лицо его снова приняло недоумевающее выражение.

— Хоть зарежь, ничего тут не понимаю! — произнес он и, усевшись на стул, почти до крови принялся кусать себе ногти,— до того ему была досадна вся эта неопределенная чепуха.

Вихров, между тем, еще до свидания с Виссарионом, очень много и серьезно думал о своих отношениях к Юлии. Что он не любил ее совершенно, в этом он не сомневался нисколько,— точно так же, как теперь он очень хорошо понимал, что не любил и Фатееву и что не чувствовал также особой привязанности и к преданной ему Груне; но отчего же это?.. Что за причина тому была?.. Не оставалось никакого сомнения, что между ним и всеми этими женщинами стояла всегда, постоянно и неизменно Мари — и заслоняла их собой. Не сомневался уж он нисколько, что он одну только ее в жизни своей любил и любит до сих пор; но

что же она к нему чувствует? Конечно, ее внезапный отъезд из Москвы, почти нежное свидание с ним в Петербурге, ее письма, дышащие нежностью, давали ему много надежды на взаимность, но все-таки это были одни только надежды — и если она не питает к нему ничего, кроме дружбы, так лучше вырвать из души и свое чувство и жениться хоть на той же Юлии, которая, как он видел очень хорошо, всю жизнь будет боготворить его!

Когда Виссарион ушел от него, он окончательно утвердился в этом намерении — и сейчас же принялся писать письмо к Мари, в котором он изложил все, что думал перед тем, и в заключение прибавлял: «Вопрос мой, Мари, состоит в том: любите ли вы меня; и не говорите, пожалуйста, ни о каких святых обязанностях: всякая женщина, когда полюбит, так пренебрегает ими; не говорите также и о святой дружбе, которая могла бы установиться между нами. Я хочу любви вашей полной, совершенной; если нет в вас ее ко мне, так и не щадите меня — прямо мне скажите о том!»

Отослав это письмо на почту, Вихров отправился к Пиколовым, у которых вечер застал в полном разгаре.

Начальник губернии был уж там. Он всегда у m-me Пиколовой был очень весел и даже отчасти резов. Белобрысый муж ее с улыбающимся лицом ходил по ярко освещенным комнатам. Он всегда очень любил, когда начальник губернии бывал у них в гостях, даже когда это случалось и в его отсутствие, потому что это все-таки показывало, что тот не утратил расположения к их семейству, а расположением этим Пиколов в настоящее время дорожил больше всего на свете, так как начальник губернии обещался его представить на имеющуюся в скором времени открыться вакансию председателя уголовной палаты. Должности этой Пиколов ожидал как манны небесной — и без восторга даже не мог помыслить о том, как он, получив это звание, приедет к кому-нибудь с визитом и своим шепелявым языком велит доложить: «Председатель уголовной палаты Пиколов!» Захаревские тоже были у Пиколовых, но только Виссарион с сестрой, а прокурор не приехал: у того с каждым днем неприятности с губернатором увеличивались, а потому они не любили встречаться друг с другом в обществе — достаточно уже было и служебных столкновений.

Виссарион Захаревский в полной мундирной форме,

несмотря на смелость своего характера, как-то конфузливо держал себя перед начальником губернии и напоминал собой несколько собачку, которая ходит на задних лапках перед хозяином. Юлия, бледная, худая, но чрезвычайно тщательно причесанная и одетая, полулежала на кушетке и почти не спускала глаз с дверей: Виссарион сказал ей, что Вихров хотел приехать к Пиколовым.

Когда герой мой вошел, начальник губернии почти с нежностью встретил его.

— Здравствуйте, Вихров! — воскликнул он, протягивая ему ладонью вверх свою широкую руку, в которую Вихров и поспешил положить свою руку.

— От души благодарю вас, что приехали запросто!..— говорила хозяйка дома, делая ему ручкой из-за стола, за которым она сидела, загороженная с одной стороны Юлией, а с другой — начальником губернии.— А у меня к вам еще просьба будет — и пребольшая,— прибавила она.

— Уж опять не театр ли? — спросил ее Вихров.

— Ах, нет, Вихров, гораздо скучней того — дело!

— Дело, которое madame Пиколова желает возложить на вас! — сказал полушутя и полусерьезно начальник губернии.

— Madame Пиколова? — переспросил его Вихров.

— Да! — подтвердил губернатор.

Вихров на это только усмехнулся.

— А я к вам было сегодня вечером хотел прийти,— отнесся он к Юлии.

— К нам хотели?..— И еще что-то такое сказала Юлия, устремляя на него кроткий взгляд.

Вихров не знал — сесть ли ему около нее или нет; однако он сел, но что говорить — решительно не находился.

— Куда же это вы в последнее время ездили? — спросила его сама Юлия.

Вихров несказанно обрадовался этому вопросу. Он очень подробным образом стал ей рассказывать свое путешествие, как он ехал с священником, как тот наблюдал за ним, как они, подобно низамским убийцам, ползли по земле,— и все это он так живописно описал, что Юлия заслушалась его; у нее глаза даже разгорелись и лицо запылало: она всегда очень любила слушать, когда Вихров начинал говорить — и особенно когда он доходил до увлечения.

— Я готова, чтобы вы чаще от нас уезжали и расска-

зывали потом нам такие интересные вещи,— проговорила она.

Чтобы разговор как-нибудь не перешел на личные отношения, Вихров принялся было рассказывать и прежнее свое путешествие в Учню, но в это время к нему подошла хозяйка дома и, тронув его легонько веером по плечу, сказала ему:

— На два слова в кабинет, Вихров! — И они пошли. Белобрысый муж m-me Пиколовой тоже последовал за ними, как-то глупо улыбаясь своим широким ртом.

— Вот видите ли что!— начала m-me Пиколова.— Мы с братцем после маменьки, когда она померла, наследства не приняли; долги у нее очень большие были, понимаете... но брат после того вышел в отставку; ну, и что же молодому человеку делать в деревне — скучно!.. Он и стал этим маменькиным имением управлять.

— Опекуном, то есть, назначен был, как следует — опекой,— поправил ее муж.

— Ну, опекуном там, что ли, очень мне нужно это! — возразила ему с досадой m-me Пиколова и продолжала: — Только вы знаете, какие нынче года были: мужики, которые побогатей были, холерой померли; пожар тоже в доме у него случился; рожь вон все сам-друг родилась... Он в опекунской-то совет и не платил... «Из чего, говорит, мне платить-то?.. У меня вон, говорит, какие все несчастия в имении».

— И у него на все это и удостоверения есть от полиции,— пояснил опять за жену сам Пиколов.

— Да, у него все эти и бумаги есть! — подхватила она.— И он их представил туда. Только вдруг оттуда глупую этакую бумагу пишут к Ивану Алексеевичу... что, как это там сказано... что все это неблагонамеренные действия опекуна... Хорошо, конечно, что Иван Алексеевич так расположен к нам... Он привозит ко мне эту бумагу. «Вот, говорит, напишите брату!..» Я пишу ему... Он прискакал, как сумасшедший: «Я, говорит, желаю, чтобы все это обследовали; кто, говорит, из чиновников особых поручений Ивана Алексеевича самый благородный человек?..» Я говорю: «Благородней Вихрова у него нет!» Так вот вы, monsieur Вихров, съездите, пожалуйста, к брату в деревню и поправьте все это.

Как ни бестолково m-me Пиколова рассказывала, одна-

ко Вихров очень хорошо понял, что во всей этой истории скрывались какие-нибудь сильные плутни ее братца.

— Вы бы гораздо лучше сделали, если бы попросили на это дело какого-нибудь другого чиновника: я в службе мнителен и могу очень повредить вашему брату,— сказал он.

— Ни за что, ни за что!.. И слышать вас не хочу! — воскликнула m-me Пиколова, зажимая себе даже уши.— Вы добрый, милый, съездите и поправите все это, а мне уж пора к Ивану Алексеевичу, а то он, пожалуй, скучать будет!..— заключила она и ушла из кабинета.

Пиколов и Вихров, оставшись вдвоем, некоторое время молчали.

— Но что за человек — брат вашей супруги? — спросил, наконец, последний.

— Он человек умный и расчетливый, только вот, знаете, этак, любит направо и налево карточкой перекинуть! — отвечал Пиколов и представил рукой, как мечут банк.

— Может быть, на эти карточки он все доходы с имения и проигрывал,— заметил ему Вихров.

— Нет, нет! — возразил Пиколов, засмеявшись своим широким ртом.

Покуда они разговаривали таким образом, в гостиной послышался сначала громкий, веселый разговор, наконец крик, визг, так что Вихров не утерпел и спросил:

— Что это такое там?

— Так себе, ничего, шалят! — отвечал Пиколов.

В гостиной, в самом деле, шалили. Сначала сели играть в карты — губернатор, m-me Пиколова, инженер и Юлия — в фофаны; ну, и, как водится, фофана положили под подсвечник; m-me Пиколова фофана этого украла, начальник губернии открыл это.

— Зачем вы это сделали, зачем?! — говорил он и ударил ее по руке.

M-me Пиколова ударила сама его и довольно сильно; при этом одна свеча потухла от их движения.

— Когда вы затушили свечку, так я затушу другую,— сказал начальник губернии.

— Ах, не смейте! — кричала Пиколова.

— Захаревский, затушите прочие свечи! — кричал начальник губернии, задувая сам свою свечу.

Виссарион, не задумавшись, сейчас же исполнил это приказание, задул все остальные свечи; в гостиной сдела-

лась совершенная темнота. Начальник губернии начал ловить m-me Пиколову, а она от него бегала из угла в угол. В эту минуту в гостиную возвратились Пиколов и Вихров. Последний едва рассмотрел прижавшуюся в углу Юлию.

— Что такое? — спросил он ее.

— Ах, защитите меня, чтобы он на меня как-нибудь не набежал,— сказала она.

Вихров стал около нее в защиту, начальник губернии между тем продолжал бегать за Пиколовой.

— На диване, на диване, ваше превосходительство! — подсказывал ему инженер.

Начальник губернии бросился на диван, но m-me Пиколова нагнулась под стул и ускользнула от него.

— В ту комнату, ваше превосходительство, улетела,— продолжал ему подсказывать Виссарион.

M-me Пиколова, в самом деле, убежала в одну из задних комнат.

Начальник губернии, очень хорошо знавший расположение дома, тоже побежал за ней — и они там что-то долго оставались. Наконец сам m-r Пиколов взял загашенные свечи, сходил с ними в зало и внес их в гостиную: он знал, когда это надо было сделать.

— Как расшалились они, ужас! — говорил он.

Невдолге после того возвратились губернатор и m-me Пиколова, которая уже не бежала, а шла довольно тихо.

— Вы гадкий, противный! — говорила она губернатору.

— Вы сами деретесь, сами деретесь! — отвечал ей тот.

— Что же это, они всегда так забавляются? — спросил Вихров Юлию.

— Не знаю,— отвечала та, и на губах ее появилась какая-то презрительная улыбка.

XIV

ОПЕКУН

Усадьба Козлово стоит на высокой горе, замечательной тем, что некогда, говорят, в нее ударил гром — и громовая стрела сделала в ней колодец, который до сих пор существовал и отличался необыкновенно вкусной водой. В этой-то усадьбе, в довольно большом, поместительном барском доме, взад и вперед по залу ходил m-r Клыков

(брат m-me Пиколовой). Он был средних лет, с несколько лукавою и заискивающею физиономиею, и отличался, говорят, тем, что по какой бы цене ни играл и сколько бы ни проигрывал — никогда не менялся в лице, но в настоящее время он, видимо, был чем-то озабочен и беспрестанно подходил то к тому, то к другому окну и смотрел на видневшуюся из них дорогу, как бы ожидая кого-то. Наконец он вдруг проговорил: «Едет!» — и с улыбающимся лицом вышел в переднюю, чтобы принять гостя.

Ехал это к нему Вихров.

— Меня, однако, привезли к вам в усадьбу, а не в имение! — говорил тот, снимая шинель.

— Это, уж извините, я так распорядился: что же вам в деревне в курной избе жить,— говорил Клыков.

— Все это прекрасно-с,— возразил ему Вихров,— да к вам-то ехать мне не совсем благовидно.

Они это время входили уже в гостиную и усаживались в ней.

— Но неужели же я вас куском хлеба и чашкою чаю подкуплю — неужели? — спрашивал Клыков, глядя ему в лицо.

— Подкупить не подкупите, но мужикам может это показаться некоторым сближением моим с вами,— возразил Вихров.

— Никаким это сближением не может им показаться! — возразил Клыков.

Вихров не стал с ним больше спорить и просил его, чтобы он дал ему список недоимщиков, а также велел позвать и самих мужиков. Клыков осторожно и как бы даже на цыпочках ушел в свой кабинет. Вихров стал осматриваться. Он сидел в какой-то закоптелой гостиной: закоптели ее стены, на столе лежала закоптелая салфетка, закоптели занавеси на окнах, закоптела как будто бы сама мебель даже,—и на всем были следы какого-то долгого и постоянного употребления. Вихров посмотрел в зало. Там тоже обеденный стол стоял раздвинутым, как бывает это в трактирах; у стульев спинные задки были сильно захватаны, на стене около того места, где в ней открывался буфет, было множество пятен.

В гостиной висел портрет самого хозяина в уланском еще мундире и какой-то, весьма недурной из себя, дамы, вероятно, жены его.

Клыков возвратился с аккуратно составленным спис-

ком недоимщиков и объявил, что и сами они дожидаются на дворе.

Вихров не утерпел и сказал ему:

— Какое у вас в доме убранство старинное и как бы закоптелое даже от времени.

— Не столько от времени, сколько курят много, когда соберутся!..— отвечал смиренно Клыков.

— Но кто ж к вам собирается?.. Соседи, вероятно?

— Соседи-с.

— И что же, в карты все, конечно, все играете!

— Нет-с, мало! — произнес невиннейшим голосом Клыков.

Вихров, наконец, снова обратился к своему делу.

— Потрудитесь приказать,— сказал он,— прийти вот этому первому недоимщику, Родиону Федорову, что ли?

Клыков той же осторожной походкой сходил и привел Родиона Федорова. Оказалось, что это был хохлатый и нескладный мужик, который пришел как-то робко, стал поеживаться, почесываться, несмело на все кругом озираться. Вихров взял лист бумаги и стал записывать его показание.

— В сорок шестом году хлеб у вас градом выбивало? — спросил он его.

— Выбивало-тко! — отвечал Родион очень уже бойко, как бы заранее заучив.

— А холера в сорок восьмом году была?

— Была-то-тко! — опять отрезал Родион.

— А много ли у вас по селениям умерло человек от холеры?

— О-то, много-тко извелось народу!.. Упаси бог! — почти пропел Родион.

Вихров догадался, что Родион был глупорожденный и почти идиот.

— А скажи, действительно ли на тебе недоимки сто рублей?

— Ну... не знаю... может, так!..— проговорил Родион, как бы через пни скакав языком.

— Значит, ты признаешь ее за собой? — подтвердил Вихров.

— Не знаю... признаю... да! — согласился Родион, взмахивая при этом глазами на Клыкова, который, с опущенной головой и тихой походкой, ходил по гостиной.

— Ну, ступай! — сказал Вихров Родиону.

Тот ушел.

— Прочие так же будут показывать, как и он, а потому вам не угодно ли писать так, что такой-то вот показал согласно с Родионом Федоровым! — проговорил Клыков.

— Там-с увидим,— отвечал ему резко Вихров,— позвольте мне следующего недоимщика, Павла Семенова.

Пришел и тот, тоже не совсем, надо быть, складный мужик: он был длинный и все как-то старался стать боком и наклонить немного голову.

— Была ли у вас холера в селениях? — спросил его Вихров обыкновенным голосом.

— Что-с? — отвечал ему на это Павел, склоняя к нему еще больше свою голову.

— Была ли моровая язва, холера у вас? — повторил Вихров погромче.

— Ах, да, приехал! — отвечал Павел самодовольно, как бы поняв, наконец, в чем дело.

— Что такое *приехал?* — спросил Вихров с удивлением.

— Он глух немного,— вмешался, наконец, в этот разговор Клыков.

— Была ли у вас холера? — закричал Вихров на весь дом.

— Была, была! — поспешно отвечал Павел.

— Бога ради, нельзя ли немножко потише этого,— сказал Клыков почти умоляющим голосом,— у меня жена в таком положении, в самом критическом теперь!

— Что такое? — спросил Вихров.

— В критическом,— повторил Клыков,— последние часы девяти месяцев.

— Вот видите, это, значит, новое неудобство мне было останавливаться у вас.

— Напротив, это большое удобство для меня, потому что я не должен отлучаться от нее.

Вихров затем не так уже громко допросил Павла — и тот так же, как Родион, все подтвердил, что писал на него Клыков.

В это время человек внес водку и закуску, чрезвычайно красиво выглядывавшую.

Вихров, проголодавшийся дорогой, залпом выпил рюмку водки и закусил почти всего.

— Не прикажете ли еще? — предложил ему хозяин,

показывая на водку, но Вихров отказался и просил позвать ему нового недоимщика, но только потолковей немножко.

— Все ведь они здесь — пренеотесанный народ,— отвечал Клыков, уходя опять на цыпочках за недоимщиком.

Появившийся затем мужик назывался Сосипатром. В противоположность своим предшественникам, он, как видно, был не дурак, а напротив того — умница настоящая.

— Была ли у вас холера? — спросил его Вихров.

— Была, судырь, была!.. Это что говорить,— повторил несколько раз Сосипатр.

— И вот все эти крупные недоимщики (Вихров пересчитал имена недоимщиков) действительно в холеру померли?

— Да когда же, кормилец мой, когда же помереть-то им, как не в холеру! — почти воскликнул Сосипатр.

Вихров заглянул в список, в котором увидел, что на Сосипатре недоимки показано только один рубль.

— А на тебе недоимки всего один рубль? — спросил он его.

— Рубль-с! — подтвердил Сосипатр.

— Отчего же ты такой мелочи на заплатил?

— Крестьянские-то немощи наши, батюшка, немогуты-то наши крестьянские велики! — сказал Сосипатр.

Записывая это показание, Вихров вдруг начал чувствовать шум в голове; в глазах у него как-то темнело, тускнело, и какой-то пеленой все подергивалось.

— Что, у вас не угарно ли здесь? — спросил он хозяина, по-прежнему ходившего взад и вперед по гостиной.

— Может быть, и у меня что-то голова дурна; я сейчас велю открыть все вьюшки,— проговорил тот и, как бы озабоченный этим, ушел.

— Так это, ничего; немножко из печи угаром пахнуло,— сказал он, возвратившись и совершенно успокоившимся голосом.— Прикажете следующих недоимщиков позвать — и не лучше ли их всех гуртом? Что вам каждого особняком спрашивать!

— Нет, не нужно! И вообще никого не нужно: у меня голова очень кружится! — отвечал Вихров.

— Ах, боже мой, так не угодно ли вам отдохнуть? — произнес как бы снова озабоченным голосом Клыков.

— Да, немножко, а главное — позвольте мне теплой воды.

Клыков сбегал и принес ему теплой воды.

Вихров выпил ее и, выйдя в другую комнату, стал щекотать у себя в горле. Для него уже не оставалось никакого сомнения, что Клыков закатил ему в водке дурману. Принятый им способ сейчас же подействовал — и голова его мгновенно освежилась.

— Не угодно ли вам мятных капель? — говорил ему Клыков.

— Что ж, вам еще раз хочется отравить меня? — сказал ему насмешливо Вихров.

Клыков сделал вид, как будто бы и не понимает, что тот ему говорит. Вихров больше не пояснял ему, а взял фуражку и вышел на двор. Мужики-недоимщики еще стояли тут.

— Послушайте, братцы,— начал Вихров громко,— опекун показывает на вас, что вы не платили оброков, потому что у вас были пожары, хлеб градом выбивало, холерой главные недоимщики померли. Вы не смотрите, что я у него остановился. Мне решительно все равно, он или вы; мне нужна только одна правда, и потому говорите мне совершенно откровенно: справедливо ли то, что он пишет про вас, или нет?

Между мужиками сейчас же пошло шушуканье и переговоры.

— Что, разве было то? Где тут, ничего того не случалось! Ты поди! Да что мне идти, ты ступай!

— Это решительно все равно,— подхватил Вихров,— выходи кто хочет, но только один, и говори мне с толком.

После этого к нему вышел, наконец, из толпы мужик.

— Явка уж, судырь, от нас тебе написана! — сказал он, то поднимая глаза на Вихрова, то опуская их.

— Ну, так подай.

Мужик несмело подал ему бумагу, в которой было объяснено, что ни пожаров особенных, ни холеры очень большой у них не было, а также и неурожаев, что оброк они всегда опекуну платили исправно, и почему он все то пишет на них, они неизвестны.

Вихров свернул эту бумагу, положил ее в карман и возвратился в дом, чтобы объясниться с Клыковым. У него при этом губы даже от гнева дрожали и руки невольно сжимались в кулаки.

— Попрогулялись? — спросил его тот, опять встретив его с своей улыбкой в передней.

— Попрогулялся и, кроме того, получил весьма важные для меня сведения,— отвечал Вихров, все более и более выходя из себя.— Скажите, пожалуйста, monsieur Клыков,— продолжал он, употребляя над собой все усилия, чтобы не сказать чего-нибудь очень уж резкого,— какого имени заслуживает тот человек, который сначала говорит, что по его делу ему ничего не нужно, кроме полной справедливости, а потом, когда к нему приезжают чиновники обследовать это дело, он их опаивает дурманом, подставляет им для расспросов идиотов?

При этих словах Клыков побледнел.

— Это вас смутил кто-нибудь против меня,— говорил он, растопыривая перед Вихровым руки,— это все негодяи эти, должно быть!.. Между ними есть ужасные мерзавцы!

— Не лучше ли эти слова отнести к кому-нибудь другому, чем к мужикам!.. Дурман на меня перестал уж действовать, вам меня больше не отуманить!..— возразил ему тот.

— Помилуйте, да разве я могу себе позволить это,— произнес Клыков, опять разводя руками и склоняя перед Вихровым голову.

— Видно могли себе позволить; но, во всяком случае, извольте сейчас же мне написать, что все, что вы говорили о голоде, о пожарах и холере,— все это вы лгали.

— Не лгал, видит бог, не лгал,— проговорил Клыков со слезами уже на глазах.

— Подите вы, как же не стыдно вам еще говорить это! Если вы не дадите мне такой расписки, все равно я сам обследую дело строжайшим образом и опишу вас.

Клыков несколько времени стоял перед ним после этого молча; потом вдруг опустился на колени.

— Не погубите! — начал он мелодраматическим голосом.— Я отец семейства, у меня жена теперь умирает, я сам почти помешанный какой-то, ничего не могу сообразить. Уезжайте теперь, не доканчивайте вашего дела, а потом я соображу и попрошу о чем-нибудь для себя начальника губернии.

Вихров очень хорошо видел, что Клыков хочет от него увернуться и придумать какую-нибудь штуку; злоба против него еще более в нем забушевала.

— Дела вашего,— начал он,— я по закону не имею права останавливать и сейчас же уезжаю в самое имение, чтобы обследовать все ваши действия, как опекуна.

— Не по закону, а из жалости молю вас это сделать!.. Взгляните на мою жену, она не перенесет вашей строгости! — говорил Клыков и, вскочив, схватил Вихрова за руку с тем, кажется, чтобы вести его в спальню к жене.

— Не пойду я, извините меня,— отговаривался тот.

— Но все говорят, что вы — человек добрый, великодушный; неужели вы не сжалитесь над нами, несчастными?

— Нет-с, не сжалюсь! — воскликнул Вихров, которому омерзительна даже стала вся эта сцена.

Лицо Клыкова как бы мгновенно все передернулось и из плаксивого приняло какое-то ожесточенное выражение.

— Не раскайтесь, не раскайтесь! — заговорил он совсем другим тоном и начал при этом счищать приставшую к коленкам его пыль.— Начальник губернии будет за меня,— прибавил он язвительно.

— Тем более я сделаю не по вас, что господин начальник губернии будет за вас! — проговорил Вихров и снова вышел на двор.— Нет ли у вас, братцы, у кого-нибудь тележки довезти меня до вашей деревни; я там докончу ваше дело.

— Есть, батюшка,— отозвался ему один мужик,— у меня есть тележка.

— Ну, так подъезжай!

Мужик подъехал в грязной тележке, на какой-то неопределенного цвета и сверх того курчавой лошаденке.

Вихров полез в телегу.

— Не замарайся, родимый,— сказал мужик,— дай, я тебе хоть свой кафтанишко постелю.

— Не нужно! — сказал Вихров.— Только уезжай поскорее отсюда.

Мужик поехал. Прочие мужики пошли рядом с ним и, крупно шагая, не отставали от маленькой лошаденки. Вихров между тем жадно стал вдыхать в себя свежий осенний воздух. Влияние дурмана на него не совсем еще кончилось. Уехать со всякого следствия в дорогу было для него всегда величайшим наслаждением. После всех гадостей и мерзостей, которые обыкновенно обнаруживались при каждом почти исследовании деяний человеческих, он видел тихий, мирный лес, цветущие луга, желтеющие нивы,— о, как тогда казалась ему природа лучше людей! Проезжаемая на этот раз местность тоже была довольно приятна и успо-

коительна: небольшие холмы, поля, речка, мостик, опять холмы, поля...

Вихров принялся толковать с мужиками.

— В самом деле жена у вашего опекуна родит? — спросил он, предполагая, что Клыков и это солгал ему.

— Выкинула, сказывали,— отвечал шедший рядом с его телегой мужик, должно быть, староста.

— За неволю выкинула; бают, бил, бил ее, приехавши из города-то,— подхватил другой мужик из толпы.

— Как, бил? За что? — воскликнул Вихров.

— А ни за што, ни про што,— отвечал опять староста,— нехорошо, очень несогласно живут!

— А она-то что же, дурная тоже женщина?

— Нет, она-то ничего, не богатая только, вот за это и срывает на ней свой гнев. Бумагу-то, говорят, как по этому делу получил, злой-презлой стал и все привязывался к ней: «Все, говорит, я на семейство проживаюсь!»

Понятно, что Клыков был один из отъявленнейших негодяев, и Вихров дал себе слово так повести его дело, чтобы подвергнуть его не только денежному взысканию, но даже уголовной ответственности.

— Скажите, пожалуйста, как же он вами управлял и в какой мере вас обижал?..— спрашивал он мужиков.

За всех за них стал отвечать староста: народ в этих местах был хлебопашествующий, а потому — очень простой.

— Вот видишь, батюшка ты мой,— объяснил староста,— слух был такой попервоначалу... Чиновники тоже кой-какие маленькие нам сказывали, что мы вольные будем, что молодой барин наш имение маменьки своей не взял, побрезговал им. Однако же вот слышим-прослышим, что молодой барин в опекуны к нам прислан; так он и правил нами и до сей поры.

— И вы на него, как на помещика своего, работали?

— Все едино! — отвечал мужик.— Что ни есть, кормилиц к детям, и тех все из нашей вотчины брал без всякой платы; нашьет им тоже сначала ситцевых сарафанов, а как откормят, так и отберет назад.

Все это, как самый придирчивый подьячий, Вихров запоминал и хотел ввести в дело.

— То нам, ваше высокородие, теперь очення сумнительно,— продолжал староста,— что аки бы от нашей вотчины прошение есть, чтобы господину опекуну еще под

наше имение денег выдали, и что мы беремся их платить, но мы николи такого прошения не подавали.

Вихров и это все записал и, приехав в одну из деревень, отбирал от мужиков показания — день, два, три, опросил даже мужиков соседних деревень в подтверждение того что ни пожаров, ни неурожаев особенных за последнее время не было. Он вытребовал также и самое дело из опеки по этому имению; оказалось, что такое прошение от мужиков действительно было там; поименованные в нем мужики наотрез объявили, что они такого прошения не подавали и подписавшегося за них какого-то Емельяна Крестова совсем не знают, да его, вероятно, совсем и на свете не существует. Вихров потирал только руки от удовольствия: это явно уж отзывалось уголовщиной. Мужики потом рассказали ему, что опекун в ту же ночь, как Вихров уехал от него, созывал их всех к себе, приказывал им, чтобы они ничего против него не показывали, требовал от них оброки, и когда они сказали ему, что до решения дела они оброка ему не дадут, он грозился их пересечь и велел было уж своим людям дворовым розги принести, но они не дались ему и ушли.

— И хорошо сделали! — одобрил их Вихров.

Вслед за тем мужики ему объявили, что опекун уехал в губернский город жаловаться на них и на чиновника.

— Ничего, пусть себе жалуется,— сказал им Вихров.

XV

ТУЧИ НАЧИНАЮТ СОБИРАТЬСЯ

Герой мой очень хорошо понимал, что в жизни вообще а в службе в особенности, очень много мерзавцев и что для противодействия им мало одной энергии, но надобно еще и суметь это сделать, а также и то, что для человека, задавшего себе эту задачу, это труд и подвиг великий; а потому, вернувшись со следствия об опекунских деяниях Клыкова, он решился прежде всего заехать к прокурору и посоветоваться с ним. Тот встретил его с какой-то полуулыбкой.

Вихров рассказал ему все дело подробно.

— Я уж слышал это,— отвечал Иларион Захаревский,— губернатор приглашал меня по этому делу и говорил со мною о нем.

— Что же именно? — спросил Вихров.

Захаревский усмехнулся.

— Они тут совсем другой оборот дают! — начал он.— Они говорят, что вы взбунтовали все имение против опекуна!

— Чем же я взбунтовал? — спросил Вихров.

— Тем, что вы собирали их, говорили им речи, чтобы они не слушались опекуна.

— Я говорил им только, чтобы они показывали правду.

— Ну, а они объясняют, что вы к ним воззвание произносили! Давать всему какой угодно оттенок — они мастера; однако позвольте мне ваше дело посмотреть,— прибавил Захаревский, увидев в руках Вихрова дело.

Тот ему подал его, Захаревский просмотрел его с первой страницы до последней.

— Все очень обстоятельно обследовано; не знаю, как они вывернутся тут! — проговорил он.

— Мало, что обстоятельно обследовано, но у меня еще есть и другие факты... Он хотел меня даже отравить!..

И Вихров рассказал историю о дурмане.

Захаревский на это пожал только плечами.

— Что же они намерены теперь сделать с своей стороны? — спросил Вихров.

— Решительно не знаю,— отвечал Захаревский.— Губернатор только спрашивал меня, не следует ли команды ввести в именье. Я говорю, что команды вводятся, когда уже испытают прежде все предварительные полицейские меры. Пусть прежде туда выедет полиция, члены опеки и внушат крестьянам повиновение; наконец, говорю, еще не известно, что откроется по исследованию вашего чиновника, и, может быть, действия опекуна таковы, что его самого следует удалить и что крестьяне оказывают неповиновение только против него. «Никогда, говорит, не может быть этого, потому что он человек прекрасный!»

— Хорош прекрасный человек! — воскликнул Вихров.

— Он его, по крайней мере, таким считает!.. Сам же Клыков, как слышал я, ускакал в Петербург, вероятно, там выдумает что-нибудь отличное! — заключил Захаревский и, видимо, от сдерживаемой досады не в состоянии даже был покойно сидеть на месте, а встал и начал ходить по комнате.— Это такие, батюшка, изобретатели и творцы в этом роде, что чудо! Все усилия, все способности свои употребляют на это. Говорят, по случаю вакансии председ-

дателя уголовной палаты, они тоже славную вещь затевают. Кандидатом у того совестный судья...

— Это что на театре не хотел играть у губернатора? — подхватил Вихров.

— Тот самый; во-первых — человек безукоризненной честности, во-вторых — самостоятельный, и он вдруг предположил... Они в этом своем величии опьяневают как-то и забывают всякое приличие!.. Предположил заместить его Пиколовым — этой дрянью, швалью, так что это почти публичное признанье в своей связи с его женою!

Говоря это, прокурор побледнел даже и беспрестанно потрясал своей сухощавой головой.

— Но как же он это сделает? — спросил Вихров.— Председатели палаты — по выборам... Пиколова, вероятно, все черняками закидают.

— Очень просто! Просто очень!—отвечал прокурор.— До выбора еще два года с лишком; он кандидата на это место, судью, очернит чем-нибудь — и взамен его представит определить от короны господина Пиколова.

— Ну, судья-то, кажется, не дастся ему очернить себя, он не из таких — сам зубаст! — возразил Вихров.

— Не дастся!.. Хорошо, если успеет в этом! — сказал прокурор.— Говорят, хочет ехать в Петербург и хлопотать там.

— Наконец, и вы должны помочь ему; вы все-таки здесь — царское око! — подхватил Вихров.

— Я, конечно, с своей стороны сделаю все,— продолжал Захаревский,— напишу министру и объясню всю интригу; пусть там меня переводят куда хотят, но терпения моего больше недостает переносить все это!

Всеми этими речами прокурор очень нравился Вихрову.

— Так следствие мое, значит, складно произведено? — спросил он.

— Очень складно! — отвечал прокурор.— Пусть они пожуют его и покусают; я очень рад, что оно — в том же роде, как и штука с судьей, так что все это мы можем вместе соединить.

— Поеду представлять ему дело,— сказал Вихров.

— Поезжайте и заезжайте, пожалуйста, оттуда сказать, что он вам будет говорить.

— Непременно! — отвечал Вихров и уехал.

Ему весело даже было подумать о том, как у начальника губернии вытянется физиономия, когда он будет ему

рассказывать, как он произвел следствие; но — увы! — надежда его в этом случае не сбылась: в приемной губернатора он, как водится, застал скучающего адъютанта; сей молодой офицер пробовал было и газету читать и в окно глядеть, но ничего не помогало, все было скучно! Он начал, наконец, истерически зевать. При появлении Вихрова он посмотрел на него сонными глазами.

— К Ивану Алексеевичу? — спросил он его как-то нехотя и сам в это время позевнул.

— Да,— отвечал Вихров и тоже, по симпатии, невольно позевнул.

— Вам тоже, видно, спать хочется? — сказал адъютант.

— Я всю ночь ехал,— отвечал Вихров.

— А я время проводил с прехорошенькой женщиной,— отвечал адъютант и снова самым отчаянным образом зевнул.

«О, чтобы тебя черт побрал!» — подумал Вихров и вместе с тем не удержался и сам зевнул.

— Иван Алексеевич посылал за вами, или вы сами пришли к нему? — продолжал лениво адъютант.

— Сам пришел,— отвечал Вихров.

— Он занят теперь и не велел никого принимать,— говорил адъютант, снова зевая.

— Чем же занят? — спросил Вихров, стараясь удержать свои мускулы от зевоты.

— Шорник у него; сбрую подряжает его новую сделать,— отвечал наивно адъютант.

Вихров, делать нечего, сел и стал дожидаться.

Адъютант был преданнейшее существо губернатору,— и хоть тот вовсе не посвящал его ни в какие тайны свои, он, однако, по какому-то чутью угадывал, к кому начальник губернии расположен был и к кому — нет. Когда, на этот раз, Вихров вошел в приемную, адъютант сейчас же по его физиономии прочел, что начальник губернии не был к нему расположен, а потому он и не спешил об нем докладывать.

Терпение Вихрова, наконец, лопнуло.

— Доложите, пожалуйста; может быть, он уже с шорником кончил,— проговорил он.

— А у вас нужное разве дело?

— Очень нужное! — подхватил Вихров.

Адъютант лениво пошел в кабинет. Там он пробыл

довольно долго. Начальник губернии, после его доклада, все почему-то не удостоивал его ответа и смотрел на бумагу.

— Пусть подождет, я выйду туда,— сказал он наконец.

— Он сюда выйдет! — проговорил еще небрежнее адъютант и, сев на свое место, не стал даже и разговаривать с Вихровым, который, прождав еще с час, хотел было оставить дело и уехать, но дверь из кабинета отворилась наконец — и губернатор показался; просителей на этот раз никого не было.

Губернатор подошел к вставшему на ноги Вихрову и ни слова не начинал говорить, как бы ожидая, что тот скажет.

Вихров подал ему рапорт о деле и назвал последнее только по имени.

Губернатор пробежал его рапорт с начала до конца.

— Там крестьяне, говорят, оказали неповиновение,— проговорил он, наконец, каким-то глухим голосом.

— Я не видал никакого неповиновения,— отвечал Вихров.

— Я говорю не в отношении вас, а в отношении опекуна,— произнес губернатор самым равнодушным тоном, как бы не принимая в этом деле никакого личного участия.

— Я не слыхал об этом,— отвечал Вихров.

— Мне по этому делу, может быть, опять придется послать,— проговорил губернатор и с делом ушел в кабинет.

Вихров остался в совершенном недоумении от такого приема и поехал, по своему обещанию, рассказать об том прокурору. Там он застал Виссариона Захаревского.

Вихров сейчас же стал рассказывать, как губернатор его принял:

— Во-первых, в кабинет к себе не пустил и заставил дожидаться часа два; я по этому заключил, что он очень гневен был на меня; но потом, когда он вышел в приемную, то был тих и спокоен, как ангел!

— Ну, ваше дело, значит, плохо,— подхватил прокурор,—значит, он запасся против вас серьезными фактами, по которым он жамкнет и давнет вас отличнейшим образом.

— Это почему вы думаете? — спросил Вихров.

— Потому что, если бы он не чувствовал против вас

силы, он бы бесновался, кричал, как он обыкновенно делает всегда с людьми, против которых он ничего не может сделать, но с вами он был тих и спокоен: значит, вы у него в лапках — и он вас задушит, когда только ему вздумается.

— А, черт с ним, что же он такое особенное может сделать со мной! — воскликнул Вихров.

— Я не знаю, что, собственно, по этому делу, о котором говорит мой брат,— вмешался в их разговор инженер,— но вот чему я вчера был сам свидетелем. Он позвал меня посмотреть, чтобы поправить ему потолок в зале, и в это же время я в зале вижу — стоит какой-то поп. Я спросил дежурного чиновника: «Кто это такой?» Он говорит: «Это единоверческий священник!» Губернатор, как вышел, так сейчас же подошел к нему, и он при мне же стал ему жаловаться именно на вас, что вы там послабляли, что ли, раскольникам... и какая-то становая собирала какие-то деньги для вас,— так что губернатор, видя, что тот что-то такое серьезное хочет ему донести, отвел его в сторону от меня и стал с ним потихоньку разговаривать.

— Это уж еще что-то такое новое на меня! — сказал Вихров прокурору.

— Теперь так это и пойдет; вероятно, даже будет нарочно выискивать и подучать,— сказал тот.

— Но, наконец, это скучно и несносно становится! — произнес Вихров и, возмущенный до глубины души всем этим, уехал домой и сейчас же принялся писать к Мари.

«Обожаемая, но жестокая кузина! Вы до сих пор не отвечаете мне на мое письмо, а между тем я сгораю от нетерпения в ожидании вашего ответа, который один может спасти и утешить меня в моем гадком положении!.. Знаете ли вы, что, может быть, нет более трагического положения, как положение человека, который бы у нас в России вздумал честно служить. Трудно вообразить себе — до какой деморализации дошло у нас так называемое чиновничество. На целый губернский город выищется не более двух — трех сносно честных людей, за которых, вероятно, бог и терпит сей град на земле, но которых, тем не менее, все-таки со временем съедят и выживут. Я только еще успел немножко почестней пошевелиться в этом омуте всевозможных гадостей и мерзостей, как на меня сейчас же пошли доносы и изветы, но я дал себе слово биться до конца — пусть даже ссылают меня за то в Сибирь, ибо без

благоприятного ответа вашего на последнее письмо мое — мне решительно это все равно. «Я плыву и плыву через мглу на скалу и сложу мою главу неоплаканную!» Помните эти стихи, которые я читал вам еще в юности? Жду вашего письма».

XVI

РАЗБОЙНИКИ

Первое намерение начальника губернии было, кажется, допечь моего героя неприятными делами. Не больше как через неделю Вихров, сидя у себя в комнате, увидел, что на двор к ним въехал на ломовом извозчике с кипами бумаг солдат, в котором он узнал сторожа из канцелярии губернатора.

— Дело, ваше благородие, привез к вам,— сказал тот, входя к нему в комнату.

— Как, дело привез? — спросил с удивлением Вихров.

— Больно, дьявол, велико оно; позвольте, ваше благородие, таскать его в горницу.

— Таскай,— сказал Вихров.

Солдат сначала притащил один том, потом другой, третий и, наконец, восемь.

— Какое же это дело? — спросил Вихров.

— Все вот этих разбойников; десять раз уж я таскаю его к разным господам чиновникам.

Вихров взял из рук солдата предписание, в котором очень коротко было сказано: «Препровождая к вашему благородию дело о поимке в Новоперховском уезде шайки разбойников, предписываю вам докончить оное и представить ко мне в самом непродолжительном времени обратно».

— Это, ваше благородие, все уголовная палата делает,— толковал ему солдат,— велико оно очень — и, чтобы не судить его, она и перепихивает его к нам в канцелярию; а мы вот и таскайся с ним!.. На свой счет, ваше благородие, извозчика нанимал, ей-богу,— казначей не дает денег. «Неси, говорит, на себе!» Ну, стащишь ли, ваше благородие, экого черта на себе!

Вихров сжалился над бедным сторожем и заплатил за извозчика.

— Дай бог только, ваше благородие, последний раз уж его таскать-с,— сказал тот и ушел.

Вихров принялся читать препровожденные к нему восемь томов — и из разной бесполезнейшей и ненужной переписки он успел, наконец, извлечь, что в Новоперховском уезде появилась шайка разбойников из шестнадцати человек, под предводительством атамана Гулливого и есаула Сарапки, что они убили волостного голову, грабили на дорогах, сожгли фабрику одного помещика и, наконец, особо наряженной комиссиею были пойманы. В деле (как увидел Вихров, внимательно рассмотрев его) не разъяснено было только одно обстоятельство: крестьянка Елизавета Семенова показывала, что она проживала у разбойников и находилась с ними в связи, но сами разбойники не были о том спрошены.

Вихров в ту же ночь поехал в Новоперхов, где разбойники содержались в остроге; приехав в этот городишко наутре, он послал городничему отношение, чтобы тот выслал к нему за конвоем атамана Гулливого, есаула Сарапку и крестьянку Елизавету Семенову, а сам лег отдохнуть на диван и сейчас же заснул крепчайшим сном, сквозь который он потом явственно начал различать какой-то странный шум. Он взмахнул глазами; перед ним, у самой почти головы его, стоял высокий мужик, с усами, с бородой, но обритый и с кандалами на руках и на ногах. Вихров сейчас же догадался, что это был атаман разбойничий. Он поспешил приподняться с дивана и поотодвинуться от него.

— Крепко же вы, барин, спали,— проговорил разбойник с улыбкой.

Вихров всмотрелся повнимательнее в его лицо: оно было желтоватое, испещренное бороздами, по выражению умное, но не доброе. Впрочем, упорный взгляд сероватых изжелта глаз скорей обнаруживал твердый характер, чем жестокость.

— Ты — атаман Гулливый? — спросил его Вихров.

— Атаман самый и есть,— отвечал тот.

— Что же, ты не убить ли уж меня собирался? — пошутил Вихров, видя, что Гулливому достаточно было сделать одно движение руками в кандалах, чтобы размозжить ему голову.

— Пошто мне вас убивать, чтой-то, господи! — произнес атаман.

Вихров решился расспросить его о том, чего решительно не было в деле.

— Отчего и каким образом ты в разбойниках очутился? — спросил он его.

— По ненависти к голове.

— Да ты казенный?

— Казенный! Всю семью он нашу извел: сначала с родителем нашим поссорился; тот в старшинах сидел — он начет на него сделал, а потом обчество уговорил, чтобы того сослали на поселенье; меня тоже ладил, чтобы в солдаты сдать,— я уже не стерпел того и бежал!

— За что же он так преследовал вас?

— За то самое, что родитель наш эти самые деньги вместе с ним прогулял, а как начали его считать, он и не покрыл его: «Я, говорит, не один, а вместе с головой пил на эти деньги-то!» — ну, тому и досадно это было.

— Как же ты бежал и куда?

— На Волгу бурлаком ушел; там важно насчет этого, сколько хошь народу можно уйти... по пословице: вода — сама метла, что хошь по ней ни пройди, все гладко будет!

— Как же ты шайку-то потом собрал?

— Да я уж на Низовье жил с год, да по жене больно стосковался,— стал писать ей, что ворочусь домой, а она мне пишет, что не надо, что голова стращает: «Как он, говорит, попадется мне в руки, так сейчас его в кандалы!..» — Я думал, что ж, мне все одно в кандалах-то быть,— и убил его...

— Ну, и убил бы! Зачем же разбойничал потом?

— Как же убьешь его без разбою-то? В селение к нему прийти — схватят; в правлении он сидит со стражей; значит, на дороге надо было где-нибудь поймать его, а он тоже ездил парой все, с кучером и писарем; я шайку и собрал для того.

— Однако по делу видно, что ты одного его встретил.

— Да уж это случайно так вышло: я в селение-то свое пришел узнать, что когда он приедет, а тут мне и говорят, что он сам у нас в деревне и будет ворочаться домой. «А кто, я говорю, с ним?» — «Всего, говорят, один едет!» Я думал — что времени медлить, вышел сейчас в поле, завалил корягой мост, по которому ему надо было ехать, и стал его ждать тут. Он едет пьяный, еле сидит в телеге-то, я сейчас взял его лошадь под уздцы. Он как взмахнул

на меня глазами-то, сейчас признал,— слух тоже был уж про нас, что мы пошаливаем в окрестностях,— взмолился мне: «Отпусти, говорит, душу на покаяние!» Я говорю: «Покайся, это твое дело, а живого уж не отпущу». Перекрестился он раза три — и затем я его застрелил из винтовки.

— А больше ты никого не убивал?

— Больше из своих рук никого... и всегда даже ругал других, ежели кто без надобности кровь проливал.

— Где ж ты приставал с шайкой? — спросил Вихров.

— Да сначала хутор у одного барина пустой в лесу стоял, так в нем мы жили; ну, так тоже спознали нас там скоро; мы перешли потом в Жигулеву гору на Волгу; там отлично было: спокойно, безопасно!

— Чем же?

— Тем, что ни с которой стороны к той горе подойти нельзя, а можно только водою подъехать, а в ней пещера есть. Водой сейчас подъехали к этой пещере, лодку втащили за собой,— и никто не догадается, что тут люди есть.

— Но и к вам точно так же водой могли подъехать?

— Тогда у нас земляной ход был вырыт совсем в другую сторону и дерном закрыт! Там нас никогда не словили бы; сыро только очень было жить, и лихорадка со многими стала делаться.

— Где же вас поймали?

— В кабаке! За вином всего в третий раз с Сарапкой пришли,— тут и захватили, а прочую шайку взяли уж по приказу от Сарапки: он им с нищим рукавицу свою послал — и будто бы приказывает, чтобы они выходили в такое-то место; те и вышли, а там солдаты были и переловили их.

— Стало быть, он изменил вам?

— Известно уж, не поберег; меня было сначала заставляли и розгами даже пугали, я сказал: «Хоть в жерло огненное бросьте, и тогда я того не сделаю, потому я всей шайке клятву давал не выдавать их николи».

— А Сарапка разве не давал?

— И Сарапка давал; оба начальника мы давали; ну, он тоже, видно, не побоялся бога, а шкуры своей больше пожалел.

Вихров заинтересовался видеть и Сарапку.

— А он приведен вместе с тобой? — спросил он.

— Приведен,— отвечал Гулливый,— в передней тут стоит.

Вихров велел ввести Сарапку.

Два солдата ввели есаула. Это был горбатый мужичонко, с белокурой головой и белокурой бородой, в плечах широкий и совсем почти без шеи.

— Ты силен? — спросил его Вихров.

— Ничего, силен! — отвечал ему Сарапка.

— А зачем ты в разбойники пошел?

— От бедности, в кабале большой был у хозяина.

— Ему бы лет сто от кабалы-то не отслужиться,— он взял да и бежал,— объяснил за него Гулливый.

— Много ли ты душ загубил? — продолжал его расспрашивать Вихров.

Сарапка посмотрел на него исподлобья.

— Я уж говорил-то-тко, сколько,— произнес он.

Вихров заглянул в дело.

— Там сказано: двенадцать душ,— проговорил Вихров.

— Ну, коли двенадцать, так та́к!

— Верно это?

— Верно.

— Да ты не клеплешь ли на себя, чтобы дольше сидеть в остроге?

— Нет, не клеплю,— отвечал Сарапка.

— Показал правильно,— подтвердил и атаман.

— Отчего же он столько перегубил — зол, что ли, он?

— Кто его знает — зол ли больно, али трусоват: оставь-ко кого в живых-то, так, пожалуй, и докажет потом, а уж мертвый-то не пикнет никому.

— Правда это? — переспросил Вихров Сарапку.

— Правда! — отвечал тот как-то сердито.

— Вот видите что-с,— продолжал Вихров, снова начав рассматривать дело.— Крестьянская жена Елизавета Петрова показывает, что она к вам в шайку ходила и знакомство с вами вела: правда это или нет?

— Слышали мы, сударь, это,— начал отвечать атаман,— сказывали, что бабенка какая-то болтает это,— и в остроге, говорят, она содержится за то; но не помним мы как-то того,— хаживали точно что к нам из разных селений женщины: которую грозой, а которую и деньгами к себе мы прилучали, но чтобы Елизавета Петрова какая была,— не помним.

— Ну, а ты не помнишь ли? — спросил Вихров Сарапку.

— Нет, и я не помню тоже! — отвечал тот.

— А вам не показывали ее? — спросил Вихров уже атамана.

— Нет-с, въявь-то не показывали; может, и признаем, как в лицо-то увидим.

— Я вам ее покажу, когда отберу от нее показание, а вы выйдите пока!

Разбойники с своими конвойными вышли вниз в избу, а вместо их другие конвойные ввели Елизавету Петрову. Она весело и улыбаясь вошла в комнату, занимаемую Вихровым; одета она была в нанковую поддевку, в башмаки; на голове у ней был новый, нарядный платок. Собой она была очень красивая брюнетка и стройна станом. Вихров велел солдату выйти и остался с ней наедине, чтобы она была откровеннее.

— Скажи, пожалуйста, как ты попала в это дело разбойничье? — спросил он ее.

— Тут чиновники вот тоже были; я сама пришла к ним и сказалась, — отвечала она довольно бойко.

— Что же ты сказалась?

— Что я с разбойниками этими самыми в знати была.

— Но они, однако, говорят, что не знают тебя...

— А пес их знает, пошто они это говорят.

— А ты утверждаешь, что их знаешь?

— Утверждаю.

— Что с обоими с ними — с атаманом и есаулом — даже была близка?

— Известно...

— Стало быть, ты дурного поведения?

— Какая уж есть, такая и живу,— отвечала Лизавета, слегка улыбнувшись.

— Что же, у тебя есть муж?

— Муж есть, и свекор, и свекровь.

— Может быть, тебе жить у них было плохо?

— Какое же плохо? Так, как у всех баб,— отвечала Лизавета и как будто бы сконфузилась при этом немного.

— А мужа ты любишь?

При этом вопросе Лизавета явно уж покраснела.

— Люблю! — протянула она.

— А что он — старый али молодой?

— А кто его знает — средственный.

— А собой красив?

— Ничего, красив!

— Позовите атамана! — крикнул Вихров.

Через несколько мгновений вошел атаман.

Он сначала поклонился Лизавете. Лицо его явно выражало, что он ее не знает. Она тоже ему поклонилась и при этом слегка усмехнулась.

— Знаешь ты ее? — спросил Вихров атамана.

Тот еще несколько времени пристально посмотрел на Лизавету.

— Никак нет-с, сударь! — отвечал он.

— А она говорит, что тебя знает,— сказал Вихров.

— Не знаю, где она меня знала,— отвечал атаман и пожал даже от удивления плечами.

— Как же не знаю, — знаю, — отвечала Лизавета с не сходящей с уст улыбкой.

— Знает так, что и любовницей твоей была; была ведь? — спросил Вихров Лизавету.

— Была-с,— проговорила она и при этом опять заметно сконфузилась.

— И любовницей даже была — здравствуйте, мое вам почтение! — произнес шутя и с удивлением атаман.

— Что же, не была? — спросил его Вихров.

— Какое, сударь, помилуйте! Как же она любовницей моей могла быть, коли я и не видывал ее?

— Нет, врешь, шалишь, видывал! — подхватила бойко Лизавета.

— Ну, где же я тебя видывал, где? — начал как бы увещевать ее атаман. — Я, дура ты экая, в душегубстве повинился; пожалел ли бы я тебя оговорить, как бы только это правда была?

Лизавета слушала его стоя, отвернувшись к окну и смотря на улицу.

— Позовите теперь Сарапку,— сказал Вихров, чтобы с обоими разбойниками дать Лизавете очную ставку.

Тот вошел и никакого, в противоположность атаману, внимания не обратил на Лизавету.

— Ты знаешь ее? — спросил его Вихров.

— Нет, — отвечал Сарапка, не глядя на Лизавету.

— Вот видишь, и этот говорит, что тебя не знает.

— Да хоть бы они все говорили, — не сказывают, запираются.

Атаман усмехнулся.

— Есть нам из-за чего запираться-то, — начал он,— ну, коли ты говоришь, что у нас была, — где же ты у нас была?

— В лесу! — отвечала Лизавета.

— Да ведь лес велик! Кое место в лесу?

— На хуторе барском!..

Атаман с удивлением пожал плечами, а Сарапка при этом только исподлобья на нее взглянул.

— Что ж ты делала у них? — спросил уж ее Вихров.

— Пила, разговаривала с ними.

— О чем?

— Они спрашивали, кои у нас мужики богаты, чтобы ограбить их; я им сказывала.

— А они что тебе рассказывали?

— Рассказывали, что бабу около нашего селенья убили.

— Было это? — спросил Вихров атамана.

— Было, точно-с. Вон он и убил! — отвечал атаман, показывая головой на Сарапку.

— Так ты стоишь на своем, что была с разбойниками в согласии? — спросил Вихров Лизавету.

— Стою, — отвечала та.

— А вы стоите, что не была? — прибавил он разбойникам.

— Стоим-с,— отвечал атаман.

— Ну, хорошо, — сказал Вихров и разбойников велел опять вывести, а Лизавету оставить.

Несколько времени он смотрел ей в лицо; она стояла и как бы усмехалась.

— Послушай,— начал он, — зачем ты наговариваешь на себя? Если ты мне не скажешь причины тому, я сейчас же тебя из острога выпущу и от всякого дела освобожу.

Лизавета побледнела.

— Да как же вы меня выпустите, коли я сама говорю?

— Это ничего не значит: твои слова не подтверждаются.

— А коли скажу, вы не выпустите меня? — спросила Лизавета.

— Если скажешь, не выпущу!

— Мне в Сибирь хочется уйти — вот зачем! — отвечала Лизавета, и у нее вдруг наполнились глаза слезами.

— Зачем же тебе в Сибирь уйти хочется?

— Чтобы с мужем не жить!

— А ты не любишь его?

— Нет, по неволе я выдана.

— Ну, да ты так бы куда-нибудь от него отпросилась.

— Не пускает, все лезет ко мне: вот и в острог теперь все ходит ко мне. А что, сударь, коли я в Сибирь уйду, он никогда уже не может меня к себе воротить?

— Никогда.

Лицо Лизаветы окончательно просияло.

— И ты твердо и непременно решилась уйти от него?

— Еще бы не твердо, а не то руки на себя наложу.

— И никогда не раскаешься в том, что сделала это?

— Николи! Мне вот говорят, что наказывать меня будут,— да пусть себе наказывают. Лучше временное претерпеть мучение, чем весь век маяться.

Вихров пожал плечами и стал ходить по комнате.

— Вот видишь, — начал он, — я не имею права этого сказать, но ты сама попроси атамана, чтобы он тебя оговорил; я вас оставлю с ним вдвоем.

Сказав это, он снова велел ввести атамана, а сам, будто бы случайно, вышел в другую комнату.

Он слышал, что Лизавета что-то долго и негромко говорила атаману, а когда, наконец, разговор между ними совершенно прекратился, — он вошел к ним. Лицо у Лизаветы было заплакано, а атаман стоял и грустно усмехался.

— Что вы, столковались ли? — спросил Вихров.

— Да теперь точно что,— отвечал атаман с прежней усмешкой, — припомнил, она была у нас.

— И вести вам давала?

— Давала и вести.

— И вы ей о разбоях рассказывали?

— Рассказывали.

— И ты начальству об том никому не объявляла?

— Не объявляла-с,— отвечала Лизавета.

Вихров все это записал.

— Ну, теперь крепко; смотри, — прибавил он Лизавете, — не раскайся и не попеняй после на нас.

— О, нет-с, сударь, как это возможно! — возразила Лизавета.— Благодарю только покорно!.. Благодарю и вас оченно! — прибавила она уже с некоторым кокетством и атаману.

Тот покачал только головой.

— Баба-то что оно значит, удивительная вещь, право! — проговорил он.

Отпустив затем разбойников и Лизавету, Вихров подошел к окну и невольно начал смотреть, как конвойные, с ружьями под приклад, повели их по площади, наполненной по случаю базара народом. Лизавета шла весело и даже как бы несколько гордо. Атаман был задумчив и только по временам поворачивал то туда, то сюда голову свою к народу. Сарапка шел, потупившись, и ни на кого не смотрел.

Всем им народ беспрестанно подавал: кто копейку, кто калач. Гарнизонные солдаты шли за преступниками, ковыляя и заплетаясь своими старческими ногами

XVII

БЕГУНЫ

Дня через три Вихров опять уже ехал по новому поручению, в тарантасе, с непременным членом земского суда.

Губернатор послал его в этот раз на довольно даже опасное поручение: помощник его, непременный член суда (сам исправник схитрил и сказался больным), был очень еще молодой человек, с оловянными, тусклыми глазами и с отвислыми губами.

— Лес этот, где мы будем отыскивать бегунов, большой? — спросил его Вихров.

— Больсой-с, я думаю-с! — просюсюкал член суда.

— Что ж, нам надобно будет взять народу, мужиков?

— Возьмем-с, я сбегаю-с.

Вихров больше и говорить с ним не стал, видя, что какого-нибудь совета полезного от него получить не было возможности; чем более они потом начали приближаться к месту их назначения, тем лесистее делались окрестности; селений было почти не видать, а все пошли какие-то ровные поляны, кругом коих по всему горизонту шел лес, а сверху виднелось небо.

— Ты Поярково-то самое знаешь? — спросил Вихров кучера, посмотрев в предписание, в котором было сказано, что бегуны укрываются в лесах близ деревни Поярково.

— Знаю-с, — отвечал тот.

— Подъехав к селению, — продолжал ему приказывать Вихров, — ты остановись у околицы, а вы сходите

и созовите понятых и приведите их ко мне, — обратился он к члену суда.

— Слушаю-с, — отвечал тот.

Кучер у первой же попавшейся на дороге и очень большой деревни остановил лошадей.

— Вот и Поярково!—сказал он, обращаясь к Вихрову.

— Я пойду-с теперь,—сказал непременный член и как-то ужасно неловко вылез из тарантаса. Когда он встал на ноги, то оказалось (Вихров до этого видел его только сидящим)... оказалось, что он был необыкновенно худой, высокий, в какой-то длинной-предлинной ваточной шинели, надетой в рукава и подпоясанной шерстяным шарфом; уши у него были тоже подвязаны, а на руках надеты зеленые замшевые перчатки; фамилия этого молодого человека была Мелков; он был маменькин сынок, поучился немного в корпусе, оттуда она по расстроенному здоровью его взяла назад, потом он жил у нее все в деревне — и в последнюю баллотировку его почти из жалости выбрали в члены суда. Настоящее служебное поручение было первое еще в жизни для него. Выскочив из тарантаса, он побежал в деревню и только что появился в ней, как на него со всех сторон понеслись собаки. Отмахиваясь от них своими длинными рукавами, он закричал, но собаки еще пуще на него накинулись, и одна из них, более других смелая, стала хватать его за шинель и разорвала ее. Мелков закричал благим матом и, вскочив потом, как сумасшедший, на скат лесу, начал оттуда ругаться:

— Черти, дьяволы! Выпустили ваших собак, уймите их — говорят вам!

Находившиеся на улице бабы уняли, наконец, собак, а Мелков, потребовав огромный кол, только с этим орудием слез с бревна и пошел по деревне. Вихров тоже вылез из тарантаса и стал осматривать пистолеты свои, которые он взял с собой, так как в земском суде ему прямо сказали, что поручение это не безопасно.

Мелков, впрочем, не заставил себя долго ждать. Он собрал человек двадцать мужиков, вызвал сотского и со всей этой ватагой шел к Вихрову, продолжая все ругаться:

— Дьяволы экие, завели каких собак; я вот всех вас в суд представлю!

— Вот-с, привел, — сказал он, подходя к Вихрову. — Это вот губернаторский чиновник,— сказал он мужикам.

Сотский и все мужики сняли при этом сейчас же шапки. Макушки на головах у них оказались выстриженными.

— В лесу около вашего селенья,— начал Вихров, обращаясь к мужикам, — проживают и скрываются бегуны-раскольники, без паспортов, без видов; правительство не желает этого допускать — и потому вы должны пособить нам переловить всех их.

Мужики некоторое время молчали,— и только один или двое из них произнесли неполным голосом:

— Здесь словно бы никаких бегунов не проживает.

— А вот это мы увидим, когда осмотрим лес, — сказал Вихров. — Сотский, ты должен лучше всех знать: есть здесь слух о каких-нибудь бегунах? — обратился он вдруг к сотскому.

Тот, стоя все еще с непокрытой головой, покраснел весь при этом.

— Нет, ваше благородие, не слыхали мы,— произнес он с дрожащими губами.

— Ну, я по твоему лицу вижу, что ты слыхал, — сказал ему Вихров и затем обратился к Мелкову: — Есть с вами какое-нибудь оружие?

— А вот-с — кол! — отвечал тот, показывая на кол свой, который он все еще держал в руках.

— Ну, это еще не защита, вот вам лучше пистолет,— произнес Вихров, подавая ему пистолет, и при этом не без умысла показал мужикам и свой пистолет.

Некоторые мужики почесали при этом у себя затылки.

— Ежели вы нам не поможете и ежели что с нами случится,— продолжал Вихров, относясь к мужикам, — вы все за это ответите — и потому в этом случае берегите не нас, а себя!

Мужики молчали.

Вихров велел сотскому показывать дорогу и пошел. Мелков, очень слабый, как видно, на ногах, следуя за ним, беспрестанно запинался. Мужики шли сзади их. Время между тем было далеко за полдень. Подойдя к лесу, Вихров решился разделить свои силы

— Послушайте,— сказал он Мелкову, — вы с половиной понятых осмотрите правую сторону леса, а я с остальными — левую.

— Слушаю-с,— отвечал тот, как-то ужасно глупо держа в руке, одетой в зеленую замшевую перчатку, пистолет.

— У вас палец не пролезает сквозь скобку пистолета, и вам стрелять будет нельзя, — сказал ему Вихров.

— Да-с, виноват-с, — отвечал тот и поспешил губами снять перчатку, положил ее в карман, а пистолет взял уже голою рукою.

Все тронулись, наконец.

Сотский пошел около Вихрова — по-прежнему без шапки. Он заметно его притрухивал. Вихров посмотрел на него и вздумал этим настроением его воспользоваться.

— Ежели ты не приведешь меня прямо к тому месту, где живут бегуны, я тебя в лесу же убью из этого пистолета,— проговорил он ему негромко.

— Да я покажу-с, мне что, — отвечал тоже негромко сотский и повел, как видно, очень знакомой ему дорогой.

В самой середине леса они подошли к небольшому шалашу.

— Вот туто-тко-с! — сказал сотский, показывая Вихрову на шалаш.

— За мной, сюда! — сказал тот мужикам и сам первый вошел, или, лучше сказать, спустился в шалаш, который сверху представлял только как бы одну крышу, но под нею была выкопана довольно пространная яма или, скорей, комната, стены которой были обложены тесом, а свет в нее проходил сквозь небольшие стеклышки, вставленные в крышу. Сход шел по небольшой лесенке; передняя стена комнаты вся уставлена была образами, перед которыми горели три лампады; на правой стороне на лавке сидел ветхий старик; а у левой стены стояла ветхая старушка.

— Что вы тут делаете? — спросил Вихров, почти не зная, с чего ему начать.

— Молимся мы здесь, — отвечал старик, вставая перед ним.

— Что же, ты давно здесь живешь? — спросил Вихров, все еще находившийся в недоумении, что ему делать.

— Пятый год, — отвечал старик.

Из мужиков в шалаш сошел только один сотский.

— Зачем же ты тут живешь? — продолжал Вихров спрашивать старика.

— Где же мне жить-то? Кому я теперь надобен? — отвечал старик.

— А это — жена твоя? — спросил Вихров, показывая на старуху.

— Нет,— отвечал старик, отрицательно покачав головой.

— Кто же ты такая? — спросил Вихров и старушку.

— Странница, судырь, я.

— А здесь давно ли?

— Да вчерашнего дня вот зашла к старику.

— Зачем же ты зашла к нему?

— Он, судырь, учитель мой старинный; зашла спросить у него, куда мне идти... я еще темная.

— А он — зрячий?

— Он уж, судырь, давно в искусе пребывает.

— Ты откуда же родом, дедушка? — спросил Вихров опять старика.

— Не помню я; давно уж это было, как я ушел из дому,— отвечал старик угрюмо.

— Зачем же ты ушел, собственно?

— По священному писанию: оставит человек отца и мать свою и грядет ко мне, — отвечал старик.

Вихров решительно недоумевал — как взять этих стариков.

— Ну, я вас должен взять отсюда, — проговорил он наконец, собравшись с духом.

— Что же, бери, ежели мы нады кому, — отвечал старик с усмешкой.

— Пойдем, старушка, и ты, — сказал Вихров старухе.

— Слушаю-с, — отвечала та, и все они вышли из шалаша.

— Прикажете их связывать? — спросил сотский.

— Свяжи! — сказал ему Вихров и старался не глядеть на стариков.

Мужики из селенья стояли молча и мрачно смотрели на все это. Сотский связал руки старику своим кушаком, а старухе — своим поясом.

В это время вдруг раздался невдалеке выстрел; мужики сейчас же обернулись в ту сторону, Вихров тоже взмахнул глазами туда; затем раздался крик и треск сучьев, и вскоре появился между деревьями бегущий непременный член. Вслед за ним подходили и понятые, сопровождавшие его.

— Меня было зарезали! — кричал Мелков.

— Кто зарезал? — спросил Вихров.

— Солдат, должно быть, беглый; я пошел и землянку тут нашел, а он выскочил оттуда прямо на меня с ножом;

я только что пистолетом отборонился и побежал, а эти черти, — прибавил он, указывая на мужиков, — хоть бы один пошевелился, — стоят только.

— Это что еще значит?.. Кто у вас еще тут проживает и кому вы пристанодержательствуете? — обратился Вихров строго к мужикам. — Говорить сейчас же, а не то все вы отвечать за то будете!

— Это точно, что наслышаны мы были, что тут проживает беглый солдат, — отвечал один мужик.

— Отчего же вы не доносили о том начальству? — спросил Вихров.

— Где же доносить-то: донеси на него, он и селенье, пожалуй, выжжет.

— Поймайте его и представьте,— он и не может вам повредить.

— Его поймаешь, — другой на место его придет и отплатит нам за него. Мы боимся того,— вся ваша воля,— продолжали говорить мужики.

— Стало быть, тут у вас постоянный притон?

— Да, может быть, и постоянный, кто его знает!.. Начальство уж само смотри за тем, мы ему не сторожа на то!.. — подхватил другой мужик

— Нам только от них дела да беспокойства,— продолжал первый мужик.

— Да как же, паря!.. Немало чиновников-то наезжает, словно орды какой!.. — произнес первый мужик.

Вихров очень хорошо видел, что все мужики были страшно озлоблены, а потому он счел за лучшее прекратить с ними всякий разговор.

— Ну, веди этих стариков, — сказал он сотскому.

Тот повел.

Вихров и непременный член пошли за ним. Мужики с мрачными лицами тоже шли за ними.

Старик-раскольник начал хромать на одну ногу, потом сгорбился, тяжело дыша, всем станом.

Вихров не утерпел и спросил его:

— Что такое, старик, с тобой?

— Умираю, ваше благородие, ведь девяносто пятый год тоже живу.

— Да что же ты чувствуешь?

— У сердца схватило, рученьки ломит, дыханье сперло,— говорил старик, и дыханье у него, в самом деле, прерывалось.

— Ну, развяжи ему скорей руки! — воскликнул Вихров.

Сотский сейчас и с заметным удовольствием развязал его. Вихров в это время оглянулся, чтобы посмотреть, как старуха идет; та шла покойно. Вихров хотел опять взглянуть на старика, но того уж не было...

— Где же старик? — спросил он.

— Тут за кусты, надо быть, зашел, — отвечал сотский.

— Как ушел за кусты!.. Ищи его скорей.

Сотский зашел за некоторые кусты.

— Нет его тут! — проговорил он.

— Ищите же вы все! — воскликнул Вихров мужикам.

— Где же тут его искать? Темно становится — и лесто велик,— отвечали те в один почти голос и явно насмешливым тоном.

Солнце в самом деле уже село, и начинались сумерки. Вихров очень хорошо понимал, что он был одурачен — и вышел из себя от этого.

— А когда вы так, то я вас всех посажу за него в острог,— обратился он к мужикам.— Я знаю, что если вы сами не странники, то странноприимники,— это все равно.

При этом лица у мужиков у всех немного сконфузились.

Покуда все это происходило, вся гурьба уже подошла к деревне.

— Собак ваших уберите, а не то я их всех колом! — закричал вдруг Мелков.

Сотский побежал вперед убирать собак.

Вихров, с своей оставшейся странницей и в сопровождении Мелкова, вошел в ближайшую избу. Было уже совсем темно. Хозяйка в этом доме — и, должно быть, девка, а не баба — засветила огонек. Вихров подметил, что она с приведенной странницей переглянулась, и даже они поклонились друг другу.

— Как тебя зовут? — начал он спрашивать старуху.

— Матреной.

— А по отчеству?

— Не помню, не знаю.

— А замужняя или девица?

— Девица.

В это время хозяйка подошла поправить лучину в светце.

— Ой, батюшки, окаянная, обожгла как руку-то! —во-

скликнула она вдруг, и в ту же минуту горящая лучина выпала у нее из рук и погасла.

В избе сделалась совершенная темнота.

— Огня скорей засвечайте! — воскликнул Вихров, не сомневаясь уже более, что это опять была придуманная штука.

Он слышал, как девка-хозяйка подошла к шестку, неторопливо там стала присекать огня к тряпочному труту и зажгла об него серную спичку, а от нее зажгла и лучину; изба снова осветилась. Вихров окинул кругом себя глазами,— старухи уже перед ним не было.

— Где старуха? И она убежала! — воскликнул он испуганным и бешеным голосом.

В избе, кроме его, Мелкова и девки-хозяйки, никого не было.

— Где старуха? — ревел Вихров. — Ты сказывай! — обратился он к девке-хозяйке.

— Да я почем знаю? Я не стерегла ее.

Вихров едва совладел с собой; он видел, что вся деревня была пристанодержатели бегунов, — и ему оставалось одно: написать обо всем этом постановление, что он и сделал — и потребовал всех понятых, сотского и хозяйку, чтобы они приложили руки к этому постановлению.

Понятые, хозяйка и сотский поглядели сначала друг на друга, а потом прежний же мужик проговорил:

— Нет, мы рукоприкладствовать не станем.

— Почему же?

— Так, по вере нашей нам прикладывать тут рук нечего.

— Отчего же другие раскольники прикладывают руки — ты, стало быть, признаешь это за печать антихриста?

— Печать антихристова! — проговорил, усмехаясь, мужик. — Известно! — прибавил он что-то такое.

— Так вы решительно не прикладываете рук? — спросил Вихров.

— Нету-ти, — отвечали все почти в один голос.

У Вихрова в это мгновение мелькнула страшная в голове мысль: подозвать к себе какого-нибудь мужика, приставить ему пистолет ко лбу и заставить его приложить руку — и так пройти всех мужиков; ну, а как который-нибудь из них не приложит руки, надобно будет спустить курок: у Вихрова кровь даже при этом оледенела, волосы стали дыбом.

— Уходите все отсюда скорей! — проговорил он негромко мужикам, но голос его, вероятно, был так страшен, что те, толкая даже друг друга, стали поспешно выходить из избы.

Вихров затем, все еще продолжавший дрожать, взглянул на правую сторону около себя и увидел лежащий пистолет; он взял его и сейчас же разрядил, потом он взглянул в противоположную сторону и там увидел невиннейшее зрелище: Мелков спокойнейшим и смиреннейшим образом сидел на лавке и играл с маленьким котенком. Вихрова взбесило это.

— Что же вы тут сидите и ничего не делаете? — сказал он ему презрительным тоном.

Мелков сейчас же вскочил на ноги и робко вытянулся перед ним.

— Достаньте, по крайней мере, есть: я есть смертельно хочу! — проговорил Вихров, в самом деле ничего не евший с утра.

— Дай поесть чего-нибудь! — отнесся Мелков несмело к хозяйке.

— Чего дать-то? У нас ничего нет.

— Как ничего нег? Яйца есть, молоко есть!

— Нету у нас ничего того, — отвечала девка.

— Ну хоть хлебца дай! — упрашивал ее Мелков.

— И хлеба нет!.. Остался после обеда, да свиньям бросили!

— Ведь мы у тебя не даром, а за деньги просим, — толковал ей Мелков.

— Что мне ваши деньги! Разве я не видывала денег? — отвечала девка.

У Вихрова вся кровь подступала к голове от гнева; он вдруг встал на ноги.

— Дай зажженную лучину, — сказал он хозяйке.

Та подала ему.

— Я сам себе найду пищу; идите за мной! —прибавил он Мелкову и вслед за тем пошел в голбец.

Осветивши всю местность там, он увидел оригинальное зрелище: на земляном полу были разбиты и выпущены сотни три яиц и стоял огромной лужей квас; даже рубленая капуста была вся раскидана.

— Здесь уж все поубрали! — проговорил он, возвращаясь из голбца, и с той же зажженной лучиной перешел в другую избу, и там прямо прошел в голбец, где нашел

почти то же самое — с тою только разницею, что яйца были перебиты в квасу и там распущены.

Остальные избы освидетельствовать Вихров послал уже Мелкова. Тот невдолге возвратился и был как-то сконфужен; с волос и с картуза у него что-то такое текло.

— Там тоже так! Везде все яицы перебиты.

— Но в чем вы все перемочены? — спросил его Вихров.

— Облили чем-то, дьяволы: я иду по сеням в тени, вдруг облили помоями сто ли-то... «Девушка, говорит, не видала и вылила на голову», — ишь какая! — бормотал непременный член.

Вихров и об этом написал постановление.

XVIII

ПОМЕЩИК КНОПОВ

Герой мой до такой степени рассердился на поярковских раскольников за их коварство и изуверство, что не в состоянии даже был остаться ночевать в этом селенье.

— Поедемте куда-нибудь в другую деревню! — сказал он непременному члену.

— Поедемте-с! — отвечал тот покорно; но, когда они сели в тарантас, он проговорил несмело:

— К дяденьке бы моему Петру Петровичу Кнопову заехать.

— К Кнопову?.. — повторил Вихров. — Это к остряку здешнему!

— Да-с, — отвечал Мелков.

Вихров давно уже слыхал о Кнопове и даже видел его несколько раз в клубе: это был громаднейший мужчина, великий зубоскал, рассказчик, и принадлежал к тем русским богатырям, которые гнут кочерги, разгибают подковы, могут съесть за раз три обеда: постный, скоромный и рыбный, что и делают они обыкновенно на первой неделе в клубах, могут выпить вина сколько угодно. Приезжая из деревни в губернский город, Петр Петрович прямо отправлялся в клуб, где сейчас же около него собиралась приятельская компания; он начинал пить, есть, острить и снова пить. Не ограничиваясь этим, часов в двенадцать он вставал и проговаривал детским голосом: «Пуа!» Это значит — со всей компанией ехать в другие увеселительные заведения пить. Во всех этих случаях

Петра Петровича никто и никогда не видал говорящим или делающим какие-нибудь глупости — и даже очень утомленным: бодро оканчивал он проведенные таким образом вечера и бодрым и свежим просыпался он и на другой день. В молодости Петр Петрович был гусар, увез себе жену по страсти, очень ее любил, но она умерла, и он жил теперь вдовцом, подсмеиваясь и зубоскаля над всем божьим миром.

Вихрову даже приятно было заехать к этому умному, веселому и, как слышно было, весьма честному человеку, но кучер что-то по поводу этого немножко уперся. Получив от барина приказание ехать в усадьбу к Кнопову, он нехотя влез на козлы и тихо поехал по деревне.

— Темненька ночь-то ехать,— проговорил он.

— Да хоть голову сломить, а ехать надо! — сказал ему Вихров.

— Зачем голову ломать, бог даст, доедем и так,— отвечал кучер.

Он был довольно еще молодой малый и, по кучерской тогдашней моде, с усами, но без бороды.

Нежнолюбивая мать Мелкова держала для сына крепкий экипаж и хороших лошадей и еще более того беспокоилась, чтобы кучер был у него не пьяница, умел бы ездить и не выпрокинул бы как-нибудь барчика, — и кучер, в самом деле, был отличный.

— Хорошо, что я фонарь с собой захватил, а то тут будет Федюкинская гора, — говорил он, едучи шагом.

Впереди почти уж ничего было не видать.

— Что же, она опасна, что ли? — спросил Вихров.

— Днем-то ничего, а теперь тоже ночь, — отвечал кучер,— одна-то сторона у нее,— косогор, а с другой-то — овраг; маленько не потрафишь, пожалуй, и слетишь в него.

— Так как же мы проедем?

— Я фонарь засвечу и пойду около оврага, а вы шажком и поезжайте.

— У нас лошади-то в какую хочешь темь едут, словно человек, понимают,— вмешался в разговор Мелков.

— Что человек-то?.. Другой человек глупей лошади,— пояснил и кучер и вряд ли в этом случае не разумел своего барина.

Проехали таким образом верст семь.

— Ну, вот и гора! — сказал, наконец, кучер и затем

слез с козел, шаркнул спичку, засветил ею в фонаре свечку и пошел вперед.

— Вы поправьте лошадьми-то,— сказал он Вихрову.— Наш-то барин не очень на это складен, — прибавил он уже вполголоса.

Поехали. Вихров, взглянув вперед, невольно обмер: гора была крутейшая и длиннейшая; с одной стороны, как стена какая, шел косой склон ее, а с другой, как пропасть бездонная, зиял овраг. Кучер шел около самого краюшка оврага; лошади, несмотря на крутейший спуск, несмотря на то, что колеса затормозить у тарантаса было нечем, шажком следовали за ним. Коренная вся сидела в хомуте и, как бы охраняя какое сокровище, упиралась всеми четырьмя ногами, чтобы удержать напор экипажа; пристяжные шли с совершенно ослабленными постромками. Кто выучил и кто заставлял этих умных животных так делать — неизвестно, потому что Вихров держался только за вожжи, но шевелить ни одной из них не смел. Юный член суда дремал в это время. Когда, наконец, спустились с горы, Вихров вздохнул посвободнее. Кучер тоже был доволен.

— Теперь только, дай бог, в гору взобраться, — сказал он, не садясь еще на козлы.

— А что — крута тоже? — спросил Вихров.

— Крутей этой, — отвечал кучер, идя около тарантаса.— Потрогивайте маненько лошадей-то,— сказал он.

Вихров тронул.

Лошади сейчас же побежали, а кучер побежал за тарантасом. Лошади, чем крутей становилась гора, тем шибче старались бежать, хоть видно было, что это им тяжело; пристяжные скосились даже все вперед, до того они тянули постромки, а коренная беспрестанно растопыривала задние ноги, чтобы упираться ими. Кроме крутизны, тарантас надобно было еще перетаскивать через огромные каменья.

— Только грешникам вбегать в эту гору, — говорил кучер, поспевая бегом за тарантасом и неся в одной руке фонарь, а в другой — огромный кол.

— Ну, ну, матушки, вытягивайте! — говорил он лошадям.

Те, наконец, сделали последнее усилие и остановились. Кучер сейчас же в это время подложил под колеса кол и не дал им двигаться назад. Лошади с минут с пять пере-

водили дыхание и затем,— только что кучер крикнул: «Ну, ну, матушки!» — снова потянули и даже побежали, и, наконец, тарантас остановился на ровном месте.

— Тпру! — произнес самодовольно кучер.

— Слава тебе господи! — подхватил и Вихров.

Кучер сел на козлы; он сам тоже сильно запыхался.

— Теперь и месяцу скоро надобно взойти,— проговорил он, усаживаясь на козлах и подбирая вожжи.

— Скоро? — переспросил Вихров.

— Если часов десять есть, так — скоро!.. — отвечал кучер.

В самом деле, в весьма недолгое время на горизонте показалось как бы зарево от пожара, и затем выплыл совершенно красный лик луны.

— Вот она!.. Сначала-то ничего не действует, не помогает, — проговорил кучер, — а чем выше пойдет, тем светлее все будет.

— Да ведь и солнце точно так же! — заметил ему Вихров.

— И солнце так же! Видно, сверху-то им ловчей светить,— проговорил кучер и тронул лошадей трусцой.

Луна, поднимаясь вверх, действительно все светлей и светлей начала освещать окрестность. Стало видно прежде всего дорогу, потом — лесок по сторонам; потом уж можно было различать поля и даже какой хлеб на них рос. Лошади все веселей и веселей бежали, кучер только посвистывал на них.

— Разбудить бы нашего барина надо, недалеко уж!— говорил он.

Юный член суда не сидел уж, а, завалившись своим худощавым корпусом за спину Вихрову, храпом храпел.

— Вставайте, недалеко! — сказал ему тот.

— Чего? Что? Где? — пробормотал он, подымаясь и уставляя на Вихрова заспанные глаза.

— Мы уж скоро приедем! — повторил ему тот.

— Да, да, приедем! — повторил непременный член. Свежий осенний воздух, впрочем, вскоре заставил его окончательно прийти в себя.

— Я к дяденьке-то прежде сбегаю и скажу, что мы приехали, — сказал он.

— А так разве он не пустит нас? — спросил Вихров.

— Да так-с, все лучше, как я сбегаю!

— Ну, сбегайте,— сказал ему Вихров.

Юноша, должно быть, побаивался своего дяденьки, потому что, чем ближе они стали подъезжать к жилищу, тем беспокойнее он становился, и когда, наконец, въехали в самую усадьбу (которая, как успел заметить Вихров, была даже каменная), он, не дав еще хорошенько кучеру остановить лошадей и несмотря на свои слабые ноги, проворно выскочил из тарантаса и побежал в дом, а потом через несколько времени снова появился на крыльце и каким-то довольным и успокоительным голосом сказал Вихрову:

— Пойдемте-с, дяденька просит вас!

Вихров пошел. В передней их встретил заспанный лакей; затем они прошли темную залу и темную гостиную — и только уже в наугольной, имеющей вид кабинета, увидели хозяина, фигура которого показалась Вихрову великолепнейшею. Петр Петрович, с одутловатым несколько лицом, с небольшими усиками и с эспаньолкой, с огромным животом, в ермолке, в плисовом малиновом халате нараспашку, с ногами, обутыми в мягкие сапоги и, сверх того еще, лежавшими на подушке, сидел перед маленьким столиком и раскладывал гран-пасьянс.

— Очень рад с вами познакомиться! — сказал он Вихрову, не поднимаясь, впрочем, с своего места и не переставая даже раскладывать карты.— Извините, что не встаю: болен, подагра!

— А я, дядинька, пойду умоюсь,— отнесся к нему несмело племянник.

— Умойся, авось попригляднее немножко будешь! — отвечал ему насмешливо Петр Петрович.

Племянник ушел.

Петр Петрович снова обратился к Вихрову.

— Вы ведь, кажется, сосланный к нам?

— Сосланный.

— Ну, и как же вам нравится начальник ваш, наш царь Иоанн Васильевич Мохов?

— Хуже его людей я редко встречал,— отвечал откровенно Вихров.

— И я тоже, и я тоже-с! — отвечал, засмеявшись от удовольствия, Петр Петрович: он был давнишний и заклятый враг губернатора.— Это он вас и послал в Поярково? — продолжал Петр Петрович.

— Он.

— И там вас, племянник сказывал, совсем было с голоду уморили?

— Молоко и квас даже весь выпустили.

Петр Петрович усмехнулся и покачал головой.

— Каналья этакий! — произнес он.— Да и вы, господа чиновники, удивительное дело, какой нынче пустой народ стали! Вон у меня покойный дядя исправником был... Тогда, знаете, этакие французские камзолы еще носили... И как, бывало, он из округи приедет, тетушка сейчас и лезет к нему в этот камзол в карманы: из одного вынимает деньги, что по округе собрал, а из другого — волосы человечьи — это он из бород у мужиков надрал. У того бы они квасу не выпустили!

— Вероятно! — подтвердил Вихров.— Квас уж это — бог с ними, но у меня тут двое пойманных бегунов убежали — и поярковские мужики явно их скрыли.

— Еще бы они не скрыли! — подхватил Петр Петрович.— Одного поля ягода!.. Это у них так на две партии и идет: одни по лесам шляются, а другие, как они сами выражаются, еще мирщат, дома̀ и хлебопашество имеют, чтобы пристанодержательствовать этим их бродягам разным,— и поверите ли, что в целой деревне ни одна почти девка замуж нейдет, а если поступает какая в замужество, то самая загоненная или из другой вотчины.

— Отчего же это? — спросил Вихров.

— Оттого, что по ихней вере прямо говорится: *жена дана дьяволом,* то есть это значит: поп венчал, а *девки — богом...* С девками все и живут, и, вдобавок, еще ни одна из них и ребят никогда не носит.

— Это почему? — воскликнул Вихров.

— Потому что или вытравляют, или подкидывают, или еще лучше того: у меня есть тут в лесу озерко небольшое — каждый год в нем младенцев пятнадцать — двадцать утопленных находят, и все это — оттуда.

— Но что же — полиция-то чего же тут смотрит?

— А полиция тут только — хап, хап! Вон исправник-то, небось, умен: сам не поехал, а дурака-племянничка моего послал.

В это время вошел человек и подал Вихрову чаю.

— Повара мне позвать,— сказал ему Петр Петрович.

Человек ушел исполнять это приказание.

— Что такое наша полиция, я на себе могу указать вам пример... Вот перед этим поваром был у меня

другой, старик, пьяница, по прозванью Поликарп Битое Рыло, но, как бы то ни было, его находят в городе мертвым вблизи кабака, всего окровавленного... В самом кабаке и, через неделю приехавши, нашел следы человеческой крови — явно ведь, что убит там?.. Да?

— Конечно, убит! — подтвердил и Вихров.

— Ничуть не бывало-с! — возразил Петр Петрович.— Наша полиция точно в насмешку спрашивает меня бумагой, что так как у повара моего в желудке найдено около рюмки вина, то не от вина ли ему смерть приключилась? Я пишу: «Нет, потому что и сам господин исправник в присутствии моем выпивал неоднократно по десяти рюмок водки, и оттого, однако, смерти ему не приключалось»; так они и скушали от меня эту пилюлю.

— А в деле все-таки ничего не раскрыли? — заметил Вихров.

— Все-таки ничего не раскрыли,— подхватил Кнопов,— и то ведь, главное, досадно: будь там какой-нибудь другой мужичонко, покрой они смерть его — прах бы их дери, а то ведь — человек-то незаменимый!.. Гений какой-то был для своего дела: стоит каналья у плиты-то, еле на ногах держится, а готовит превосходно.

В дверях показался, должно быть, позванный повар.

— Приготовь ты нам, братец,— стал приказывать ему Петр Петрович,— биток; только не думайте, чтобы биток казенный,— поспешил он успокоить Вихрова.— Возьми ты, братец,— продолжал он повару,— самой лучшей говяжьей вырезки, изруби ты все это вместе с мозгами из костей, и только не мелко руби, слышишь! И чтобы куска у меня хлеба положено не было: все чтобы держалось на мясном соку!.. Изруби ты туда еще пом-д'амуров, немного чесноку, немного луку, и на подмазе из сливочного масла — только на подмазе, не больше, понимаешь? — изжарь все это.

Повар, получив такое приказание, не уходил.

— Куропаток давешних прикажете подать? — спросил он не совсем смелым голосом.

— Выкинуть их совсем, дурак этакий! — вспылил Петр Петрович.— Изжарить порядочно не умеет: либо сварит, либо иссушит все... Чтобы в соку у меня было подано свежих три куропатки.

Повар ушел.

— Вот ведь тоже стряпает! — произнес, показав вслед

ему головой, Петр Петрович.— А разве так, как мой покойный Поликарп Битое Рыло... Два только теперича у меня удовольствия в жизни осталось,— продолжал он,— поесть и выпить хорошенько, да церковное пение еще люблю.

— Церковное? — переспросил Вихров.

— Да-с, у меня хор есть свой — отличный, человек сорок!.. Каждый праздник, каждое воскресенье они поют у меня у прихода.

— Это очень интересно.

— Угодно, я вам покажу этот хор?

— Сделайте одолжение.

— Человек! — крикнул Петр Петрович.

На этот раз вбежал прежний лакей.

— Вели собраться хору и зажги в зале и гостиной свечи.

Человек побежал исполнить приказание.

— Сам в молодости пел недурно,— продолжал Петр Петрович с некоторым даже чувством,— и до самой смерти, видно, буду любить пение.

В комнату вошел, наконец, племянник — умытый, причесанный и в новеньком сюртуке.

— Вот и я-с! — проговорил он.

— Видим, что и ты! — сказал ему опять насмешливо Петр Петрович.— Вот нынче в корпусах-то как учат,— продолжал он, относясь к Вихрову и показывая на племянника.— Зачем малого отдавали?.. Только ноги ему там развинтили, да глаза сделали как у теленка.

— Уж у меня нынче, дяденька, ноги покрепче стали.

— Ну и слава тебе господи, коли закрепляются понемногу.

Петр Петрович постоянно звал племянника *развинченным*.

В это время в гостиной и зале появился огонь и послышалось шушуканье нескольких голосов и негромкие шаги нескольких человек.

— Собрались, должно быть,— проговорил Петр Петрович.

— Человек, костыль мне! — крикнул Кнопов.

Человек вбежал и подал ему толстый костыль.

— Попробуйте-ка! Хорош ли? — проговорил Петр Петрович, подавая его Вихрову.

Тот попробовал. В костыле, по крайней мере, пуда два было.

— Он железный у вас? — спросил Вихров.

— Да, не деревянный! — отвечал Петр Петрович.— Меня в Москве, по случаю его, к обер-полицеймейстеру призывали. «Нельзя, говорит, носить такой палки, вы убить ею можете!» — «Да я, говорю, и кулаком убить могу; что же, мне и кулаков своих не носить с собой?»

Говоря это, он шел, ковыляя, в гостиную и зало, где хор стоял уже в полном параде. Он состоял из мужчин и женщин; последние были подстрижены, как мужчины, и одеты в мужские черные чепаны.

— Марья-то какая смешная! — сказал племянник, показывая Петру Петровичу на одну из переодетых девушек.

— Что, понравилась, видно? — спросил тот его.

— Да-с,— отвечал племянник, как-то глупо осклабляясь.

— Из Бортнянского,— сказал Петр Петрович хору.

Тот запел. Он был довольно согласный и с недурными голосами.

Вихров из всего их пения только и слышал: *Да вознесуся!* — пели басы. *Да вознесуся!* — повторяли за ними дисканты. *Да вознесуся!* — тянул тенор.

Петр Петрович от всего этого был в неописанном восторге; склонив немного голову и распустив почти горизонтально руки, он то одной из них поматывал басам, то другою — дискантам, то обе опускал, когда хору надо бы было взять вместе посильнее; в то же время он и сам подтягивал самой низовой октавой.

— Может быть, вам чего-нибудь повеселее желается? — отнесся он к Вихрову.— Песенок?

— И песенок хорошо,— отвечал тот.

— Ну, любимую мою! — обратился Петр Петрович к хору, который сейчас же из круга вытянулся в шеренгу и запел:

Я вечор, млада, во пиру была!

Петру Петровичу, по-видимому, особенно нравилось то место, где пелось:

Я не мед пила и не водочку,
Я пила, млада, все наливочку;
Я не рюмочкой, не стаканчиком,
Я пила, млада, из полна ведра!

«Из полна ведра!» — басил он и сам при этом случае. Хор затем продолжал:

Я домой-то шла, пошатнулася,
За верeюшку ухватилася!

«Ухватилася!» — басил Петр Петрович и, несмотря на больные ноги, все-таки немножко пошевеливал ими: родник веселости, видно, еще сильно бился в нем, не иссяк от лет и недугов.

— Ну, Миша, пляши! — крикнул он племяннику.

— Я, дяденька, не умею,— отвечал тот, краснея, но, впрочем, вставая.

— Врешь, пляши, не то в арапленник велю принять! Марья, выходи, становись против него!

На этот зов сейчас же вышла из хора та девушка, на которую указывал племянник.

— Говорят тебе — пляши! — подтвердил ему еще раз дядя.

Бедный член суда, делать нечего, начал выкидывать свои развинченные ноги, а Марья, стоя перед ним, твердо била трепака; хор продолжал петь (у них уж бубны и тарелки появились при этом):

Я не мед пила и не водочку...

Вихров смотрел и слушал все это с наклоненной головой.

За последовавшим вскоре после того ужином Петр Петрович явился любителем и мастером угостить: дымящийся биток в самом деле оказался превосходным, бутылок на столе поставлено было несть числа; Петр Петрович сейчас же своих гостей начал учить — как надо резать сыр, и потом приготовил гастрономическим образом салат. Когда племянник не стал было пить вина, он прикрикнул на него даже: «Пей, дурак! Все равно на ногах уж не стоишь!» — а Вихрова он просто напоил допьяна, так что тот, по случаю хорового церковного пения, заговорил уж об религии.

— Во всех религиях одно только и вечно: это эстетическая сторона,— говорил он,— отнимите вы ее — и религии нет! Лютерство, исключившее у себя эту сторону, не религия, а бог знает что такое!

— Так, так! — соглашался с ним и Петр Петрович.

Вихров, разговорившись далее, хватил и в другую сторону.

— У нас вся система страшная, вся система невыносимая,— нечего тут винить какого-нибудь губернатора или исправника,— система ужасная! — говорил он.

— Разумеется! — подтверждал Петр Петрович.

Он всегда и вообще любил все вольнодумные мысли.

— Что, сосулька, спать уж хочешь? — обратился он к племяннику, зевавшему во весь рот.

— Хочу, дяденька! — отвечал тот.

— Ну, что с тобой уж делать, пойдемте! — говорил Петр Петрович, приподнимаясь.

Постели гостям были приготовлены в гостиной. Та же горничная Маша, не снявшая еще мужского костюма, оправляла их. Вихров улегся на мягчайший пуховик и оделся теплым, но легоньким шелковым одеялом.

«Черт знает, что такое! — рассуждал он в своей не совсем трезвой голове.— Сегодня поутру был в непроходимых лесах — чуть с голоду не уморили, а вечером слушал прекрасное хоровое пение и напился и наелся до одурения,— о, матушка Россия!»

Поутру Петр Петрович так же радушно своих гостей проводил, как и принял,— и обещался, как только будет в городе, быть у Вихрова.

Лошади Мелкова были на этот раз какие-то чистые, выкормленные; кучер его также как бы повеселел и приободрился. Словом, видно было, что все это получило отличное угощение.

XIX

ОТВЕТ МАРИ

Вихров, по приезде в город, как бы в вознаграждение за все претерпенное им, получил, наконец, от Мари ответ. Почерк ее при этом был ужасно тревожен и неровен.

«Я долго тебе не отвечала,— писала она,— потому что была больна — и больна от твоего же письма! Что мне отвечать на него? Тебе гораздо лучше будет полюбить ту достойную девушку, о которой ты пишешь, а меня — горькую и безотрадную — оставить как-нибудь доживать век свой!..»

Далее потом в письме был виден перерыв, и оно надолго, кажется, было оставлено и начато снова еще более тревожным почерком.

«Нет, мой друг, не верь, что я тебе писала; mais seulement, que personne ne sache; écoutez, mon cher, je t'aime je t'aimerais toujours![1] Я долго боролась с собой, чтобы не сказать тебе этого... С тех пор, как увидала тебя в Москве и потом в Петербурге,— господи, прости мне это! — я разлюбила совершенно мужа, меньше люблю сына; желание теперь мое одно: увидаться с тобой. Что это у тебя за неприятности по службе,— напиши мне поскорее, не нужно ли что похлопотать в Петербурге: я поеду всюду и стану на коленях вымаливать для тебя!

Мари».

Первым делом Вихрова, по прочтении этого письма, было ехать к губернатору с тем, чтобы отпроситься у него в отпуск в Петербург.

В приемной он увидел того же скучающего адъютанта, который на этот раз и докладывать не пошел, а прямо ему объявил:

— Подождите тут; в двенадцать часов генерал выйдет.

По настоящим своим чувствованиям Вихров счел бы губернатора за первого для себя благодетеля в мире, если бы тот отпустил его в отпуск, и он все сидел и обдумывал, в каких бы более убедительных выражениях изложить ему просьбу свою.

В двенадцать часов генерал действительно вышел и, увидев Вихрова, как будто усмехнулся,— но не в приветствие ему, а скорее как бы в насмешку. Вихров почти дрожащими руками подал ему дело о бегунах.

— Поймали кого-нибудь? — спросил губернатор, не заглядывая даже в донесение.

— Я поймал, но у меня убежали,— отвечал Вихров; голос у него при этом дрожал.

Губернатор явно уже усмехнулся над ним какой-то презрительной и сожаления исполненной улыбкой и, повернувшись, хотел было уйти в свой кабинет. Вихров остановил его.

— Ваше превосходительство, мне надобно объясниться с вами наедине.

Начальник губернии молча указал ему на кабинет, и они оба вошли туда. Губернатор сел, а Вихров стоял на ногах перед ним.

---

[1] но только чтобы никто не знал; слушай, мой дорогой, я тебя люблю и буду любить всегда! *(франц.)*.

— Я, ваше превосходительство, имею к вам покорнейшую просьбу: отпустите меня в отпуск, в Петербург...— начал он.

Губернатор уставил на него удивленные глаза, как бы желая убедиться, что он — помешался в уме или нет.

— Вам въезд в столицу запрещен,— проговорил он.

— Но я прошу это, как особой милости; я буду там и не покажусь никому из начальства.

Губернатор усмехнулся.

— Что же, вы хотите, чтобы я участвовал с вами в обмане вашем?

— Ваше превосходительство, у меня сестра там, единственная моя родная, умирает и желает со мной повидаться,— проговорил Вихров, думая разжалобить начальника губернии.

Тот пожал на это плечами.

— Что ж делать, но я все-таки не могу изменять для вас законов,— проговорил он.

— Но неужели же, ваше превосходительство, я здесь на всю жизнь заключен, не сделав никакого преступления? — сказал Вихров.

— То есть как заключены? — спросил губернатор.

— Тем, что я не могу воспользоваться дарованным всем чиновникам правом — уехать в отпуск.

Губернатор уставил на него опять как бы несколько насмешливый взгляд.

— Вы не чиновник здесь, а сосланный,— объяснил он.

Вихров видел, что ни упросить, ни убедить этого человека было невозможно; кровь прилила у него к голове и к сердцу.

— Вторая моя просьба,— начал он, сам не зная хорошенько, зачем это говорит, и, может быть, даже думая досадить этим губернатору,— вторая... уволить меня от производства следствий по делам раскольников.

Начальник губернии вопросительно взглянул на него.

— Я не могу этих дел исполнять,— говорил Вихров.

Начальник губернии не говорил ни слова и продолжал на него смотреть.

— Вы заставляете меня,— объяснял Вихров,— делать обыски в домах у людей, которые по своим религиозным убеждениям и по своему образу жизни, может быть, гораздо лучше, чем я сам.

Начальник губернии стал уж слушать его с некоторым

любопытством. Слова Вихрова, видимо, начали его интересовать даже.

— Я, как какой-нибудь азиатский завоеватель, ломаю храмы у людей, беспрекословно исполняю желание какого-то изувера-попа единоверческого...— говорил между тем тот.

— Что же вы хотите всем этим сказать? — спросил наконец губернатор.

— То, что я с настоящею добросовестностью не могу исполнять этих поручений: это воспрещает мне моя совесть.

Губернатор усмехнулся.

— Вы напишите мне все это на бумаге; что мне слушать ваши словесные заявления!

— В донесении моем это отчасти сказано,— отвечал Вихров,— потому что по последнему моему поручению я убедился, что всеми этими действиями мы, чиновники, окончательно становимся ненавистными народу; когда мы приехали в селение, ближайшее к месту укрывательства бегунов, там вылили весь квас, молоко, перебили все яйца, чтобы только не дать нам съесть чего-нибудь из этого,— такого унизительного положения и такой ненависти от моего народа я не желаю нести!

— И это напишите,— сказал ему даже как-то кротко губернатор.

— И это написано-с,— отвечал Вихров.— В отпуск, значит, я никак не могу надеяться быть отпущен вами?

— Никак! — отвечал губернатор.

Вихров поклонился ему и вышел.

Губернатор, оставшись один, принялся читать последний его рапорт. Улыбка не сходила с его губ в продолжение всего этого чтения.

— Дурак! — произнес он, прочитав все до конца, и затем, свернув бумагу и положив ее себе в карман, велел подавать фаэтон и, развевая потом своим белым султаном, поехал по городу к m-me Пиколовой.

Он каждое утро обыкновенно после двенадцати часов бывал у нее, и муж ее в это время — куда хочет, но должен был убираться.

Первое намерение героя моего, по выходе от губернатора, было — без разрешения потихоньку уехать в Петербург, что он, вероятно, исполнил бы, но на крыльце своей

квартиры он встретил прокурора, который приехал к брату обедать.

— Откуда это вы? — спросил тот.

Вихров рассказал ему — откуда и, объяснив свою надобность ехать в Петербург, признался, что он хочет самовольно уехать, так как губернатор никак не разрешает ему отпуска.

Прокурор отрицательно покачал головой.

— Ну, я не советовал бы вам этого делать,— проговорил он,— вы не знаете еще, видно, этого господина: он вас, без всякой церемонии, велит остановить и посадит вас в тюрьму,— и будет в этом случае совершенно прав.

— Но что же делать, что же делать? — говорил Вихров почти со слезами на глазах.

Захаревский пожал плечами.

— По-моему, самое благоразумное,— сказал он,— вам написать от себя министру письмо, изложить в нем свою крайнюю надобность быть в Петербурге и объяснить, что начальник губернии не берет на себя разрешить вам это и отказывается ходатайствовать об этом, а потому вы лично решаетесь обратиться к его высокопревосходительству; но кроме этого — напишите и знакомым вашим, кто у вас там есть, чтобы они похлопотали.

Все это складно уложил в голове и Вихров.

«Напишу к министру и Мари, к Плавину, Абрееву, авось что-нибудь и выйдет»,— подумал он и сообщил этот план прокурору.

Тот одобрил его.

— Но вы, однакоже, все-таки потом опять вернетесь сюда из Петербурга? — спросил его Захаревский.

— Никогда, если только меня оставят и не выгонят из Петербурга! — воскликнул Вихров и затем поспешил раскланяться с прокурором, пришел домой и сейчас же принялся писать предположенные письма.

В изобретении разных льстивых и просительных фраз он почти дошел до творчества: *Сиятельнейший граф!* — писал он к министру и далее потом упомянул как-то о *нежном сердце* того. В письме к Плавину он беспрестанно повторял об его *благородстве,* а Абрееву объяснил, что он, *как человек новых убеждений,* не преминет... и прочее. Когда он перечитал эти письма, то показался даже сам себе омерзителен.

— О, любовь! — воскликнул он.— Для тебя одной только я позволяю себе так подличать!

К Мари он написал коротенько:

«Сокровище мое, хлопочите и молите, чтобы дали мне отпуск, о чем я вместе с сим прошу министра. Если я еще с полгода не увижу вас, то с ума сойду».

Когда окончены были все эти послания, с Вихровым от всего того, что он пережил в этот день, сделался даже истерический припадок, так что он прилег на постель и начал рыдать, как малый ребенок.

Груня понять не могла, что такое с ним. Грустная, с сложенными руками, она стояла молча и смотрела на него.

Прокурор, между тем, усевшись с братом и сестрой за обед, не преминул объяснить:

— А я сейчас вашего постояльца встретил; он хлопочет и совсем желает уехать в Петербург.

— Скатертью ему и дорога туда! — подхватил инженер, которому до смерти уже надоел и сам Вихров и всякий разговор об нем.

Прокурор в это время мельком взглянул на сестру.

— Но, может быть, некоторые дамы будут скучать об нем,— проговорил он с полуулыбкой.

— Может быть, найдутся такие чувствительные сердца, благо они на свете не переводятся,— сказал инженер.

Юлия, слушая братьев, только бледнела.

— Что же, он свою Миликтрису Кирбитьевну,— спросил Виссарион, разумея под этим именем Грушу,— с собой берет?

— Нет, я подозреваю, что у него там есть какая-нибудь Кирбитьевна, к которой он стремится,— подхватил прокурор.

Юлия в это время делала салат, и глаза ее наполнились слезами.

— Уж салат-то наш, по крайней мере, не увлажняйте вашими слезами,— сказал ей насмешливо инженер.

Юлия поспешно отодвинула от себя салатник.

— Вам обоим, кажется, приятно мучить меня?! — проговорила она.

— Не мучить, а образумить тебя хотим,— сказал ей прокурор,— потому что он прямо мне сказал, что ни за что не возвратится из Петербурга.

— Что ж из этого? — возразила ему Юлия, уставляя

на него еще полные слез глаза.— Он останется в Петербурге, и я уеду туда.

— Но кто ж тебя пустит? — спросил ее с улыбкой прокурор.

— Отец пустит; я скажу ему, что я хочу этого,— и он переедет со мной в Петербург.

— Вот это хорошо! — подхватил инженер.— А потом Вихрова куда-нибудь в Астрахань пихнут — и в Астрахань за ним ехать, его в Сибирь в рудники сошлют — и в рудники за ним ехать.

— Чтобы типун тебе на язык за это,— в рудники сошлют! — воскликнула Юлия и не в состоянии даже была остаться за столом, а встала и ушла в свою комнату.

— Вот втюрилась, дура этакая! — сказал инженер невеселым голосом.

— Да! — подтвердил протяжно и прокурор.

XX

ОБЪЯСНЕНИЕ

Вскоре после того Вихров получил от прокурора коротенькую записку.

«Спешу, любезный Павел Михайлович, уведомить вас, что г-н Клыков находящееся у него в опекунском управлении имение купил в крепость себе и испросил у губернатора переследование, на котором мужики, вероятно, заранее застращенные, дали совершенно противоположные показания тому, что вам показывали. Не найдете ли нужным принять с своей стороны против этого какие-нибудь меры?»

Прочитав эту записку, Вихров на первых порах только рассмеялся и написал Захаревскому такой ответ:

«Черт бы их драл,— что бы они ни выдумывали, я знаю только, что по совести я прав, и больше об этом и думать не хочу».

Герой мой, в самом деле, ни о чем больше и не думал, как о Мари, и обыкновенно по целым часам просиживал перед присланным ею портретом: глаза и улыбка у Мари сделались чрезвычайно похожими на Еспера Иваныча, и это Вихрова приводило в неописанный восторг. Впрочем, вечером, поразмыслив несколько о сообщенном ему прокурором известии, он, по преимуществу, встревожился в том отношении, чтобы эти кляузы не повредили ему как-

нибудь отпуск получить, а потому, когда он услыхал вверху шум и говор голосов, то, подумав, что это, вероятно, приехал к брату прокурор, он решился сходить туда и порасспросить того поподробнее о проделке Клыкова; но, войдя к Виссариону в гостиную, он был неприятно удивлен: там на целом ряде кресел сидели прокурор, губернатор, m-me Пиколова, Виссарион и Юлия, а перед ними стоял какой-то господин в черном фраке и держал в руках карты. У Вихрова едва достало духу сделать всем общий поклон.

— Очень рад! — проговорил Виссарион, как бы несколько сконфуженный его появлением.

Губернатор и m-me Пиколова не отвечали даже на поклон Вихрова, но прокурор ему дружески и с небольшой улыбкой пожал руку, а Юлия, заблиставшая вся радостью при его появлении, показывала ему глазами на место около себя. Он и сел около нее.

Вечер этот у Виссариона составился совершенно экспромтом; надобно сказать, что с самого театра m-me Пиколова обнаруживала большую дружбу и внимание к Юлии. У женщин бывают иногда этакие безотчетные стремления. М-me Пиколова сама говорила, что девушка эта ужасно ей нравится, но почему — она и сама не знает.

Виссарион, как человек практический, не преминул сейчас же тем воспользоваться и начал для m-me Пиколовой делать маленькие вечера, на которых, разумеется, всегда бывал и начальник губернии,— и на весь город распространился слух, что губернатор очень благоволит к инженеру Захаревскому, а это имело последствием то, что у Виссариона от построек очутилось в кармане тысяч пять лишних; кроме того, внимание начальника губернии приятно щекотало и самолюбие его. Прокурор не ездил обыкновенно к брату на эти вечера, но в настоящий вечер приехал, потому что Виссарион, желая как можно более доставить удовольствия и развлечения гостям, выдумал пригласить к себе приехавшего в город фокусника, а Иларион, как и многие умные люди, очень любил фокусы и смотрел на них с величайшим вниманием и любопытством. Фокусник (с наружностью, свойственною всем в мире фокусникам, и с засученными немного рукавами фрака) обращался, по преимуществу, к m-me Пиколовой. Как ловкий плут, он, вероятно, уже проведал, какого рода эта птица, и, видимо, хотел выразить ей свое уважение.

— Мадам, будьте так добры, возьмите эту карту,— говорил он ей на каком-то скверном французском языке.— Monsieur le géneral, и вы,— обратился он к губернатору.

— А где же мне держать ее? — спрашивал тот, тоже на сквернейшем французском языке.

— А я вот держу свою у себя под платком! — подхватила Пиколова, тоже на сквернейшем французском диалекте.

Прокурор не утерпел и заглянул: хорошо ли они держат карты.

— Раз, два! — сказал фокусник и повел по воздуху своей палочкой: карта начальника губернии очутилась у m-me Пиколовой, а карта m-me Пиколовой — у начальника губернии.

Удивлению как того, так и той пределов не было. Виссарион же стоял и посмеивался. Он сам знал этот фокус — и вообще большую часть фокусов, которые делал фокусник, он знал и даже некогда нарочно учился этому.

Затем фокусник стал показывать фокус с кольцами. Он как-то так поводил ими, что одно кольцо входило в другое — и образовалась цепь; встряхивал этой цепью — кольца снова распадались.

— Покажите, покажите мне это кольцо! — говорил начальник губернии почти озлобленным от удивления голосом.— Никакого разрыва нет на кольце,— говорил он, передавая кольцо прокурору, который, прищурившись и поднося к свечке, стал смотреть на кольцо.

— Ничего не увидишь,— остановил его брат. Он хоть и не знал этого фокуса, но знал, что на кольце ничего увидать нельзя.

— Ах, посмотрите, у меня тоже вошло кольцо в кольцо,— воскликнула m-me Пиколова радостно-детским голосом, державшая в руках два кольца и все старавшаяся соединить их; фокусник только что подошел к ней, как она и сделала это.

— Вы чародейка, чародейка! — говорил губернатор, смотря на нее, по обыкновению, своим страстным взглядом.

Вихрову ужасно скучно было все это видеть. Он сидел, потупив голову. Юлия тоже не обращала никакого внимания на фокусника и, в свою очередь, глядела на Вихрова и потом, когда все другие лица очень заинтере-

совались фокусником (он производил в это время магию с морскими свинками, которые превращались у него в голубей, а голуби — в морских свинок), Юлия, собравшись со всеми силами своего духа, но по наружности веселым и даже смеющимся голосом, проговорила Вихрову:

— А что же вы, Павел Михайлович, не хотите узнать от меня мой секрет, который я вам хотела рассказать?

— Секрет? — повторил как бы флегматически Вихров и внутренно уже испугавшись. Впрочем, подумав, он решился с Юлией быть совершенно откровенным, если она и скажет ему что-нибудь о своих чувствах.

— Вы знаете,— продолжала она тем же смеющимся голосом,— что я в вас влюблена?

— Увы! — произнес Вихров тоже веселым голосом.— При других обстоятельствах счел бы это за величайшее счастье, но теперь не могу отвечать вам тем же.

— Отчего же? — спросила Юлия все-таки весело.

— Оттого, что люблю другую,— отвечал Вихров.

— Что же, эту неблагодарную madame Фатееву, что ли?

— Нет.

— Неужели же — фай! — вашу экономку?

— И не экономку.

— Кто же это? — проговорила Юлия. Голос ее не был уже более весел.

— Одну дальнюю кузину мою.

— От которой вы письма получали? — проговорила Юлия; рыдания уже подступали у ней к горлу.— Что же это — старинная привязанность? — спросила она.

— Очень! — отвечал Вихров, сидя в прежнем положении и не поднимая головы.— Я был еще мальчиком влюблен в нее; она, разумеется, вышла за другого.

— Отчего же не за вас? — говорила Юлия.

— Оттого, что я гимназист еще был, а она — девушка лет восемнадцати.

— Ну, а потом? — спрашивала Юлия.

— А потом со мной произошло странное психологическое явление: я около двенадцати лет носил в душе чувство к этой женщине, не подозревая сам того,— и оно у меня выражалось только отрицательно, так что я истинно и искренно не мог полюбить никакой другой женщины.

— Но, однако, уже теперь у вас это чувство положительно выразилось?

— Теперь — положительно.

— Что же открыло его? — продолжала расспрашивать Юлия. У ней достало уже силы совладеть со своими рыданиями, и она их спрятала далеко-далеко в глубину души.

— Открыло — мысль и надежда на взаимность.

— Вам, значит, ответили?

— Ответили.

— А как же муж? Он жив еще?

— Жив.

— Каким же образом? Он должен возбуждать в вас ревность.

Вихров пожал плечами.

— У меня любовь к ней духовная, а душой и сердцем никто и никогда не может завладеть.

— Завидую вашей кузине,— проговорила Юлия, помолчав немного, и едва заметно при этом вздохнула.

— В чем же? — спросил Вихров, как бы не поняв ее слов.

— В том, что она внушила такое постоянное чувство: двенадцать лет ее безнадежно любили и не могли от этого чувства полюбить других женщин.

— Не мог-с! — отвечал Вихров. Он очень хорошо видел, что Юлия была оскорблена и огорчена.

Разговор далее между ними не продолжался. Вихрову стало как-то стыдно против Юлии, а она, видимо, собиралась со своими чувствами и мыслями. Он отошел от нее, чтобы дать ей успокоиться.

Юлия по крайней мере с полчаса просидела на своем месте, не шевелясь и ни с кем не говоря ни слова; она была, как я уже и прежде заметил, девушка самолюбивая и с твердым характером. Пока она думала и надеялась, что Вихров ответит ей на ее чувство,— она любила его до страсти, сентиментальничала, способна была, пожалуй, наделать глупостей и неосторожных шагов; но как только услыхала, что он любит другую, то сейчас же поспешила выкинуть из головы все мечтания, все надежды,— и у нее уже остались только маленькая боль и тоска в сердце, как будто бы там что-то такое грызло и вертело. Окончательно овладев собой и увидев, что m-me Пиколова сидела одна (начальник губернии в это время разговаривал с Виссарионом Захаревским), Юлия сейчас же подошла и села около нее. Вихрову, между тем, ужасно хотелось

уйти домой, но он, собственно, пришел спросить о своем деле прокурора, а тот, как нарочно, продолжал все заниматься с фокусником. Вихров стал дожидаться его и в это время невольно прислушался к разговору, который происходил между губернатором и Виссарионом. Они говорили о почтовом доме, который хозяйственным образом строил Захаревский.

— Почтмейстер мне прямо пишет, что дом никуда не годится,— говорил губернатор, больше шутя, чем серьезно.

— Для меня решительно все равно, хоть бы он провалился,— отвечал Виссарион,— архитектор их принял — и кончено!

— Но он говорит, что штукатурка потом уж на потолках обвалилась.

— Штукатурка должна была бы или сейчас обвалиться, или уж она обыкновенно никогда не обваливается.

— Но она, однако, действительно обвалилась,— возражал слабо начальник губернии.

— Очень-с может быть! Очень это возможно! — отвечал бойко Захаревский.— Они, может быть, буки бучили и белье парили в комнатах,— это какую хотите штукатурку отпарит.

— Потом, что пол очень провесился, боятся ходить,— как бы больше сообщал Захаревскому начальник губернии.

— И то совершенно возможно! — ответил тот с прежнею развязностью.— Нет на свете балки, которая бы при двенадцати аршинах длины не провисла бы, только ходить от этого бояться нечего. В Петербурге в домах все полы качаются, однако этого никто не боится.

— Потом, что земля очень сыра и что от этого полы начало уже коробить.

— Непременно начнет коробить — и мне самому гораздо бы лучше было и выгоднее класть сухую землю, потому что ее легче и скорее наносили бы, но я над богом власти не имею: все время шли проливные дожди,— не на плите же мне было землю сушить; да я, наконец, пробовал это, но только не помогает ничего, не сохнет; я обо всем том доносил начальству!

— Или тоже печи, пишут, сложены из старого кирпича, а тот из стены старой разобран — и весь поэтому в извести, что вредно для печи.

— Очень вредно-с, но это было дело их архитектора смотреть. Я сдал ему печи из настоящего материала — и чтобы они были из какого-нибудь негодного сложены, в сдаточном акте этого не значится, но после они могли их переложить и сложить бог знает из какого кирпича — времени полгода прошло!

— Но все-таки вы поправьте им, чтобы успокоить их,— больше советовал начальник губернии, чем приказывал.

— Ни за что, ваше высокопревосходительство! — воскликнул Захаревский.— Если бы я виноват был тут,— это дело другое; но я чист, как солнце. Это значит — прямо дать повод клеветать на себя кому угодно.

— Да, но я это не для них, а для себя прошу вас сделать, потому что они пойдут писать в Петербург, а я терпеть не могу, чтобы туда доходили дрязги разные.

— Если для вас, ваше превосходительство, так я готов переделать хоть с подошвы им весь дом, но говорю откровенно: для меня это очень обидно, очень обидно,— говорил Захаревский.

— Но что ж делать — мало ли по службе бывает неприятностей! — произнес начальник губернии тоном философа.

— Это конечно что! — подтвердил также несколько философским тоном и Захаревский.

Во всем этом разговоре Вихрова по преимуществу удивила смелость Виссариона, с которою тот говорил о постройке почтового дома. Груня еще прежде того рассказывала ему: «Хозяин-то наш, вон, почтовый дом строил, да двадцать тысяч себе и взял, а дом-то теперь весь провалился». Даже сам Виссарион, ехавши раз с Вихровым мимо этого дома, показал ему на него и произнес: «Вот я около этого камелька порядком руки погрел!» — а теперь он заверял губернатора, что чист, как солнце.

Лакеи в продолжение всего вечера беспрестанно разносили фрукты и конфеты. Наконец подана была груша — по два рубля штука. Виссарион, несмотря на то, что разговаривал с начальником губернии, не преминул подбежать к m-me Пиколовой и упросил ее взять с собой домой пяток таких груш. Он знал, что она до страсти их любила и ела их обыкновенно, лежа еще в постели по-

утру. За такого рода угощенье m-me Пиколова была в восторге от вечеров Захаревского и ужасно их хвалила, равно как и самого хозяина.

Прокурор, наконец, нагляделся фокусов и вышел в залу. Вихров поспешил сейчас туда же выйти за ним.

— Что это, какое это еще они на меня дело выдумали? — спросил он.

— Не выдумали, а повернули так ловко,— отвечал прокурор,— мужики дали им совсем другие показания, чем давали вам.

— Но от кого же вы это слышали?

— Губернатор сам мне говорил. «Вот, говорит, как следствия у меня чиновники производят: Вихров, производя следствие у Клыкова, все налгал».

— Ах, он негодяй этакий! — воскликнул Вихров, вспыхнув в лице.— Я не то что в службе, но и в частной жизни никогда не лгал,— я спрошу его сегодня же!

— Спросите,— сказал ему прокурор.

Вихров за ужином, для большей смелости, нарочно выпил стакана два вина лишних и, когда оно ему немножко ударило в голову, обратился довольно громко к губернатору:

— Ваше превосходительство, дело об опекунстве Клыкова, говорят, переследовали?

Губернатор довольно сердито взмахнул на него глазами, а m-me Пиколова и уши при этом навострила.

— Да-с, переследовали,— произнес губернатор после некоторого молчания.

— И что же найдено при переследовании?

— Не знаю-с! Я не читал еще самого дела,— отвечал губернатор, взглянув на мгновение на прокурора.

Вихров видел, что далее разговаривать об этом нет никакой возможности, тем более, что губернатор обратился к дамам, с которыми завязался у него довольно живой разговор.

— Мы вас решительно не пустим, решительно не пустим,— говорила Пиколова Юлии.

— Вы едете куда-нибудь? — вмешался губернатор.

— Да, я на той неделе уезжаю к отцу,— отвечала Юлия довольно громко, как бы затем, чтобы слышал Вихров.

— Вы уезжаете? — спросил ее тот.

— Непременно,— отвечала и ему Юлия.

— А мы вас не пустим, не пустим,— сказал губернатор.

— Никакие силы человеческие меня здесь больше не удержат! — отвечала Юлия с ударением.— Я так давно не видала отца,— прибавила она.

Губернатор, уезжая, по обыкновению, с Пиколовой, не взглянул даже на Вихрова; впрочем, тот и сам ему не поклонился. Через неделю Юлия, в самом деле, уехала к отцу.

XXI
СБОРИЩЕ НЕДОВОЛЬНЫХ

Ответ от Мари, наконец, был получен. Он написан был таким же беспокойным почерком, как и прежнее письмо:

«Милый друг мой! Понять не могу, что такое; губернатор прислал на тебя какой-то донос, копию с которого прислал мне Плавин и которую я посылаю к тебе. Об отпуске, значит, тебе и думать нечего. Добрый Абреев нарочно ездил объясняться с министром, но тот ему сказал, что он в распоряжения губернаторов со своими подчиненными не входит. Если мужа ушлют в Южную армию, я не поеду с ним, а поеду в имение и заеду в наш город повидаться с тобой».

Вихров на первых порах и сообразить хорошенько не мог, что это такое с ним делается; с каким-то отупевшим чувством и без особенного даже беспокойства он взял и прочел копию с доноса на него. Там писалось:

«Сосланный в вверенную мне губернию и состоящий при мне чиновником особых поручений, коллежский секретарь Вихров дозволил себе при производстве им следствия по опекунскому управлению штабс-капитана Клыкова внушить крестьянам неповиновение и отбирал от них пристрастные показания; при производстве дознания об единоверцах вошел через жену местного станового пристава в денежные сношения с раскольниками, и, наконец, посланный для поимки бегунов, захватил оных вместе с понятыми в количестве двух человек, но, по небрежности или из каких-либо иных целей, отпустил их и таким образом дал им возможность избежать кары закона.

Почтительнейше представляя все сие на благоусмотрение вашего сиятельства, имею честь испрашивать раз-

решения о предании чиновника особых поручений Вихрова суду».

Далее рукой Плавина в этой копии было прибавлено:

«Разрешение это и последовало уже».

По прочтении всего этого Вихрову сделалось даже смешно — и он не успел еще перейти ни к какому другому чувству, как в зале послышалась походка со шпорами.

«Уж не опять ли меня ссылают куда-нибудь подальше?» — подумал он.

В комнату к нему, в самом деле, входил полицеймейстер.

— Я к вам привез предписание начальника губернии,— начал тот, вынимая из-за борта мундира бумагу.

Вихров взял ее у него. В предписании было сказано:

«Предав вас вместе с сим за противозаконные действия по службе суду и с удалением вас на время производства суда и следствия от должности, я вместе с сим предписываю вам о невыезде никуда из черты городской впредь до окончания об вас упомянутого дела».

— Очень хорошо-с! — сказал Вихров, обратясь к полицеймейстеру.

— Позвольте мне от вас получить расписку в получении этого предписания,— проговорил тот.

Вихров дал ему эту расписку.

Полицеймейстер не уходил: ему тоже, как видно, хотелось ругнуть губернатора.

— Вот начальство-то как нынче распоряжается! — проговорил он, но Вихров ему ничего не отвечал. Полицеймейстер был созданье губернатора и один из довереннейших его людей, но начальник губернии принадлежал к таким именно начальникам, которых даже любимые и облагодетельствованные им подчиненные терпеть не могут.

В зале между тем раздались новые шаги.

Вихров взмахнул глазами: в двери входили оба брата Захаревские — на лицах у обоих была написана тревога.

— Я все, кажется, исполнил, что вы желали,— обратился Вихров к полицеймейстеру.

Тот понял этот намек, поклонился и ушел.

— Вы слышали, какую штуку с вами сыграл господин губернатор? — спросил прокурор. У него губы даже были бледны от гнева.

— Читаю вот все это теперь,— отвечал Вихров.

Виссарион Захаревский начал молча ходить взад и вперед по комнате; он тоже был возмущен поступком губернатора.

— Я журнала их о предании вас суду не пропустил,— начал прокурор.— Во-первых, в деле о пристрастии вашем в допросах спрошены совершенно не те крестьяне, которых вы спрашивали,— и вы, например, спросили семьдесят человек, а они — троих.

— Троих! — воскликнул Вихров.

— Троих! — повторил прокурор.— Потом об голоде и холере они никаких новых повальных обысков не делали, а взяли только прежние о том постановления земского суда и опеки. В деле аки бы ваших сношений через становую приставшу с раскольниками есть одно только голословное письмо священника; я и говорю, что прежде, чем предавать человека суду, надо обследовать все это законным порядком; они не согласились, в то же присутствие постановили, что они приведут в исполнение прежнее свое постановление, а я, с своей стороны, донесу министру своему.

— Благодарю вас,— сказал Вихров, протягивая ему руку.

— Это невозможно, невозможно-с,— говорил прокурор; губы у него все еще оставались бледными от гнева.

Виссарион тоже, наконец, заговорил.

— Главное дело тут — месть нехороша,— начал он,— господин Вихров не угодил ему, не хотел угодить ему в деле, близком для него; ну, передай это дело другому — и кончено, но мстить, подбирать к этому еще другие дела — по-моему, это нехорошо.

— Вопрос тут не во мне,— начал Вихров, собравшись, наконец, с силами высказать все, что накопилось у него на душе,— может быть, я сам во всем виноват и действительно никуда и ни на что не гожусь; может быть, виновата в том злосчастная судьба моя, но — увы! — не я тут один так страдаю, а сотни и тысячи подчиненных, которыми начальство распоряжается чисто для своей потехи. Будь еще у нас какие-нибудь партии, и когда одна партия восторжествовала бы, так давнула бы другую,— это было бы еще в порядке вещей; но у нас ничего этого нет, а просто тираны забавляются своими жертвами, как некогда

татары обращались с нами в Золотой Орде, так и мы обращаемся до сих пор с подчиненными нашими!.. Вот даю клятву,— продолжал Вихров,— что бы со мной ни было, куда бы судьба меня ни закинула, но разоблачать и предавать осмеянию и поруганию всех этих господ — составит цель моей жизни!..

— Все это совершенно справедливо! — подхватил инженер,— и против этого можно только возразить: где ж этого нет? Везде начальство желает, чтобы подчиненные служили в их духе; везде есть пристрастие, везде есть корыстолюбие.

— Как везде? — спросил прокурор.— Ни на одном языке слова даже нет: *взятка.*

— Слова нет, а самое дело есть,— произнес, смеясь, инженер.

— Нигде такого дела нет, нигде! — воскликнул Вихров.— Извините, Виссарион Ардальоныч, я сегодня в сильно раздраженном состоянии—и потому не могу удержаться и приведу вам вас же самих в пример. В вашем доме этот господин губернатор... когда вы разговаривали с ним о разных ваших упущениях при постройке дома, он как бы больше шутил с вами, находя все это, вероятно, вздором, пустяками,— и в то же время меня, человека неповинного ни в чем и только исполнившего честно свой долг, предает суду; с таким бесстыдством поступать в общественной деятельности можно только в азиатских государствах!

Инженер весь вспыхнул.

— Да вы, может быть, бог знает как напутали при исполнении ваших поручений; он этим и воспользовался,— отдал вас под суд.

— Если бы даже я и напутал, так он не должен был бы сметь отдавать меня под суд, потому что он все-таки знал, что я честно тут поступал!

Приезд новых гостей прервал этот разговор. Это был Кнопов, который, по обыкновению, во фраке и с прицепленною на борту сабелькою, увешанною крестами и медальками, входил, переваливаясь с ноги на ногу, а за ним следовал с своим строгим и малоподвижным лицом уже знакомый нам совестный судья.

— Сейчас только услыхал в клубе о постигшем вас гневе от нашего грозного царя Ивана,— начал Кнопов, относясь к Вихрову,— и поспешил вместе с Дмитрием

Дмитриевичем (прибавил он, указывая на судью) засвидетельствовать вам свое почтение и уважение!

Вихров поблагодарил того и другого.

— Здравствуйте, молодая юстиция,— продолжал Кнопов, обращаясь к прокурору,— у них ведь, как только родится правовед, так его сейчас в председательский мундир и одевают. Мое почтение, украшатели городов,— сказал Петр Петрович и инженеру,— им велено шоссе исправно содержать, а они вместо того города украшают; строят все дома себе.

Судья молча и солидно со всеми раскланялся.

Уселись все.

Судья первый начал говорить.

— На меня губернатор тоже написал донос,— сказал он Вихрову.

— Это по случаю кандидатуры на место председателя? — спросил тот.

— Да-с,— продолжал судья каким-то ровным и металлическим голосом,— он нашел, что меня нельзя на это место утвердить, потому что я к службе нерадив, жизни разгульной и в понятиях вольнодумен. Против всего этого я имею им же самим данные мне факты. Что я не нерадив к службе — это я могу доказать тем, что после каждой ревизии моего суда он объявлял мне печатную благодарность; бывал-с потом весьма часто у меня в доме; я у него распоряжался на балах, был приглашаем им на самые маленькие обеды его. Каким же образом он это делал? Если я человек разгульной жизни и вольнодумных мыслей — таких людей начальник губернии обыкновенно к себе не приближает и не должен приближать. О всем этом у меня составлены докладные записки, из коих одну я подал министру внутренних дел, а другую — министру юстиции.

— Митя у меня молодец! — подхватил Кнопов.— У него и батька был такой сутяга: у того Герасимов, богатый барин, поля собаками помял да коров затравил,— тридцать лет с ним тягался, однако оттягал: заставили того заплатить все протори и убытки...

— Я не то что сутяга,— возразил ему судья,— а уж, конечно, никому не позволю наступать себе на ногу, если я знаю, что я в чем-нибудь прав!.. В этой докладной записке,— продолжал он снова, относясь к Вихрову,— я объясняю и причины, по которым начальник губернии по-

рочит меня. «Для госпожи Пиколовой,— я пишу,— выгнаны четыре исправника и заменены ее родственниками; за госпожу Пиколову ратман за то, что в лавке у него не поверили ей в долг товару, был выдержан целый месяц при полиции; за госпожу Пиколову господин Вихров за то, что он произвел следствие об ее родном брате не так, как тому желалось, предан теперь суду». Я вот нарочно и заехал к вам, чтобы попросить вас позволить мне упомянуть также и об вас.

— Сделайте одолжение,— подхватил Вихров.

— Кроме того, у меня собраны от разных жителей города такого рода записки: «Ах, там, пожалуйста, устройте бал у себя, m-me Пиколовой так хочется потанцевать», или: «Мы с m-me Пиколовой приедем к вам обедать», и все в этом роде. Как потом будет угодно министрам — обратить на это внимание или нет, но я представляю факты.

— Это, брат, еще темна вода во облацех, что тебе министры скажут,— подхватил Кнопов,— а вот гораздо лучше по-нашему, по-офицерски, поступить; как к некоторым полковым командирам офицеры являлись: «Ваше превосходительство, или берите другой полк, или выходите в отставку, а мы с вами служить не желаем; не делайте ни себя, ни нас несчастными, потому что в противном случае кто-нибудь из нас, по жребию, должен будет вам дать в публичном месте оплеуху!» — и всегда ведь выходили; ни один не оставался.

— Губернатор и полковой командир — две вещи разные,— возразил ему судья,— в полках все-таки было развито чувство чести!

— Губернатор просто назовет это скопом и донесет на вас,— подхватил прокурор,— и вас всех разошлют по дальним губерниям.

— Да, пожалуй, рассылай,— эка важность! Народ-то нынче трусоват стал,— продолжал Петр Петрович, мотнув головой,— вон как в старину прежде дворяне-то были — Бобков и Хлопков. Раз они в чем-то разругались на баллотировке: «Ты,— говорит один другому,— не смей мне говорить: я два раза в солдаты был разжалован!» — «А я,— говорит другой,— в рудниках на каторге был!» — хвастаются друг перед другом тем; а вон нынешние-то лизуны — как съедутся зимой, баль-костюме сейчас надо для начальника губернии сделать. Он меня раз спрашивает: «Будете вы в маскараде и как замаскируетесь?..» —

«Министром»,— говорю.— «Зачем же, говорит, министром?»—«Чтобы чиновников, говорю, всех выгнать вон».— «Что же, говорит, и меня выгоните?» — «В первую голову»,— говорю. Смеется, но после того на обеды перестал звать... Однако, моя милая братия, пора нам и пуа! — заключил Кнопов, уже вставая.

— Пуа? — спросил его, вставая, Вихров.

— Пуа!.. Непременно пуа!..— повторил Кнопов.— Вы, Фемида юная, поедете с нами?.. В клуб ведь только! Никуда больше!..— сказал он прокурору.

— Извольте! — отвечал тот.

— А вы, градоукрашатель? — обратился он к инженеру.

— И я поеду,— отвечал тот.

— С вас непременно дюжину шампанского,— говорил Кнопов,— а то скажу, из какого лесу вы под городом мост строили. «Куда это, говорю, братцы, вы гнилушки-то эти везете — на завод, что ли, куда-нибудь в печь?» — «Нет, говорят, мост строить!»

— Ну, ну! Всегда одно и то же толкуете! — говорил инженер, идя за Петром Петровичем, который выходил в сопровождении всех гостей в переднюю. Там он не утерпел, чтобы не пошутить с Груней, у которой едва доставало силенки подать ему его огромную медвежью шубу.

— Что вы, милушка, нянюшкой, что ли, за вашим барином ходите? — спросил он ее.

— Нянюшкой-с,— пошутила и Груша, краснея.

— Что же, вы ему спинку и грудку трете? — спрашивал Кнопов.

— Нет-с, не тру,— отвечала Груня, смеясь и еще более краснея.

— Трите, милушка, трите,— это пользительно бывает!

Вихров, проводив гостей, начал себя чувствовать очень нехорошо. Он лег в постель; но досада и злоба, доходящие почти до отчаяния, волновали его. Не напиши Мари ему спасительных слов своих, что приедет к нему,— он, пожалуй, бог знает на что бы решился.

На другой день он встал в лихорадке и весь желтый: у него разлилась страшнейшая желчь.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

I

РАДОСТНЫЕ ИЗВЕСТИЯ

Уже около двух месяцев Вихров лежал больной. Он все почти время проводил один; из друзей его никого не было в городе: Кнопов жил в деревне; прокурор вместе с совестным судьей (и вряд ли не затем, чтоб помочь тому подшибить губернатора) уехал в Петербург. Инженер тоже поехал с ними, чтобы, как он выражался, пообделать кой-какие делишки, и таким образом единственной собеседницей героя моего была Груша, очень похорошевшая последнее время и начавшая одеваться совершенно как барышня. Она целые дни сидела у него в комнате и щебетала ему, как птичка, разные разности.

Однажды, это было в пятницу на страстной неделе, Вихров лежал, закинув голову на подушки; ему невольно припоминалась другая, некогда бывшая для него страстная неделя, когда он жил у Крестовниковых: как он был тогда покоен, счастлив; как мало еще знал всех гадостей людских; как он верил в то время в жизнь, в правду, в свои собственные силы; а теперь все это было разбито — и что предстояло впереди, он еще и сам не знал хорошенько.

Груша между тем, думая, что барин скучает, не преминула сейчас же начать развлекать его своими разговорами. По случаю таких великих дней, она по преимуществу старалась говорить о божественном.

— А что, барин, правда ли,— спросила она,— когда Христос воскрес, то пришел в ад и заковал сатану?

— Правда,— отвечал Вихров,— потому что доброе и великое начало, которое есть во Христе, непременно должно было заковать начало злое.

— И что будто бы, барин,— продолжала Груша,— цепь эту, чтобы разломать ее, дьяволы круглый год пилят,— и как только самая малость у них останется, с ушко игольное, вдруг подойдет христов день, пропоют «Христос воскресе!», цепь опять цела и сделается?..

— И это справедливо,— подтвердил Вихров,— злое начало, как его ни заковывай, непременно в жизни человеческой начнет проявляться — и все больше и больше, пока снова не произнесутся слова любви и освобождения: тогда оно опять пропадает... Но кто ж тебе все это рассказывал? — прибавил он, обращая с радушием свое лицо к Груне.

— Да тут старушка, барин, к нам одна в Воздвиженское ходила: умная этакая, начетчица!.. Она еще говорила: как Христос тогда сошел в ад — всех грешников и увел с собою, только одного царя Соломона оставил там. «Что ж, говорит, господи, ты покинул меня?» — «А то, говорит, что ты своим умом выходи!» Соломон и стал проситься у сатаны. Тот говорит: «Хорошо, поклонись только мне!» Что делать царю Соломону? Он, однако, день — другой подумал и согласился: поклонился сатане, а сам при этом все держит ручку вверх,— и, батюшки, весь ад восплескал от радости, что царь Соломон сатане поклонился... Тот отпускает его; только Соломон, как на землю-то вышел, и говорит дьяволам, которые его провожали: «Я, говорит, не сатане вашему кланялся, а Христу: вот, говорит, и образ его у меня на большом пальце написан!..» Это он как два-то дни думал и нарисовал себе на ногтю образ Спасителя.

Заметив при этом на губах у Вихрова улыбку, Груша приостановилась.

— Что, барин, видно, это неправда? — спросила она.

Вихров недоумевал, что ему отвечать: разочаровывать Грушу в этих ее верованиях ему не хотелось, а оставлять ее при том ему тоже было жаль.

— Ну, а сама как ты думаешь: правда это или нет? — спросил он ее, в свою очередь.

— Мне-то, барин, сумнительно,— отвечала Груша,—

что, неужели в аду-то кисти и краски есть, которыми царь Соломон образ-то нарисовал.

— Это не то что он образ нарисовал,— объяснял ей Вихров,— он в мыслях своих только имел Христа, когда кланялся сатане.

— Так, так!..— подхватила радостно Груша.— Я сама тоже думала, что это он только в мнении своем имел; вот тоже, как и мы, грешные, делаем одно дело, а думаем совсем другое.

— Какое же это ты дело делаешь, а думаешь другое? — спросил ее Вихров.

— Да вот, барин, хотя бы то,— отвечала Груша, немного покраснев,— вот как вы, пока в деревне жили, заставите бывало меня что-нибудь делать — я и делаю, а думаю не про то; работа-то уж и не спорится от этого.

— Про что ж ты думаешь?

— А про то, барин (и лицо Груни при этом зарделось, как маков цвет), что я люблю вас очень!

— Вот какая ты! — проговорил Вихров.

— Да, барин, очень вас люблю! — повторила еще раз Груша и потом, истощив, как видно, весь разговор о божественном, перешла и на другой предмет.

— А что, барин, государь Николай Павлович помер уж?

— Помер.

— Теперь, значит, у нас государь Александр Николаевич.

— Александр Николаевич.

— Он, говорят, добрый?

— Очень.

Груша, кажется, хотела еще что-то спросить, но в это время послышался звонок, затем говор и шум шагов.

— Это, должно быть, Кнопов приехал,— проговорил Вихров.

— Он и есть, надо быть,— медведь этакой! — сказала Груша и поспешила захватить работу и встать с своего места.

В комнату, в самом деле, входил Кнопов, который, как только показался в дверях, так сейчас же и запел своим приятным густым басом:

«Волною морскою скрывшего древле гонителя, мучителя...»

— Что это такое?.. От вечерни, что ли, вы? — спросил его Вихров, поднимаясь со своей постели.

— Из дому-с! — отвечал Петр Петрович и сейчас же заметил, что Груша как бы немного пряталась в темном углу.

— Это, сударыня, куда вы ушли? Пожалуйте сюда и извольте садиться на ваше место! — проговорил он и подвел ее к тому месту, на котором она сидела до его прихода.

Груша очень конфузилась.

— Да вы сами-то извольте садиться,— проговорила она.

— Я-то сяду; ты-то садись и не скрывай от нас твоего прелестного лица! — проговорил Петр Петрович.

— Садись, Груша, ничего!..— повторил ей и Вихров.

Груша села, но все-таки продолжала конфузиться.

Петр Петрович затем и сам, точно стопудовая гиря, опустился на стул.

— С вестями я-с, с большими!.. Нашего гонителя, мучителя скрыли, почеркнули... хе-хе-хе!..— И Петр Петрович захохотал громчайшим смехом на всю комнату.

— Какого же? Неужели губернатора нашего? — спросил Вихров и вспыхнул даже в лице от удовольствия.

— Его самого-с! — подтвердил Петр Петрович.

— Но каким же это образом случилось — и за что?

— Это все Митька, наш совестный судья, натворил: долез сначала до министров, тем нажаловался; потом этот молодой генерал, Абреев, что ли, к которому вы давали ему письмо, свез его к какой-то важной барыне на раут. «Вот, говорит, вы тому, другому, третьему расскажите о вашем деле...» Он всем и объяснил — и пошел трезвон по городу!.. Министр видит, что весь Петербург кричит,— нельзя ж подобного господина терпеть на службе,— и сделал доклад, что по дошедшим неблагоприятным отзывам уволить его...

Ко всему этому рассказу Груша внимательнейшим образом прислушивалась.

— Ну, слава тебе, господи! — сказала она и даже перекрестилась при этом: из разных отрывочных слов барина она очень хорошо понимала своим любящим сердцем, какой злодей был губернатор для Вихрова.

— Но знает ли он об своей участи? — спросил тот Петра Петровича.

— Знает — как же! Я нарочно сегодня заезжал к Пиколовым — сидят оба, плачут, муж и жена,— ей-богу!.. «Что это,— я говорю невиннейшим, знаете, голосом,— Ивана-то Алексеевича вытурили, говорят, из службы?» — «Да, говорит, он не хочет больше служить и переезжает в Москву».— «Как же, говорю, вы без него скучать будете — и вы бы переезжали с ним в Москву».— «У нас, говорит, состояния нет на то!» — «Что ж, говорю, вашему супругу там бы место найти; вот, говорю, отличнейшая там должность открылась: две с половиной тысячи жалованья, мундир 5-го класса, стеречь Минина и Пожарского, чтоб не украли!» — «Ах, говорит, от кого же это зависит?» — «Кажется, говорю, от обер-полицеймейстера». Поверили, дурачье этакое!

— Как-то мое дело теперь повернется — интересно!..— произнес Вихров, видимо, больше занятый своими мыслями, чем рассказом Кнопова.— Я уж подал жалобу в сенат.

— Повернется непременно в вашу пользу. На место Мохова, говорят, сюда будет назначен этот Абреев — приятель ваш.

— Неужели? — воскликнул Вихров с явным удовольствием.

— Он, говорят, непременно.

— Груша, слышишь: барин твой прежний будет сюда назначен губернатором.

— Слышу, да-с! — отвечала та тоже радостно; она, впрочем, больше всего уж рада была тому, что прежнего-то злодея сменили.

— Абреев — человек отличнейший, честный, свободномыслящий,— говорил Вихров.

— Так мне и Митрий Митрич пишет: «Человек, говорит, очень хороший и воспитанный».

— Но скажите, пожалуйста, что же Захаревские делают в Петербурге?.. Ни один из них мне ни строчки, ни звука не пишет,— продолжал Вихров, видимо, повеселевший и разговорившийся.

— Да старший-то, слышно, в Петербурге и останется; давно уж ему тоже хотелось туда: все здесь ниже своего ума находил; а младший, говорят, дело какое-то торговое берет,— продуфь ведь малый!..

В это время послышался в передней снова звонок.

— Видно, еще кто-то приехал! — проговорила Груша и проворно вышла, чтобы посмотреть, кто.

Вскоре она возвратилась, но лицо ее было далеко не так весело, как было оно за несколько минут.

— Это письмо к вам-с,— сказала она заметно сухим тоном.— От Марьи Николаевны, надо быть,— прибавила она, и как будто бы что-то вроде грустной улыбки промелькнуло у нее на губах. Груша, несмотря на то, что умела только читать печатное, почерк Марьи Николаевны знала уже хорошо.

Вихров дрожащими руками распечатал письмо Мари и начал его читать.

Мари писала:

«Наконец бог мне помог сделать для тебя хоть что-нибудь: по делу твоему в сенате я просила нескольких сенаторов и рассказала им все до подробности; оно уже решено теперь, и тебя велено освободить от суда. По случаю войны здесь все в ужасной агитации — и ты знаешь, вероятно, из газет, что нашему бедному Севастополю угрожает сильная беда; войска наши, одно за другим, шлют туда; мужа моего тоже посылают на очень важный пост — и поэтому к нему очень благосклонен министр и даже спрашивал его, не желает ли он что-нибудь поручить ему или о чем-нибудь попросить его; муж, разумеется, сначала отказался; но я решилась воспользоваться этим — и моему милому Евгению Петровичу вдула в уши, чтобы он попросил за тебя. Генерал мой сперва от этого немножко поморщился; но я ему втолковала, что это он сделает истинно доброе дело. Он убедился этим, попросил министра,— и, чрез ходатайство того, тебе разрешено выйти в отставку и жить в деревне; о большем пока я еще и не хлопотала, потому что, как только муж уедет в Севастополь, я сейчас же еду в имение наше и увижусь с тобою в твоем Воздвиженском. Мне иногда казалось, что ты, смотря на мою жизнь, как будто бы спрашивал взглядом твоим: за что я полюбила мужа моего и отдала ему руку и сердце? История этой любви очень проста: он тогда только что возвратился с Кавказа, слава гремела об его храбрости, все товарищи его с удивлением и восторгом говорили об его мужестве и твердости,— голова моя закружилась — и я, забыв все другие качества человека, видела в нем только *героя-храбреца*. В настоящее время я как бы вижу подтверждение этой молвы об нем:

ему уже с лишком пятьдесят лет, он любит меня, сына нашего,— но когда услыхал о своем назначении в Севастополь, то не только не поморщился, но как будто бы даже помолодел, расторопней и живей сделался — и собирается теперь, как он выражается, на этот *кровавый пир* так же весело и спокойно, как будто бы он ехал на какой-нибудь самый приятнейший для него вечер; ясно, что *воевать* — это его дело, его призвание, его сущность: он воин по натуре своей, воин органически. Точно так же и тот ненавистный капитан, который так тебе не понравился тогда у нас на вечере. Он сам Христом богом упрашивал мужа, чтобы тот взял его с собою,— и когда Евгений Петрович согласился, то надобно было видеть восторг этого господина; об неприятеле он не может говорить без пены у рта и говорит, что вся Россия должна вооружиться, чтобы не дать нанести себе позора, который задумала ей сделать Франция за двенадцатый год. Все это много помирило меня с ним за его дикие мнения. Нет сомнения, что он искреннейший патриот и любит Россию по-своему, как только умеет. До свиданья, друг мой!»

— Нет, в один день и много уж получать столько счастья! — сказал Вихров, кладя письмо и ложась от душевного волнения на постель.

— Что такое еще пишут? — спрашивал Петр Петрович.

— Пишут, во-первых,— отвечал Вихров, растирая себе грудь,— что я от суда избавлен.

Груша опять при этом тихонько перекрестилась.

— И мне разрешено выйти в отставку и ехать в деревню.

Груша вся как бы превратилась в слух.

— И выходите сейчас же! Черт с ней, с этой службой! Я сам, вон, в предводители даже никогда не баллотировался, потому что все-таки надобно кланяться разным властям. Однако прощайте,— прибавил он, заметив, что у хозяина от сильного волнения слезы уж показывались на глазах.

— Нет, Петр Петрович, вы должны у меня выпить бутылочку шампанского.

— А сами вы будете пить со мной? — спросил тот.

— Сам я не могу,— вы видите, я болен.

— Ну-с, мой милый, у меня всегда было священнейшим правилом, что с друзьями пить сколько угодно, а од-

ному — ни капли. Au revoir! Успеем еще, спрыснем как-нибудь! — проговорил Петр Петрович и, поднявшись во весь свой огромный рост, потряс дружески у Вихрова руку, а затем он повернулся и на своих больных ногах присел перед Грушей.

— Adieu, mademoiselle,— сказал он.

— *Адьё, мсьё,*— произнесла та, сама тоже приседая перед ним.

Петр Петрович повернулся и молодцевато и явно модничая пошел в переднюю, где не допустил Грушу подать ему шинель, а сам ловко снял ее с вешалки и надел в рукава.

— Поберегите ваши слабые силы для вашего слабого барина,— проговорил он нежным голосом Груше.

— Слушаю-с! — отвечала та и, проводив гостя, сейчас же поспешила к Вихрову, который настоящим уже образом рыдал.

Груша с испуганным лицом остановилась перед ним. Он взял ее за руку.

— Что ж, мы, барин, и уедем отсюда? — спросила она.

— Уедем, уедем, на следующей же неделе уедем! — отвечал он.

Груша несколько времени как бы не решалась его о чем-то спросить.

— Вы, барин, не вздумайте,— начала она и при этом побледнела даже от страха,— не вздумайте меня с обозом отправить отсюда.

— Нет, как это возможно! — сказал Вихров.

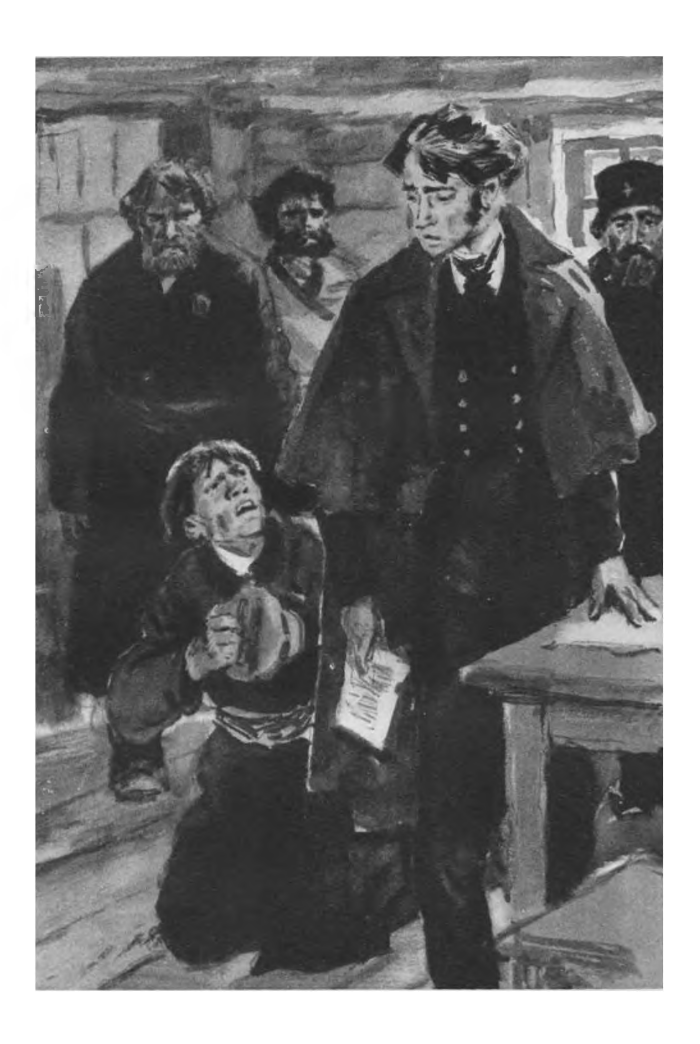
— Да-с, где вам этакому больному ехать одному — я за вами и похожу! — сказала Груша, вся вспыхнув от радости.

— И походишь! — говорил Вихров и слегка притянул ее к себе.

Груша села на самый краешек постели и принялась нежными глазами глядеть на него.

II
СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ

Опять май, и опять Воздвиженское. Вихров сидел на балконе и любовался прелестными окрестностями. Он сегодня только приехал; здоровье его почти совершенно по-





правилось; никакая мать не могла бы так ухаживать за своим ребенком, как ухаживала за ним в дороге Груша. Чтобы не съел он чего-нибудь тяжелого, она сама приготовляла ему на станциях кушанья; сама своими слабыми ручонками стлала ему постель, сторожила его, как аргус, когда он засыпал в экипаже,— и теперь, приехав в Воздвиженское, она, какая-то гордая, торжествующая, в свеженьком холстинковом платье, ходила по всему дому и распоряжалась.

Перед Вихровым в это время стоял старик с седой бородой, в коротенькой черной поддевке и в солдатских, с высокими голенищами, сапогах. Это был Симонов. Вихров, как тогда посылали его на службу, сейчас же распорядился, чтобы отыскали Симонова, которого он сделал потом управляющим над всем своим имением. Теперь он, по крайней мере, с полчаса разговаривал с своим старым приятелем, и все их объяснение больше состояло в том, что они говорили друг другу нежности.

— Никак бы я вас, Павел Михайлыч, не узнал, ей-богу! — говорил, почти с каким-то восторгом глядя на Вихрова, Симонов.

— И тебя борода много изменила,— сказал ему тот.

— Я бы ее, проклятую,— отвечал Симонов,— никогда и не отпустил: терпеть не могу этой мочалки; да бритву-то, дурак этакой, где-то затерял, а другую купить здесь, пожалуй, и не у кого.

— Ну, я тебе свою подарю.

— Благодарим покорно-с! — отвечал Симонов, усмехаясь.

— И вообще, если у тебя чего нет,— продолжал Вихров,— или ты желаешь прибавки жалованья — скажи! Я исполню все твои желания.

— Нет-с, что мне, слава богу, этого довольно. Я человек не то что семейный, а один, как перст, на всем свете есть!

— Ну, а к должности управляющего привык уж?

— Привык — ничего теперь!.. Народ только нынче ужасно балованный и ленивый стал. Я ведь, изволите знать, не то что человек бранчивый, а лето-то-летенское что у меня с ними греха бывает — и не замолишь, кажется, никогда этого перед богом.

— Стало быть, столярничать-то, пожалуй, и лучше?

— Да-с, покойнее.

— А помнишь ли, как мы театр играли? — спросил Вихров.

— Еще бы-с! У меня декорации эти самые и до сей поры живы.

— Не может быть?

— Живы-с и декорации и картина Всеволода Никандрыча, которую он рисовать изволил.

— Покажи мне, пожалуйста, какую-нибудь декорацию,— сказал Вихров, желая посмотреть — что это такое было.

— Я их с рамок-то срезал, на катках они у меня,— говорил Симонов, и через несколько минут бережно принес одну лесную декорацию и один передний подзор и развесил все это перед Вихровым.

— Это вы вот и изволили рисовать,— сказал Симонов.

— Да, я,— говорил тот, припоминая счастливую пору своего детства.

— Я всю жизнь буду их беречь,— продолжал Симонов и, дав барину еще некоторое время полюбоваться своим прежним рисованием, принялся старательнейшим образом свертывать и декорацию и подзор.

— Тут камердинер ваш прежний желает явиться к вам,— прибавил он с полуулыбкою.

— Иван это?

— Да-с.

Вихров поморщился.

— А что, как он вел себя в деревне?

— Ничего-с, сначала было поленивался, все на печке лежал; но я тоже стал ему говорить, что другие дворовые обижаются: «Что, говорят, мы работаем, а он — нет!» Я, говорю, братец мой, поэтому месячины тебе выдавать не стану. Испугался этого, стал работать.

— Но он, я думаю, ничего не умеет?

— Малость самую-с! За сеном, за дровами, за водой когда съездит.

— Но не пьянствовал ли он?

— Пьянствовать-то, слава богу, не на что было... Платье, которым награжден был от вас, давно пропил; теперь уж в рубище крестьянском ходит... Со слезами на глазах просил меня, чтобы я доложил вам о нем.

— Ну, приведи его.

Симонов пошел и привел Ивана, который, в самом

деле, был в рубище. Лицо у него сделалось как-то еще глупей и сердитей и как бы перекосилось совсем на сторону.

Он, как вошел, так сейчас и поклонился Вихрову в ноги; того, разумеется, это взорвало.

— Не унижайся, по крайней мере, до мерзости этакой! — воскликнул он.

Но Иван, думая, что барин за что-нибудь за другое на него сердится, еще раз поклонился ему в ноги и встал потом в кроткой и смиренной позе.

— Как же это ты на меня что-то такое доносить хотел? — сказал Вихров, отворачиваясь от него. Ему противно было даже видеть его.

— Виноват-с,— отвечал Иван глухим голосом.

— Так-таки и думал донести?

— Да-с.

Иван, видно, решился сделать самое откровенное признание.

Вихров пожал только плечами.

«Стоило ли сердиться на подобного человека?!» — подумал он.

— Ты это хотел мне мстить за то, что Груша не идет за тебя замуж?

— Да-с,— отвечал и на это Иван.

— Ну, вот видишь ли: если ты осмелишься адресоваться к ней с какими-нибудь разговорами или грубостью, то уж не пеняй на меня!

— Как возможно-с теперь мне к Аграфене Яковлевне с разговором каким идти! — сказал Иван, плутовато поднимая и опуская глаза.— В горнице только позвольте мне служить; я к работе человек непривычный.

— То есть тебе здесь спать, ничего не делать будет удобнее,— заметил Вихров,— но за мною ходить не трудись, потому что за мною будет ходить мальчик Миша.

— Слушаю-с,— отвечал Иван.— Только ведь у меня платья никакого нет,— прибавил он как бы несколько уж и обиженным голосом.

— Знаю — и то знаю, что ты все пропил,— произнес Вихров.

— Я не пропил, а износил его... Мне ничего с той поры выдаваемо не было,— проговорил Ванька.

— Как не было? Кафтан и полушубок тебе дали, как и прочим,— уличил его Симонов.

— Я-с не про полушубок говорю-с,— отвечал ему Иван кротко и даже с прибавлением *с*.

— Ну, хорошо, сошьют все — ступай!

Иван ушел, но Симонов еще не уходил.

— Барин там-с из города,— начал он,— господин Живин, как слух прошел, что вы пожалуете в деревню, раз пять к нам в Воздвиженское заезжал и все наказывал: «Как ваш барин, говорит, приедет, беспременно дайте мне знать сейчас!» — прикажете или нет послать?

— Разумеется, пошли — и пускай приезжает, когда только хочет: я очень рад буду его видеть.

Вошла Груша; как-то мило, но немножко уж гордо склонив свою головку набок, она проговорила:

— Старушка Алена Сергеевна пришла к вам-с.

— Ах, это жена Макара Григорьева,— позови ее! — сказал Вихров.

Груша ушла, и через несколько минут робкими и негромкими шагами на балкон вошла старая-престарая старушка, с сморщенным лицом и с слезливыми глазами. Как водится, она сейчас же подошла к барину и взяла было его за руку, чтобы поцеловать, но он решительно не дал ей того сделать; одета Алена Сергеевна была по-прежнему щепетильнейшим образом, но вся в черном. Супруг ее, Макар Григорьич, с полгода перед тем только умер в Москве.

— Умер наш с тобой Макар Григорьич! — сказал ей Вихров, уже получивший о том известие.

— Да-с, батюшка, изволил скончаться! — отвечала Алена Сергеевна и затем, громко простонав, склонила в землю, как бы в сильнейшей печали, свое старушечье лицо.

— Ты у него в Москве последнее время жила?

— Да-с, приказал мне прибыть к нему; почесть уж и с постельки не поднимался при мне, все вода-то ему к сердцу приливала, а все, судырь, печаловался и кручинился об вас.

— Знаю это я; этакого друга мне, может быть, и не нажить больше в жизни,— проговорил Вихров; и у него слезы навернулись при этом на глазах.

— Все со мной разговаривал: «Аленушка, говорит, что это у нас с барином-то случилось?» У нас, батюшка, извините на том, слухи были, что аки бы начальство на

вас за что-то разгневалось, и он все добивался, за что это на вас начальство рассердилось. «Напиши, говорит, дура, в деревню и узнай о том!» Ну, а я где... умею ли писать?

— А жить тебе теперь есть чем, оставил он тебе что-нибудь в наследство? — спросил ее Вихров.

— Ну, батюшка, известно, какое уж у нас, мужиков, наследство!

Симонов, сбиравшийся было совсем уйти, при этих словах Алены Сергеевны как бы невольно приостановился и покачал только головой.

— Не гневи бога, старуха, не гневи! — произнес он укоряющим голосом.— Кубышку порядочную оставил он тебе.

— Ну, да я, батюшка, и не жалуюся никому,— отвечала Алена Сергеевна, снова потупляя с грустью лицо свое.

— Еще бы жаловаться-то тебе! — произнес Симонов, уже уходя.

Вихров еще несколько времени потолковал с Аленой Сергеевной, расспросил ее — на каком кладбище похоронен Макар Григорьев, дал ей денег на поминовение об нем и, наконец, позвал Грушу и велел ей, чтобы она напоила Алену Сергеевну чаем.

— У меня уж самовар готов про них,— отвечала та бойко и повела Алену Сергеевну к себе в кафишенскую, где они втроем, то есть Груша, старая ключница и Алена Сергеевна, уселись распивать чай. Вихров, перешедший вскоре после того с балкона в наугольную, невольно прислушался к их разговору. Слов он, собственно, не слыхал, а слышал только, что они беспрестанно чичикали, как кузнечики какие; видел он потом, как Груша, вся красненькая от выпитого чаю, прошла в буфет и принесла для Алены Сергеевны водочки, также поднесла рюмочку и старой ключнице. Затем они стали прощаться. Вихров слышал, как они целовались и как Алена Сергеевна упрашивала: «Сделайте милость, посетите мою вдовью келью!» — «Непременно буду-с!» — отвечал ей на это молодой голос Груни.

Часов в шесть вечера, когда Вихров, соснув, вышел опять на балкон, к нему приехал Живин.

— Где он, друг мой любезный? — говорил он, входя почему-то с необыкновенною живостью; затем крепко обнял и поцеловал Вихрова, который при этом почувство-

вал, что к нему на щеку упала как бы слеза из глаз Живина.

— Ну вот, очень рад,— говорил тот, усаживаясь, наконец, на стул против Вихрова,— очень рад, что ты приехал сюда к нам цел и невредим; но, однако, брат, похудел же ты и постарел! — прибавил он, всматриваясь в лицо Вихрова.

— Что делать! — отвечал тот, и сам, в свою очередь, тоже всмотрелся в приятеля.— Но ты, напротив, помолодел и какой-то франт стал! — прибавил он.

— Еще бы не франт! — отвечал Живин.

Он, в самом деле, был даже завитый, напомаженный и надушенный, в коротенькой, с явной претензией на моду, жакетке, в пестрых летних брючках и лакированных ботинках на пуговицах.

— Что же ты — или женился, или жениться собираешься? — говорил Вихров.

— Женюсь, женюсь, отчего ж нам и не жениться? — отвечал Живин несколько уже сконфуженным голосом.

— Но на ком же это? — спросил Вихров.

— На mademoiselle Захаревской... На Юлии Ардальоновне,— говорил с какими-то перерывами Живин.

— Вот как! — невольно воскликнул Вихров.— Но как же и каким образом это случилось?

— Случилось это,— отвечал Живин, встав уже со своего стула и зашагав по балкону...— возвратилась она от братьев, я пришел, разумеется, к ним, чтобы наведаться об тебе; она, знаешь, так это ласково и любезно приняла меня, что я, разумеется, стал у них часто бывать, а там... слово за слово, ну, и натопленную печь раскалить опять нетрудно,— в сердчишке-то у меня опять прежний пламень вспыхнул,— она тоже, вижу, ничего: приемлет благосклонно разные мои ей заявления; я подумал: «Что, мол, такое?!» — пришел раз домой и накатал ей длиннейшее письмо: так и так, желаю получить вашу руку и сердце; ну, и получил теперь все оное!

— И отлично это! — подхватил Вихров.— Она девушка славная, я успел ее хорошо узнать.

— Ну да, ведь вы больше году в одном городе жили,— сказал Живин опять несколько сконфуженным голосом.

— В одном доме даже жили.

— Может быть, она даже влюблена в тебя была? — подхватил Живин опять тем же сконфуженным голосом.

— Никак она не могла быть в меня влюблена,— успокоил его Вихров,— потому что она постоянно видела меня занятого другого рода привязанностью.

— А что же, и там разве были?

— Разумеется, были,— отвечал Вихров.

Живин опять после этого повеселел совершенно.

— Я тут, братец, рассуждаю таким образом,— продолжал он, — я — человек не блестящий, не богач, а потому Юлии Ардальоновне идти за меня из-за каких-нибудь целей не для чего — и если идет она, так чисто по душевному своему расположению.

— Конечно,— подтверждал Вихров, хоть в душе и посмеялся несколько простодушию приятеля.

— Разные здешние теперь сплетники говорят,— продолжал тот,— что она — старая дева и рада за когонибудь выйти замуж; ну, и прекрасно, я и на старой деве этакой сочту женитьбу для себя за великое счастье.

— Что ж она за старая! — возразил Вихров, а сам с собой продолжал думать: «Нет, и не поэтому она идет за тебя».

— Но, впрочем, все это вздор,— говорил Живин,— главное, теперь я непременно желаю, чтобы ты был шафером у меня на свадьбе.

— Но, любезный друг, я еще болен и не совершенно оправился.

— Ни-ни-ни! — воскликнул Живин. — И не думай отговариваться! А так как свадьба моя в воскресенье, так не угодно ли вам пожаловать ко мне в субботу — и вместе поедем на девичник. Надеюсь, что ты не потяготишься разделить со мной это, может быть, первое еще счастливое для меня дело в жизни?! — заключил Живин с чувством.

— Конечно, уж если ты так желаешь этого! — отвечал Вихров.

Живин поцеловал его еще раз и вскоре за тем уехал к своей нареченной.

Вихров, оставшись один, по случаю разговора о m-lle Захаревской невольно вспомнил свою жизнь в губернском городе и свою служебную деятельность. Какой это суровый, и мрачный, и тяжелый подвиг в жизни его был! «В России нельзя честно служить!» — подумал он — и в мыслях своих представил себе молодого человека с волей, с характером, с страшным честолюбием, который решился служить, но только честно, и все-таки в конце кон-

цов будет сломлен. На эту тему у него сейчас же целый роман образовался в голове. Фигура придуманного им молодого человека так живо нарисовалась в его воображении, что он пошел в кабинет и сейчас же описал ее. Он чувствовал, что каждое слово, которое говорил описываемый им молодой человек, сталью крепкой отзывалось; но в то же время Вихров с удовольствием помышлял, что и этой силы недостанет сделать что-нибудь честное в службе при нынешнем ее порядке.

Груша, видевшая, что барин часа четыре уже сидит и пишет, вошла к нему.

— Павел Михайлыч, будет вам сегодня писать, вы и без того с дороги устали! — сказала она.

— И то устал,— отвечал он, вставая и, в самом деле, чувствуя даже нервную дрожь.

— Ложитесь-ка лучше баиньки, с богом! — прибавила она и сама уложила его в постель, аккуратно укутала одеялом и потихоньку ушла.

Притворив совсем дверь в спальную, она, впрочем, некоторое время оставалась тут и прислушивалась.

— Слава богу, уснул, кажется! — проговорила она, наконец, шепотом — и на цыпочках ушла в свою светленькую и чистенькую комнатку около кафишенской.

III

СВАДЬБА ЖИВИНА

С самого начала своей болезни Вихров не одевался в свое парадное платье и теперь, когда в первый раз надел фрак и посмотрелся в зеркало, так даже испугался, до того показался худ и бледен самому себе, а на висках явно виднелись и серебрились седины; слаб он был еще до того, что у него ноги даже дрожали; но, как бы то ни было, на свадьбу он все-таки поехал: его очень интересовало посмотреть, как его встретит и как отнесется к нему Юлия.

Девичники в то время в уездных городках справлялись еще с некоторою торжественностью. Обыкновенно к невесте съезжались все ее подружки с тем, чтобы повеселиться с ней в последний раз; жених привозил им конфет, которыми как бы хотел выкупить у них свою невесту. Добродушный и блаженствующий Живин накупил, разумеется, целый воз конфет и, сверх того, еще огромные букеты цветов для невесты и всех ее подруг и вздумал было воз-

ложить всю эту ношу на Вихрова, но тот решительно отказался.

— Убирайся ты, понесу ли я эту дрянь?! — сказал тот ему прямо.

— Экий ленивец какой, экий лентяй! — укорял его Живин и — делать нечего — велел нести за собою лакею.

Приехали они на Вихрова лошадях и в его экипаже, которые, по милости Симонова, были по-прежнему в отличнейшем порядке. Барышни-девицы были все уже налицо у Юлии, и между всеми ими только и вертелся один кавалер, шафер Юлии, молоденький отпускной офицерик, самым развязным образом любезничавший со всеми барышнями.

Войдя за Живиным, Вихров прямо подошел к невесте.

— Здравствуйте, Павел Михайлыч! — воскликнула та, явно вспыхнув и с видимою поспешностью поздоровавшись с женихом.

— Поздравляю вас! — произнес тот в ответ ей.

— Да, благодарю вас,— проговорила Юлия и опять так же поспешно.

— Павел Михайлыч, здравствуйте! — раздался в это время из-за угла другой голос.

Вихров обернулся: это говорила m-lle Прыхина. Она тоже заметно как-то осунулась и как-то почернела, и лицо ее сделалось несколько похожим на топор.

— Сюда, сюда! — кричала она, показывая на свободный стул около себя.

Вихров, не находя, о чем бы больше говорить с невестой, отошел и сел около Катишь.

Юлия же как бы больше механически подала руку жениху, стала ходить с ним по зале — и при этом весьма нередко повертывала голову в ту сторону, где сидел Вихров. У того между тем сейчас же начался довольно интересный разговор с m-lle Прыхиной.

— Я только сейчас услыхала, что вы приехали в деревню и будете здесь жить,— говорила она, втягивая в себя воздух носом,— и мне будет еще нужно серьезно об одной вещи поговорить с вами!..— прибавила она.

— О какой это? — спросил Вихров.

— Ну, теперь еще не скажу, а завтра. Будемте лучше говорить об вас; отчего вы на здешней-то госпоже не женились? — прибавила она и явно своим носом указала на Юлию.

— Это с какой стати? — возразил ей Вихров

— А с такой, что, когда она ехала к братьям, так сейчас было видно, что она до сумасшествия была в вас влюблена,— и теперь-то за этого хомяка идет, вероятно, от досады, что не удалось за вас.

Дальновидную Катишь в этом случае было трудней обмануть, чем кого-либо. Она сразу поняла истинную причину решения Юлии — выйти замуж, и вместе с тем глубоко в душе не одобряла ее выбор: Живин всегда ей казался слишком обыкновенным, слишком прозаическим человеком.

— Ничего этого никогда не было и быть не могло! — возразил ей Вихров.

— Ну да, не было, знаю я вас — и знаю, какой вы хитрый в этом случае человек! — отвечала она.

Беседа их была прервана приездом Кергеля. Сей милый человек был на этот раз какой-то растерянный: коричневый фрак со светлыми пуговицами заменен на нем был черным, поношенным, обдерганным; жилетка тоже была какая-то шелковенькая и вряд ли не худая на карманах, и один только хохолок был по-прежнему завит. Услышав, что на девичнике Вихров, он прямо подошел к нему.

— Не могу и выразить, как я счастлив, видя вас снова посреди нашей семьи! — говорил он, прижимая руку к сердцу.

— И я также очень рад, что вижу вас,— отвечал Вихров, тоже дружески пожимая его руку.

— Здравствуйте! — произнес Кергель и m-lle Прыхиной.

— Здравствуйте! — отвечала ему и та совершенно покойным голосом.

Они давно уже помирились, и прежнее чувство пылкой и скоропреходящей любви в них заменилось прочным чувством дружбы.

Кергель подсел третьим лицом в их беседу.

— Слышали мы,— продолжал он, обращаясь к Вихрову,— что над вами разразилась гроза; но вы, как дуб могучий, выдержали ее и снова возвратились к нам.

— Скорей, как лоза, изогнулся и выдержал бурю,— произнес, усмехаясь, Вихров.

— Ну-с, это я думаю, не в характере вашем,— возразил ему Кергель.

— А как вы поживаете? — спросил его Вихров, заинтересованный чересчур уж бедным туалетом приятеля.

— Что, я как поживаю — дурно-с, очень дурно!.. Без места, состояния почти не имею никакого; надобно бы, конечно, ехать в Петербург, но все как-то еще собраться не могу.

И Кергель при этом горько улыбнулся.

— Monsieur Кергель занимал такое место, на котором другие тысячи наживали, а у него сотни рублей не осталось,— произнесла m-lle Катишь и махнула при этом носом в сторону.

Как и всех своих друзей, она и Кергеля в настоящее время хвалила и превозносила до небес.

— Ста рублей не осталось,— повторил за ней и тот искреннейшим голосом.

— Но какое же место вы желали бы иметь? — спросил его Вихров.

— Всякое, какое дало бы мне кусок хлеба,— отвечал Кергель, разводя руками.

— Вот видите что, — начал Вихров, — губернатором в ту губернию, в которой я служил, назначен мой хороший знакомый, прежний владелец Воздвиженского,— и если я ему напишу, то он послушается, кажется, моей рекомендации.

Покуда Вихров говорил это, Кергель и m-lle Катишь превратились все во внимание.

— Вы бы сделали для меня истинное благодеяние,— произнес первый, не зная, кажется, как и выразить овладевшее им чувство благодарности.

— Павел Михайлыч, вероятно, и сделает это по своей доброте! — подхватила и Катишь каким-то уж повелительным голосом.

— Непременно сделаю, завтра же напишу,— сказал Вихров.

Кергель поблагодарил его только уже кивком головы.

К этой группе, наконец, подошла невеста с женихом. Юлия несколько времени стояла перед ними молча. Она явно выказывала желание поговорить с Вихровым. Тот понял это и встал.

— Я вашего батюшки не вижу, — сказал он, в самом деле заметив, что он до сих пор еще не видал старика.

— Он так слаб, что уж и не выходит из своей комнаты,— отвечала она.— Вот так, одна-одинехонька и выхо-

жу замуж,— прибавила она, и Вихров заметил, что у нее при этом как будто бы навернулись слезы. В это время они шли уже вдвоем по зале.

— Ну, что ж, зато вы выходите за отличнейшего человека,— сказал ей негромко Вихров.

— Дай бог, чтобы я-то была достойна его,— сказала Юлия.— Конечно, я уж не могу принести ему ни молодого сердца, ни свежего чувства, но, по крайней мере, буду ему покорна и честно исполню свой долг.

При этом Юлия так дергала свою жемчужную нитку, что та лопнула у ней, и жемчуг рассыпался. Вихров нагнулся и хотел было поднять.

— Не трудитесь, человек подберет! Подбери! — сказала она почти с каким-то презрением проходившему лакею. Тот собрал и подал. Она бросила жемчуг в пепельницу и снова обернулась к продолжавшему все еще стоять около нее Вихрову.

— Я Живина предпочла другим, потому что он все-таки человек одинаких с вами убеждений,— проговорила она.

— Вы и не ошибетесь в нем,— сказал он на это ей глухим голосом.

В день свадьбы Вихров чувствовал какую-то тревогу и как бы ожидал чего-то; часа в четыре он поехал к жениху; того застал тоже в тревоге и даже расплаканным; бывшего там Кергеля — тоже серьезным и, по-вчерашнему, в сквернейшем его фрачишке; он был посаженым отцом у Живина и благословлял того.

Наконец, они отправились в знакомый нам собор; Вихров поехал потом за невестой. Ту вывели какие-то две полные дамы; за ними шла Катишь, расфранченная, но с целыми потоками слез по щекам, которые вряд ли не были немножко и подрумянены.

Когда невесту привезли в церковь, то ее провели на левую сторону, а жених стоял на правой. Вихрову было тяжело видеть эту церемонию. Он очень хорошо понимал, что приятель его в этом случае сильнейшим образом обманывался, да вряд ли не обманывалась и невеста, думавшая и желавшая честно исполнить свой долг перед мужем. По возвращении свадебного поезда домой, молодые сначала сходили к отцу, потом подали шампанское — и пошли радостные поздравления с поцелуями и

со слезами. Поздравил также и Вихров молодую, которая на этот раз обнаружила какой-то стыд перед ним: ей, кажется, по преимуществу, совестно было того, что потом с ней последует.

— Как к вам идет ваш брачный вуаль! — сказал он ей, чтобы что-нибудь сказать.

— Да! — отвечала она, краснея и потупляя голову.

Вихров вскоре после того хотел было и уехать, но за ним зорко следила m-lle Прыхина. Каким-то вороном мрачным ходила она по зале и, как только заметила, что Вихров один, подошла к нему и сказала ему почти строгим голосом:

— Когда вы поедете домой, то возьмите меня с собой в коляску. Мне надобно вам многое рассказать.

— Что такое? — спросил Вихров, начинавший уже несколько и пугаться ее слов.

— Там скажу ужо! — прибавила Катишь еще более мрачным голосом.

Вихров сейчас же после того собрался, и когда раскланялся с молодыми и вышел в переднюю, то m-lle Катишь, в бурнусе и шляпке, дожидалась уже его там. Без всякого предложения, она села первая в его коляску и, когда они отъехали, начала несколько насмешливым голосом:

— Вы теперь едете со свадьбы от одной вашей жертвы, — не почувствуете ли, может быть, жалости к другой вашей жертве?

— К какой моей другой жертве? — спросил ее Вихров.

— К Фатеевой.

Вихров посмотрел на нее.

— Вы, кажется, сами об ней переменили мнение? — спросил он ее.

— Бог с ней, какое бы об ней ни было мое мнение, но она умирает теперь.

— Умирает? — спросил Вихров.

— В страшнейшей чахотке; вчерашний день, как я увидала вас, мне сейчас же пришла в голову мысль, что не подействует ли благодетельно на нее, если она увидит вас, — и сегодня я была у ней. Она в восторге от этого свидания, и вы непременно должны ехать к ней.

Вихрова точно кинжалом ударило в сердце это известие.

— Послушайте, я сам теперь измучен и истерзан

нравственно и физически; мне очень тяжело будет это сделать.

— Вы должны ехать к ней — это ваш долг,— повторила Катишь каким-то даже гробовым голосом,— через неделю, много — через две, она умрет.

Совесть Вихрову говорила, что, в самом деле, он должен был это сделать.

— Но для чего она, по преимуществу, желает видеть меня? — спросил он.

— Да чтобы полюбоваться вот на милые черты,— отвечала Катишь и с каким-то озлоблением развела руками.

— Но ведь для нее не я один представляю милые черты!

— Тсс, тише! Не смейте этого говорить про умирающую! — перебила его басом Катишь.— То-то и несчастье наше, что ваши-то черты милей, видно, всех были и незаменимы уж ничьими.

Понятно, что добрая Катишь все уже простила Фатеевой и по-прежнему ее любила.

— Где же она живет? — спросил Вихров.

— Я вам покажу; завтра в одиннадцать часов заезжайте ко мне — и поедемте вместе. Теперь еще о Кергеле: написали вы об нем губернатору или нет?

— Нет еще.

— Сегодня же извольте, сейчас написать,— приказывала Катишь,— и кроме того: отсюда сестер милосердия вызывают в Севастополь,— попросите губернатора, чтобы он определил меня туда; я желаю идти.

— С какой же целью?

— С такой же, что не желаю, во-первых, обременять старика-отца, у которого и службы теперь нет.

Катишь и никогда почти не обременяла его и жила всегда или своими трудами, или подарками от своих подруг.

— Наконец это и интересно очень: война, ружья, пальба, может быть, убьют меня. Сегодня же напишите! — заключила она, вылезая, наконец, из экипажа перед своим домом.

Вихров очутился на этот раз под каким-то обаянием m-lle Катишь. Приехав домой, он сейчас же написал письмо к Абрееву — как об ней, так и об Кергеле, выразившись о последнем, что «если вашему превосходитель-

ству желательно иметь честного чиновника, то отвечаю вам за г-на Кергеля, как за самого себя»; а Катишь он рекомендовал так: «Девица эта, при весьма некрасивой наружности, самых высоких нравственных качеств».

IV

СВИДАНИЕ С ФАТЕЕВОЙ

На другой день, как нарочно, стояла мрачная, сырая погода. У Вихрова было очень нехорошо на душе. Главное, его беспокоило то, что о чем будет с ним говорить Фатеева? Не станет ли она ему говорить о прежних его чувствах к ней, укорять его?.. Но, во всяком случае, это свидание будет, вероятно, несколько сентиментальное. Тому, что будто бы m-me Фатеева была очень больна, как говорила m-lle Прыхина, — Вихров не совсем верил; вероятно, сия достойная девица, по пылкости своего вообраажения, много тут прибавляла. Часу в одиннадцатом, однако, он велел заложить экипаж и поехал в город. Катишь уже ожидала его в небольшой зальце своего дома и была по-прежнему совсем готова — в шляпке и бурнусе. С тем же серьезным лицом, как и вчера, она села в экипаж и начала приказывать кучеру, куда ехать: «Направо, налево!» — говорила она повелительным голосом.

Вихров при этом невольно заметил, что они проехали все большие улицы и на самом почти выезде из города въехали в глухой и грязный переулок и остановились перед небольшим домиком.

— В каком захолустье она живет! — проговорил он.

— Да, она немножко нуждается в средствах,— отвечала Катишь.— Хорошо то, по крайней мере,— продолжала она, вводя Вихрова по небольшой лесенке,— что Клеопаша приучит меня к званию сестры милосердия.

— Приучит? — повторил Вихров.

— Да, я ведь у нее провожу все дни мои и ночи — и только вот на свадьбу Юлии выпорхнула от нее.

Потом они вошли в крошечное, но чистенькое зальце, повернули затем в наугольную комнату, всю устланную ковром, где увидали Клеопатру Петровну сидящею около постели в креслах; одета она была с явным кокетством: в новеньком платье, с чистенькими воротничками и нарукавничками, с безукоризненно причесанною головою; когда же Вихров взглянул ей в лицо, то чуть не вскрик-

нул: она — мало того, что была худа, но как бы изглодана болезнью, и, как ему показалось, на лбу у ней выступал уже предсмертный лихорадочный пот.

— Благодарю вас, что вы приехали ко мне,— говорила m-me Фатеева, привставая немного со своих кресел, и сама при этом несколько покраснела в лице.

— Еще бы не приехать! — подхватила Катишь.— Однако вы сегодня изволите сидеть, а не лежать! — прибавила она Фатеевой.

— Это вот я для него встала,— отвечала та, показывая с улыбкою на Вихрова.

— Зачем же для меня? Бога ради, лягте! — произнес тот.

— Нет, я не настолько больна, могу еще сидеть,— возразила Фатеева. — Ну, садитесь, только поближе ко мне.

Вихров сел очень близко около нее.

Катишь держала себя у подруги своей, как в очень знакомом ей пепелище: осмотрела — все ли было в комнате прибрано, переглядела все лекарства, затем ушла в соседнюю заднюю комнату и начала о чем-то продолжительно разговаривать с горничною Фатеевой. Она, конечно, сделала это с целью, чтобы оставить Вихрова с Фатеевой наедине, и полагала, что эти два, некогда обожавшие друг друга, существа непременно пожелают поцеловаться между собой, так как поцелуй m-lle Прыхина считала высшим блаженством, какое только существует для человека на земле; но Вихров и m-me Фатеева и не думали целоваться.

— Давно ли вы больны? — спросил ее тот.

— Месяца два или даже больше,— отвечала с какой-то досадой Фатеева,— и главное, меня в деревню не пускают; ну, здесь какой уж воздух! Во-первых — город, потом — стоит на озере, вредные испарения разные, и я чувствую, что мне дышать здесь нечем!..

— Но нельзя же вам быть без докторского надзора.

— Мне решительно не нужно доктора, решительно! — возражала Фатеева.— У меня ничего нет, кроме как лихорадки от этого сырого воздуха — маленький озноб и жар я чувствую, и больше ничего — это на свежем воздухе сейчас пройдет.

— Но здесь все-таки скорее пройдет при помощи медика,— говорил ей Вихров.

— Никогда! — возражала Фатеева.— Потому что я душевно здесь гораздо более расстроена: у меня в деревне идет полевая работа, кто же за ней присматривает? Я все ведь сама — и везде одна.

— Ну, бог с нею, с полевою работою!

— Как, друг мой, бог с нею? Я только этим и живу. Мне на днях вот надо вносить в опекунский совет.

— Вы об этом не беспокойтесь. Вы пришлите мне сказать, сколько и когда вам надо заплатить в совет, я и пошлю.

— Merci за это, но еще, кроме того,— продолжала m-me Фатеева видимо беспокойным голосом, — мне маленькое наследство в Малороссии после дяди досталось; надобно бы было ехать получать его, а меня не пускает ни этот доктор, ни эта несносная Катишь.

— Чем несносная Катишь, чем? — говорила та, входя в это время в комнату.

— Тем, что не пускаешь меня в Малороссию.

— Успеешь еще съездить, когда совсем поправишься,— отвечала та как бы совершенно равнодушным голосом.

— Да, у вас никогда не выздоровеешь,— все будете вы говорить, что больна.

— Ей всего недели две осталось жить, а она думает ехать в Малороссию,— шепнула Катишь Вихрову; у него, впрочем, уж и без того как ножом резала душу вся эта сцена.

— А как там, Вихров, в моем новом именьице, что мне досталось,— хорошо! — воскликнула Клеопатра Петровна.— Май месяц всегда в Малороссии бывает превосходный; усадьба у меня на крутой горе — и прямо с этой горы в реку; вода в реке чудная — я стану купаться в ней, ах, отлично! Потом буду есть арбузы, вишни; жажда меня эта проклятая не будет мучить там, и как бы мне теперь пить хотелось!

— Выпей оршаду! — сказала ей Прыхина.

— Нет, гадок он мне — не хочу!..

— Расскажите ей что-нибудь интересное; не давайте ей много самой говорить! Ей не велят этого,— шепнула Прыхина Вихрову.

— Что же ей рассказывать, я, ей-богу, не знаю! — отвечал ей тоже шепотом Вихров.

— Ну, да что-нибудь, досадный какой! — возразила

ему Прыхина.— Павел Михайлович хочет тебе рассказать про свою жизнь и службу,— сказала она вслух Фатеевой.

— Что же он хочет рассказать? — спросила та.

— Ну, рассказывайте! — обратилась к нему настойчиво Прыхина.

Вихров решительно не находил, что ему рассказать.

— Что же мне такое рассказать вам? — как бы спросил он.

— Что же, вы побед там много имели? — спросила его сама уже Фатеева.

Вихров и на это не знал, что отвечать. Он поспешил, впрочем, взглянуть на Прыхину. Та легонько, но отрицательно покачала ему головой.

— Какие мои победы? Стар я для этого становлюсь,— отвечал он.

— Ну, не очень еще, я думаю, стар, — возразила с улыбкой Фатеева. — В той губернии, где были вы, и Цапкин, кажется, служит? — прибавила она, нахмуривая уже свои брови.

— Там же,— отвечал Вихров, потупляясь.

M-lle Прыхина при этом даже несколько сконфузилась.

— Что же, вы видали его? — продолжала Фатеева.

— Видел раз.

— Переменился он или нет?

— Мало, бакенбарды только отпустил.

— Мне сказывали,— продолжала Фатеева с грустной усмешкой,— что жена его поколачивает.

Понятно, что Клеопатра Петровна о всех своих сердечных отношениях говорила совершенно свободно — и вряд ли в глубине души своей не сознавала, что для нее все уже кончено на свете, и если предавалась иногда материальным заботам, то в этом случае в ней чисто говорил один только животный инстинкт всякого живого существа, желающего и стремящегося сохранить и обеспечить свое существование.

— При его росте это не мудрено,— отвечал ей Вихров.

— Да, росту, да и души, пожалуй, он — небольшой,— произнесла как-то протяжно Клеопатра Петровна.— А помните ли,— продолжала она,— как мы в карты играли?.. Давайте теперь в карты играть, а то мне как-то очень скучно!

— Но тебе не вредно разве это будет? — спросила ее Прыхина.

— Нисколько, мне скука вреднее всего!.. А вы будете со мной играть? — прибавила она, обращаясь к Вихрову.

— Если вы хотите,— отвечал ей тот.

— Ну, так вот мы и станем втроем играть, — продолжала Клеопатра Петровна,— только вы выйдите на минутку: я платье распущу немножко, а то я очень уж для вас выфрантилась,— ступайте, я сейчас позову вас.

Вихров с Катишь вышли в зало — у этой доброй девушки сейчас же слезы показались на глазах.

— Какова, а? — спросила она, указывая головой на дверь Клеопатры Петровны.— Видеть ее не могу, и все фантазирует: и то-то она сделает, и другое... Уж вы, Вихров, ездите к ней почаще, —прибавила она.

— Непременно,— отвечал он, исполненный почти рыданий в душе.

— Потому что доктор мне сказывал,— продолжала Катишь,— что она может еще пожить несколько времени, если окружена будет все приятными впечатлениями, а чего же ей приятнее, как ни видеть вас!

На этих словах в зало вошла знакомая Вихрову Марья, глаза у которой сделались совсем оловянными и лицо сморщилось.

— Что, Маша, забыла уж моего Ивана? — не утерпел и пошутил с ней Вихров.

— Ну его к ляду, судырь, бог с ним! — отвечала она.— Пожалуйте-с, вас просит Клеопатра Петровна.

— Вы старайтесь ей проигрывать, у ней теперь денег нет — и это будет ее волновать, если она будет проигрывать,— шепнула Вихрову Катишь.

Когда они возвратились к Клеопатре Петровне, она сидела уж за карточным столом, закутанная в шаль. На первых порах Клеопатра Петровна принялась играть с большим одушевлением: она обдумывала каждый ход, мастерски разыгрывала каждую игру; но Вихров отчасти с умыслом, а частью и от неуменья и рассеянности с самого же начала стал страшно проигрывать. Катишь тоже подбрасывала больше карты, главное же внимание ее было обращено на больную, чтобы та не очень уж агитировалась.

— Как, однако, вы дурно играете! — воскликнула Клеопатра Петровна Вихрову.

— Да, я давно уж не играл — и, кроме того, несчастлив очень — ничего не идет.

— Зато вы в любви счастливы,— произнесла опять с какою-то горькою усмешкою Клеопатра Петровна.

Вихров на это промолчал и даже немного потупился.

— А вот я так наоборот: в картах счастлива, зато в любви несчастлива,— прибавила с прежнею горькою иронпею Фатеева.

— Счастлива и ты,— подхватила Прыхина.

— Кто же меня еще любит? Разве вот он еще немножко любит,— проговорила Клеопатра Петровна, указывая на Вихрова.

— И он любит,— отвечала Катишь.— Ведь вы любите ее? — отнеслась она к Вихрову.

— Люблю,— отвечал он, и слезы против воли послышались в его голосе.

— Нет, уж нынче не любит,— подхватила Фатеева.— Однако будет играть! Мне что-то очень нехорошо!..— прибавила она, кладя карты и отодвигая от себя стол.

— Конечно, будет! — подхватила Прыхина уже встревоженным голосом.

— Будет сегодня! — повторила еще раз Фатеева, протягивая Вихрову руку.

— Ну, так я уеду, а вы отдохните,— говорил он, пожимая ей руку.

— Да, я отдохну; только вы смотрите же, приезжайте ко мне скорее!

— Непременно приеду,— отвечал он.

— Как можно скорее! —повторила Фатеева.

— Да поцелуйтесь же, господи, на прощанье-то! Гадко ведь видеть даже вас! — воскликнула Катишь, видя, что Вихров стоит только перед Фатеевой и пожимает ей руку.

— Ну, поцелуемтесь! — произнесла и та с улыбкою.

— Поцелуемтесь! — сказал и Вихров.

Они поцеловались, и оба при этом немного сконфузились.

Катишь вышла провожать Вихрова на крыльцо.

— В самом деле, поскорее приезжайте; ей очень недолго осталось жить,— проговорила она мрачным голосом и стоя со сложенными на груди руками, пока Вихров садился в экипаж.

Случалось ли с вами, читатель, чтобы около вас умирало близкое вам существо? Не правда ли, что при этом, кроме мучительнейшего чувства жалости, вас начинает

терзать то, что все ваши маленькие вины и проступки, которые вы, может быть, совершили против этого существа, вырастают в вашем воображении до ужасающей величины? Вам кажется, будто вы-то именно и причина, что пропадает и погибает молодая жизнь, и вы (по крайней мере, думается вам так) готовы были бы лучше сами умереть за эту жизнь; но ничто уж тут не поможет: яд смерти разрушает дорогое вам существование и оставляет вашу совесть страдать всю жизнь оттого, что несправедливо, и нечестно, и жестоко поступали вы против этого существа. В такого именно рода чувствованиях возвратился герой мой домой. Его, по обыкновению, встретила улыбающаяся и цветущая счастьем Груша.

— Где это, барин, так долго вы были? — спросила она.

— У Фатеевой,— отвечал Вихров без всякой осторожности.

— Вот у кого! — произнесла Груша протяжно и затем почти сейчас же ушла от него из кабинета.

Вихров целый вечер после того не видал ее и невольно обратил на это внимание.

— Груша! — крикнул он.

Та что-то не показывалась.

— Груша! — повторил он громче и уж несколько строго.

— Сейчас! — отвечала та явно неохотным тоном и затем пришла к нему.

Вихров очень хорошо видел по ее личику, что она дулась на него.

— Это что такое значит? — спросил он ее.

— Что такое значит? — спросила Груша, в свою очередь.

— А то, что вы гневаетесь, кажется, на меня.

— Нет-с,— отвечала та.— Что вам гнев-то мой?! — прибавила она, немного помолчав.

— А то, что ты вздор думаешь; я ездил к Клеопатре Петровне чисто по чувству сострадания. Она скоро, вероятно, умрет.

— Умрет, да, как же!.. Нет еще, поживет!.. — почти воскликнула Груша.

— Нет, умрет! — прикрикнул на нее с своей стороны Вихров.— А ты не смей так говорить! Ты оскорбляешь во мне самое святое, самое скорбное чувство, — пошла!

Груша струсила и ушла.

V
ПОХОРОНЫ

Вихрову не удалось в другой раз побывать у Клеопатры Петровны. Не прошло еще и недели, как он получил от Катишь запечатанное черною печатью письмо.

«Добрый Павел Михайлович,— писала она не столь уже бойким почерком,— нашего общего друга в прошедшую ночь совершенно неожиданно не стало на свете. Мы с ней еще не спали, а сидели и разговаривали об вас. Она меня просила, чтобы я поутру послала сказать вам, чтобы вы непременно приезжали играть в карты; вот вы и приедете к ней, но на другого рода карты — карты страшные, тяжелые!.. Вдруг она приподнялась на постели, обняла меня, вскрикнула и лежала уже бездыханная в моих объятиях... Вообразите мой ужас: я сама закричала как сумасшедшая, едва дозвалась людей и положила труп на постель. Все кончено! Упокой, господи, душу усопшей рабы твоей! Пишу это письмо к вам на рассвете; солнце только что еще показалось, но наше дорогое солнце никогда не взойдет для нас...»

На этом месте видно было, что целый ливень слез упал на бумагу.

«Снаряжать ее похороны приезжайте завтра же и денег с собой возьмите. У нее всего осталось 5 рублей в бумажнике. Хорошо, что вас, ангела-хранителя, бог послал, а то я уж одна потерялась бы!

Ваша Катишь».

Вихров, прочитав это письмо, призвал Грушу и показал ей его.

— Вот ты говорила, что не умрет; умерла — радуйся! — сказал он ей досадливым голосом.

Груша только уж молчала и краснела в лице. Вихров все эти дни почти не говорил с нею. На этот раз она, наконец, не вытерпела и бросилась целовать его руку и плечо.

— Виновата, барин, виновата,— говорила она.

Вихров поцеловал ее в голову.

— Ну то-то же, вперед такого вздора не думай! — проговорил он.

— Не буду, барин,— отвечала Груша; а потом, помолчав несколько, прибавила: — Мне можно, барин, сходить к ним на похороны-то?

— Зачем же тебе?

— Да вот я говорила-то про них; ведь это грешно: я хоть помолюсь за них,— отвечала Груня.

— Если с этою целью, а не из пустого любопытства, то ступай! — разрешил ей Вихров.

После того он, одевшись в черный фрак и жилет, поехал.

В маленьком домике Клеопатры Петровны окна были выставлены и горели большие местные свечи. Войдя в зальцо, Вихров увидел, что на большом столе лежала Клеопатра Петровна; она была в белом кисейном платье и с цветами на голове. Сама с закрытыми глазами, бледная и сухая, как бы сделанная из кости. Вид этот показался ему ужасен. Пользуясь тем, что в зале никого не было, он подошел, взял ее за руку, которая едва послушалась его.

— Клеопатра Петровна,— сказал он вслух,— если я в чем виноват перед вами, то поверьте мне, что мученьями моей совести, по крайней мере, в настоящую минуту я наказан сторицею! — И потом он наклонился и сначала поцеловал ее в голову, лоб, а потом и в губы.

Катишь, догадавшись по экипажу Вихрова, что он приехал, вышла к нему из соседней комнаты. Выражение лица ее было печально, но торжественно.

— Клеопаша всегда желала быть похороненною в их приходе рядом с своим мужем. «Если, говорит, мы несогласно жили с ним в жизни, то пусть хоть на страшном суде явимся вместе перед богом!» — проговорила Катишь и, кажется, вряд ли не сама все это придумала, чтобы хоть этим немного помирить Клеопатру Петровну с ее мужем: она не только в здешней, но и в будущей даже жизни желала устроивать счастье своих друзей.

— Съездите теперь к этим господам, у которых дроги, и скажите, чтобы их отпустили в деревню, и мне тоже дайте денег; здесь надобно сделать кой-какие распоряжения.

Вихров дал ей денег и съездил как-то механически к господам, у которых дроги, — сказал им, что надо, и возвратился опять в свое Воздвиженское. Лежащая на столе, вся в белом и в цветах, Клеопатра Петровна ни на минуту не оставляла его воображения. На другой день он опять как-то машинально поехал на вынос тела и застал, что священники были уже в домике, а на дворе стояла целая гурьба соборных певчих. Катишь желала как можно па-

раднее похоронить свою подругу. Гроб она также заказала пренарядный.

— Ничего, растряхайте-ка ваш кармашек! Она стоит, чтобы вы ее с почетом похоронили,— говорила она Вихрову.

Гроб между тем подняли. Священники запели, запели и певчие, и все это пошло в соседнюю приходскую церковь. Шлепая по страшной грязи, Катишь шла по средине улицы и вела только что не за руку с собой и Вихрова; а потом, когда гроб поставлен был в церковь, она отпустила его и велела приезжать ему на другой день часам к девяти на четверке, чтобы после службы проводить гроб до деревни.

Вихров снова возвратился домой каким-то окаменелым. Теперь у него в воображении беспрестанно рисовался гроб и положенные на него цветы.

Поутру он, часу в девятом, приехал в церковь. Кроме Катишь, которая была в глубоком трауре и с плерезами, он увидел там Живина с женою.

— Умерла, брат,— проговорил тот каким-то глухим голосом.

— Да, умерла,— повторил Вихров.

Юлия только внимательно смотрела на Вихрова. Живин, заметивши, что приятель был в мрачном настроении, сейчас же, разумеется, пожелал утешить его, или, лучше сказать, пооблить его холодною водою.

— Последний-то обожатель ее, господин Ханин, говорят, и не был у нее, пока она была больна, — сказал он.

Вихрову досадно и неприятно было это слышать.

— Ну, не время говорить подобные вещи,— сказал он.

В половине обедни в церковь вошел Кергель. Он не был на этот раз такой растерянный; напротив, взор у него горел радостью, хотя, сообразно печальной церемонии, он и старался иметь печальный вид. Он сначала очень усердно помолился перед гробом и потом, заметив Вихрова, видимо, не удержался и подошел к нему.

— Спешу пожать вашу руку и поблагодарить вас,— сказал он и, взяв руку Вихрова, с чувством пожал ее.

— Что такое? За что? — спросил его тот.

— От его превосходительства Сергея Григорьича (имя Абреева) прислан мне запрос через полицию, чтобы я прислал мой формулярный список для определения меня в полицеймейстеры.

— Вот как! — произнес Вихров с удовольствием.— Значит, письмо подействовало!

— Да как же, помилуйте! — продолжал Кергель с каким-то даже трепетом в голосе.—Я никак не ожидал и не надеялся быть когда-нибудь полицеймейстером — это такая почетная и видная должность!.. Конечно, я всю душу и сердце положу за его превосходительство Сергея Григорьича, но и тем, вероятно, не сумею возблагодарить ни его, ни вас!.. А мне еще и Катерине Дмитриевне надобно передать радостное для нее известие, — прибавил он после нескольких минут молчания и решительно, кажется, не могший совладать с своим нетерпением.

— А разве и об ней есть запрос? — спросил Вихров.

— И об ней, и она, наверно, будет определена,— отвечал Кергель и, осторожно перейдя на ту сторону, где стояла Катишь, подошел к ней и начал ей передавать приятную новость; но Катишь была не такова: когда она что-нибудь делала для других, то о себе в эти минуты совершенно забывала.

— Ну, после как-нибудь расскажете, мне не до того,— отвечала она, и все внимание ее было обращено на церемонию отпевания.

В одном из углов церкви Вихров увидал также и Грушу, стоявшую там, всю в черном, и усерднейшим образом кланявшуюся в землю: она себя в самом деле считала страшно согрешившею против Клеопатры Петровны.

Когда, наконец, окончилась вся эта печальная церемония и гроб поставили на дроги, Живин обратился к Вихрову:

— А ты поедешь провожать до деревни?

— Да,— отвечал тот мрачно.

— Прощайте, Вихров,— сказала ему Юлия с каким-то особенным ударением. — Я сегодня убедилась, что у вас прекрасное сердце.

Кергель между тем, как бы почувствовав уже в себе несколько будущего полицеймейстера, стал шумно распоряжаться экипажами. Одним велел подъехать, другим отъехать, дрогам тронуться.

Катишь все время сохраняла свой печальный, но торжественный вид. Усевшись с Вихровым в коляску, она с важностью кивнула всем прочим знакомым головою, и затем они поехали за гробом.

Вскоре после того пришлось им проехать Пустые Поля,

въехали потом и в Зенковский лес,— и Вихров невольно припомнил, как он по этому же пути ездил к Клеопатре Петровне — к живой, пылкой, со страстью и нежностью его ожидающей, а теперь — что сталось с нею — страшно и подумать! Как бы дорого теперь дал герой мой, чтобы сразу у него все вышло из головы — и прошедшее и настоящее!

— Последний уж раз я еду по этой дорожке,— проговорила вдруг Катишь, залившись горькими слезами.

Вихров взглянул на нее — и тоже не утерпел и заплакал.

— Ну, будет, пощадите меня,— сказал он, взяв и сжимая ее руку.

— Я очень рада, что хоть вы одни понимаете, как можно было любить эту женщину,— бормотала Катишь, продолжая плакать.

Она в самом деле любила Клеопатру Петровну больше всех подруг своих. После той размолвки с нею, о которой когда-то Катишь писала Вихрову, она сама, первая, пришла к ней и попросила у ней прощения. В Горохове их ожидала уже вырытая могила; опустили туда гроб, священники отслужили панихиду — и Вихров с Катишь поехали назад домой. Всю дорогу они, исполненные своих собственных мыслей, молчали, и только при самом конце их пути Катишь заговорила:

— Кергель сказывал, что меня непременно определят в сестры милосердия; ну, я покажу, как русская дама может быть стойка и храбра,— заключила она и молодцевато махнула головою.

Вихров всю почти ночь после того не спал и все ходил взад и вперед по кабинету.

— Я, решительно я убил эту женщину! Женись я на ней, она была бы счастлива и здорова,— говорил он.

И это почти была правда. После окончательной разлуки с ним Клеопатра Петровна явно не стала уже заботиться ни о добром имени своем, ни о здоровье,— ей все сделалось равно.

VI
ОДНО ЗА ОДНИМ

Тяжелое душевное состояние с Вихровым еще продолжалось; он рад даже был, что Мари, согласно своему обещанию, не приезжала еще в их края. У нее был болен сын

ее, и она никак не могла выехать из Петербурга. Вихров понимал, что приезд ее будет тяжел для Груши, а он не хотел уже видеть жертв около себя — и готов был лучше бог знает от какого блаженства отказаться, чтобы только не мучить тем других. Переписка, впрочем, между им и Мари шла постоянная; Мари, между прочим, с величайшим восторгом уведомила его, что повесть его из крестьянского быта, за которую его когда-то сослали, теперь напечаталась и производит страшный фурор и что даже в самых модных салонах, где и по-русски почти говорить не умеют, читаются его сказания про мужиков и баб, и отовсюду слышатся восклицания: «C'est charmant! Comme c'est vrai! Comme c'est poétique!»[1]

«Ты себе представить не можешь,— заключала Мари,— как изменилось здесь общественное мнение: над солдатчиной и шагистикой смеются, о мужиках русских выражаются почти с благоговением. Что крепостное право будет уничтожено — это уже решено; но, говорят многие, коренные преобразования будут в судах и в финансах. Дай-то бог, авось мы доживем до того, что нам будет возможно не боясь *честно* говорить и не стыдясь *честно* жить». По газетам Вихров тоже видел, что всюду курили фимиам похвал его произведению. Встреть моего писателя такой успех в пору его более молодую, он бы сильно его порадовал; но теперь, после стольких лет почти беспрерывных душевных страданий, он как бы отупел ко всему — и удовольствие свое выразил только тем, что принялся сейчас же за свой вновь начатый роман и стал его писать с необыкновенной быстротой; а чтобы освежаться от умственной работы, он придумал ходить за охотой — и это на него благотворно действовало: после каждой такой прогулки он возвращался домой здоровый, покойный и почти счастливый. Вместо Живина, который все время продолжал сидеть с женой и амурничать, Вихров стал брать с собой Ивана. Этот Санчо Панса его юности вел себя последнее время прекрасно: был постоянно трудолюбив, трезв и даже опрятен и почти что умен. Стрелял он тоже порядочно — и выучился этому от нечего делать, когда барином сослан был в деревню.

Каждый почти день Вихров с ружьем за плечами и в сопровождении Ивана, тоже вооруженного, отправлялся

---

[1] Это очаровательно! Как это верно! Как это поэтично! *(франц.)*

за рябчиками в довольно мрачный лес, который как-то больше гармонировал с душевным настроением героя моего, чем подозерные луга. Вихров почти наизусть выучил всю эту дорогу: вот пройдет мимо гумен Воздвиженского и по ровной глинистой дороге начнет подниматься на небольшой взлобок, с которого ненадолго бывает видно необыкновенно красивую колокольню села Богоявления; потом путь идет под гору к небольшому мостику, от которого невдалеке растут две очень ветвистые березы; затем опять надо идти в гору. Вихров всегда задыхался при этом; но вот, наконец, и воротца в лес. Иван, когда они подходили к ним, уходил немного вперед и отворял воротца, под которыми постоянно была лужа грязи. Пройдя их, сейчас же можно было поворачивать в лес. Идя в чаще елок, на вершины которых Иван внимательнейшим образом глядел, чтобы увидеть на них рябчика или тетерева, Вихров невольно помышлял о том, что вот там идет слава его произведения, там происходит война, смерть, кровь, сколько оскорбленных самолюбий, сколько горьких слез матерей, супруг, а он себе, хоть и грустный, но спокойный, гуляет в лесу. На одну из ближайших ко входу в лес колод Вихров обыкновенно садился отдыхать, а Иван в почтительной позе устанавливался невдалеке от него — и Вихров всякий раз, хоть и не совсем ласковым голосом, говорил ему:

— Садись, что ж ты стоишь!

И Иван садился, но все-таки продолжал держать себя в несколько трусливой позе. Наконец, Вихрову этот подобострастный вид его стал наскучать — и он решился ободрить его, хоть и предчувствовал, что Иван после того сейчас же нос подымет и, пожалуй, опять пьянствовать начнет; но, как бы то ни было, он раз сказал ему:

— Иван, что ж ты не женишься?

— На ком же жениться-то! — отвечал Иван, потупляясь немного.

Барин в этом случае попал в самую заветную его мечту.

— Хорошие-то невесты за меня не пойдут, а на худой-то что жениться.

— Да ведь невесты все одинаково хороши!

— Нет-с, разница большая,— отвечал Иван, ухмыляясь.— За меня было, вон, поповна даже шла-с.

— Ну так что же?

— Да говорит: «Есть у тебя сто рублей денег, так пойду за тебя»,— а у меня какие ж деньги!

И в голосе Ивана Вихров явно почувствовал укор себе, зачем он ему не приготовил этих ста рублей.

— Что ж, она хороша лицом?

— Нет, из лица она не так чтобы очень красива,— отвечал Иван.

Поповна была просто дурна и глупа очень.

— Так чем же она тебе нравится?

— Да тем, что попочетнее, все не мужичка простая.

— И ты бы на ней с большим удовольствием женился?

— Да-с,— отвечал Иван, опять ухмыляясь.

— Ну, хорошо, сватайся! Я тебе дам сто рублей.

Иван что-то молчал.

— Когда же ты будешь свататься? — спросил Вихров, думая, что не налгал ли все это Иван.

— Да вот-с тут как-нибудь,— отвечал Иван опять как-то нерешительно; у него мгновенно уже все перевернулось в голове. «Зачем жениться теперь, лучше бы барин просто дал сто рублей»,— думал он.

— Ну, женись, женись! — повторил с усмешкою Вихров.

— Слушаю-с! — отвечал Иван и, будучи все-таки очень доволен милостями барина, решился в мыслях еще усерднее служить ему, и когда они возвратились домой, Вихров, по обыкновению, сел в кабинете писать свой роман, а Иван уселся в лакейской и старательнейшим образом принялся приводить в порядок разные охотничьи принадлежности: протер и прочистил ружья, зарядил их, стал потом починивать патронташ.

К нему вошла Груша.

— А что, барину к ужину есть дичь? — сказала она.

— Есть надо быть-с! — отвечал Иван, сейчас же вскакивая на ноги: он все время был чрезвычайно почтителен к Груше и относился к ней, совершенно как бы она барыня его была.

— Дай-ка, умею ли я стрелять,— сказала она, взяв одно ружье; ей скучно, изволите видеть, было: барин все занимался, и ей хоть бы с кем-нибудь хотелось поболтать.

— Так, что ли, стреляют? — спросила она, прикладывая ружье к половине груди и наклоняя потом к нему свою голову.

— Нет-с, не так-с, а вот как-с,— надо к щеке прикладывать,— проговорил Иван и, схватив другое ружье, прицелился из него и, совершенно ошалелый оттого, что Груша заговорила с ним, прищелкнул языком, притопнул ногой и тронул язычок у ружья.

То сейчас же выстрелило; Груша страшно при этом вскрикнула.

— Что такое? — проговорил Иван, весь побледнев.

— То, что меня застрелил,— проговорила Груша, опускаясь на стоявший около нее стул.

Кровь текла у нее по всему платью.

— Что за выстрел? — воскликнул и Вихров, страшно перепуганный и одним прыжком, кажется, перескочивший из кабинета в лакейскую.

Там Иван по-прежнему стоял онемелый, а Груша сидела наклонившись.

— Что такое у вас? — повторил еще раз Вихров.

— Это я, батюшка, выстрелила,— поспешила отвечать Груша,— шалила да и выстрелила в себя; маленько, кажется, попала; за доктором, батюшка, поскорее пошлите...

— Доктора скорей, доктора! — кричал Вихров.

Мальчик Миша, тоже откуда-то появившийся, побежал за доктором.

— Но куда ты в себя выстрелила и как ты могла в себя выстрелить? — говорил Вихров, подходя к Груше и разрывая на ней платье.

— Вот тут, кажется, в бок левый,— отвечала Груша.

— Но ты тут не могла сама себе выстрелить! — говорил Вихров, ощупывая дрожащею рукою ее рану.— Уж это не ты ли, злодей, сделал?—обратился он к стоявшему все еще на прежнем месте Ивану и не выпуская Груши из своих рук.

— Я-с это, виноват! — отвечал тот сдуру.

— А, так вот это кто и что!..— заревел вдруг Вихров, оставляя Грушу и выходя на средину комнаты: ему пришло в голову, что Иван нарочно из мести и ревности выстрелил в Грушу.— Ну, так погоди же, постой, я и с тобой рассчитаюсь! — кричал Вихров и взял одно из ружей.— Стой вот тут у притолка, я тебя сейчас самого застрелю; пусть меня сошлют в Сибирь, но кровь за кровь, злодей ты этакий!

— Батюшка барин, не делайте этого, не делайте! — кричала Груша.

— Нет, никто меня теперь не остановит от этого! — кричал Вихров и стал прицеливаться в Ивана, который смиренно прижался к косяку и закрыл только глаза.

Напрасно Груша молила и стонала.

— Дай только в лоб нацелиться, чтобы верный был выстрел,— шипел Вихров и готов был спустить курок, но в это время вбежал Симонов — и сам бог, кажется, надоумил его догадаться, в чем тут дело и что ему надо было предпринять: он сразу же подбежал к Вихрову и что есть силы ударил его по руке; ружье у того выпало, но он снова было бросился за ним — Симонов, однако, схватил его сзади за руки.

— Черт ты этакой, убеги, спрячься скорей! — закричал он Ивану.

Тот действительно повернулся и побежал, и забежал в самую даль поля и сел там в рожь.

Симонов между тем продолжал бороться с Вихровым.

— Нет, я его поймаю и убью! — больше стонал тот по-звериному, чем говорил.

— Нет-с, не уйдете-с, не убьете-с! — стонал, в свою очередь, и Симонов.

Но Вихров, конечно, бы вырвался из его старческих рук, если бы в это время не вошел случайно приехавший Кергель.

— Батюшка, подсобите связать барина,— закричал ему Симонов,— а то он либо себя, либо Ивана убьет...

Кергель, и не понявший сначала, что случилось, бросился, однако, помогать Симонову. Оба они скрутили Вихрову руки назад и понесли его в спальню; белая пена клубом шла у него изо рта, глаза как бы окаменели и сделались неподвижными. Они бережно уложили его на постель. Вихров явно был в совершенном беспамятстве. Набежавшие между тем в горницу дворовые женщины стали хлопотать около Груши. Дивуясь и охая и приговаривая: «Матери мои, господи, отцы наши святые!» — они перенесли ее в ее комнату. Кергель прибежал тоже посмотреть Грушу и, к ужасу своему, увидел, что рана у ней была опасна, а потому сейчас же поспешил свезти ее в своем экипаже в больницу; но там ей мало помогли: к утру Груша умерла, дав от себя показание, что Иван выстрелил в нее совершенно нечаянно.

Симонов, опасаясь, что когда Вихров опомнится, так

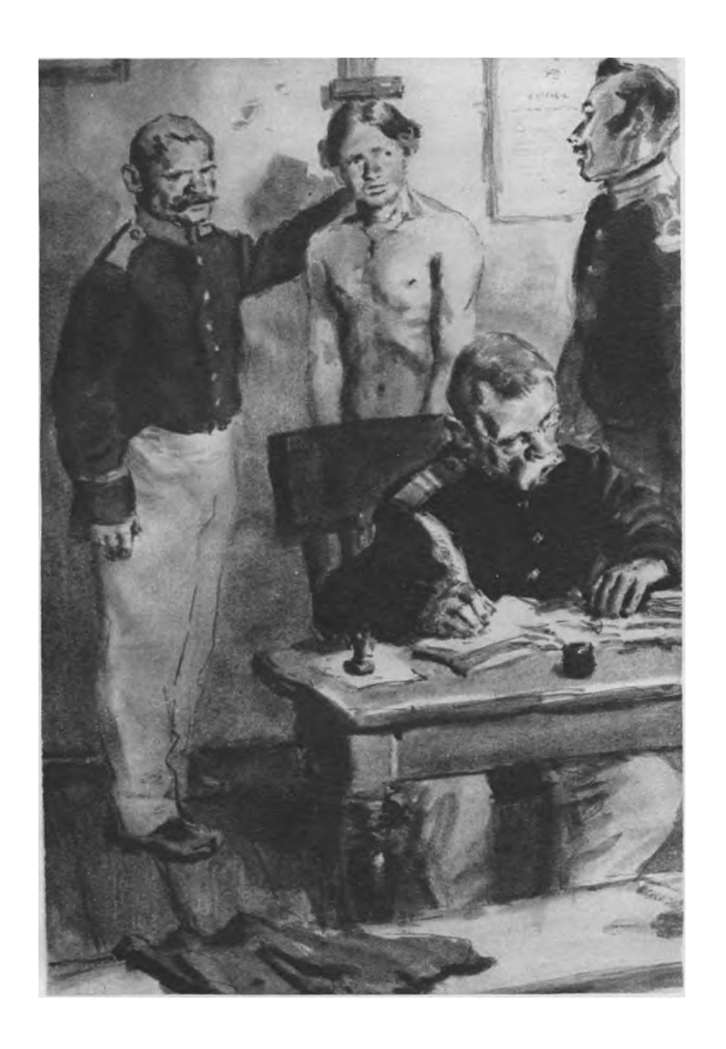
опять, пожалуй, спросит Ивана, попросил исправника, чтобы тот, пока дело пойдет, посадил Ивана в острог. Иван, впрочем, и сам желал того.

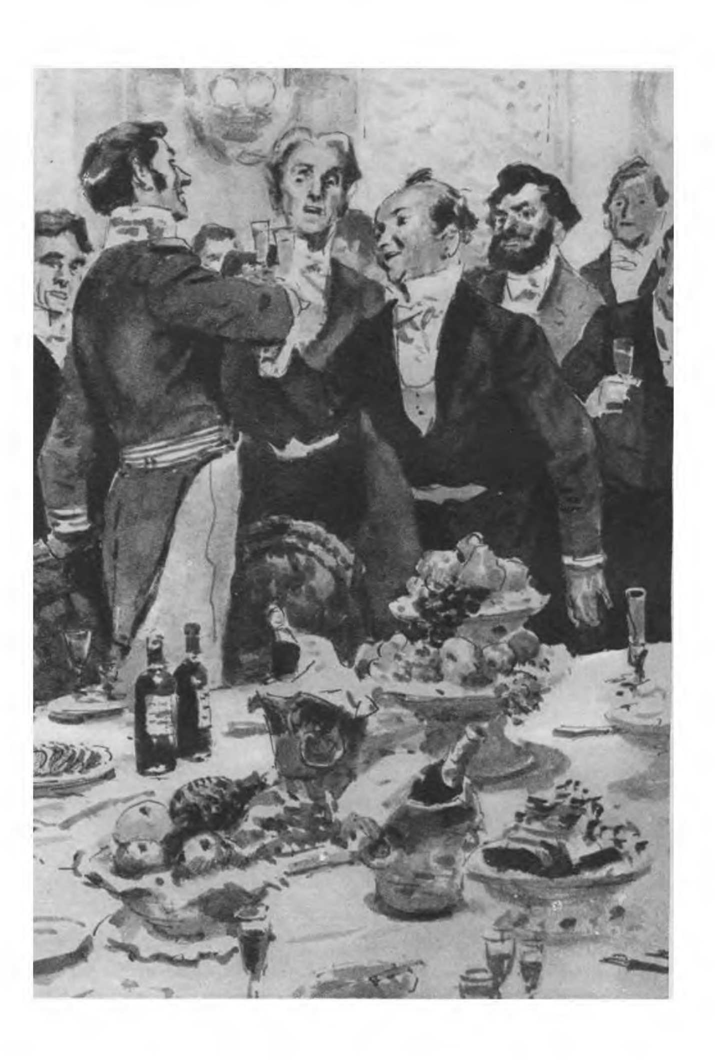
У Вихрова доктор признал воспаление в мозгу и весьма опасался за его жизнь, тем более, что тот все продолжал быть в беспамятстве. Его очень часто навещали, хотя почти и не видали его, Живин с женою и Кергель; но кто более всех доказал ему в этом случае дружбу свою, так это Катишь. Услыхав о несчастном убийстве Груши и о постигшей Вихрова болезни, она сейчас же явилась к нему уже в коричневом костюме сестер милосердия, в чепце и пелеринке и даже с крестом на груди. Сейчас же приняла весь дом под свою команду и ни одной душе не позволяла ходить за больным, а все — даже черные обязанности — исполняла для него сама. Через неделю, когда доктор очень уж стал опасаться за жизнь больного, она расспросила людей, кто у Павла Михайлыча ближайшие родственники,— и когда ей сказали, что у него всего только и есть сестра — генеральша Эйсмонд, а Симонов, всегда обыкновенно отвозивший письма на почту, сказал ей адрес Марьи Николаевны, Катишь не преминула сейчас же написать ей письмо и изложила его весьма ловко.

«Ваше превосходительство! — писала она своим бойким почерком.— Письмо это пишет к вам женщина, сидящая день и ночь у изголовья вашего умирающего родственника. Не буду описывать вам причину его болезни; скажу только, что он напуган был выстрелом, который сделал один злодей-лакей и убил этим выстрелом одну из горничных».

Катишь очень хорошо подозревала о некоторых отношениях Груши к Вихрову; но, имея привычку тщательнейшим образом скрывать подобные вещи, она, разумеется, ни одним звуком не хотела намекнуть о том в письме к Марье Николаевне. Темное, но гениальное чутье Катишь говорило ей, что между m-me Эйсмонд и m-r Вихровым вряд ли нет чего-нибудь, по крайней мере, некоторой нравственной привязанности; так зачем же было смущать эти отношения разным вздором? Себя она тоже по этому поводу как бы старалась несколько выгородить.

«Не заподозрите, бога ради,— писала она далее в своем письме,— чтобы *любовь* привела меня к одру вашего родственника; между нами существует одна только святая и чистая дружба,— очень сожалею, что я не имею портре-





та, чтобы послать его к вам, из которого вы увидали бы, как я безобразна и с каким ужасным носом, из чего вы можете убедиться, что все мужчины могут только ко мне пылать дружбою!»

Сделавшись сестрой милосердия, Катишь начала, нисколько не конфузясь и совершенно беспощадно, смеяться над своей наружностью. Она знала, что теперь уже блистала нравственным достоинством. К письму вышеизложенному она подписалась:

«Сестра милосердия, Екатерина Прыхина».

VII

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСТЬЯ И КАТИШЬ

Было часов шесть вечера. По главной улице уездного городка шибко ехала на четверке почтовых лошадей небольшая, но красивая дорожная карета. Рядом с кучером, на широких козлах, помещался благообразный лакей в военной форме. Он, как только еще въехали в город, обернулся и спросил ямщика:

— Что ж, мне сбегать к смотрителю и попросить, чтобы вы же и довезли нас до Воздвиженского?

— Я же и довезу, — отвечал ямщик, — всего версты две: генеральшу важно докачу; на водку бы только дала!

— Дадут-с,— отвечал лакей и, как только подъехали к почтовой станции, сейчас же соскочил с козел, сбегал в дом и, возвратясь оттуда и снова вскакивая на козлы, крикнул: — Позволили, пошел!

Ямщик тронул.

— Ну, слава богу, что не задержали! — послышался тихий голос в карете.

Это ехала, или, лучше сказать, скакала день и ночь из Петербурга в Воздвиженское Мари. С ней ехал и сынок ее, только что еще выздоровевший, мальчик лет десяти.

Когда экипаж начал, наконец, взбираться в гору, Мари не утерпела и, выглянув в окно кареты, спросила:

— Это Воздвиженское?

— Оно самое-с! — отвечал ямщик и что есть духу понесся.

— Господи, как-то я его застану! — говорила Мари нерешительным голосом и вся побледнев при этой мысли.

В Воздвиженском в это время Вихров, пришедши уже

в себя и будучи только страшно слаб, лежал, опустив голову на подушки; худ и бледен он был, как мертвец, и видно было, что мысли, одна другой мрачнее, проходили постоянно в его голове. Он не спрашивал ни о том, что такое с ним было, ни о том — жива ли Груша. Он, кажется, все это сам уж очень хорошо знал и только не хотел расспросами еще более растравлять своих душевных ран; ходившей за ним безусыпно Катишь он ласково по временам улыбался, пожимал у нее иногда руку; но как она сделает для него, что нужно, он сейчас и попросит ее не беспокоиться и уходить: ему вообще, кажется, тяжело было видеть людей. Катишь, немножко уже начинавшая и обижаться таким молчаливым обращением ее клиента, по обыкновению, чтобы развлечь себя, выходила и садилась на балкон и принималась любоваться окрестными видами; на этот раз тоже, сидя на балконе и завидев въезжавшую во двор карету, она прищурила глаза, повела несколько своим носом и затем, поправив на себе торопливо белую пелеринку и крест, поспешно вышла на крыльцо, чтобы встретить приехавшую особу.

— Это я знаю, кто приехал! — говорила она не без лукавства, идя в переднюю.

Мари входила уже на лестницу дома, держа сына за руку; она заметно была сильно встревожена. Катишь, дожидавшаяся ее на верхней ступени, модно присела перед ней.

— Я, кажется, имею удовольствие видеть ее превосходительство госпожу Эйсмонд? — проговорила она, по обыкновению, в нос.

— Да,— отвечала Мари.— Но скажите, что же больной наш? — прибавила она дрожащим голосом.

— Опасность миновалась: слаб еще, но не опасен,— отвечала с важностью Катишь.— Прошу вас в гостиную,— заключила она, показывая Мари на гостиную.

Та вошла туда как-то не совсем охотно.

— А могу я его видеть? — прибавила она тем же беспокойным голосом.

— О нет, нет! — воскликнула Катишь совсем уж в нос.— Такая нечаянность может его встревожить.

Никак не ожидая, что Мари сама приедет, Катишь и не говорила даже Вихрову о том, что писала к ней.

— А вы вот посидите тут,— продолжала она простодушным и очень развязным тоном,— отдохните немнож-

ко, выкушайте с дороги чайку, а я схожу да приготовлю его на свидание с вами. Это ваш сынок, конечно? — заключила Катишь, показывая на мальчика.

— Да, сын мой,— отвечала Мари.

— Прелестный мальчик! — одобрила m-lle Катишь.— Теперь вот еще извольте мне приказать: как вам угодно почивать — одним или с вашим малюткой?

Какую цель Катишь имела сделать подобный вопрос — неизвестно, но Мари он почему-то сконфузил.

— Это все равно, он может спать и со мной, а если в отдельной комнате, так я просила бы только, чтобы не так далеко от меня.

— Так вот как мы сделаем,— отвечала ей Катишь,— я вам велю поставить кровать в комнате покойной Александры Григорьевны,— так генеральша генеральшино место и займет,— а малютку вашего положим, где спал, бывало, Сергей Григорьич — губернатор уж теперь, слышали вы?

— Да, слышала.

— Я вот по милости его и ношу этот почетный орден!— прибавила Катишь и указала на крест свой.— Сейчас вам чаю подадут! — заключила она и ушла.

Мари, оставшись одна, распустила ленты у дорожного чепца, расстегнула даже у горла платье, и на глазах ее показались слезы; видно было, что рыдания душили ее в эти минуты; сынок ее, усевшийся против нее, смотрел на нее как бы с некоторым удивлением.

Катишь между тем, как кошка, хитрой и лукавой походкой вошла в кабинет к Вихрову. Он, при ее входе, приподнял несколько свою опущенную голову.

— Вы покрепче, кажется, сегодня,— произнесла она как бы и обыкновенным голосом и только потирая немного руки.

— Кажется,— отвечал Вихров довольно мрачно.

— Пора, пора! Что это, молодой человек, все валяетесь! — говорила Катишь, покачивая головой.— Вот другие бы и дамы к вам приехали,— но нельзя, неприлично, все в халате лежите.

— Что же, это Живина, что ли, хотела приехать? — спросил Вихров.

— Ах, сделайте милость, о madame Живиной извольте отложить попечение: она теперь в восторге от своего мужа, а прежде точно, что была в вас влюблена; но, впро-

чем, найдутся, может быть, и другие, которые не менее вас любят, по крайней мере, родственной любовью.

— Кто же это: вы, что ли?

— Я что... я буду вас любить — как только вы прикажете,— произнесла Катишь.— Есть и поинтереснее меня.

— Я не знаю, что вы такое говорите! — произнес Вихров с некоторой уж досадой.

— А то, что шутки в сторону, в самом деле оденьтесь... Петербургская одна дама приехала к вам.

— Кто такая? Мари, что ли? — произнес Вихров, приподнимая голову с подушки.

— Разумеется, Марья Николаевна, кому же больше!— сказала Катишь.

— Господи! Да где же она, просите ее! — сказал Вихров каким-то уже ребяческим голосом.

— Нельзя ей сейчас сюда! — возразила Катишь урезонивающим тоном.— Во-первых, она сама с дороги переодевается и отдыхает; а потом, вы и себя-то приведите хоть сколько-нибудь в порядок,— смотрите, какой у вас хаос! — продолжала Катишь и начала прибирать на столе, складывать в одно место раскиданное платье; наконец, взяла гребенку и подала ее Вихрову, непременно требуя, чтобы он причесался.

— Мари приехала, Мари! — повторял между тем тот как бы про себя и заметно обрадованный и оживленный этим известием; но потом вдруг, как бы вспомнив что-то, снова нахмурился и сказал Катишь: — А Груни нет, конечно, в живых?

— Нет, померла,— отвечала та торопливо.

Вихров при этом поднял только глаза на небо.

— Тут все, кажется, теперь прилично,— проговорила Катишь, обведя глазами всю комнату, и затем пошла к Мари.

— Пожалуйте, просит вас теперь к себе,— сказала она той.

Мари пошла; замешательство ее все более и более увеличивалось.

— А мне, maman, можно к дяде? — спросил ее сын.

— Нет, нельзя,— отвечала ему почти с досадой Мари.

— Ты после, душенька, к дяденьке пойдешь,— объяснила ему наставническим голосом Катишь.

Мари вошла проворно в кабинет Вихрова.

— Боже мой, как ты похудел! — сказала она сильно испуганным голосом.

— Да, порядочно! — отвечал ей Вихров, взяв и целуя ее руку.

— Были бы кости, а мясо наведем! — подхватила шедшая тоже за Мари Катишь; потом она подвинула Мари кресло, и та села на него.

— Но скажи, что такое с тобой случилось, простудился, что ли, ты? Неужели тебя этот несчастный выстрел так испугал? — говорила Мари.

— Тут много было причин; я и до того еще себя не так хорошо чувствовал... А что супруг ваш? — прибавил Вихров, желая, кажется, прекратить разговор о самом себе.

— Он в Севастополе.

— В Севастополе? — воскликнула радостным голосом Катишь.— Где и я скоро буду!..— заключила она, подняв с гордостью нос.

— Да,— продолжала Мари,— и пишет, что они живут решительно в жерле огненном; целые дни на них сыплется град пуль и ядер — ужасно!.. Я к тебе с сыном приехала,— присовокупила она.

— С Женичкой? Ах, покажите мне его.

— Я сейчас его приведу,— сказала Катишь и пошла, но не сейчас привела мальчика, а медлила — и медлила с умыслом.

У Катишь, как мы знаем, была страсть покровительствовать тому, что — она полагала — непременно должно было произойти между Вихровым и Мари.

Те, оставшись вдвоем, заметно конфузились один другого: письмами они уже сказали о взаимных чувствах, но как было начать об этом разговор на словах? Вихров, очень еще слабый и больной, только с любовью и нежностью смотрел на Мари, а та сидела перед ним, потупя глаза в землю,— и видно было, что если бы она всю жизнь просидела тут, то сама первая никогда бы не начала говорить о том. Катишь, решившая в своих мыслях, что довольно уже долгое время медлила, ввела, наконец, ребенка.

— Ну, поди сюда, мой милый! — сказал ему Вихров, и когда Женичка подошел к нему, он поцеловал его, и ему невольно при этом припомнился покойный Еспер Иваныч и сам он в детстве своем. Мальчик конфузливо сел около кровати на стул, который тоже подвинула ему Катишь.

Разговор мало как-то клеился.

— Я, когда сюда ехала,— начала, наконец, Мари,— так, разумеется, расспрашивала обо всех здешних, и мне на последней станции сказали, что Клеопатра Петровна в нынешнем году умерла.

— Да, умерла! — отвечал, нахмуриваясь, Вихров.

— Покончила свои страдальческие дни! — подхватила Катишь.

— А вы, кажется, были ее приятельницей? — спросила ее Мари кротким голосом.

— Я была ее друг! — подхватила Катишь каким-то строгим басом.

Она за что-то считала Мари не совсем правой против Клеопатры Петровны.

Разговор на этом месте опять приостановился.

— Вы, надеюсь,— заговорил уже Вихров, видимо, мучимый какой-то мыслью,— надеюсь, что ко мне приехали не на короткий срок?

— На месяц, на два, если ты не соскучишься,— отвечала, покраснев, Мари.

— Я-то соскучусь, господи! — произнес Вихров, и голос его при этом как-то особенно прозвучал.— Но как же мы, однако, будем проводить наше время? — продолжал он.— Мы, конечно, будем с вами в карты играть, как в Петербурге собирались.

— В карты играть,— говорила Мари; смущение в ней продолжалось сильное.

— Но чем же молодца этого занять? — сказал Вихров, показывая на мальчика.

— Пусть себе гуляет, ему физические упражнения предписаны: беганье, верховая езда, купанье,— отвечала Мари.

— А, в таком случае мы должны сделать некоторое особое распоряжение. Я тебя, мой друг, поручу одному старику, который тебе все это устроит. Потрудитесь послать ко мне Симонова! — прибавил Вихров, обращаясь к Катишь.

Та вышла и сейчас же привела Симонова.

— Вот это, братец, сын одного заслуженного генерала, который теперь в Севастополе. Про Севастополь слышал?

— Наслышан, ваше высокоблагородие; война сильная, говорят, там идет.

— Ну, так ты вот этого мальчика займи: давай ему

смирную лошадь кататься, покажи, где у нас купанье — неглубокое, вели ему сделать городки, свайку; пусть играет с деревенскими мальчиками.

— Merci, дядя! — воскликнул вдруг мальчик, крайне, кажется, обрадованный всеми распоряжениями.

— Слушаю, ваше высокоблагородие, все будет сделано,— проговорил и Симонов очень тоже довольным голосом.— А когда вам что понадобится, то извольте кликнуть старика Симонова,— прибавил он, почти с каким-то благоговением обращаясь к мальчику.

— Ну, ты можешь теперь уходить,— сказала ему Катишь.

Симонов тотчас же ушел.

— Вы, кажется, распорядились и достаточно устали,— обратилась она к Вихрову,— да и вам, я думаю, пора чаю накушаться и поужинать.

— Поужинайте, кузина! — сказал ей Вихров.

— Хорошо,— отвечала та и вместе с сыном ушла.

В зале они увидели параднейшим образом накрытый стол с чаем и легким ужином. Это все устроила та же Катишь: она велела ключнице вынуть серебро, лучший чайный сервиз, прийти прислуживать генеральше всей, какая только была в Воздвиженском, комнатной прислуге.

Вскоре после того гости и хозяева спали уже мертвым сном. На другой день Катишь почему-то очень рано проснулась, все копошилась у себя в комнате и вообще была какая-то встревоженная, и потом, когда Мари вышла в гостиную, она явилась к ней. Глаза Катишь были полнехоньки при этом слез.

— Марья Николаевна,— начала она взволнованным голосом,— я теперь вручаю вам моего больного, а мне уж позвольте отправиться в Севастополь.

— Но зачем же так поспешно? — возразила было Мари.

— Невозможно мне долее оставаться,— отвечала каким-то даже жалобным голосом Катишь,— я уж два предписания получила, не говорила только никому,— присовокупила она, как-то лукаво поднимая брови.

Катишь в самом деле получила два требующие ее предписания, но она все-таки хотела прежде походить за своим близким ей больным, а потом уже ехать на службу.

— Если так, то конечно,— отвечала Мари.— Я только

буду просить вас найти там моего мужа и поклониться ему от меня.

— Сочту это за приятнейшую и непременнейшую для себя обязанность,— отвечала Катишь, модно раскланиваясь перед Мари, и затем с тем же несколько торжественным видом пошла и к Вихрову.

— Ну, Павел Михайлыч,— начала она с вновь выступившими на глазах слезами,— теперь есть кому за вами присмотреть, а меня уж пустите в Севастополь мой.

— Очень жаль,— отвечал он.— Только позвольте!..— прибавил он и, торопливо встав с постели, торопливо надев на себя халат и туфли, подошел к столу и вынул оттуда триста рублей.

— Позвольте мне, по крайней мере, презентовать вам на дорогу.

— Ни за что, ни за что, — воскликнула было Катишь.

— В таком случае вы меня обидите, я рассержусь и опять занемогу.

— Но ведь и вы меня обижаете... и вы обижаете! — говорила Катишь.

— Ей-богу, рассержусь,— повторил еще раз Вихров в самом деле сердитым голосом, подавая Катишь деньги.

— Повинуюсь вам, хоть и с неудовольствием! — сказала, наконец, она, принимая деньги, и затем поцеловала Вихрова в губы, перекрестила его и, войдя снова к Мари, попросила еще раз не оставлять больного; простилась потом с горничными девушками и при этом раздала им по крайней мере рублей двадцать. Катишь была до глупости щедра, когда у нее появлялись хоть какие-нибудь деньги. Собрав, наконец, свой скарб, она ушла пешком в город, не велев себе даже заложить экипажа. В последних главах мы с умыслом говорили несколько подробнее о сей милой девице для того, чтобы раскрыть полнее ее добрую душу, скрывавшуюся под столь некрасивой наружностью.

VIII
ОХОТА С ОСТРОГОЙ

Приезд Мари благодетельно подействовал на Вихрова: в неделю он почти совсем поправился, начал гораздо больше есть, лучше спать и только поседел весь на висках. Хозяин и гостья целые дни проводили вместе: Мари первое время читала ему вслух, потом просматривала его новый

роман, но чем самое большое наслаждение доставляла Вихрову — так это игрой на фортепьяно. Мари постоянно занималась музыкой и последнее время несравненно стала лучше играть, чем играла в девушках. По целым вечерам Вихров, полулежа в зале на канапе, слушал игру Мари и смотрел на нее. Мари была уже лет тридцати пяти; собой была она довольно худощава; прежняя миловидность перешла у нее в какую-то приятную осмысленность. Мари очень стала походить на англичанку, и при этом какая-то тихая грусть (выражение, несколько свойственное Есперу Иванычу) как бы отражалась во всей ее фигуре. Из посторонних посетителей в Воздвиженское приезжали только Живины, но и те всего один раз; Юлия, услыхав о приезде Мари к Вихрову, воспылала нетерпением взглянуть на нее и поэтому подговорила мужа, в одно утро, ехать в Воздвиженское как бы затем, чтобы навестить больного, у которого они давно уже не были.

Приезд их несколько сконфузил Вихрова. Познакомив обеих дам между собою и потом воспользовавшись тем, что Мари начала говорить с Живиным, он поспешил отозвать Юлию Ардальоновну немножко в сторону.

— Я надеюсь, что вы не рассказали вашему мужу о том, что я вам когда-то говорил о Мари,— сказал он.

Юлия посмотрела на него как бы с удивлением.

— Почему ж вы думаете, что я так откровенна с мужем; у вас у самих моя тайна — гораздо поважнее той,— проговорила она.

— Да, пожалуйста, не говорите ему... тем более, что все, что я вам тогда говорил... все это вздор.

Юлия при этом вспыхнула.

— Зачем же вы этот вздор мне говорили,— чтобы от меня только спастись? — проговорила она насмешливым и обиженным голосом.

— Нет, не потому, а потому что тогда, может быть, и так это было; но теперь этого нет,— говорил совершенно растерявшийся Вихров.

Юлия пожала при этом плечами.

— Не понимаю я вас! — сказала она.

— После как-нибудь я вам все объясню,— говорил Вихров.

— Хорошо! — отвечала Юлия опять с усмешкою и затем подошла и села около m-me Эйсмонд, чтобы повнимательнее ее рассмотреть; наружность Мари ей совершен-

но не понравилась; но она хотела испытать ее умственно — и для этой цели заговорила с ней об литературе (Юлия единственным мерилом ума и образования женщины считала то, что говорит ли она о русских журналах и как говорит).

— Как ожила нынче литература, узнать нельзя,— начала она прямо.

Мари, кажется, удивилась такому предмету разговора — и ничего с своей стороны не отвечала.

— Это такой идет протест против всех и всего, и все кресчендо и кресчендо!..— продолжала Юлия.

Мари и на это ничего не говорила.

— Введение этого политического интереса в литературу так подняло ее умственный уровень! — отзванивала Юлия.

Вышедши замуж, она день ото дня все больше и больше начинала говорить о разных отвлеченных и даже научных предметах, и все более и более отборными фразами, и приводила тем в несказанный восторг своего добрейшего супруга.

— Я не нахожу, чтобы этот умственный уровень так уж очень поднялся,— возразила, наконец, Мари.

— Вы не находите? — спросила Юлия, немного даже вспыхнув.

— Он, кажется, совершенно такой же, как и был.

— Но где ж он лучше? Он и в европейских литературах, я думаю, не лучше и не выше.

Мари при этом слегка улыбнулась.

— Все-таки он там, я думаю, поопытней и поискусней,— возразила она.

— Я не знаю,— продолжала Юлия, все более и более краснея в лице,— за иностранными литературами я не слежу; но мне в нынешней нашей литературе по преимуществу дорого то, что в ней все эти насущные вопросы, которые душили и давили русскую жизнь, поднимаются и разрабатываются.

— Что поднимаются — это правда, но чтоб разрабатывались — этого не видать; скорее же это делается в правительственных сферах,— проговорила Мари.

— Ха-ха-ха! — захохотала Юлия.— Хороша разработка может быть между чиновниками!.. Нет уж, madame Эйсмонд, позвольте вам сказать: у меня у самой отец был чиновник и два брата теперь чиновниками — и я знаю, что

это за господа, и вот вышла за моего мужа, потому что он хоть и служит, но он не чиновник, а человек!

— Каковы, я думаю, чиновники в стране, таковы и литераторы,— уж нарочно, кажется, поддразнивала Юлию Мари.

— Павел Михайлович! — воскликнула та, обращаясь к Вихрову.— Поблагодарите вашу кузину за сравнение; она говорит, что вы, литератор, и какой-нибудь плутишка-чиновник — одно и то же!

— Я не говорю о дарованиях и писателях; дарования во всех родах могут быть прекрасные и замечательные, но, собственно, масса и толпа литературная, я думаю, совершенно такая же, как и чиновничья.

Юлия понять не могла, что такое говорит Мари; в своей провинциальной простоте она всех писателей и издателей и редакторов уважала безразлично.

— Прежде, когда вот он только что вступал еще в литературу,— продолжала Мари, указывая глазами на Вихрова,— когда заниматься ею было не только что не очень выгодно, но даже не совсем безопасно,— тогда действительно являлись в литературе люди, которые имели истинное к ней призвание и которым было что сказать; но теперь, когда это дело начинает становиться почти спекуляцией, за него, конечно, взялось много господ неблаговидного свойства.

— Но, madame Эйсмонд!—воскликнула Юлия.—Наша литература так еще молода, что она не могла предъявить таких грязных явлений, как это есть, может быть, на Западе.

— То-то и есть, что и у нас начинает быть похуже еще западного! — отвечала Мари: ее, по преимуществу, возмущал пошлый и бездарный тон тогдашних петербургских газет.

Вихров слушал обеих дам с полуулыбкою, но Живин, напротив, весь был внимание: ему нравилось и то, что говорила жена, и то, что говорила Эйсмонд; но дамы, напротив, сильно не понравились друг другу, и Юлия даже по этому случаю имела маленькую ссору с мужем.

— Что это за госпожа?..— сказала она, пожимая плечами, когда они сели в экипаж, чтобы ехать домой.

— Что за госпожа!.. Женщина, как видно, умная! — отвечал Живин.

— Чем?.. Чем?.. — спросила резко Юлия.—Чтобы быть названной *умною женщиной,* надобно сказать что-нибудь умное.

— Она неглупо и говорила,— возразил ей опять кротко муж.

— Она мало что говорила неумно, но она подло говорила: для нее становой пристав и писатель — одно и то же. Эта госпожа, должно быть, страшная консерваторша; но, впрочем, что же и ожидать от жены какого-нибудь господина генерала; но главное — Вихров, Вихров тут меня удивляет, что он в ней нашел! — воскликнула Юлия, забыв от волнения даже сохранить поверенную тайну.

Мари, в свою очередь, тоже не совсем благосклонно отзывалась об Живиной; сначала она, разумеется, ни слова не говорила, но когда Вихров с улыбкой спросил ее:

— А как вам понравилась супруга моего приятеля?

Он бы в настоящую минуту ни за что не признался Мари, что это была та самая девушка, о которой он когда-то писал, потому что Юлия показалась ему самому на этот раз просто противною.

— Она, должно быть, ужасная провинциалка: у нее какой-то резкий тон, грубые манеры! — отвечала та.

— И какую чепуху все высокопарную несет! — произнес Вихров.

— Ну, да это-то уж бог с ней: все мы, женщины, обыкновенно мыслями страдаем; по крайней мере держала бы себя несколько поскромнее.

Покуда шла таким образом жизнь в Воздвиженском, больше всех ею, как и надобно было ожидать, наслаждался Женичка. Он целые дни путешествовал с Симоновым по полям и по лугам. В Петербурге для укрепления мускулов его учили гимнастике, и он вздумал упражняться этой же гимнастикой и в деревне; нарисовал Симонову столб, на который лазят, лестницу, по которой всходят; Симонов сейчас же все это и устроил ему, и мало того: сам даже стал лазить с ним, но ноги у него были старческие, и потому он обрывался и падал. Особенно Женичку забавляло то, когда Симонов, подражая ему, лез на гладкий столб — и только заберется до половины, а там не удержится и начнет спускаться вниз. Женичка покатывался при этом со смеху; одно только маленькому шалуну не

нравилось, что бочажок, куда он ходил купаться, был очень уж мелок.

— Симонушко, пойдем на озеро и там покупаемся! — сказал он ему однажды.

— Нет, что там купаться — грязно да и тинисто очень,— возразил ему Симонов.— А вот лучше что!..— продолжал старый запотройщик.—Ужо вечером выпроситесь у маменьки и у дяденьки на озеро — на лодке с острогой рыбу половить.

— Ах, это отлично! Я сейчас же и попрошусь! — воскликнул Женичка и с разгоревшимися уже глазами побежал в горницу.

— Дядя, мамаша! — кричал он.— Отпустите меня сегодня вечером с острогой рыбу ловить.

— Что такое, с какой острогой? — спросила Мари, совершенно не поняв его просьбы.

— Мы, мамаша, рыбы вам наловим,— толковал ей мальчик.

Мари все-таки не понимала.

— Это действительно довольно приятная охота,— принялся объяснять ей Вихров.— Едут по озеру в лодке, у которой на носу горит смола и освещает таким образом внутренность воды, в которой и видно, где стоит рыба в ней и спит; ее и бьют острогой.

— Отпусти, мамаша! — приставал между тем к Мари ребенок.

— Нет, одного тебя пустить неудобно,— возразил ему Вихров,— потому что все-таки будешь ночью один на воде.

— Но я, дядя, с Симоновым поеду.

— Все это я знаю; но вот что, Мари, не поехать ли и нам тоже с ними? — проговорил Вихров; ему очень улыбалась мысль проехать с ней по озеру в темную ночь.

— Хорошо,— отвечала она.

— Ну, поди же и позови сюда Симонова,— сказал Вихров Женичке.

Тот благим матом побежал и привел с собой за руку старого воина.

— Вот видишь что...— обратился к тому Вихров,— пойди и найми ты нам лодку большую, широкую: мы хотим сегодня поохотиться с острогой.

— Теперь отличное время-с, самое настоящее! — подхватил с удовольствием Симонов.

— Ну, так ступай!

— Слушаю-с! — отвечал Симонов и проворно ушел. Женичка выпросился вместе с ним на озеро и побежал за ним.

Вихров и Мари снова остались вдвоем.

Героя моего последнее время сжигало нестерпимое желание сказать Мари о своих чувствах; в настоящую минуту, например, он сидел против нее — и с каким бы восторгом бросился перед ней, обнял бы ее колени, а между тем он принужден был сидеть в скромнейшей и приличнейшей позе и вести холодный, родственный разговор,— все это начинало уж казаться ему просто глупым: «Хоть пьяну бы, что ли, напиться,— думал он,— чтобы посмелее быть!»

Женичка, впрочем, вскоре возвратился и объявил, что все было нанято, и только оставалось желать, чтобы это несносное солнце поскорее садилось; но вот и оно село. У крыльца стояла уже коляска парою; в нее сели Женичка, Вихров и Мари, а Симонов поместился на козлах. Сей почтенный воин выбрал самое сухое место, чтобы господам выйти и сесть в лодку, которая оказалась широчайшею, длиннейшею и даже крашеною. Лодочник стоял на носу. Вихров сел управлять рулем. Мари очень боялась, когда она вошла в лодку — и та закачалась.

— Да садитесь около меня, рядом со мной,— сказал ей Вихров.

Мари села. Лавочка была не совсем длинная и просторная, так что Мари совсем прижалась к Вихрову, но все-таки боялась.

— Погодите, я стану вас поддерживать,— сказал он и взял ее легонько за талию.

Однако Мари все еще боялась.

— Ну, дайте и руку вашу.

Мари подала и руку.

Женичка, как только вскочил в лодку, сейчас же убежал к лодочнику и стал с любопытством смотреть, как тот разводил на носу огонь. Симонов, обернувшись спиной к Вихрову и Мари, сел грести. Лодка тронулась.

Мрак уже совершенно наполнил воздух; на носу лодки горело довольно большое пламя смолы.

— Мамаша, в воде все видно! — кричал Женичка, смотря в воду.— Вот, мамаша, трава какая большая! А это, мамаша, рак, должно быть?

— Это рак,— подтвердил лодочник.— Тише, барин,

не кричите,— прибавил он вполголоса,— это щука, надо быть, стоит!.. Какая матерая — черт!

— Мне ее и колотить? — спросил мальчик шепотом.

— Нет, уж я лучше, а то она у вас увернется,— проговорил лодочник и мгновенно опустил острогу вниз.

Щука сейчас же очутилась после того на поверхности воды; Симонов поймал ее руками; Женичка вырвал ее у него и, едва удерживая в своих ручонках скользкую рыбу, побежал к матери.

— Мамаша, смотрите, какая щука! — кричал он.

— Хорошо! — отвечала ему мать почему-то сильно сконфуженным голосом.

Женичка опять ушел на нос. Ночь все больше и больше воцарялась: небо хоть было и чисто, но темно, и только звезды блистали местами.

Мари находилась почти что в объятиях Вихрова.

— Ангел мой, вы мне ни разу еще не повторили того, о чем писали,— шептал он ей.

— Я?.. — говорила Мари, отворачиваясь от него.

— Да!.. Но теперь, по крайней мере, скажите, что любите меня! — продолжал Вихров.

— А что же? Неужели ты не видишь этого? — отвечала Мари и сама трепетала всем телом.

Вихров крепко прижал ее к себе. Он только и видел пред собою ее белое лицо, окаймленное черным кружевным вуалем.

— Мамаша! Еще щука! — кричал ребенок с носа.— Дай, эту я ударю,— выпросил он у лодочника острогу, ударил ею и не попал.

— Вот, барин, и не попали,— сказал ему лодочник.

— Ну, больше уж я не буду бить, ты бей! — сказал Женя и опять принялся глядеть внимательно в воду.

Симонов стал веслом направлять лодку к другому месту. На корме между тем происходило неумолкаемое шептание.

— Ты будешь меня любить вечно, всегда? — говорила Мари.

— Я никого, кроме тебя, и не любил никогда,— отвечал Вихров.

— Ну, смотри же; я на страшно тяжелый шаг для тебя решилась, ты, может быть, и не воображаешь, как для меня это трудно и мучительно...

— Но неужели же, Мари, душить в себе всякое чувство — лучше? — шептал Вихров.

— Почти что лучше! — отвечала она.

Вихрову, наконец, все еще слабому после болезни, от озерной сырости сделалось немного и холодновато.

— Однако не пора ли и домой,— я начинаю чувствовать дрожь,— проговорил он.

— Хорошо! — отвечала Мари.

Она, кажется, не помнила, где она и что с ней происходит.

— Домой! — крикнул Вихров Симонову.

— Мало что-то нынче рыбы! — произнес тот.

— Мало,— подтвердил и лодочник.

— А сколько камушков в воде,— сказал Женичка, еще раз заглянув в воду, и вскоре затем все вышли на берег и, прежним порядком усевшись в экипаж, возвратились домой.

Там их в зале ожидал самовар. Мари поспешила сесть около него. Она была бледна, как полотно. Вихров сел около нее. Женя принялся болтать и с жадностью есть с чаем сухари, а потом зазевал.

— Я, мамаша, спать хочу,— попросил он уже сам.

— Хорошо,— отвечала Мари с каким-то трепетом в голосе.— Пойдем, я велю тебя уложить,— прибавила она и пошла за ребенком.

— Мари, вы еще вернетесь?.. Я спать не хочу! — крикнул ей Вихров.

— Пожалуй... вернусь...— говорила, как бы не торопясь и раздумывая, Мари.

— Я в кабинете буду вас ожидать,— продолжал Вихров.

— Хорошо,— отвечала опять неторопливо Мари и через несколько времени какой-то робкой походкой прошла в кабинет.

IX

ОТЪЕЗД МАРИ И СУДЬБА ИВАНА

Точно по огню для Вихрова пробежали эти два—три месяца, которые он провел потом в Воздвиженском с Мари: он с восторгом смотрел на нее, когда они поутру сходились чай пить; с восторгом видел, как она, точно настоя-

щая хозяйка, за обедом разливала горячее; с восторгом и подолгу взглядывал на нее, играя с ней по вечерам в карты. Самое лицо ее казалось ему окруженным каким-то блестящим ореолом. Мари, в свою очередь, кажется, точно то же самое чувствовала в отношении его. Как величайшую тягость, они оба вспоминали, что им еще надо съездить к Живиным и отплатить им визит, потому что Юлия Ардальоновна, бывши в Воздвиженском, прямо объяснила, что насколько она была у Вихрова, настолько и у m-me Эйсмонд.

В одно утро, наконец, Вихров и Мари поехали к ним вдвоем в коляске. Герой мой и тут, глядя на Мари, утопал в восторге — и она с какой-то неудержимой любовью глядела на него.

Юлия Ардальоновна обрадовалась приезду m-me Эйсмонд, потому что он удовлетворил ее самолюбие. Что же касается до самого Живина, то он пришел в несказанный восторг, увидев у себя в доме Вихрова.

— Ты ведь у меня, у женатого, еще в первый раз, посмотри мое помещение,— сказал он и повел приятеля показывать ему довольно нарядно убранную половину их.

— Что ж, и отлично! Ты, значит, теперь у пристани.

— Да, слава богу,— отвечал Живин почти набожным тоном.— А ты у этой барыни — не у пристани? — прибавил он не совсем смело и с усмешкой.

— О, вздор какой! — произнес с неудовольствием Вихров и поспешил возвратиться в гостиную к дамам.

Ему уж и скучно стало без Мари и опять захотелось смотреть на нее. Мари тоже, хоть на мгновение, но беспрестанно взглядывала на ту дверь, в которую он ушел. Вихров, войдя в гостиную, будто случайно сел около Мари — и она сейчас же поблагодарила его за то взором, хоть и разговаривала в это время очень внимательно с Юлией. От той, конечно, не скрылись все эти переглядывания — и досада невольно закралась в ее душу; ее, главное, удивляло — что могло так пленить Вихрова в Мари. Она в ней только и видела одно достоинство, что та одевалась прекрасно; но это чисто зависело от модистки, а не от каких-нибудь личных достоинств женщины. Под влиянием этих почти невольных ощущений ей захотелось немножко посмеяться над Вихровым.

— Вы, Павел Михайлович,— отнеслась она к нему,— решительно не стареетесь: прежде вы были какой-то хан-

дрющий, скучающий, а теперь, напротив, как будто бы одушевлены чем-то.

Вихров посмотрел на нее сердито: он думал, что она хочет выдать тайну его, и обозлился на нее.

— А вы так, наоборот, стареетесь очень,— проговорил он.

— Почему же вы это заключаете? — спросила Юлия, покраснев в лице.

— Потому что болтушкой становитесь,— сказал он.

— Ах, как это хорошо, какой милый комплимент я от вас получила! — воскликнула, в свою очередь, обозлившаяся Юлия.

Гости потом еще весьма недолгое время просидели у Живиных; сначала Мари взглянула на Вихрова, тот понял ее — и они сейчас же поднялись. При прощании, когда Живин говорил Вихрову, что он на днях же будет в Воздвиженском, Юлия молчала как рыба.

— Я до того, кажется, теперь дошла,— начала Мари, когда они поехали,— что решительно никого не могу видеть из посторонних.

— Да и я тоже,— подхватил Вихров,— и бог знает, когда любовь сильней властвует человеком: в лета ли его юности, или в возрасте, клонящемся уже к старости,— вряд ли не в последнем случае.

— Ты думаешь? — спросила Мари.

— Более чем думаю, уверен в том,— подхватил Вихров.

— Дай-то бог! — сказала Мари.

Дома мои влюбленные обыкновенно после ужина, когда весь дом укладывался спать, выходили сидеть на балкон. Ночи все это время были теплые до духоты. Вихров обыкновенно брал с собой сигару и усаживался на мягком диване, а Мари помещалась около него и, по большей части, склоняла к нему на плечо свою голову. Разговоры в этих случаях происходили между ними самые задушевнейшие. Вихров откровенно рассказал Мари всю историю своей любви к Фатеевой, рассказал и об своих отношениях к Груше.

— Зачем же эти отношения существовали, если, по твоим словам, ты в это время любил другую женщину? — спросила Мари с некоторым укором.

— Но разве иначе могло быть?.. Могло быть иначе?..— спрашивал, в свою очередь, Вихров.

— Да, но ты только сильно уж очень поражен был смертью этой девочки.

— Очень естественно: это не то, что обыкновенная смерть случилась, а вдруг как бы громом она меня поразила.

— А если бы этой смерти не последовало, и перед вами очутилось бы две женщины,— вам бы неловко было! — заметила не без лукавства Мари.

— Очень бы; но что ж делать? С сердцем не совладаешь!.. Нельзя же было чисто для чувственных отношений побороть в себе нравственную привязанность.

Мари на это с удовольствием улыбнулась ему.

— А что, скажи, кроме меня и мужа, ты никого не любила? — спросил ее однажды Вихров.

— Господи боже мой,— как тебе не грех и делать мне подобный вопрос? Если бы я кого-нибудь любила, я бы его и любила! — отвечала Мари несколько даже обиженным голосом.

— А мужа ты давно разлюбила? — продолжал Вихров.

— Разумеется, не со вчерашнего дня,— сказала с грустною усмешкою Мари.

— Мне, признаюсь, — как ты там ни объясняй, что он был кавказский герой,— всегда казалось и будет казаться непонятным, за что ты в него влюбилась.

— Очень просто, тогда военные были в моде; на меня — девочку — это и подействовало; кроме того, все говорили, что у него сердце прекрасное.

— Все это совершенно справедливо, но ведь он глуп ужасно.

— Нет, он не то, что глуп, но он не образован настоящим образом,— а этого до свадьбы я никак не могла заметить, потому что он держал себя всегда сдержанно, прекрасно танцевал, говорил по-французски; потом-то уж поняла, что этого мало — и у нас что вышло: то, что он любил и чему симпатизировал, это еще я понимала, но он уже мне никогда и ни в чем не сочувствовал,— и я не знаю, сколько я способов изобретала, чтобы помирить какнибудь наши взгляды. Но, чтобы заставить его смотреть на вещи, как я смотрела, его просто надобно было учить; а чтобы я смотрела по его, мне нужно было... хвастливо даже сказать... поглупеть, опошлеть, разучиться всему, чему меня учили — и, видит бог, я тысячу раз проклинала

это образование, которое дали мне... Зачем оно мне?.. Оно изломало только мою жизнь!

— А скажите, ангел мой, зачем вы тогда вдруг так неожиданно уехали из Москвы за границу? — спросил Вихров.

— От тебя бежала,— отвечала Мари,— и что я там вынесла — ужас! Ничто не занимает, все противно — и одна только мысль, что я тебя никогда больше не увижу, постоянно грызет; наконец не выдержала — и тоже в один день собралась и вернулась в Петербург и стала разыскивать тебя: посылала в адресный стол, писала, чтобы то же сделали и в Москве; только вдруг приезжает Абреев и рассказал о тебе: он каким-то ангелом-благовестником показался мне... Я сейчас же написала к тебе...

— А я к вам!..

— А ты ко мне, да еще и с сочинением своим, которое окончательно помутило мне голову.

— Однако вы на мое последнее и решительное письмо довольно долго не изволили отвечать.

— Легко ли мне было отвечать на него?.. Я недели две была как сумасшедшая; отказаться от этого счастья — не хватило у меня сил; идти же на него — надобно было забыть, что я жена живого мужа, мать детей. Женщинам, хоть сколько-нибудь понимающим свой долг, не легко на подобный поступок решиться!.. Нужно очень любить человека и очень ему верить, для кого это делаешь...

Вихров утопал в блаженстве, слушая последние слова Мари.

Но счастья вечного нет на земле: в сентябре месяце получено, наконец, было от генерала письмо, первое еще по приезде Мари в деревню.

«Милая Машурочка!

«Я три раза ранен — и вот причина моего молчания; но ныне, благодаря бога, я уже поправляюсь, и знакомая твоя девица, госпожа Прыхина, теперешняя наша сестра милосердия, ходит за мной, как дочь родная; недельки через три я думаю выехать в Петербург, куда и тебя, моя Машурочка, прошу прибыть и уврачевать раны старика. Севастополь наш сдан!.. Ни раны, ни увечья нас, оставшихся в живых, ни кости падших братий наших, ни одиннадцать месяцев осады, в продолжение которых в нас, как в земляную мишень, жарила почти вся Европа из всех своих пушек,— ничто не помогло, и все пошло к черту...

Нашего милого капитана не то, что убили, а разорвали, кажется, на десять частей. Он являл чудеса храбрости: солдаты обыкновенно стаскивали его с батарей, потому что он до тех пор разговаривал с неприятелем пушкою, что портил даже орудие,— мир праху его! Это был истинный русак. Если я не доеду до Петербурга и умру, то скажи сыну, что отец его умер, как храбрый солдат».

Прочитав это письмо, Мари сначала побледнела, потом, опустив письмо на колени, начала вдруг истерически рыдать.

— Что такое с вами? — спросил Вихров и поспешил ей подать воды.

— Нет, не надо! — отвечала Мари, отстраняя от себя стакан.— Прочти вот лучше! — прибавила она и подала ему письмо мужа.

Вихров прочел; письмо и его тоже встревожило и несколько кольнуло.

— Что ж вас так особенно уж напугало?—произнес он не без едкости.— Евгений Петрович пишет, что здоровье его поправилось.

— Ах, не это меня встревожило! — воскликнула Мари.

— Но что же такое,— я уж и не понимаю,— сказал Вихров.

— То, что я должна ехать и встретиться с ним,— произнесла Мари;— наконец с тобой придется расстаться.

— Зачем же расставаться? Я поеду за вами же,— возразил Вихров.

— Нет, Поль, пощади меня! — воскликнула Мари.— Дай мне прежде уехать одной, выдержать эти первые ужасные минуты свидания, наконец — оглядеться, осмотреться, попривыкнуть к нашим новым отношениям... Я не могу вообразить себе, как я взгляну ему в лицо. Это ужасно! Это ужасно!..— повторяла несколько раз Мари.

Эти слова ее очень огорчили Вихрова.

— Что же я тут буду делать один,— я с ума сойду!— проговорил он почти отчаянным голосом.

— Но это недолго, друг ты мой, может быть, какой-нибудь месяц, два, а потом я тебе и напишу, чтобы ты приезжал.

— Во всяком случае,— продолжал Вихров,— я один без тебя здесь не останусь,— уеду хоть к Абрееву, кстати, он звал меня даже на службу к себе.

— Уезжай к Абрееву! — подтвердила и Мари.— А на

меня ты не сердишься, что я этим письмом так встревожилась? — прибавила она уже ласково.

— Нисколько... За что ж тут сердиться? — отвечал Вихров, но не совсем, по-видимому, искренно.

— Нет, я знаю очень хорошо, что ты немножко сердишься и тебе это неприятно, но честью тебя заверяю, что тут, кроме чувства совести, ничего другого нет.

— Очень верю и даже высоко ценю в тебе это чувство: оно показывает, что ты — в высшей степени женщина честная!

По расчету времени Мари можно было еще пробыть в Воздвиженском около недели; но напрасно мои влюбленные старались забыть все и предаться только счастью любви: мысль о предстоящей разлуке отравляла их каждую минуту, так что Мари однажды сказала:

— Нет, уж ты пусти меня лучше, я уеду!

— Уезжай! — подтвердил и Вихров.

В один из предпоследних дней отъезда Мари, к ней в комнату вошла с каким-то особенно таинственным видом ее горничная.

— Вас приказчик Симонов желает видеть,— проговорила она.

— Позови его сюда.

Симонов вошел; лицо его было неспокойно.

— Тут-с вот есть Иван, что горничную убил у нас,— начал он, показывая в сторону головой,— он в остроге содержался; теперь это дело решили, чтобы ничего ему, и выпустили... Он тоже воротиться сюда по глупости боится. «Что, говорит, мне идти опять под гнев барина!.. Лучше позволили бы мне — я в солдаты продамся, меня покупают».

— Пусть себе и продается — бог с ним! — отвечала Мари.

— Да ведь бумагу тоже насчет этого ему надобно дать; я не смею теперь и доложить о том барину, как бы не встревожить их тем.

— Хорошо, я, пожалуй, ему скажу,— проговорила Мари.

— Сделайте милость! Вы все ведь умнее нашего сумеете это сказать,— подхватил радостным голосом Симонов.

— Сегодня же скажу,— отвечала Мари и в самом деле сейчас же пошла к Вихрову.

— Ивана этого выпустили; он найден невинным,— начала она,— но он сам желает наказать себя и продается в солдаты; позволь ему это!

— Бог с ним!— отвечал Вихров.— Пускай с собой делает, что хочет.

— Ну, так надобно позвать Симонова,— произнесла Мари, но Симонов дожидался уже у двери и держал даже бумагу в руках.

— Войди!— сказала Мари, увидев его.

Симонов вошел.

— Иван в солдаты желает уйти?— спросил его Вихров.

— Да-с, очень, слезно меня просил о том,— отвечал Симонов.

— Дай мне бумагу, я подпишу ему,— сказал Вихров.

Симонов подал.

Вихров подписал.

— Так его на этой же неделе и ставить будут-с,— произнес Симонов.

— Хоть сегодня же!— разрешил Вихров.

Симонов ушел.

Дня через два на главной улице маленького уездного городка произошли два события: во-первых, четверней на почтовых пронеслась карета Мари; Мари сидела в ней, несмотря на присутствие горничной, вся заплаканная; Женя тоже был заплакан: ему грустней всего было расстаться с Симоновым; а второе — то, что к зданию присутственных мест два нарядные мужика подвели нарядного Ивана.

Он был заметно выпивши и с сильно перекошенным лицом. Они все трое прямо полезли было на лестницу, но солдат их остановил.

— Погодите, вызовут, не ваша еще череда.

Мужики и Иван остановились на крыльце; наконец, с лестницы сбежал голый человек. «Не приняли! Не приняли!» — кричал он, прихлопывая себя, и в таком виде хотел было даже выбежать на улицу, но тот же солдат его опять остановил.

— Дьявол этакой, оденься, прежде чем бежать-то!— сказал он.

Парень проворно надернул на себя штанишки, рубашку и, все-таки не надев кафтана и захватив его только в руки, побежал на улицу.

— Хлопкова!— раздался голос сверху.

Иван вздрогнул. Это была его фамилия, и его вызывали.

Нарядные мужики ввели его в сени и стали раздевать его. Иван дрожал всем телом. Когда его совсем раздели, то повели вверх по лестнице; Иван продолжал дрожать. Его ввели, наконец, и в присутствие. Председатель стал опрашивать; у Ивана стучали зубы,— он не в состоянии даже был отвечать на вопросы. Доктор осмотрел его всего, потрепал по спине, по животу.

— Этот малый славный!— сказал он.

Иван только дико посмотрел на него.

Его подвели под мерку.

— Четыре и три четверти!— дискантом произнес стоявший у меры солдат.

— Лоб!— крикнул председатель.

— Лоб!— крикнул за ним и солдат — и почти выпихнул Ивана в соседнюю комнату. Там дали ему надеть только рубашку и мгновенно остригли под гребенку.

— Желаем службы благополучной и здоровья!— сказал ему цирюльник, тоже солдат.

Иван продолжал дико смотреть на него; затем его снова выпустили в сени и там надели на него остальное платье; он вышел на улицу и сел на тумбу. К нему подошли его хозяева, за которых он шел в рекруты.

— Благодарим покорно-с!— говорили они, неуклюже протягивая к нему руки для пожатия.

— Ничего-с!..— отвечал им что-то и Иван.

Страх отнял у него и последнее сознание; он, по-видимому, никак не ожидал, чтобы его забрили.

X

ГУМАННЫЙ ГУБЕРНАТОР

Часов в десять утра к тому же самому постоялому двору, к которому Вихров некогда подвезен был на фельдъегерской тележке, он в настоящее время подъехал в своей коляске четверней. Молодой лакей его Михайло, бывший некогда комнатный мальчик, а теперь малый лет восемнадцати, франтовато одетый, сидел рядом с ним. Полагая, что все злокачества Ивана произошли оттого, что он был крепостной, Вихров отпустил Михайлу на волю (он был родной брат Груши) и теперь держал его как нанятого.

Когда въехали на двор под ворота, Михайло проворно выскочил из экипажа, сбегал наверх, отыскал там номер и пригласил барина.

Вихров вошел; оказалось, что это был тот самый номер, в котором он в первый приезд свой останавливался.

Вихров послал в ту же самую цирюльню за цирюльником для себя, и тот же самый цирюльник пришел к нему (в провинции редко и нескоро меняются все публичные предметы). Вихров и на этот раз заговорил с цирюльником о губернаторе.

— Ну, а нынешний губернатор каков? — спросил он.

— Генерал обходительный, очень даже! — отвечал цирюльник (он против прежнего модней еще, кажется, стал говорить).

— А где же прежний?

— В Москве он жил.

— А дама его сердца?

— Попервоначалу она тоже с ним уехала; но, видно, без губернаторства-то денег у него немножко в умалении сделалось, она из-за него другого стала иметь. Это его очень тронуло, и один раз так, говорят, этим огорчился, что крикнул на нее за то, упал и мертв очутился; но и ей тоже не дал бог за то долгого веку: другой-то этот самый ее бросил, она — третьего, четвертого, и при таком пути своей жизни будет ли прок,— померла, говорят, тоже нынешней весной!

«Сколько из тех людей,— невольно подумалось Вихрову,— которых он за какие-нибудь три — четыре года знал молодыми, цветущими, здоровыми, теперь лежало в могилах!»

При этой мысли он взглянул и на себя в зеркало: голова его была седа, лицо испещрено морщинами; на лбу выступили желчные пятна, точно лет двадцать или тридцать прошло с тех пор, как он приехал в этот город, в первый раз еще в жизни столь сильно потрясенный.

— А где Захаревские? — спросил он в заключение цирюльника.

— Старший-то в Петербурге остался,— большое место там получил; а младший где-то около Варшавской железной дороги завод, что ли, какой-то завел!.. Сильно, говорят, богатеет — и в здешних-то местах сколько ведь он тоже денег наприобрел — ужасно много!

Вихров, по старому знакомству, дал цирюльнику на чай три рубля серебром, чем тот оставшись крайне доволен, самомоднейшим образом раскланялся с ним и ушел.

Герой мой оделся и поехал к губернатору.

Каждая улица, каждый переулок, каждая тумба, мимо которых он проезжал, были до гадости ему знакомы; но вот завиднелось вдали и крыльцо губернаторского дома, выкрашенное краской под шатер.

Сколько раз и с каким тяжелым чувством подъезжал Вихров к этому крыльцу, да и он ли один; я думаю, все чиновники и все обыватели то же самое чувствовали! Ему ужасно захотелось поскорей увидать, как себя Абреев держал на этом посту.

В передней, из которой шла парадная лестница, он не увидел ни жандарма, ни полицейского солдата, а его встретил благообразный швейцар; лестница вся уставлена была цветами.

— Сергей Григорьич принимает? — спросил Вихров.

— Принимает-с! Пожалуйте вверх,— отвечал каким-то необыкновенно ласковым голосом швейцар: ему вряд ли не приказано было как можно вежливей принимать посетителей.

Вихров пошел и в той зале, где некогда репетировался «Гамлет», он тоже не увидал ни адъютанта, ни чиновника, а только стояли два лакея в черных фраках, и на вопрос Вихрова: дома ли губернатор? — они указали ему на совершенно отворенный кабинет.

Вихров вошел и увидел, что Абреев (по-прежнему очень красивый из себя) разговаривал с сидевшей против него на стуле бедно одетой дамой-старушкой.

— А, Павел Михайлович! — воскликнул он, увидев Вихрова.— Как я рад вас видеть; но только две — три минуты терпенья, кончу вот с этой госпожой...

Вихров нарочно отошел в самый дальний угол.

— Ваше превосходительство,— говорила старушка,— мне никакого сладу с ним нет! Прямо без стыда требует: «Отдайте, говорит, маменька, мне состояние ваше!» — «Ну, я говорю, если ты промотаешь его?» — «А вам, говорит, что за дело? Состояние у всех должно быть общее!» Ну, дам ли я, батюшка, состояние мое, целым веком нажитое,— мотать!

Абреев усмехнулся на это.

— Что ж я для вас в этом случае могу сделать? — спросил он.

— Да вы, батюшка, вызовите его к себе,— продолжала старушка,— и пугните его хорошенько... «Я, мол, тебя в острог посажу за то, что ты матери не почитаешь!..»

— Никакого права не имею даже вызвать его к себе! Вам гораздо бы лучше было обратиться к какому-нибудь другу вашего дома или, наконец, к предводителю дворянства, которые бы внушили ему более честные правила, а никак уж не ко мне, представителю только полицейско-хозяйственной власти в губернии! — говорил Абреев; он, видимо, наследовал от матери сильную наклонность выражаться несколько свысока.

— Ваше превосходительство, в ком же нам и защиты искать! — возражала старушка.— Я вон тоже с покойным моим мужем неудовольствия имела (пил он очень и буен в этом виде был), сколько раз к Ивану Алексеичу обращалась; он его иногда по неделе, по две в частном доме держал.

Абреев опять пожал плечами.

— То было, сударыня, одно время, а теперь другое! — произнес он.

— Времена, ваше превосходительство, все одни и те же... Я, конечно что, как мать, не хотела было и говорить вам: он при мне, при сестрах своих кричит, что бога нет!

— И в этом случае вините себя: зачем вы его так воспитали.

— Что же я его воспитала: я его в гимназии держала до пятого класса, а тут сам же не захотел учиться; стал себя считать умней всех.

— Попросите теперь священника, духовника вашего, чтобы он направил его на более прямой путь.

— Послушает ли уж он священника,— возразила с горькою усмешкою старушка,— коли начальство настоящее ничего не хочет с ним делать, что же может сделать с ним священник?

Абреев и на это только усмехнулся и молчал; молчала также некоторое время и старушка, заметно недовольная им.

— Извините, что обеспокоила вас,— произнесла она, наконец, привставая.

— Извиняюсь и я, что ничем не в состоянии помочь вам,— отвечал ей Абреев, вежливо раскланиваясь.

Старушка ушла.

Сергей Григорьич сейчас же обратился к Вихрову.

— Я надеюсь, что вы приехали разделить со мной тяжелое бремя службы,— сказал он.

— Нет, Сергей Григорьич,— возразил Вихров,— я просто приехал повидаться с вами и пожить здесь некоторое время.

— А, это еще любезнее с вашей стороны,— подхватил Абреев, крепко и дружески пожимая его руку.

В это время в кабинет вошел молодой человек и не очень, как видно, умный из лица, в пиджаке, с усами и бородой.

— Сергей Григорьич,— сказал он совершенно фамильярно Абрееву,— у вас тут осталось предписание министра?

— Нет,— отвечал Абреев.

— Да как же нет, оно у вас на столе должно быть,— продолжал молодой человек и начал без всякой церемонии рыться на губернаторском столе, однако бумаги он не нашел.— В канцелярии она, вероятно,— заключил он и ушел.

Вихров в эти минуты невольно припомнил свое служебное время и свои отношения к начальству, и в душе похвалил Абреева.

— Это, вероятно, ваш правитель канцелярии? — спросил он.

— Да,— отвечал тот,— когда меня назначили сюда, я не хотел брать какого-нибудь старого дельца, а именно хотел иметь около себя человека молодого, честного, симпатизирующего всем этим новым идеям, особенно ввиду освобождения крестьян.

— А уж есть об этом мысль?

— Больше, чем мысль; комиссия особая на днях об этом откроется!

— То-то мою повесть из крестьянского быта пропустили,— проговорил Вихров.

— Читал я ее; прекрасная вещь, прекрасная! — сказал Абреев.

На эти слова его один из лакеев вошел и доложил:

— Преосвященнейший владыко приехал!

— Проси в гостиную! — проговорил торопливо Абреев.— Pardon! — обратился он к Вихрову и вслед за тем

сейчас же прибавил: — Надеюсь, что вы сегодня приедете ко мне обедать?

— Очень рад! — отвечал Вихров.

Они расстались. Проходя зало, Вихров увидел входящего архиерея. Запах духов чувствительно раздался за ним.

Вихров уехал в свой номер.

Обеденное общество Абреева собралось часам к пяти и сидело в гостиной; черноглазая и чернобровая супруга его заметно пополнела и, кажется, немножко поумнела; она разговаривала с Вихровым.

— Вы из Петербурга теперь? — спрашивала она его своим мятым языком.

— Нет, из деревни,— отвечал Вихров.

— Что̀ же, вы в деревне и живете?

— Да, жил.

— А теперь где же будете жить? — продолжала хозяйка.

— Теперь, вероятно, буду жить в Петербурге,— отвечал Вихров, решительно недоумевавший, зачем это ей так подробно нужно знать, а между тем он невольно прислушивался к довольно оживленному разговору, который происходил между Абреевым и его правителем канцелярии.

— Тут-с дело не в справедливости,— толковал с важностью молодой человек,— а в принципе.

Фигура Абреева выражала вся как бы недоумение.

— Каким же образом писать это в донесении, когда все факты говорят противное? — произнес он.

— Факты представляют временную, случайную справедливость, а принцип есть представитель вечной и высшей справедливости,— возражал ему правитель канцелярии.

Абреев все-таки, как видно, недоумевал.

— Поставьте вопрос так-с! — продолжал правитель канцелярии и затем начал уж что-то такое тише говорить, так что Вихров расслушать даже не мог, тем более, что из залы послышались ему как бы знакомые сильные шаги.

Вихров с любопытством взглянул на дверь, и это, в самом деле, входил Петр Петрович Кнопов, а за ним следовал самолюбивый Дмитрий Дмитрич, бывший совестный судья, а ныне председатель палаты.

Абреев нарочно пригласил их, как приятелей Вихрова.

— Знакомить, кажется, нечего! — сказал он всем с улыбкою.

— Знаем-с друг друга, знаем-с,— подхватил Кнопов, целуясь с Вихровым.

Председатель тоже с ним расцеловался.

— Что, батюшка, друг мой милый,— продолжал Петр Петрович плачевным голосом,— нянюшка-то твоя умерла, застрелил, говорят, ее какой-то негодяй?

Вихрова эти слова рассердили.

— Такими вещами не шутят! — проговорил он.

— Не шучу, а пла́чу, уверяю тебя! — произнес Петр Петрович и обратился уже к губернаторше.

— Никак, ваше превосходительство, не могу я здесь найти этого прекрасного плода, который ел в детстве и который, кажется, называется *кишмиш* или *мишмиш?*

— Ах, это нам из Астрахани возили с шепталой,— подхватила с видимым удовольствием хозяйка.

— Ваше превосходительство,— отнесся Кнопов уже к самому Абрееву,— по случаю приезда моего друга Павла Михайловича Вихрова, который, вероятно, едет в Петербург, я привез три карикатуры, которые и попрошу его взять с собой и отпечатать там.

— Какие же это? — спросил Абреев, подходя к столу, около которого уселся Петр Петрович.

К тому же столу подошли председатель, Вихров и молодой правитель канцелярии. Кнопов вынул из кармана бережно сложенные три рисунка.

— Первая из них,— начал он всхлипывающим голосом и утирая кулаком будто бы слезы,— посвящена памяти моего благодетеля Ивана Алексеевича Мохова; вот нарисована его могила, а рядом с ней и могила madame Пиколовой. Петька Пиколов, супруг ее (он теперь, каналья, без просыпу день и ночь пьет), стоит над этими могилами пьяный, плачет и говорит к могиле жены: «Ты для меня трудилась на *поле чести!..*» — «А ты,— к могиле Ивана Алексеевича,— на *поле труда и пота!*»

— Я не понимаю этого,— сказала хозяйка, раскрывая на него свои большие черные глаза,— что̀ такое на *поле чести?*

— Честно уж очень она трудилась для него и деньги выработывала,— отвечал Кнопов.

— Не понимаю,— повторила хозяйка.— Ну, а это что̀ же опять, *на поле труда и пота?* — продолжала она.

— Ведь трудно, знаете, в некоторые лета трудиться,— объяснил ей Кнопов.

— Не понимаю! — произнесла еще раз губернаторша.

— Ну, и не трудитесь все понимать,— перебил ее муж.— Вторая карикатура...

— Вторая карикатура на друга моего Митрия Митрича,— отвечал Кнопов,— это вот он хватает за фалду пассажира и тащит его на пароход той компании, которой акции у него, а то так-то никто не ездит на их пароходах.

— Тебе хорошо смеяться! — произнес со вздохом председатель.

— Наконец, третья карикатура, собственно, на вас, ваше превосходительство! — воскликнул Кнопов.

— Покажите! — сказал Абреев, а сам, впрочем, немножко покраснел.

— Это вот, изволите видеть, вы!.. Похожи?

— Похож!

— А перед вами пьяный и растерзанный городовой; вы стоите от него отвернувшись и говорите: «Мой милый друг, застегнись, пожалуйста, а то мне, как начальнику, неловко тебя видеть в этом виде» — и все эти три карикатуры будут названы: *свобода нравов.*

— Такою карикатурою, какую вы нарисовали на Сергея Григорьича,— вмешался в разговор правитель канцелярии,— каждый скорее может гордиться; это не то, что если бы представить кого-нибудь, что он бьет своего подчиненного.

— Да ведь это смотря по вкусу,— отвечал ему Петр Петрович,— кто любит сам бить, тот бы этим обиделся; а кто любит, чтобы его били, тот этим возгордится.

— Эх, mon cher, mon cher! — воскликнул со вздохом и ударив Кнопова по плечу губернатор.— На всех не угодишь! Пойдемте лучше обедать! — заключил он, и все за ним пошли.

Обед был прекрасно сервирован и прекрасно приготовлен. Несколько выпитых стаканов вина заметно одушевили хозяина. Когда встали из-за стола и все мужчины перешли в его кабинет пить кофе и курить, он разлегся красивым станом своим на диване.

— Удивительное дело! — начал он с заметною горечью.— Ума, кажется, достаточно у меня, чтобы занимать мою должность; взяток я не беру, любовницы у меня нет; а между тем я очень хорошо вижу, что в обществе

образованном и необразованном меня не любят! Вон Петр Петрович, как умный человек, скорее попал на мою слабую сторону: я действительно слаб слишком, слишком мягок; а другим я все-таки кажусь тираном: я требую, чтобы вносили недоимки — я тиран! Чтобы не закрывали смертоубийств — я тиран! Я требую, чтобы хоть на главных-то улицах здешнего города было чисто — я тиран.

— Этим вы не за себя наказуетесь! В обществе ненависть к администраторам — историческая, за разных прежних воевод и наместников! — сказал как бы в утешение Абрееву его юный правитель канцелярии.

— Не знаю, это так ли-с! — начал говорить Вихров (ему очень уж противна показалась эта битая и избитая фраза молодого правителя канцелярии, которую он, однако, произнес таким вещим голосом, как бы сам только вчера открыл это),— и вряд ли те воеводы и наместники были так дурны. Я, когда вышел из университета, то много занимался русской историей, и меня всегда и больше всего поражала эпоха междуцарствия: страшная пора — Москва без царя, неприятель и неприятель всякий,— поляки, украинцы и даже черкесы,— в самом центре государства; Москва приказывает, грозит, молит к Казани, к Вологде, к Новгороду,— отовсюду молчание, и потом вдруг, как бы мгновенно, пробудилось сознание опасности; все разом встало, сплотилось, в год какой-нибудь вышвырнули неприятеля; и покуда, заметьте, шла вся эта неурядица, самым правильным образом происходил суд, собирались подати, формировались новые рати, и вряд ли это не народная наша черта: мы не любим приказаний; нам не по сердцу чересчур бдительная опека правительства; отпусти нас посвободнее, может быть, мы и сами пойдем по тому же пути, который нам указывают; но если же заставят нас идти, то непременно возопием; оттуда же, мне кажется, происходит и ненависть ко всякого рода воеводам.

Речь эта Вихрова почему-то ужасно понравилась правителю канцелярии.

— Я с вами совершенно согласен, совершенно! — подхватил он.

— А я так ничего и не понял, что он говорил! — сказал Петр Петрович, осмотрев всех присутствующих насмешливым взглядом.— Ты, Митрий Митрич, понял? — спросил он председателя.

— Отчего же не понять! — отвечал тот, немного, впрочем, сконфузясь.

— Врешь, не понял,— подхватил Кнопов.

— Понять очень просто, что русский человек к порядку не склонен и не любит его,— пояснил Абреев.

— Нет-с, это не то, что нелюбовь к порядку, а скорей — стремление к децентрализации! — объявил ему опять его юный правитель.

Вихров между тем, утомленный с дороги, стал раскланиваться. Абреев упросил его непременно приехать вечером в театр; Петр Петрович тоже обещался туда прибыть, председатель тоже. Молодой правитель канцелярии пошел провожать Вихрова до передней.

— Я всегда был ваш читатель,— сказал он, пожимая ему руку,— и, конечно, во многом с вами не согласен, но все-таки не могу вам не передать моего уважения.

Герой мой около этого времени напечатал еще несколько своих новых вещей.

— И вот ваше мнение, которое вы сейчас высказали, показывает, что вы славянофил,— продолжал молодой человек.

— Может быть, и славянофил! — отвечал ему Вихров.

Он очень уж хорошо видел, что молодой человек принадлежал к разряду тех маленьких людишек, которые с ног до головы начинены разного рода журнальными и газетными фразами и сентенциями и которыми они необыкновенно спешат поделиться с каждым встречным и поперечным, дабы показать, что и они тоже умные и образованные люди.

— Это единственная из всех старых русских литературных партий, которую я уважаю! — заключил с важностью молодой человек.

«Очень нужно этим партиям твое уважение и неуважение!» — подумал Вихров и поспешил уехать.

XI

СКОРБИ ГУМАННОГО ГУБЕРНАТОРА

Едучи в театр, Вихров вспомнил, что у него в этом городе еще есть приятель — Кергель, а потому, войдя в губернаторскую ложу, где застал Абреева и его супругу, он первое же слово спросил его:

— А что, скажите, где Кергель?

— А вот он,— отвечал Абреев, показывая головой на стоявшего в первом ряду кресел военного.

— Вы его в военного преобразили?..— спросил Вихров.

— Да, непременно просил: «В полувоенной форме меня, говорит, подчиненные будут менее слушаться!» А главное, я думаю, чтобы больше нравиться женщинам.

— А он этим занимается до сих пор?

— Только этим и занимается, больше ничем — решительно *Сердечкин*. Теперь вот влюблен в эту молоденькую актрису и целые дни сидит у нее, пишет ей стихи! Вы хотите его видеть?

— Очень!

Абреев позвал лакея и велел тому пригласить к нему полицеймейстера. Услыхав зов губернатора, Кергель сейчас же побежал и молодецки влетел в ложу; но, увидев перед собою Вихрова, весь исполнился удивления.

— Какими судьбами! — воскликнул он и начал Вихрова целовать так громко, что губернаторша даже обернулась.

Кергель сейчас же отдал ей глубокий поклон. Он и за ней был бы не прочь приволокнуться, но боялся губернатора.

— А вы все пожираете глазами madame Соколову (фамилия актрисы)? — спросил его Абреев.

— По обязанности службы я надо всем должен наблюдать,— отвечал Кергель.

— Вы скорее во вред вашей службе очень уж усердно наблюдаете за госпожою Соколовой.

— Нельзя же, она девушка молодая, одинокая, приехала в незнакомый город! Нельзя же не оберегать ее,— отшучивался Кергель.

Кергель, изъявивши еще раз свой восторг Вихрову, что встретился с ним, снова спешил уйти вниз, чтобы быть ближе к предмету страсти своей.

— Да посидите тут,— сказал было ему Абреев.

— Нет уж, позвольте мне туда,— сказал Кергель и мгновенно исчез.

— Попробовал бы с Иваном Алексеевичем полицеймейстер так пошутить!..— невольно вырвалось у Вихрова.

— Но и я скоро буду делать ему замечания; невоз-

можно в такие лета так дурачиться,— произнес как бы и сердитым голосом Абреев.

На сцене между тем, по случаю приезда петербургского артиста, давали пьесу «Свои люди сочтемся!». Петербургский артист играл в этой пьесе главную роль Подхалюзина. Бездарнее и отвратительнее сыграть эту роль было невозможно, хотя артист и старался говорить некоторые характерные фразы громко, держал известным образом по-купечески большой палец на руке, ударял себя при патетических восклицаниях в грудь и прикладывал в чувствительных местах руку к виску; но все это выходило только кривляканьем, и кривляканьем самой грубой и неподвижной натуры, так что артист, видимо, родился таскать кули с мукою, но никак уж не на театре играть.

Вихров видеть его не мог.

— Как он ужасно играет! — говорил он, невольно отворачиваясь от сцены.

— Он мало что актер скверный,— сказал Абреев,— но как и человек, должно быть, наглый. На днях явился ко мне, привез мне кучу билетов на свой бенефис и требует, чтобы я раздавал их. Я отвечал ему, что не имею на это ни времени, ни желания. Тогда он, пользуясь слабостью Кергеля к mademoiselle Соколовой, навалил на него эти билеты,— ужасный господин.

Вихров между тем с грустью смотрел на сцену. Там каждый актер и каждая актриса только и хлопотали о том, чтобы как-нибудь сказать поестественнее, даже писать и есть они старались так же продолжительно, как продолжительно это делается в действительной жизни,— никому и в голову не приходило, что у сцены есть точно действительность, только своя, особенная, одной ей принадлежащая. Вместо прежнего разделения актеров на злодеев, на первых трагиков, первых комиков, разделения все-таки более серьезного, потому что оно основывалось на психической стороне человека,— вся труппа теперь составлялась так: я играю купцов, он мужиков, третий бар, а что добрые ли это люди, злые ли, дурные, никто об этом думушки не думал. Вихров очень хорошо видел в этом направлении, что скоро и очень скоро театр сделается одною пустою и даже не совсем веселою забавой и совершенно перестанет быть тем нравственным и умственным образователем, каким он был в святые времена Мочалова, Щепкина и даже Каратыгина, потому что те стремились выра-

зить перед зрителем человека, а не сословие и не только что смешили, но и плакать заставляли зрителя!

Возвратившись из театра в свой неприглядный номер, герой мой предался самым грустным мыслям; между ним и Мари было условлено, что он первоначально спросит ее письмом, когда ему можно будет приехать в Петербург, и она ему ответит, и что еще ответит... так что в этой переписке, по крайней мере, с месяц пройдет; но чем же занять себя в это время? С теперешним обществом города он совершенно не был знаком. Из старых же знакомых Кнопов, со своим ничего не разбирающим зубоскальством, показался ему на этот раз противен, Кергель крайне пошл, а сам Абреев несколько скучноват; и седовласый герой мой, раздумав обо всем этом, невольно склонил голову на руки и начал потихоньку плакать. При таком душевном настроении он, разумеется, не спал всю ночь, и только было часам к девяти, страшно утомленный, он начал забываться, как вдруг услышал женский голос:

— Ничего, я подожду, посижу тут! — говорила какая-то дама его Михайлу.

Вихров, к ужасу своему, и сквозь сон еще сознал, что это был голос г-жи Огаркиной, супруги станового.

«Зачем это она пришла ко мне?» — думал он, желая в это время куда-нибудь провалиться. Первое его намерение было продолжать спать; но это оказалось совершенно невозможным, потому что становиха, усевшись в соседней комнате на диване, начала беспрестанно ворочаться, пыхтеть, кашлять, так что он, наконец, не вытерпел и, наскоро одевшись, вышел к ней из спальни; лицо у него было страшно сердитое, но становиха этим, кажется, нисколько не смутилась.

— Что, батюшка, больно долго спишь? — спросила она его самым фамильярным голосом.

— Ах, это вы! Что вам угодно от меня? — спросил ее, в свою очередь, сколько возможно сухо, Вихров.

— Что угодно? Повидаться с тобой пришла. Что, надолго ли сюда приехал?

— Завтра еду,— отвечал Вихров и дал себе клятву строжайшим образом приказать Михайле ни под каким видом не принимать г-жи Огаркиной.

— Ну, если завтра, так это еще ничего. Я бы и не знала, да сынишко у меня гимназист был в театре и говорит мне: «В театре, говорит, маменька, был сочинитель

Вихров и в ложе сидел у губернатора!» Ах, думаю, сокол ясный, опять к нам прилетел, сегодня пошла да и отыскала.

Вихров на все это молчал.

— Губернатор-то, видно, знакомый тебе, приятель, что ли? — продолжала становая расспрашивать.

— Знакомый,— отвечал Вихров угрюмо.

— Ну, так вот что, он вытурил мужа моего вон. Попроси, чтобы он опять взял его на службу.

— Никакого права я не имею просить его ни о ком и ни о чем,— отвечал Вихров.

— Да полно! Что за пустяки, никакого права не имею! Что у тебя язык отломится от слова-то, что ли?.. Неужели и в самотко не попросишь?

— И в самом деле не попрошу.

— За это тебе бог самому счастья-то не даст в жизни; смотри-ка, какой старый-престарый стал.

Вихров молчал.

— Нам с мужем пить-есть нечего,— без шуток! — продолжала становая, думая этим его разжалобить.

Но Вихров продолжал молчать.

— Что он других-то становых терпит? Разве они лучше мужа-то моего? Попроси, сделай милость, душенька!

— Не стану я просить, отвяжитесь вы от меня! — крикнул, наконец, Вихров, окончательно выведенный из себя.

— Ну, паря, люди ныне стали,— продолжала становая, но уходить, кажется, все-таки не думала.

— Михайло,— крикнул Вихров,— дай мне шубу и палку, я сейчас пойду.

— Куда же это идешь? — спросила становая, несколько уже и сконфуженная таким оборотом дела.

— Куда нужно,— отвечал тот, проворно надевая шинель и уходя из своего номера.

— Так не скажешь губернатору? — крикнула ему вслед становиха.

— Нет, не скажу! — отвечал Вихров, садясь на первого попавшегося извозчика, и велел себя везти, куда только он хочет.

— Тьфу, окаянный человек! — проговорила становиха и пошла, как бы несолоно хлебав, по тротуару.

К вечеру, впрочем, в герое моем поутихла злоба про-

тив нее, так что он, приехав к Абрееву, рассказал тому в комическом виде всю эту сцену и даже прибавил:

— Действительно, я думаю, другие становые не лучше же его!

— Во-первых, все-таки получше, а во-вторых, супруг таких не имеют, так что они в стану вдвоем управляли и грабили!

Вихров ничего не нашелся возражать против этого. Абреев потом, как бы вспомнив что-то такое, прибавил:

— Ко мне сейчас почтмейстер заезжал и привез письмо на ваше имя, которое прислано до востребования; а потом ему писало из Петербурга начальство его, чтобы он вручил его вам тотчас, как вы явитесь в город.

Вихров догадался, что письмо это было от Мари; он дрожащими руками принял его от Абреева и поспешно распечатал его. Мари писала ему:

«Мой дорогой друг! Я выдержала первую сцену свидания с известным тебе лицом — ничего, выучилась притворяться и дольше быть и не видеть тебя не могу. Приезжай сейчас; а там, что будет, то будет.

Твоя Мари».

— Вероятно, приятное письмо? — спросил Абреев, видя, что лицо Вихрова заблистало восторгом.

— Очень! Завтра я еду в Петербург.

— Зачем же так скоро? Погостите еще у нас.

— Нет, мне нужно получить там довольно значительные деньги и сделать некоторые распоряжения по своему имению,— болтал что-то такое Вихров, почти обезумевший от радости.

Ему казалось, что все страдания его в жизни кончились и впереди предстояла только блаженная жизнь около Мари. Он нарочно просидел целый вечер у Абреева, чтобы хоть немного отвлечь себя от переживаемой им радости. Абреев, напротив, был если не грустен, то серьезен и чем-то недоволен.

— Завидую вам, что вы едете в Петербург,— проговорил он.

— Что же, надоела, видно, провинциальная жизнь? — спросил Вихров.

— Не то что жизнь провинциальная, но эта служба проклятая,— какое обстоятельство у меня вышло: этот вот мой правитель канцелярии, как сами вы, конечно, за-

метили, человек умный и образованный, но он писать совсем не умеет; пустой бумажонки написать не может.

— Он не привык еще, вероятно, к тому.

— Нет, не то что не привык, а просто у него голова мутна: напичкает в бумагу и того и сего, а что сказать надобно, того не скажет, и при этом самолюбия громаднейшего; не только уж из своих подчиненных ни с кем не советуется, но даже когда я ему начну говорить, что это не так, он отвечает мне на это грубостями.

— Что же вам с ним церемониться, перемените его.

— Не могу я этого сделать,— отвечал Абреев,— потому что я все-таки взял его из Петербурга и завез сюда, а потом кем я заменю его? Прежних взяточников я брать не хочу, а молодежь,— вот видели у меня старушку, которая жаловалась мне, что сын ее только что не бьет ее и требует у ней состояния, говоря, что все имения должны быть общие: все они в таком же роде; но сами согласитесь, что с такими господами делать какое-нибудь серьезное дело — невозможно!

Вихров грустно усмехнулся.

— Удивительное дело, какой у нас все безобразный характер принимает,— проговорил он.

— Да, а в то же время,— подхватил Абреев,— мы имеем обыкновение повально обвинять во всем правительство; но что же это такое за абстрактное правительство, скажите, пожалуйста? Оно берет своих агентов из того общества, и если они являются в службе негодяями, лентяями, дураками, то они таковыми же были и в частной своей жизни, и поэтому обществу нечего кивать на Петра, надобно посмотреть на себя, каково оно! Я вот очень желаю иметь умного правителя канцелярии и распорядительного полицеймейстера, но где же я их возьму? В Петербурге нуждаются в людях, не то что в провинциях.

Вихров был почти согласен с Абреевым.

При прощании он просил его передать поклон Кнопову, председателю и Кергелю и извиниться перед ними, что он не успел у них быть.

— А желаете с женой проститься? — спросил его уже сам Абреев.

— О, непременно! — воскликнул Вихров, совершенно и забывший о существовании m-me Абреевой.

Абреев провел его на половину своей супруги.

— Что прикажете сказать от вас Петербургу? Не ску-

чаете ли вы? — спросил Вихров губернаторшу, чтобы что-нибудь ей сказать.

— Нет, не скучаю! Кланяйтесь от меня Петербургу,— как-то простонала она.

— Она везде жить может! — подхватил Абреев, и горькая усмешка как бы невольно промелькнула на его красивом лице.

XII

ГЕНЕРАЛ ЭЙСМОНД

Вихров, по приезде своем в Петербург, сейчас же написал Мари письмо и спрашивал ее, когда он может быть у них. Мари на это отвечала, что она и муж ее очень рады его видеть и просят его приехать к ним в тот же день часам к девяти вечера, тем более, что у них соберутся кое-кто из их знакомых, весьма интересующиеся с ним познакомиться. Из слов Мари, что она и муж ее очень рады будут его видеть, Вихров понял, что с этой стороны все обстояло благополучно; но какие это были знакомые их, которые интересовались с ним познакомиться, этой фразы он решительно не понял! Надобно сказать, что Эйсмонд так же, как некогда на Кавказе, заслужил и в Севастополе имя храбрейшего генерала; больной и израненный, он почти первый из севастопольских героев возвратился в Петербург. Общество приняло его с энтузиазмом: ему давали обеды, говорили спичи; назначен он был на покойное и почетное место, получил большую аренду. Все это сильно утешало генерала. Он нанял, как сам выражался, со своей Машурочкою, отличную квартиру на Английской набережной и установил у себя jours fixes [1]. Вечер, на который они приглашали Вихрова, был именно их установленным вечером. Когда тот приехал к ним, то застал у них несколько военных в мундирах и несколько штатских в черных фраках и в безукоризненном белье. Все они стояли кучками и, с явным уважением к дому, потихоньку разговаривали между собой. В гостиной Вихров, наконец, увидел небольшую, но довольно толстенькую фигуру самого генерала, который сидел на покойных, мягких креслах, в расстегнутом вицмундире, без всяких орденов, с одним только на шее

[1] приемные дни для гостей *(франц.)*.

Георгием за храбрость. Рукав на правой руке у него был разрезан и связан ленточками. Узнав Вихрова, Эйсмонд радостно воскликнул:

— А, мой милейший родственничек, здравствуйте!

Мари только последнее время довольно ясно объяснила ему, что Вихров им родственник, и даже очень близкий,— по Есперу Иванычу.

— Супруга моя целый месяц у вас прогостила!— продолжал генерал.

— Д-да!— протянул Вихров.

Мари прогостила у него два с половиною месяца; но генералу, видно, было сказано, что только месяц.

Вслед за тем вбежал Женичка и бросился обнимать Вихрова.

— Здоров ли, дядя, Симонов?— спросил он прежде всего.

— Здоров,— отвечал ему тот.

Мари, тоже вышедшая в это время из задних комнат, увидав Вихрова, вскрикнула даже немного, как бы вовсе не ожидая его встретить.

— Ах, Поль! Это ты! Здравствуй! — говорила она и, видимо, старалась, по своей прежней манере, относиться к нему, как к очень еще молодому человеку, почти что мальчику; но сама вместе с тем была пресконфуженная и пресмешная.

Вихров уселся около генерала, а Женичка встал около дяди и даже обнял было его, но Евгений Петрович почему-то не позволил ему тут оставаться.

— Нечего тебе здесь делать, ступай, ступай!— проговорил он ему.

— Но, папа, я хочу тут быть!— сказал ребенок капризно.

— После тут побудешь, ступай!— повторил отец уже строго.

Женичка нехотя отошел от них.

Евгений Петрович сейчас же обратился к Вихрову, и обратился с каким-то таинственным видом:

— Жена мне сказывала, что вы были тяжко больны!

— Очень!— отвечал тот, не догадываясь еще, к чему может клониться подобный разговор.

— И по лицу видно: ужасно похудели и постарели,— продолжал генерал с участием.

— Я и до сих пор еще нехорошо себя чувствую,— отвечал Вихров.

— Что мудреного, что мудреного,— произнес генерал и впал в какое-то раздумье.

— А вы сильно были ранены?— спросил его Вихров после некоторого молчания.

Генерал усмехнулся.

— Три раза, канальи, задевали, сначала в ногу, потом руку вот очень сильно раздробило, наконец, в животе пуля была; к тяжелораненым причислен, по первому разряду, и если бы не эта девица Прыхина, знакомая ваша, пожалуй бы, и жив не остался: день и ночь сторожила около меня!.. Дай ей бог царство небесное!.. Всегда буду поминать ее.

— А разве она померла?..— воскликнул Вихров.

— Как же-с!.. Геройского духу была девица!.. И нас ведь, знаете, не столько огнем и мечом морили, сколько тифом; такое прекрасное было содержание и помещение... ну, и другие сестры милосердия не очень охотились в тифозные солдатские палатки; она первая вызвалась: «Буду, говорит, служить русскому солдату»,— и в три дня, после того как пить дала, заразилась и жизнь покончила!..

Вихров слушал генерала, потупив голову.

— Жена мне еще сказывала,— продолжал между тем Евгений Петрович, опять уж таинственно и даже наклонясь к уху Вихрова,— что вас главным образом потрясло нечаянное убийство одной близкой вам женщины?

— Д-да! — протянул опять Вихров.

— И что же, вы привязаны к ней были серьезно или только, знаете, это была одна шалость?— продолжал расспрашивать Эйсмонд.

— Нет, это была очень серьезная привязанность,— отвечал Вихров, поняв, наконец, зачем обо всем этом было сообщено генералу и в каком духе надобно было отвечать ему.

— Маша мне так и говорила; но ведь у вас, мне сказывали, тоже кой-какие отношения были и с госпожой Фатеевой?

— Это уж давно кончилось,— сказал Вихров.

— Так это, значит, потом?

— Потом,— отвечал Вихров.

— Я воображаю, как эта смерть, да еще нечаянная,

должна была вас поразить: эти раны, я так понимаю, потрудней залечиваются, чем вот этакие!

И генерал почти с презрением указал на свою раненую руку.

Вихров молчал; ему как-то уж сделалось совестно слушать простодушные и доверчивые речи воина.

В это время к ним подошла Мари с двумя молодыми людьми, из которых один был штатский, а другой военный.

— Вот monsieur Сивцов и monsieur Кругер желают с тобой познакомиться,— говорила она Вихрову, не глядя на него и показывая на стоявших за ней молодых людей, а сама по-прежнему была пресмешная.

— Ваши произведения делают такой фурор,— начал штатский молодой человек, носящий, кажется, фамилию Кругера.

— Я всегда не могу оторваться, когда начну читать какую-нибудь вашу вещь,— подхватил и военный — Сивцов.

Вихров, по наружности, слушал эти похвалы довольно равнодушно, но, в самом деле, они очень ему льстили, и он вошел в довольно подробный разговор с молодыми людьми, из которого узнал, что оба они были сами сочинители; штатский писал статьи из политической экономии, а военный — очерки последней турецкой войны, в которой он участвовал; по некоторым мыслям и по некоторым выражениям молодых людей, Вихров уже не сомневался, что оба они были самые невинные писатели; Мари между тем обратилась к мужу.

— Ты будешь сегодня в карты играть?— спросила она.

— Буду!— отвечал он.

— Господа, хотите играть в карты?— отнеслась Мари к двум пожилым генералам, начинавшим уж и позевывать от скуки; те, разумеется, изъявили величайшую готовность. Мари же сейчас всех их усадила: она, кажется, делала это, чтобы иметь возможность поговорить посвободней с Вихровым, но это ей не совсем удалось, потому что в зало вошел еще новый гость, довольно высокий, белокурый, с проседью мужчина, и со звездой.

Вихрова точно кольнуло что-то неприятное в сердце — это был Плавин. Он гордо раскланялся с некоторыми молодыми людьми и прямо подошел к хозяину.

— Вашему превосходительству мой поклон! — произнес он ему каким-то почти обязательным тоном.

— Очень рад вас видеть, очень рад!— произнес, в свою очередь, радушно Евгений Петрович, привставая немного и пожимая Плавину руку, который вслед за тем сейчас же заметил и Вихрова.

— Боже мой, кого я вижу! — произнес он, но тоже покровительственным тоном.— Выпустили, наконец, вас, освободили?

— Освободили,— отвечал ему насмешливо Вихров.

— Но что вы, однако, там делали?— продолжал Плавин.

— Служил, работал по службе.

— Работали?— переспросил Плавин, поднимая как бы в удивлении вверх свои брови.

— Работал!.. Наград вот только и звезд, как вы, никаких не получал,— отвечал Вихров.

— О, это очень естественно: мы люди земли, и нам нужны звезды земные, а вы, поэты, можете их срывать с неба!— произнес Плавин и затем, повернувшись на своих высоких каблуках, стал разговаривать с Мари.

— В пятницу-с я был в театре, прослушал божественную Бозио и думал вас там встретить,— начал он.

— Я почти не бываю в опере,— отвечала ему Мари довольно сухо.

— Если не для оперы, то, по крайней мере, для ваших знакомых вам бы следовало это делать, чтобы им доставить удовольствие иногда встречаться с вами! — проговорил Плавин.

— Я не имею таких знакомых,— сказала Мари.

— Как знать, как знать!..— произнес Плавин, ударяя себя шляпой по ноге.

Вихров очень хорошо видел, что бывший приятель его находился в каком-то чаду самодовольства,— но что ж могло ему внушить это? Неужели чин действительного статского советника и станиславская звезда?

— Чем этот господин так уж очень важничает?— не утерпел он и спросил Мари, когда они на несколько минут остались вдвоем.

— Ах, он теперь большой деятель по всем этим реформам,— отвечала она,— за самого передового человека считается; прямо министрам говорит: «Вы, ваше высокопревосходительство, я настолько вас уважаю, не позволите себе этого сделать!»

Вихров усмехнулся.

— Но он все-таки холоп в душе,— я ему никак не поверю в том!..— воскликнул он.— Потому что двадцать лет канцелярской службы не могут пройти для человека безнаказанно: они непременно приучат его мелко думать и не совсем благородно чувствовать.

— Еще бы!— подхватила и Мари.— Он просто, как умный человек, понял, что пришло время либеральничать, и либеральничает; не он тут один, а целая фаланга их: точно флюгера повертываются и становятся под ветер — гадко даже смотреть!

За ужином Плавин повел себя еще страннее: два пожилые генерала начали с Евгением Петровичем разговаривать о Севастополе. Плавин некоторое время прислушивался к ним.

— А что, ваше превосходительство, Кошка этот — очень храбрый матрос?— спросил он Эйсмонда как бы из любопытства, а в самом деле с явно насмешливою целью.

Евгений Петрович ничего этого, разумеется, не понял.

— Тут не один был Кошка,— отвечал он простодушно,— их, может быть, были сотни, тысячи!.. Что такое наши солдатики выделывали — уму невообразимо; иду я раз около траншеи и вижу, взвод идет с этим покойным моим капитаном с вылазки, слышу — кричит он: «Где Петров?.. Убит Петров?» Никто не знает; только вдруг минут через пять, как из-под земли, является Петров. «Где был?» — «Да я, говорит, ваше высокородие, на место вылазки бегал, трубку там обронил и забыл». А, как это вам покажется?

Старые генералы при этом только с удовольствием качнули друг другу головами и приятно улыбнулись.

— Храбрость, конечно, качество весьма почтенное!— опять вмешался в разговор Плавин.— Но почему же так уж и трусливость презирать; она так свойственна всем людям благоразумным и не сумасшедшим...

— Трусов за то презирают-с,— отвечал Эйсмонд с ударением,— что трус думает и заботится только об себе, а храбрый — о государе своем и об отечестве.

— Но неужели же, ваше превосходительство, вам самому никогда не случалось струсить?— возразил ему Плавин.

— Что вы называете трусить?— возразил ему, в свою очередь, Эйсмонд.— Если то, чтобы я избегал каких-нибудь опасных поручений, из страха не выполнял приказа-

ний начальства, отступал, когда можно еще было держаться против неприятеля,— в этом, видит бог и моя совесть, я никогда не был повинен; но что неприятно всегда бывало, особенно в этой проклятой севастопольской жарне: бомбы нижут вверх, словно ракеты на фейерверке, тут видишь кровь, там мозг человеческий, там стонут,— так не то что уж сам, а лошадь под тобой дрожит и прядает ушами, видевши и, может быть, понимая, что тут происходит.

— Ну, а что это,— начал опять Плавин,— за песня была в Севастополе сложена: «Как четвертого числа нас нелегкая несла горы занимать!»

Эйсмонд этими словами его уже и обиделся.

— Песни можно сочинять всякие-с!..— отвечал он ему с ударением.— А надобно самому тут быть и понюхать, чем пахнет. Бывало, в нас жарят, как в стадо баранов, загнанное в загородь, а нам и отвечать нечем, потому что у нас пороху зерна нет; тут не то что уж от картечи, а от одной злости умрешь.

Во всем этом разговоре Плавин казался Вихрову противен и омерзителен. «Только в век самых извращенных понятий,— думал почти с бешенством герой мой,— этот министерский выводок, этот фигляр новых идей смеет и может насмехаться над человеком, действительно послужившим своему отечеству». Когда Эйсмонд кончил говорить, он не вытерпел и произнес на весь стол громким голосом:

— Севастополь такое событие, какого мир еще не представлял: выдержать одиннадцать месяцев осады против нынешних орудий — это посерьезней будет, чем защита Сарагоссы, а между тем та мировой славой пользуется, и только тупое и желчное понимание вещей может комунибудь позволить об защитниках Севастополя отзываться не с благоговением.

Плавин, несмотря на все старания совладать с собой, вспыхнул при этих словах Вихрова.

— Вероятно, об них никто иначе и не отзывается!— произнес он.

— Я только того и желаю-с!— отвечал ему Вихров.— Потому что, как бы эти люди там ни действовали,— умно ли, глупо ли, но они действовали (никто у них не смеет отнять этого!)... действовали *храбро* и своими головами спасли наши потроха, а потому, когда они возвратились к

нам, еще пахнувшие порохом и с незасохшей кровью ран, в Москве прекрасно это поняли; там поклонялись им в ноги, а здесь, кажется, это не так!

— Точно так же и здесь!— сказал Плавин, придавая себе такой вид, что как будто бы он и не понимает, из-за чего Вихров так горячится.

— Очень рад, если так!— сказал тот, отворачиваясь от него.

— Не знаю-с!— вмешался в их разговор Евгений Петрович, благоговейно поднимая вверх свои глаза, уже наполнившиеся слезами.— Кланяться ли нам надо или даже ругнуть нас следует, но знаю только одно, что никто из нас, там бывших, ни жив остаться, ни домой вернуться не думал,— а потому никто никакой награды в жизни сей не ожидал, а если и чаял ее, так в будущей!..

В остальную часть ужина Плавин продолжал нагло и смело себя держать; но все-таки видно было, что слова Вихрова сильно его осадили. Очутившись с героем моим, когда встали из-за стола, несколько в отдалении от прочих, он не утерпел и сказал ему насмешливо:

— Вас провинция решительно перевоспитала; вы сделались каким-то патриотом.

— Я всегда им и был и не имею обыкновения по господствующим модам менять моих шкур,— отвечал ему грубо Вихров.

— А! А я вас совсем иным разумел!— протянул Плавин и потом, помолчав, прибавил: — Я надеюсь, что вы меня посетите?

— Если позволите,— отвечал Вихров, потупляя глаза; мысленно, в душе, он решился не быть у Плавина.

— Прошу вас!— повторил тот и, распростившись с хозяевами, сейчас же уехал.

Прочим всем гостям Плавин мотнул только головой.

Вихров и Мари, заметившие это, невольно пересмехнулись между собою. Они на этот раз остались только вдвоем в зале.

— Но когда мы, однако, увидимся с вами?— проговорил Вихров.

— В четверг... муж будет в совете и потом в клубе обедать... я буду целый день одна...— говорила Мари, как бы и не глядя на Вихрова и как бы говоря самую обыкновенную вещь.

Вслед за тем ее позвал муж. Она пошла к нему. Вихров стал прощаться с ними.

— Извольте к нам чаще ездить,— вот что-с!— сказал ему генерал и взял при этом руку жены и стал ее целовать.

Мари и Вихров оба вспыхнули, и герой мой в первый еще раз в жизни почувствовал, или даже понял возможность чувства ревности любимой женщины к мужу. Он поспешил уехать, но в воображении его ему невольно стали представляться сцены, возмущающие его до глубины души и унижающие женщину бог знает до чего, а между тем весьма возможные и почти неотклонимые для бедной жертвы!

XIII
ВЕЧЕР У ПЛАВИНА

Время шло быстро: известность героя моего, как писателя, с каждым днем росла все более и более, а вместе с тем увеличивалось к нему и внимание Плавина, с которым он иногда встречался у Эйсмондов; наконец однажды он отвел его даже в сторону.

— Послушайте, Вихров, что вы, сердитесь, что ли, на меня за что-нибудь?— спросил он его почти огорченным голосом.

— За что мне на вас сердиться?— возразил тот, конфузясь в свою очередь.

— Да как же, вы глаз не хотите ко мне показать,— приезжайте, пожалуйста, ко мне в четверг вечером; у меня соберется несколько весьма интересных личностей.

— Хорошо!..— протянул Вихров. Впрочем, по поводу этого посещения все-таки посоветовался прежде с Мари.

— Поезжай,— сказала она ему,— он очень участвовал, когда мы хлопотали о твоем освобождении.

— Но я там, вероятно, найду все чиновников,— что мне с ними делать? О чем беседовать?

— Может быть, найдешь кого-нибудь и знакомого,— один вечер куда ни шел!

— И то дело!— согласился Вихров и в назначенный ему день поехал.

Плавин жил в казенной квартире, с мраморной лестницей и с казенным, благообразным швейцаром; самая квар-

тира, как можно было судить по первым комнатам, была огромная, превосходно меблированная... Маленькое общество хозяина сидело в его библиотеке, и первый, кого увидал там Вихров,— был Замин; несмотря на столько лет разлуки, он сейчас же его узнал. Замин был такой же неуклюжий, как и прежде, только больше еще растолстел, оброс огромной бородищей и был уже в не совершенно изорванном пальто.

— Какими судьбами вы здесь? — воскликнул Вихров.

Замин дружески и сильно пожал ему руку.

— Вот тут по крестьянскому делу меня пригласили,— отвечал он.

— По крестьянскому? — спросил с удовольствием Вихров.

— Да, у нас ведь, что на луне делается, лучше знают, чем нашего-то мужичка,— проговорил негромко Замин и захохотал.

— Здравствуйте, Вихров! — встретил и Плавин совершенно просто и дружески Вихрова. (Он сам, как и все его гости, был в простом, широком пальто, так что Вихрову сделалось даже неловко оттого, что он приехал во фраке).

— Гражданин Пенин! — отрекомендовал ему потом Плавин какого-то молодого человека.— А это вот пианист Кольберт, а это художник Рагуза! — заключил он, показывая на двух остальных своих гостей, из которых Рагуза оказался с корявым лицом, щетинистой бородой, шершавыми волосами и с мрачным взглядом; пианист же Кольберт, напротив, был с добродушною жидовскою физиономиею, с чрезвычайно прямыми ушами и с какими-то выцветшими глазами, как будто бы они сделаны у него были не из живого роговика, а из полинялой бумаги.

Все общество сидело за большим зеленым столом. Вихров постарался поместиться рядом с Заминым. До его прихода беседой, видимо, владел художник Рагуза. Малоросс ли он был, или поляк,— Вихров еще недоумевал, но только сразу же в акценте его речи и в тоне его голоса ему послышалось что-то неприятное и противное.

— Я написал теперь картину: «Избиение польских патриотов под Прагой», а ее мне — помилуйте! — не позволяют поставить на выставку! — кричал Рагуза на весь дом.

— Это почему? — спросил его как бы с удивлением Плавин.

— Говорят — это оскорбление национального чувства России; да помилуйте, говорю, господа, я изображаю тут действия вашего великого Суворова! — кричал Рагуза.

— Но вы, конечно, тут представляете,— заметил ему тонко Плавин,— не торжество победителя, а нравственное торжество побежденных.

— Я представляю дело, как оно было, а тут пусть публика сама судит! — вопил Рагуза.

— Удивительное дело: у нас, кажется, все запрещают и не позволяют! — произнес как бы с некоторою даже гордостью молодой человек.

При всех этих переговорах Замин сидел, понурив голову.

— А что этот господин,— спросил его потихоньку Вихров, показывая на Рагузу,— в самом деле живописец, или только мошенник?

— Только мошенник, надо быть! — отвечал спокойнейшим голосом Замин.

— А картина у него действительно нарисована?

— Не показывает; жалуется только везде, что на выставку ее не принимают.

— Искусство наше,— закричал между тем снова Рагуза,— должно служить, как и литература, обличением; все должно быть направлено на то, чтобы поднять наше самосознание.

— В чем же это самосознание должно состоять, как посмотришь на вашу картину? — возразил ему Замин.— В том, что наш Суворов — злодей, а поляки — мученики?

— Оно должно состоять,— кричал Рагуза, заметно уклоняясь от прямого ответа,— когда великие идеи ослабевают и мир пошлеет, когда великие нации падают и угнетаются и нет великих людей, тогда все искусства должны порицать это время упадка.

— Но почему же именно нашему времени вы приписываете такое падение? — вмешался в разговор Плавин, который, как видно, уважал настоящее время.

— Потому что,— кричал Рагуза,— в мире нет великих идей! Когда была религия всеми почитаема — живопись стояла около религии...

— Ваша живопись стояла не около религии, а около папства и латинства,— возразил ему резко Замин.

— Живопись всегда стояла около великой идеи религии,— этого только в России не знают!

— Чем это? Тем разве, что Рафаэль писал в мадоннах своих любовниц,— возразил ему насмешливо Замин.

— Он писал не любовниц, а высочайший идеал женщин,— кричал Рагуза,— и писал святых угодников.

— Да, как же угодников: портреты с пап — хороши угодники,— возражал ему низкой октавой Замин.

Он ненавидел католичество, а во имя этого отвергал даже заслуги живописи и Рафаэля.

— Вы были за границей, видели религиозные картины? — допрашивал его Рагуза.

— Нет, не был, да и не поеду — какого мне черта там не видать! — пробасил Замин.

— Видать есть многое, многое! — вскрикивал с каким-то даже визгом Рагуза, так что Вихров не в состоянии был более переносить его голоса. Он встал и вышел в другую комнату, которая оказалась очень большим залом. Вслед за ним вышел и Плавин, за которым, робко выступая, появился и пианист Кольберт.

— Этот господин,— начал Плавин, видимо, разумея под этим Рагузу,— завзятый в душе поляк.

— Поляк-то он поляк, только не живописец, кажется; те все как-то обыкновенно бывают добродушнее,— возразил ему Вихров.

— Нет, отчего же, и он рисует! — сказал, но как-то не совсем уверенно, Плавин (крик из библиотеки между тем слышался все сильнее и сильнее).— Я боюсь, что они когда-нибудь подерутся друг с другом,— прибавил он.

— И хорошо бы сделали,— сказал Вихров,— потому что Замин так прибьет вашего Рагузу, что уж тот больше с ним спорить не посмеет.

— Ну, нет, зачем же: нужно давать волю всяким убеждениям,— проговорил Плавин.— Однако позвольте, я, по преимуществу, вот вас хотел познакомить с Мануилом Моисеичем! — прибавил он, показывая на смотревшего на них с чувством Кольберта и как бы не смевшего приблизиться к ним.

Вихров еще раз с тем раскланялся.

— Господин Кольберт, собственно, пианист, но он желает быть композитором,— говорил Плавин.

— Monsieur Вихров, сами согласитесь,— начал почти

каким-то жалобным голосом Кольберт,— быть только тапером, исполнителем...

— Званье незавидное,— поддержал и Вихров.

— И потому, monsieur Вихров, я желал бы написать оперу и решительно не знаю, какую.

При этом Кольберт как-то стыдливо потупил свои бесцветные глаза, а Вихров, в свою очередь, недоумевал — зачем и для чего он словно бы на что-то вызывает его.

— Господин Кольберт,— начал объяснять за него Плавин,— собственно, хочет посвятить себя русской музыке, а потому вот и просил меня познакомить его с людьми, знающими русскую жизнь и, главным образом, с русскими писателями, которые посоветовали бы ему, какой именно сюжет выбрать для оперы.

— Господи помилуй! — воскликнул Вихров.— Я думаю, всякий музыкант прежде всего сам должен иметь в голове сюжет своей оперы; либретто тут вещь совершенно второстепенная.

— Но, monsieur Вихров, я желал бы иметь сюжет совершенно русский; к русским мотивам я уже частью прислушался; я, например, очень люблю ваш русский колокольный звон; потом я жил все лето у графа Заводского — вы не знакомы?

— Нет,— отвечал Вихров.

— У них все семейство очень музыкальное, и я записал там много песен; но некоторые мне показались очень странны, и я бы вот желал с вами посоветоваться.

— Сделайте одолжение,— сказал Вихров.

— Вот я записал, например,— продолжал будущий русский композитор, проворно вынимая из бокового кармана свою записную книжку,— русскую песню — это пели настоящие мужики и бабы.

«Душа ль моя, душенька, душа, мил сердечный друг»,— прочитал Кольберт, нетвердо выговаривая даже слова.

— Ну, первое слово я знаю, «душа», а «душенька» — это имя?

— Как имя? — воскликнули в один голос Плавин и Вихров.

— У Богдановича есть сочинение — «Душенька».

— Нет, тут просто уменьшительное от слова «душа» и есть повторение того же слова, только в ласкательной форме,— объяснил Вихров.

— A. monsieur! Понимаю,— поблагодарил Кольберт,— Теперь «мил»,— отчего же не «милый»?

— Для стиха, сокращенное прилагательное,— объяснил еще раз Вихров.

— Да, вот что,— согласился и Кольберт.

— Но почему вам, при ваших, видимо, небогатых сведениях в русском песнопении, непременно хочется посвятить себя русской музыке?

— Monsieur Вихров, в иностранной музыке было так много великих композиторов, что посреди их померкнешь; но Россия не имела еще ни одного великого композитора.

— А Глинка-то наш! — возразил Вихров.

— Monsieur Вихров, мне говорили очень умные люди, что опера Глинки испорчена сюжетом: в ней выведена пассивная страсть, а не активная, и что на этом драм нельзя строить.

— Не знаю, можно ли на пассивных страстях строить драмы или нет — это еще спор! Но знаю только одно, что опера Глинки и по сюжету и по музыке есть высочайшее и народнейшее произведение.

— Вы думаете? — спросил как бы с некоторым недоумением Кольберт.

— Думаю! — отвечал Вихров и потом, видя перед собою жалкую фигуру Кольберта, он не утерпел и прибавил: — Но что вам за охота оперу писать?.. Попробовали бы сначала себя в небольших романсах русских.

— Нет, мне бы уже хотелось оперу написать,— отвечал тот робко, но настойчиво.

В это время спор в кабинете уже кончился. Оба противника вышли в зало, и Замин подошел к Вихрову, а Рагуза к хозяину.

— Что, наговорились? — спросил его тот.

— Мы уже с господином Заминым дали слово не разговаривать друг с другом,— прокричал Рагуза.

— А что это за музыкант? — спросил Вихров Замина, воспользовавшись тем, что Кольберт отошел от них.

— Жиденок один, ищущий свободного рынка для сбыта разной своей музыкальной дряни,— отвечал тот.

— Вихров! — крикнул в это время Плавин Вихрову.

Тот обернулся к нему.

— Помните ли, как вы угощали меня представлениями милейшего нашего Замина? — проговорил Плавин.— И я вас хочу угостить тем же: вот господин Пенин (и

Плавин при этом указал на пятого своего гостя, молодого человека, вышедшего тоже в зало), он талант в этом роде замечательный. Спойте, милейший, вашу превосходную песенку про помещиков.

Молодой человек с явным восторгом сел за фортепиано и сейчас же запел сочиненную около того времени песенку: «Долго нас помещики душили!» Плавин восторженнейшим образом слушал, музыкант Кольберт — тоже; Рагуза, вряд ли только не нарочно, громко повторял: «О!.. Как это верно, как справедливо!» Замин и Вихров молчали. Окончивши песенку, молодой человек как бы спрашивал взором Плавина, что еще тот прикажет представить ему.

— Канкан, Пенин, представьте, канкан! — разрешил ему тот.

И юноша сейчас же вышел на середину зала, выгнулся всем телом, заложил пальцы рук за проймы жилета и начал неблагопристойным образом ломаться. У Плавина даже любострастием каким-то разгорелись глаза. Вихрову было все это скучно, а Замину омерзительно, так что он отплевывался. Вслед за тем юноша, по приказанию хозяина, представил еще пьяного департаментского сторожа и даже купца со Щукина двора; но все это как-то выходило у него ужасно бездарно, не смешно и, видимо, что все было заимствованное, а не свое. Вихров, наконец, встал и начал прощаться с хозяином.

— Ведь хорошо? — спросил тот его, показывая глазами на молодого человека, все еще стоявшего посреди залы и, кажется, желавшего что-то еще представить.

— Нет, напротив, очень нехорошо! — отвечал ему тот откровенно.

Вместе с Вихровым стал прощаться и Замин с Плавиным. Обоих их хозяин проводил до самой передней, и когда он возвратился в зало, то Пенин обратился было к нему:

— А вот, Всеволод Никандрович, я еще видел...

— Нет, будет уж сегодня, довольно,— обрезал его Плавин и вслед за тем, нисколько не церемонясь, обратился и к прочим гостям: — Adieu, господа! Я поустал уже, а завтра мне рано вставать.

Гости нисколько, как видно, не удивились таким его словам, а поспешили только поскорее с ним раскланяться и отправиться домой.

Вихров и Замин шли мрачные по Невскому проспекту.

— Что это за сборища он у себя делает? — спрашивал первый.

— Как же, ведь либерал, передовой человек и меценат,— отвечал почти озлобленным голосом Замин.

— Значит, мы с вами поэтому и попали к нему?

— Поэтому,— отвечал Замин.

— А скажите вот еще: что за народ здесь вообще? Меня ужасно это поражает: во-первых, все говорят о чем вам угодно, и все, видимо, не понимают того, что говорят!

— Мозги здесь у всех жидки, ишь на болотине-то этакой разве может вырасти настоящий человек?.. Так, какие-то все ягели и дудки!..— объяснил Замин.

XIV

ТАЙНЫЕ МУЧЕНИЯ

Герой мой обыкновенно каждый день, поработав утром дома, часу во втором отправлялся к Эйсмондам. Генерала в это время никогда почти не было дома; он, по его словам, гулял все по Невскому, хоть на Невском его никто никогда не встречал. Обедал Вихров тоже по большей части у Эйсмондов: Мари очень благоразумно говорила, что зачем же ему одному держать хозяйство или ходить обедать по отелям, тогда как у них прекрасный повар и они ему очень рады будут. Генерал, с своей стороны, тоже находил эту мысль совершенно справедливою.

После обеда Евгений Петрович обыкновенно спал часа по три. Женичка дома не жил: мать отдала его в один из лучших пансионов и сама к нему очень часто ездила, но к себе не брала; таким образом Вихров и Мари все почти время проводили вдвоем — и только вечером, когда генерал просыпался, Вихров садился с ним играть в пикет; но и тут Мари или сидела около них с работой, или просто смотрела им в карты. Такая жизнь влюбленных могла бы, кажется, почесться совершенно счастливою, но, на самом деле, это было далеко не так: лицо моего героя было постоянно мрачно. Он (и это особенно стало проявляться в нем в последнее время) как-то сухо начал встречаться с Мари, односложно отвечал на ее вопросы; сидя с ней рядом, он глядел все больше в сторону и явно делал вид, что занят чем-то другим, но никак уж не ею. Мари, в свою

очередь, с каждым днем все больше и больше худела — и в отношении Вихрова обнаруживала если не страх, то какую-то конфузливость, а иногда и равнодушие к нему. Причина всему этому заключалась в том, что с самого приезда Вихрова в Петербург между им и Мари происходили и недоразумения и неудовольствия: он в первый раз еще любил женщину в присутствии мужа и поэтому страшно, мучительно ее ревновал — ревновал физически, ревновал и нравственно, но всего этого высказывать прямо никогда не решался; ему казалось, что этим чувством он унижает и себя и Мари, и он ограничивался тем, что каждодневно страдал, капризничал, говорил Мари колкости, осыпал старика генерала (в его, разумеется, отсутствии) насмешками... Мари все это очень хорошо видела и понимала, что происходит в душе нежно любимого ею человека, но решительно недоумевала, как и чем было помочь тому; к мужу она была действительно почти нежна, потому что считала это долгом для себя, своей неотклонимой обязанностью, чтобы хоть сколько-нибудь заслужить перед ним свой проступок. Физическую ревность Вихрова она, конечно, могла бы успокоить одним словом; но как было заговорить о том, когда он сам не начинал!..

Однажды после обеда Вихров уселся перед камином, а Мари зачем-то вышла в задние комнаты. Вихров сидел довольно долгое время, потом стал понемногу кусать себе губы: явно, что терпение его начинало истощаться; наконец он встал, прошелся каким-то большим шагом по комнате и взялся за шляпу с целью уйти; но Мари в это мгновение возвратилась, и Вихров остался на своем месте, точно прикованный, шляпы своей, однако, не выпускал еще из рук. Взглянув ему в лицо, Мари на этот раз испугалась даже не на шутку — до того оно было ожесточенное и сердитое.

— Разве ты уж уходишь? — спросила она, потупляясь перед ним.

Под влиянием ее голоса Вихров как бы невольно опустился на прежнее место перед камином. Мари же отошла и села на свое обычное место перед рабочим столиком,— она уже ожидала, что ей придется выслушать несколько, как она выражалась, проклятий. Вихров в последнее время действительно в присутствии ее беспрестанно проклинал и себя, и свою жизнь, и свою злосчастную судьбу.

— Где это вы все были? — спросил он ее на этот

раз каким-то глухим голосом и не обращая своего лица к ней.

— У Евгения Петровича в комнате,— он что-то нехорошо себя чувствует,— отвечала Мари: лгать в этом случае она считала постыдным для себя.

— Но за обедом он кушал как вол,— проговорил Вихров.

Мари при этом немного вспыхнула от досады.

— Нет, он очень немного ел,— возразила она.

Вихров снова начал кусать себе губы и подрягивать досадливо ногой.

— Вы свое внимание к нему до того простираете, что, когда он и здоровешенек, вам все представляется, что он болен; вы чересчур себя-то уж попусту волнуете, вам самим это может быть вредно! — проговорил ядовито Вихров.

— Ах, вредно мне, только не то! — негромко воскликнула Мари.

— Что же такое вам вредно? — спросил насмешливо Вихров.

— Вредно, что очень уж глупо и безрассудно люблю тебя.

— Что же вам мешает обратиться к вашему благоразумию и начать полную тихого семейного счастья жизнь? Уж, конечно, не я!..— проговорил Вихров, и в голосе его явно послышались рыдания.

Мари видела, что он любит ее в эти минуты до безумия, до сумасшествия; она сама пылала к нему не меньшею страстью и готова была броситься к нему на шею и задушить его в своих объятиях; но по свойству ли русской женщины или по личной врожденной стыдливости своей, ничего этого не сделала и устремила только горящий нежностью взор на Вихрова и проговорила:

— А для тебя разве не тяжело это будет?

— Нет, даже легко!.. Легко даже! — воскликнул Вихров и, встав снова со стула, начал ходить по комнате.— Переносить долее то, что я переносил до сих пор, я не могу!.. Одна глупость моего положения может каждого свести с ума!.. Я, как сумасшедший какой, бегу сюда каждый день — и зачем? Чтобы видеть вашу счастливую семейную жизнь и мешать только ей.

— Но что же делать со всем этим? Как помочь тому? — спросила Мари.

— Помочь одним можно: оставьте вашего мужа и уедемте за границу, а то двум богам молиться невозможно, да и не совсем хорошо.

При этих словах Вихрова (он в первый еще раз высказал такое желание) Мари побледнела.

— Это значит положить вечный позор на свою голову!..— проговорила она.

— Какой же тут позор особенный,— очень уж вы, видно, дорожите настоящим вашим положением.

— О, нисколько! — воскликнула Мари.— Если бы дело было только во мне, то я готова была бы рабой твоей назваться, а не только что женщиной, любящей тебя,— но от этого зависит спокойствие и честь других людей...

Вихров при этом вопросительно взглянул на Мари.

— Спокойствие и честь моего сына и мужа,— заключила Мари.

— Если вы спокойствие этих людей ставите выше моего спокойствия, то тут, разумеется, и разговаривать нечего,— проговорил Вихров.

— Ты все сердишься и не хочешь согласиться со мной, что я совершенно права,— и поверь мне, что ты сам гораздо скорее разлюбишь меня, когда весь мой мир в тебе заключится; мы с тобой не молоденькие, должны знать и понимать сердце человеческое.

— Да-с, все это прекрасно, но делиться вашим чувством с кем бы то ни было — мне слишком тяжело; я более двух лет приучаю себя к тому и не могу привыкнуть.

— Я чувством моим ни с кем и не делюсь; оно всецело принадлежит тебе.

— Всецело?.. Нет, Мари! — воскликнул Вихров, и потом, заметно сделав над собой большое усилие, он начал негромко: — Я без самого тяжелого, самого уязвляющего, оскорбляющего меня чувства, не могу себе вообразить минуты, когда вы принадлежите кому-нибудь другому, кроме меня!

Мари покраснела.

— Такой минуты нет и не существует,— проговорила она.

— Есть, Мари, есть!.. — воскликнул Вихров.— И тем ужаснее, что вы, как и все, я думаю, женщины, не сознаете, до какой степени в этом случае вы унижаете себя.

Мари еще более покраснела.

— Я сказала тебе и повторяю еще раз,— продолжала

она спокойным, впрочем, голосом,— что такой минуты нет!

Вихров вопросительно посмотрел на Мари.

— Каким же образом это могло так устроиться? — сказал он.

— А таким,— отвечала она,—вам, мужчинам, бог дал много ума, а нам, женщинам,— хитрости.

— Интересно это знать — скажите!

— Ни за что! Больше того, что я тебе сказала, ты не услышишь от меня.

— Ну, в таком случае я вам не верю.

— Можете верить и не верить! И неужели ты думаешь, что если бы существовало что-нибудь подобное, так я осталась бы в теперешнем моем положении?

— Но что же бы вы сделали такое?

— А то, что прямо бы сказала, что люблю другого, и потому — хочет он для нашего сына скрыть это, пусть скрывает, а не хочет, то тогда я уеду от него.

— Но теперь подобной надобности не предстоит, значит?

— Нисколько!

— Ну, пожалуйте ко мне за то!— проговорил Вихров, протягивая к ней руки.

Мари подошла к нему, он обнял ее и стал целовать ее в грудь.

— Человек решительно тот же зверь! Поверишь ли, что я теперь спокойнее, счастливее стал! — говорил Вихров.

Мари на это только улыбнулась и покачала головой.

— Но я все-таки тебе не совсем еще верю! — прибавил он.

— Не знаю, как мне тебя уж и уверить,— отвечала Мари, пожимая плечами.

— Но, кроме того, друг мой,— продолжал Вихров, снова обнимая Мари,— мне скучно иногда бывает до бешенства, до отчаяния!.. Душа простору просит, хочется развернуться, сказать всему: черт возьми!

— Развернись, если так тебе этого хочется,— проговорила Мари несколько уже и обиженным голосом.

— Да не одному, Мари, а с тобой, с одной тобой в мире! Съездим сегодня хоть в оперу вдвоем; не все же забавляться картами.

— Пожалуй, только все-таки надобно сказать мужу и предуведомить его, чтобы не показалось ему это странным.

— Опять мужу! — воскликнул Вихров.— Делайте вы все это, но не говорите, по крайней мере, о том мне!

— Хорошо, не буду говорить,— отвечала Мари с улыбкою.

Вскоре после того послышался кашель генерала. Мари пошла к нему.

— А я с Полем еду в театр,— сказала она довольно решительным голосом.

— А! — произнес генерал почти с удовольствием.— И я бы, знаете, с вами поехал охотно!

Мари внутренне обмерла.

— Как же тебе ехать! Сейчас чувствовал озноб, и выезжать на воздух — это сумасшествие! — воскликнула она.

— Ну, ну, не поеду! — согласился генерал.

Через полчаса Мари с Вихровым отправились в наемной карете в оперу. Давали «Норму». Вихров всегда восхищался этой оперой. Мари тоже. С первого удара смычка они оба погрузились в полное упоение.

— Это единственная, кажется, опера, которой сюжет превосходен,— говорил Вихров, когда кончился первый акт и опустился занавес.

— Он очень естествен и правдоподобен,— подхватила Мари.

— Мало того-с! — возразил Вихров.— Он именно остановился на той границе, которой требует музыка, потому что не ушел, как это бывает в большей части опер, в небо, то есть в бессмыслицу, и не представляет чересчур уж близкой нам действительности. Мы с этой реализацией в искусстве,— продолжал он,— черт знает до чего можем дойти. При мне у Плавина один господин доказывал, что современная живопись должна принять только один обличительный, сатирический характер; а другой — музыкант — с чужого, разумеется, голоса говорил, будто бы опера Глинки испорчена тем, что ее всю проникает пассивная страсть, а не активная.

— Это что́ такое, я уж и не понимаю? — спросила Мари.

— А то, что в ней выведена любовь к царю, а не эгоистическая какая-нибудь страсть: любовь, ревность, ненависть.

— Ну, а все революционные оперы,— они тоже осно-

ваны на пассивной страсти, на любви к отечеству,— подхватила Мари.

— Совершенно справедливо! — воскликнул Вихров.— И, кроме того, я вполне убежден, что из жизни, например, первобытных христиан, действовавших чисто уж из пассивной страсти, могут быть написаны и превосходные оперы и превосходные драмы.

— Мне в «Норме»,— продолжала Мари после второго уже акта,— по преимуществу, нравится она сама; я както ужасно ей сочувствую и понимаю ее.

— Потому что вы сами на нее похожи,— сказал Вихров.

— Я? — спросила Мари, уставляя на него свои большие голубые глаза.

— Да, вы! Чем Норма привлекательна? Это сочетанием в себе света и тьмы: она чиста, свята и недоступна для всех, и один только в мире человек знает, что она грешна!

— А, вот что́! — произнесла Мари и покраснела уж немного.— Это, однако, значит быть добродетельной по наружности — качество не весьма похвальное.

— Вы не то что добродетельны по наружности, а вы очень уж приличны; но как бы то ни было, поедемте отсюда к Донону ужинать.

Мари опять уставила на него свои большие глаза.

— Что́ же это: душа простору хочет? — сказала она.

— Душа простору хочет,— отвечал Вихров.

— Хорошо, поедем! — согласилась Мари, и после спектакля они, в самом деле, отправились к Донону, где Вихров заказал хороший ужин, потребовал шампанского, заставил Мари выпить его целые два стакана; сам выпил бутылки две.

Разговор между ними стал делаться все более и более одушевленным и откровенным.

— Ты, пожалуй, когда так будешь кутить, так и другого рода развлечения захочешь,— проговорила Мари.

— Какого же?

— Развлечения полюбить другую женщину.

— Очень может быть,— отвечал Вихров откровенно.

— Но в таком случае, пожалуйста, меня не обманывай, а скажи лучше прямо.

— Никак не скажу, потому что если бы этого рода и случилось развлечение, то оно будет чисто временное; опять к вам же вернусь.

— Ну, это бог знает, ты сам еще не знаешь того.

— Совершенно знаю, потому что совершенно убежден, что больше всех женщин люблю вас.

— Но за что же именно?

— Вот уж этого никак не могу объяснить: за то, вероятно, что это была первая любовь, которой мы вряд ли не остаемся верными всю жизнь.

— А я думала, что немножко и за другое,— произнесла Мари.

— А именно?

— За согласие во взглядах и убеждениях...

— Может быть, и то! — подхватил Вихров.

Когда они сели в карету, он велел кучеру ехать не на Литейную, где жил генерал, а к себе на квартиру.

— И это тоже душа простора просит? — спросила его еще раз Мари.

— И это тоже! — отвечал Вихров.

Мари возвратилась домой часу во втором. Генерал собирался уже совсем лечь спать.

— Где это ты так долго была? — спросил он ее с некоторым беспокойством.

— К Донону ужинать с Полем заезжали,— отвечала она, проходя мимо его комнаты, но не заходя к нему.

— А, это хорошо! Чтȯ ж вы ужинали? — спросил ее генерал.

— Да я и не знаю, все очень вкусные вещи.

— Там славно кормят, славно; надобно и мне туда с Эммой съездить! — произнес генерал вполголоса и затем задул свечу, отвернулся к стене и заснул мирным сном.

XV

ДРУГОГО РОДА ВЕЧЕР У ПЛАВИНА

Перед масленицей Эйсмонд и Вихров одновременно получили от Плавина печатные пригласительные билеты, которыми он просил их посетить его 11-го числа февраля, в 10 часов вечера.

— Это, надо быть, именины его будут,— сказал генерал.

— Вероятно,— отвечал Вихров.

— А что, вы поедете?

— Не думаю!

— Ну, нет,— чтȯ там, поедемте, он человек почтенный;

я одиннадцатого числа заеду к вам и непременно утащу вас.

Последнее время генерал заметно заискивал в Вихрове и как бы даже старался снискать его интимную дружбу. 11-го числа часов в 9 вечера он действительно заехал к нему завитой и напомаженный, в полном генеральском мундире, в ленте и звезде.

— Пора, пора! — говорил он, как-то семеня ногами и имея в одно и то же время какой-то ветреный и сконфуженный вид.

Вихров ушел к себе в спальню одеваться.

— Пожалуй, надобно будет белый галстук надеть? — спросил он оттуда.

— Непременно-с! — отвечал генерал, охорашиваясь перед зеркалом и заметно оставаясь доволен своею физиономиею.— У него все будет знать,— прибавил он.

— Знать? — переспросил Вихров.

— Да-с! Сенаторы и министры считают за честь у него быть.

— Вот как! — произнес герой мой, и (здесь я не могу скрыть) в душе его пошевелилось невольное чувство зависти к прежнему своему сверстнику. «За что же, за что воздают почести этому человеку?»—думал он сам с собой.

В карете генерал, когда они поехали, тоже все как-то поеживался, откашливался; хотел, как видно, что-то такое сказать и не находился; впрочем, и пространство, которое им надобно было проехать до квартиры Плавина, было слишком небольшое, а лошади несли их быстро, так что через какие-нибудь минуты они очутились уже у подъезда знакомого нам казенного дома.

Генерал довольно легко выскочил из кареты; в сенях перед зеркалом он еще раз поправил маленьким гребешком свой хохолок и стал взбираться на лестницу. Вихров следовал за ним. Когда они потом отворили двери в квартиру к Плавину, то Вихрова обдало какой-то совсем не той атмосферой, которую он чувствовал, в первый раз бывши у Плавина. В зале он увидел, что по трем ее стенам стояли, а где и сидели господа во фраках, в белых галстуках и все почти в звездах, а около четвертой, задней стены ее шел буфет с фруктами, оршадом, лимонадом, шампанским; около этого буфета, так же, как и у всех дверей, стояли ливрейные лакеи в чулках и башмаках.

«Что̀ такое, где мы это?» — подумал Вихров.

Самого Плавина он увидел стоявшим в дверях гостиной, высоко и гордо поднявшим свою красивую белокурую голову, и тоже в звезде и в белом галстуке.

Когда Вихров подошел к нему поклониться, Плавин дружески, но заметно свысока и очень недолго пожал ему руку. Генералу же он пожал руку гораздо попродолжительнее и даже сказал при этом что-то такое смешное, так что старик махнул только рукою и пошел далее в гостиную. Между гостями Плавина было очень много статс-секретарей, несколько свитских генералов и даже два — три генерал-адъютанта и один товарищ министра. Вихров начал уже чувствовать, что он обмирает в этом обществе: с кем заговорить, что̀ с собой делать — он решительно не находился... Вдруг вдали, в углу гостиной, он увидел и узнал, к величайшему восторгу своему, еще памятное ему лицо Марьеновского. Как к якорю спасения своего бросился он к нему и, даже не совсем соблюдая приличие, во весь голос закричал ему:

— Марьеновский, здравствуйте! Узнаёте ли вы меня?

Сам Марьеновский был уже совсем седой и несколько даже сгорбленный старик, но тоже со звездой и в белом галстуке. Видно было, что служебные труды и петербургский климат много, если не совсем, разбили его здоровье. Всмотревшись в лицо героя моего, он тоже воскликнул:

— Боже мой! Кажется, господин Вихров!

— Точно так, — отвечал тот, и оба приятеля, не стесняясь тем, что были на модном рауте, расцеловались между собой.

— Я давно слышал, что вы здесь, но решительно не знал — где вас найти, — говорил Марьеновский.

— А я так и не знал, что вы здесь, — говорил Вихров, — но вы, конечно, служите здесь?

— Да, я тоже вместе с другими занимаюсь по устройству новых судебных учреждений.

— И слава богу, что вас выбрали! — воскликнул Вихров. — Человека более достойного для этого трудно было и найти; но сядемте, однако; здесь можно, надеюсь, сидеть?

— Можно! — отвечал Марьеновский, и оба приятеля уселись несколько в стороне.

— Прежде всего объясните вы мне, — начал Вихров,— как вы знакомы с здешним хозяином?

— Кто ж с ним не знаком в мире служебном и дело-

вом! — отвечал с усмешкою Марьеновский.— Но скажите лучше, как *вы* с ним знакомы?

— Очень просто: он товарищ мне по гимназии; я вместе с ним жил...

— Вот что́!..— произнес Марьеновский.— Он, впрочем, и без этого любит быть знакомым с артистами и писателями.

— Но неужели же он в самом деле государственный человек?

— Еще какой! На петербургский лад, разумеется.

— То есть умеет подделываться к начальству.

— О, господи! Про какие вы ветхие времена говорите!.. Ныне не то-с! Надобно являть в себе человека, сочувствующего всем предстоящим переменам, понимающего их, но в то же время не выпускающего из виду и другие государственные цели,— каков и есть господин Плавин.

— Но в сущности, однако, что̀ же он?

— В сущности ничего! Господин, кажется, очень любящий комфорт и удобства жизни и вызнавший способ показывать в себе человека весьма способного.

— Но в чем же именно эти способности его состоят?— продолжал расспрашивать Вихров.

— Главное, я думаю, в том, что все эти новые предположения, которые одних пугают и смущают, а другими не совсем сразу понимаются, он так их сумеет понизить и объяснить, что их сейчас же уразумевают и перестают пугаться. Он в этом отношении очень полезен, потому что многое бы не прошло, что̀ проходит через посредство его.

— Но зато и вреден тем, что оно проходит так, как он понимает.

— Да, по большей части далеко не так, как было вначале, и удивительное дело: он, кажется, кандидат здешнего университета?

— Кандидат! — подхватил Вихров.

Марьеновский пожал плечами.

— Учили, что ли, их очень плохо, но, верьте, он ничего не знает: все, что̀ говорит,— это больше выслушанное или накануне только вычитанное; а иногда так провperется, что от него пахнет необразованием.

— Именно необразованием, — подхватил Вихров.

— Пахнет необразованием, — повторил еще раз и както досадливо Марьеновский.

— А скажите, нет ли у вас в товариществе Захаревского — правоведа?

— Нет, но он служит в другом месте и занимает очень видную должность.

— Он очень честный человек... и юрист, должно быть, хороший.

— Да, только внешний отчасти, неглубокий.

— И вы видаетесь иногда с ним?

— Очень часто даже!

— Не передадите ли вы ему, что я здесь и очень желал бы с ним повидаться, а потому он или сам бы побывал у меня, или я бы приехал к нему, а вот и адрес мой!

— Непременно скажу и, я думаю, даже вместе с ним и приеду к вам.

— Пожалуйста! — воскликнул Вихров, крепко пожимая его руку.

Марьеновский после того встал.

— Ну, я и домой, мне еще работать надо, — сказал он и потихоньку вышел из гостиной.

По уходе его Вихров опять очутился в совершенном одиночестве. Под влиянием всего того, что̀ слышал от Марьеновского, он уставил почти озлобленный взгляд на хозяина, по-прежнему гордо стоявшего и разговаривавшего с двумя — тремя самыми важными его гостями.

«Неужели же никогда этот господин не обличится, — думал он, — и общество не поймет, что он вовсе не высоко-даровитая личность, а только нахал и человек энергический?» Воздавай оно все эти почести Марьеновскому, Вихров, кроме удовольствия, ничего бы не чувствовал; но тут ему было завидно и досадно.

Посреди такого размышления к нему подошел Эйсмонд.

— А что̀, не пора ли нам и по домам? — шепнул он ему.

— С великою радостью,— отвечал Вихров, и оба они тоже потихоньку выбрались из комнат и отправились.

— Поедемте к Донону ужинать, — вот где вы с женой ужинали! — сказал как-то особенно развязно генерал.

— Хоро̀шо! — согласился Вихров.

Генерал бойко и потирая с удовольствием руки вошел в отель.

— Водки, братец, нам поскорее, водки! — говорил он, садясь перед одним столиком. — Садитесь и вы, пожалуйста,— прибавил он Вихрову.

Тот уселся против него.

— Ну-с, что̀ же нам съесть? Жена очень хвалила, вы тогда ужинали салат из ершей. Сделай нам салат из ершей.

— Слушаю-с,— отвечал ему лакей.

— Потом котлеты, что ли, паровые.

— Не прикажете ли бараньи котлеты?.. Есть настоящая кушелевская баранина.

— Давай, давай; в клубе едал кушелевскую баранину, хороша очень!

Затем они начали ужинать; генерал спросил шампанского, и когда уже порядочно было съедено и выпито, он начал как бы заискивающим голосом:

— Я вот, Павел Михайлович, давно хотел с вами поговорить об одной вещи,—вы вот и родственник моей жене и дружны с ней очень, не знаете ли, что̀ за причина, что она по временам бывает очень печальна?

— Совершенно не знаю и даже не замечал, чтобы она была особенно печальна, — отвечал Вихров, немного уже и сконфуженный этим вопросом.

— Есть это, есть! Дело в том, что вы и сами в отношении там одной своей привязанности были со мной откровенны, и потому я хочу говорить с вами прямо: у меня есть там на стороне одна госпожа, и я все думаю, что не это ли жену огорчает...

— Зачем же у вас это есть? — спросил Вихров полушутя, полусерьезно.

— Есть, потому что это необходимо должно быть!..

И затем генерал наклонился к Вихрову и шепнул ему что-то такое совсем уж на ухо.

— Ну, и что̀ же? — спросил тот, в свою очередь, каким-то захлебывающимся голосом.

— А то, что я человек, по пословице: «Не тут, так там!» Ну, и она знает теперь, что это существует.

— И, вероятно, совершенно вас прощает?

— То-то мне кажется, что нет; знаете, как женщины по-своему понимают: если, дескать, нельзя, так и нигде нельзя. Повыведайте у ней как-нибудь об этом издалека и скажите мне.

— Хорошо! — отвечал Вихров.

Более приятного открытия, какое в настоящую минуту сделал ему генерал, для него не существовало на свете.

— И что̀ ж, хорошенькая у вас эта особа? — спросил он его.

— Хорошенькая-прехорошенькая! — воскликнул Евгений Петрович с загоревшимся уже взором. — Заедемте теперь к ней, — прибавил он: выпитое для большей откровенности вино заметно его охмелило.

— Но теперь поздно! — возразил Вихров.

Ему, впрочем, самому хотелось взглянуть на эту особу.

— Ничего, может быть, еще пустит; люди знакомые, поедемте! — говорил самодовольно генерал.

Они поехали. На Мещанской они взобрались на самый верхний этаж, и в одну дверь генерал позвонил. Никто не ответил. Генерал позвонил еще раз, уже посильней; послышались, наконец, шаги.

— Wer ist da? [1] — послышался женский голос.

— Это я, отпирайте, — говорил генерал не совсем уж смелым голосом.

— Спят уже давно; нельзя! — отвечал опять тот же голос.

— Да отворите, прошу вас, — упрашивал генерал.

Шаги куда-то удалились, потом снова возвратились, и затем началось неторопливое отпирание дверей. Наконец, наши гости были впущены. Вихров увидел, что им отворила дверь некрасивая горничная; в маленьком зальце уже горели две свечи. Генерал вошел развязно, как человек, привыкший к этим местам.

— А к Эмме Николаевне можно? — спросил он в то же время робко горничную.

— Можно, чай, — отвечала та сердито.

Генерал на цыпочках прошел в следующую комнату и, как слышно, просил Эмму Николаевну выйти в залу. Та, наконец, проговорила:

— Ну, ступайте, приду! — И вскоре за тем вышла, с сильно растрепанной головой. Она была довольно молода и недурна собой. — Ну, что̀ вам еще надо? — спросила она генерала.

— А вот — позволь тебе представить моего приятеля! — проговорил старик, показывая на Вихрова.

— Ну, что̀ же, только и есть? — спросила Эмма насмешливо генерала.

— Только вот желал познакомить его с тобой.

— О, глупости какие! Поезжайте, пожалуйста, домой; ей-богу, спать хочется! — проговорила Эмма, зевая во весь рот.

---

[1] Кто там? *(нем.)*

— Поедемте, в самом деле,— подхватил Вихров,— она спать хочет.

— Никогда не ездит по вечерам, а тут вдруг ночью приехал, — проговорила Эмма, зевая снова.

— Хорошо, уедем; прощай, прощай, дай ручку поцеловать! — говорил старикашка.

— Ну, на̀! — сказала Эмма, протягивая ему руку.

Генерал с чувством поцеловал ее.

Наконец, они снова выбрались с Вихровым на свежий воздух; им надобно было ехать в разные стороны.

— Что̀, недурна? — спросил с удовольствием генерал.

— Очень,— подхватил Вихров.

— Характерна только,— прибавил генерал.

— Характерна? — переспросил Вихров.

— У, не приведи бог! — отвечал старик, садясь в карету.

XVI
ЧЕТА ЖИВИНЫХ

Однажды Вихров, идя по Невскому, увидел, что навстречу ему идут какие-то две не совсем обычные для Петербурга фигуры, мужчина в фуражке с кокардой и в черном, нескладном, чиновничьем, с светлыми пуговицами, пальто, и женщина в сером и тоже нескладном бурнусе, в маленькой пастушечьей соломенной шляпе и с короткими волосами. Сойдясь с этими лицами, Вихров обрадовался и удивился: это были Живин и супруга его Юлия Ардальоновна, которая очень растолстела и была с каким-то кислым и неприятным выражением в лице, по которому, пожалуй, можно было заключить, что она страдала; но только вряд ли эти страдания возбудили бы в ком-нибудь участие, потому что Юлия Ардальоновна до того подурнела, что сделалась совершенно такою же, какою некогда была ее маменька, то есть похожею на огромную нескладную тумбу. Сам Живин тоже сильно постарел, обрюзг и, как видно, немало перенес горя.

— Давно ли ты здесь и ради каких дел? — спросил его Вихров и почти старался не видеть m-me Живину — такое тяжелое и неприятное впечатление произвела она на него.

— Да вот приехал,— отвечал Живин,— ищу места по новым судебным учреждениям.

— И, конечно, получишь его; ты так этого заслуживаешь... А вы в первый раз еще в Петербурге? — спросил Вихров Юлию Ардальоновну, чувствуя, что он должен же был о чем-нибудь заговорить с ней.

— Нет, я уж не в первый раз,— отвечала она. Встреча с Вихровым, кажется, не произвела на нее никакого впечатления, и как будто бы даже она за что-то сердилась на него или даже презирала его.— Теперь я только проездом здесь и еду за границу,— прибавила она.

Живин при этих словах жены потупился.

— За границу! — повторил Вихров.— Что̀ ж, вы там будете лечиться? — спросил он не без внутреннего смеха, глядя на ее массивную фигуру.

— Мне не от чего лечиться,— отвечала Юлия Ардальоновна, поняв, по-видимому, соль его вопроса,— я еду так, надоело уж все смотреть на русскую гадость и мерзость.

«Ну, из этой гадости, конечно, уж ты сама — первая!» — подумал про себя Вихров, и как ни мало он был щепетилен, но ему все-таки сделалось не совсем ловко стоять среди белого дня на Невском с этими чересчур уж провинциальными людьми, которые, видимо, обращали на себя внимание проходящих, и особенно m-me Живина, мимо которой самые скромные мужчины, проходя, невольно делали удивленные физиономии и потупляли глаза.

— Что̀ ж мы, однако, тут стоим на дороге! — сказал он, желая куда-нибудь отойти не в столь многолюдное место.

— Да зайдем ко мне; я недалеко тут живу...— сказал как-то робко Живин.

Вообще видно было, что он очень обрадовался встрече с приятелем и в то же время как-то конфузился и робел перед ним.

— С большим удовольствием,— поспешил ему ответить Вихров.

— А ты тоже домой пойдешь? — спросил Живин жену.

— Домой! — сказала она и вместе с тем гордо и с презрением ответила взглядом проходившему мимо ее гвардейскому улану, явно уже сделавшему ей гримасу.

Живины жили, как оказалось, в Перинной линии, в гостинице; по грязной лестнице они вошли с своим гостем в грязный коридор и затем в довольно маленький, темный

номер. Здесь, между разными, довольно ветхими дорожными принадлежностями и раскиданным платьем, Вихров увидал на обычном диване перед столом овчинный женский тулуп. Юлия Ардальоновна, скинув с себя бурнус и свою пастушескую шляпку, с пылающим и багровым от ходьбы лицом, села на этот именно диван и только немножко поотодвинула от себя вонючий тулуп. Вихрову показалось, что в ней пропало даже столь свойственное всем женщинам чувство брезгливости.

— Скажи, пожалуйста,— обратился он снова к Живину (с Юлией он решительно не в состоянии был говорить),— где живет Иларион Ардальонович Захаревский, и видишься ли ты с ним?

— Как же, вот он и хлопочет для меня о месте.

— Я просил одного господина передать ему, что я здесь и что очень бы желал повидаться с ним.

— И он мне тоже говорил; но занят ужасно, почти никуда, кроме службы, и не выезжает.

— Но я сам бы к нему приехал, боюсь только, чтобы не помешать ему.

— А вот видишь что̀! — отвечал Живин, соображая.— В пятницу в Петербург возвратится Виссарион, и они уже непременно целый вечер будут дома... Хочешь, я заеду за тобой и поедем!

— Очень рад; но откуда же Виссарион возвращается?

— С юга, подряды там берет — миллионер ведь теперь.

— Слышал это я; службу, значит, он оставил?

— Давно!.. «Стоит, говорит, руки в грошах марать, да еще попреки получать; хватать так хватать миллиончики!»

— А Иларион Ардальонович богат?

— У того ничего нет; зато тайный советник, с анненской звездой.

Во всем этом разговоре о братьях Юлия Ардальоновна не приняла никакого участия, как будто бы говорилось о совершенно постороннем и нисколько не занимающем ее предмете. Вихров опять почувствовал необходимость хоть о чем-нибудь поговорить с ней.

— Что̀ ж вы намерены делать за границей и куда именно едете? — спросил он ее, делая над собой почти усилие.

— Делать за границей многое можно,— отвечала ему с усмешкой Юлия Ардальоновна,— я поселюсь, вероятно,

в Лондоне или Швейцарии, потому что там все-таки посвободней человеку дышится.

— Но долго ли же вы намерены пробыть за границей?

— Не знаю!

Вихров очень ясно видел, что у Живина с женой что-то нехорошее происходило, и ему тяжело стало долее оставаться у них. Он взялся за шляпу.

Юлия очень холодно в знак прощания мотнула ему головой; сам же Живин пошел провожать его до лестницы.

— Так ты в пятницу заедешь ко мне? — говорил ему Вихров.

— Непременно! — отвечал Живин.— И я заеду к тебе пораньше; мне об многом надобно поговорить и посоветоваться с тобой...

В пятницу он действительно явился, не запоздав.

— Где же живет Иларион Ардальонович? — спросил его Вихров.

— Вместе с Виссарионом: у того свой дом, дворцу другому не уступит.

— Ну, а как твои денежные делишки? — сказал Вихров, чтобы как-нибудь склонить разговор на семейную жизнь Живина.

— А такие,— отвечал Живин,— что если не дадут службы, то хоть топись.

— Но каким же это образом?.. Ты за женой, кажется, взял порядочное состояние,— потом служил все.

— Из жениного состояния я ничего не взял; оно все цело и при ней; а мое, что было, все с ней прожил.

— Что же она... не хозяйка, что ли?

На это Живин махнул только рукой и вздохнул.

— И говорить мне об этом грустно! — произнес он.

— Мне она самому показалась на этот раз какою-то странною,— продолжал Вихров.

Живин грустно усмехнулся.

— А все благодаря русской литературе и вам, господам русским писателям,— проговорил он почти озлобленным тоном.

— Да что же тут русская литература и русские писатели — чем виноваты? — спросил Вихров, догадываясь уже, впрочем, на что намекает Живин.

— А тем,— отвечал тот прежним же озлобленным и огорченным тоном,— что она теперь не женщина стала.

а какое-то чудовище: в бога не верует, брака не признает, собственности тоже, Россию ненавидит.

— Что за глупости такие! — воскликнул Вихров, в первый еще раз видевший на опыте, до какой степени модные идеи Петербурга проникли уже и в провинцию.

— Нет, не глупости! — воскликнул, в свою очередь, Живин.— Прежде, когда вот ты, а потом и я, женившись, держали ее на пушкинском идеале, она была женщина совсем хорошая; а тут, как ваши петербургские поэты стали воспевать только что не публичных женщин, а критика — ругать всю Россию наповал, она и спятила, сбилась с панталыку: сначала объявила мне, что любит другого; ну, ты знаешь, как я всегда смотрел на эти вещи. «Очень жаль, говорю, но, во всяком случае, ни стеснять, ни мешать вам не буду!»

— Кого ж это она полюбила?

— Полячишку тут одного, и я действительно плюнул на все и даже, чтоб ее же не закидали грязью в обществе, не расходился с нею и покрывал все своим именем! Но она этим не ограничилась. Нынешней весной заявила мне, что совсем уезжает за границу.

— Совсем? — воскликнул Вихров.

— Да, эмигрировать хочет, и, разумеется, каналья этот всему этому ее научает, чтобы обобрать и бросить потом.

— Очень не мудрено!..

— Непременно так, потому что сам ты рассуди: он — малый еще молодой, а она ведь уж немолода и собой некрасива.

При этих словах приятеля Вихров потупился. «Она не то что некрасива, она ужасна!» — подумал он про себя.

— А между тем этот господин притворяется, что страстно влюблен в нее,— и все это потому, что у ней есть двадцать пять тысяч серебром своих денег, которые были в оборотах у Виссариона и за которые тот ни много ни мало платил нам по двадцать процентов, — где найдешь такое помещение денег? Вдруг она, не говоря ни слова, пишет обоим братьям, что наши семейные отношения стали таковы, что ей тяжело жить не только что в одном доме со мной, но даже в одной стране, а потому она хочет взять свой капитал и уехать с ним за границу. Иларион написал ей на это очень дружеское письмо, в котором упрашивал и умолял ее рассудить и

одуматься, а Виссарион прямо ей отвечал, что какие бы там у нее со мной ни были отношения — это не его дело; но что денег он для ее же будущего спокойствия не даст ей... Она на это взбесилась, командировала своего возлюбленного в Петербург, дала ему полную доверенность, а тот с большого-то ума и подал векселей ко взысканию, да еще и с представлением кормовых денег. Виссарион ничего не знает, вдруг к нему является полиция: «Пожалуйте деньги, а то не угодно ли в тюрьму!..» Тот, разумеется, ужасно этим обиделся, вышвырнул эти деньги, и теперь вот, как мы приехали сюда, ни тот, ни другой брат ее и не принимают.

— Печальная история!

— Да, невеселая! И у нас по губернии-то не то что с одной моей супругой это случилось, а, может быть, десятка два — три женщин свертелось таким образом с кругу — и все-таки, опять повторяю, нынешняя скверная литература тому причиной.

— Это и прежде бывало без всякой литературы, что ты! — воскликнул Вихров.

— Бывало, да все как-то поскромней! — возразил Живин.— Стыдились как-то этого; а теперь делают с каким-то нахальством, как будто бы даже гордятся этим; но поедем, однако,— пора!

— Пора! — подтвердил и Вихров.

Оба брата Захаревских занимали одну квартиру, но с двумя совершенно отдельными половинами, и сходились только или обедать в общую столовую, или по вечерам — в общую, богато убранную гостиную, где и нашли их наши гости. Оба они очень обрадовались Вихрову. Иларион Захаревский еще больше похудел и был какой-то мрачный; служебное честолюбие, как видно, не переставало его грызть и вряд ли в то ж время вполне удовлетворялось; а Виссарион сделался как-то еще яснее, определеннее и законченнее. Между Вихровым и Иларионом Захаревским сейчас же затеялся дружественный разговор; они вспомнили старое время, ругнули его и похвалили настоящее.

— Да,— говорил Иларион,— много воды утекло с тех пор, как мы с вами не видались, да не меньше того, пожалуй, и перемен в России наделалось: уничтожилось крепостное право, установилось земство, открываются новые судебные учреждения, делаются железные дороги.

При этом перечне Виссарион только слегка усмехнул-

ся: против уничтожения крепостного права он ничего обыкновенно не возражал. «Черт с ним, с этим правом,— говорил он,— которое, в сущности, никогда и не было никаким правом, а разводило только пьяную, ленивую дворовую челядь»; про земство он тоже ничего не говорил и про себя считал его за совершеннейший вздор; но новых судебных учреждений он решительно не мог переваривать.

— У здешних мировых судей,— обратился он к Вихрову,— такое заведено правило, что если вы генерал или вообще какой-нибудь порядочный человек, то при всяком разбирательстве вы виноваты; но если же вы пьяный лакей или, еще больше того, какой-нибудь пьяный пейзан, то, что бы вы ни наделали, вы правы!.. Такого правосудия, я думаю, и при Шемяке не бывало!

Виссариона самого, по случаю его столкновений с рабочими, несколько раз уж судили — и надобно сказать, что не совсем справедливо обвиняли.

— Это временное заблуждение, которое потом пройдет,— возразил ему Вихров.

— Нет-с, не пройдет, потому что все так уж к тому и подстроено; скажите на милость, где это видано: какому-то господину в его единственном лице вдруг предоставлено право судить меня и присудить, если он только пожелает того, ни много ни мало, как на три месяца в тюрьму.

— Во-первых, это везде есть,— начал ему возражать серьезным и даже несколько строгим голосом Иларион Захаревский,— во-вторых, тебя судит не какой-то господин, а лицо, которое общество само себе выбрало в судьи; а в-третьих, если лицо это будет к тебе почему-либо несправедливо, ты можешь дело твое перенести на мировой съезд...

— А на мировом-то съезде кто же судит? — возразил насмешливо Виссарион.— Те же судьи: сегодня, например, Петр рассматривает решение Гаврилы, а завтра Гаврила — решение Петра; обоюдная порука — так на кой им черт отменять решение друг друга?

— Но вы забываете, что все это делается публично,— возразил ему Вихров,— а на глазах публики кривить душой не совсем удобно.

— Кривят же, однако, нисколько не стесняются этим!.. Или теперь вот их прокурорский надзор,— продолжал Виссарион, показывая уже прямо на брата,— я решительно этого не понимаю, каким образом какой-нибудь ка-

бинетный господин может следить за преступлениями в обществе, тогда как он носу из своей камеры никуда не показывает,— и выходит так, что полиция что хочет им дать — дает, а чего не хочет — скроет.

— Но как же, по-вашему, надо было сделать? Или оставить так, как прежде было? — спросил не без иронии Вихров.

— Я не знаю, как это надо было сделать,— возразил Виссарион,— я не специалист в этом, но говорю, что так, как сделано,— это бессмыслица!

Все суждение брата Иларион слушал с немного насмешливой улыбкой, но при этих словах рассердился на него.

— У вас-то, по вашему железнодорожному делу, я думаю, больше смысла,— проговорил он.

— Я нисколько и не говорю про то; я тут не чиновник, не распорядитель, не благоустроитель России,— я купец, и для меня оно имеет смысл, потому что очень мне выгодно.

— Хорошо отношение к стране своей! — сказал Вихров.

— А я вот, как наживусь, так и поблагодарю мою страну: устрою в ней какое-нибудь учебное или богоугодное заведение, а мне за это дадут чин действительного статского советника! — подхватил Виссарион и захохотал.

Иларион в это время обратился к Живину.

— Твое назначение завтра, я думаю, состоится,— и тебя даже здесь, в Петербурге, оставляют.

— В Петербурге! — воскликнул Живин.— Ну, вот за это merci! — прибавил он даже по-французски и далее затем, не зная, чем выразить свою благодарность, подошел почти со слезами на глазах и поцеловал Илариона в плечо.

Тот сам поспешил поцеловать его в голову.

— А что, супруга отправилась уже за границу? — спросил его Виссарион.

— Отправилась вчерашний день,— отвечал Живин.

— И господин Клоповский тоже?

— Тоже!

Виссариону, кажется, очень хотелось поговорить об этом деле с Вихровым, но он на этот раз удержался, может быть, потому, что Иларион при самом начале этого разговора взглянул на него недовольным взглядом.

Побеседовав еще некоторое время, Вихров и Живин отправились, наконец, домой; последний, кажется, земли под собой не чувствовал по случаю своего назначения на службу — да еще и в Петербурге.

— Я много в жизни вынес неудач и несчастий,— толковал он Вихрову, идя с ним,— но теперь почти за все вознагражден; ты рассуди: я не умен очень, я не бог знает какой юрист, у меня нет связей особенных, а меня назначили!.. За что же? За то, что я всегда был честен во всю мою службу.

— За то только! — подтвердил ему и Вихров.

— А ведь, брат, ежели есть в стране это явление, так спокойней и отрадней становится жить! Одна только, господи, помилуй,— продолжал Живин как бы со смехом,— супруга моя не оценила во мне ничего; а еще говорила, что она честность в мужчине предпочитает всему.

Вихров при этом усмехнулся.

— Она, кажется, и сама не знает, что предпочитает и что презирает,— проговорил он.

— Именно так! — согласился и Живин.

XVII

АРИСТОКРАТ И ДЕМОКРАТ

В одно утро Вихров прошел к Мари и застал у ней, сверх всякого ожидания, Абреева. Евгения Петровича, по обыкновению, дома не было: шаловливый старик окончательно проводил все время у своей капризной Эммы.

— Давно ли и надолго ли? — говорил Вихров, дружески пожимая руку Абреева.

— Приехал весьма недавно,— отвечал тот,— но надолго ли — это определить весьма трудно; всего вероятнее, навсегда!

— А службу, что же, оставили?

— Оставил,— отвечал Абреев с улыбкою и потупляя свои красивые глаза.

— Не вытерпели, видно?

— Отчасти я не вытерпел, а отчасти и меня не вытерпели,— продолжал он с прежней улыбкой.

— Вас? — спросил не без удивления Вихров.— За послабление, вероятно?

Абреев пожал плечами.

— Ей-богу, затрудняюсь, как вам ответить. Может быть, за послабление, а вместе с тем и за строгость. Знаете что,— продолжал он уже серьезнее,— можно иметь какую угодно систему — самую строгую, тираническую, потом самую гуманную, широкую,— всегда найдутся люди весьма честные, которые часто из своих убеждений будут выполнять ту или другую; но когда вам сегодня говорят: «Крути!», завтра: «Послабляй!», послезавтра опять: «Крути!»...

— Как же, так прямо и пишут: «крути» и «послабляй»? — вмешалась в разговор Мари.

— О нет! — произнес Абреев.— Но это вы сейчас чувствуете по тону получаемых бумаг, бумаг, над которыми, ей-богу, иногда приходилось целые дни просиживать, чтобы понять, что в них сказано!.. На каждой строчке: *но, впрочем, хотя...* а что именно — этого-то и не договорено, и из всего этого вы могли вывести одно только заключение, что вы должны были иметь *железную руку, но мягкую перчатку.*

— Это что такое? — спросила Мари с некоторым уже удивлением.

— А то,— отвечал Абреев с усмешкой,— чтобы вы управляли строго, твердо, но чтобы общество не чувствовало этого.

— Но как же оно не будет этого чувствовать? — опять спросила Мари.

— Отчасти можно было этого достигнуть,— отвечал Абреев с гримасой и пожимая плечами,— если бы в одном деле нажать, а в другом слегка уступить, словом, наполеоновская система, или,— как прекрасно это прозвали здесь, в Петербурге,— виляние в службе; но так как я никогда не был партизаном подобной системы и искренность всегда считал лучшим украшением всякого служебного действия, а потому, вероятно, и не угождал во многих случаях.

Проговоря это, Абреев замолчал; молчали и его слушатели.

— Когда я принимал губернаторство,— снова начал он, уже гордо поднимая свою голову,— вы знаете — это было в самый момент перелома систем, и тогда действительно на это поприще вступило весьма много просвещенных людей; но сонм их, скажу прямо, в настоящее время все больше и больше начинает редеть.

— Губернаторам теперь, я думаю, делать нечего, потому что у них все отнимают,— заговорил, наконец, и Вихров.

— Напротив, более, чем когда-либо,— возразил ему Абреев,— потому что одно отнимают, а другое дают, и, главное, при этой перетасовке господствует во всем решительно какой-то первобытный хаос, который был, вероятно, при создании вселенной и который, может быть, и у нас потому существует, что совершается образование новых государственных форм. Губернатор решительно не знает, с кого и что спросить, кому и что приказать, и, кроме того, его сношения с земством и с новыми судебными учреждениями... везде он должен не превысить власти и в то же время не уронить достоинства администрации.

Витиеватые и изысканные фразы Абреева — и фразы не совсем умного тона — неприятно резали ухо Вихрова.

— А что ваш правитель канцелярии? — спросил он его, чтобы свести разговор с государственных предметов на более низменную почву.

При этом вопросе Абреев весь даже вспыхнул.

— Здесь, в Петербурге, литераторствует! — говорил он, потрясая своей красивой ногой.

— Литераторствует? — спросил Вихров.

— Очень много даже — и все исключительно про меня.

— Как про вас! — воскликнул Вихров.

Мари тоже уставила на Абреева удивленные глаза.

— Единственно про меня — и что дурно, так в этом случае он мстить мне, кажется, желает.

— А вы, верно, отказали ему от места?

— Да,— продолжал Абреев,— но я вынужден был это сделать: он до того в делах моих зафантазировался, что я сам мог из-за него подпасть серьезной ответственности, а потому я позвал его к себе и говорю: «Николай Васильич, мы на стольких пунктах расходимся в наших убеждениях, что я решительно нахожу невозможным продолжать нашу совместную службу!» — «И я, говорит, тоже!» — «Но,— я говорю,— так как я сдвинул вас из Петербурга, с вашего пепелища, где бы вы, вероятно, в это время нашли более приличное вашим способностям занятие, а потому позвольте вам окупить ваш обратный путь в Петербург и предложить вам получать лично от меня то содержание, которое получали вы на службе, до тех пор, пока вы не найдете себе нового места!» Он поблагодарил меня за это, взял

жалованье за два года даже вперед и уехал... Кажется, расстались дружелюбно!.. Но вдруг в одной петербургской газетке вижу, что я описан в самом карикатурном виде, со всеми моими привычками, с моим семейством, с моими кучерами, лакеями!.. Что писал это тот господин — сомневаться было нечего, потому что тут говорилось о таких вещах, о которых он только один знал. Я сначала рассмеялся этому, думая, что всякому человеку может выпасть на долю столкнуться с негодяем; но потом, когда я увидел, что этот пасквиль с восторгом читается в том обществе, для которого я служил, трудился, что те же самые люди, которых я ласкал, в нуждах и огорчениях которых всегда участвовал, которых, наконец, кормил так, как они никогда не едали, у меня перед глазами передают друг другу эту газетку,— это меня взорвало и огорчило!.. Я тут же сказал сам себе: «Я всю жизнь буду служить моему государю и ни одной минуты русскому обществу!» — что и исполнил теперь.

— Очень уж вы, господа, щекотливы,— произнес Вихров,— посмотрите на английских лордов,— на них пишут и пасквили и карикатуры, а они себе стоят, как дубы, и продолжают свое дело делать.

— Прекрасно-с! — возразил Абреев.— Но английские лорды, встречая насмешки и порицания, находят в то же время защиту и поддержку в своей партии; мы же в ком ее найдем?.. В непосредственном начальстве нашем, что ли? — заключил он с насмешкою и хотел, кажется, еще что-то такое пояснить, но в это время раздались шаги в зале.

Все обернулись — это входил Плавин.

— Вас ищу-с, вас! — говорил он, торопливо поздоровавшись с хозяйкою дома и с Вихровым и прямо обращаясь к Абрееву.

— К вашим услугам! — отвечал тот с обычной своей вежливостью.

Плавин сел прямо против Абреева.

— Правда, что вы вышли в отставку? — спросил он его.

— Совершенная правда! — отвечал тот.

Плавин пожал плечами.

— Но, mon cher, как хотите,— воскликнул он,— при всем моем уважении к вам, я должен сказать, что это просто детский каприз с вашей стороны.

— Вы полагаете? — спросил Абреев несколько уже и обиженным голосом.

— Более чем полагаю, уверен в том! — отвечал настойчиво Плавин.

— Значит, вы не знаете всех причин, побудивших меня подать в отставку,— произнес Абреев, грустно пожимая плечами.

— По крайней мере, те, о которых мне говорили, именно показывают, что это чистейший каприз,— оставить службу из-за того, что там кто-то такой что-то написал или нарисовал...— говорил Плавин.

— Да-с, это только одно! — возразил Абреев.— Но тут есть еще другое, гораздо поважней; вы знаете, что я всегда был с вами человек одномыслящий.

— Знаю! — подтвердил Плавин одобрительно.

— Знаете, что от эмансипации я по своим имениям ничего не проиграл, но, напротив, выиграл.

— Знаю,— повторил еще раз Плавин.

— Значит, никакой мой личный интерес не был тут затронут; но когда я в отчете должен был написать о состоянии вверенной мне губернии, то я прямо объявил, что после эмансипации помещики до крайности обеднели, мужики все переделились и спились, и хлебопашество упало.

Плавин захохотал.

— Вы не имели права этого написать, никакого права не имели на то! — воскликнул он.

— Как я не имел права, когда я видел это собственными глазами?..— проговорил Абреев.

— Ну и что ж из того, что вы видели собственными глазами?.. Все-таки в этом случае вы передаете ваши личные впечатления, никак не более! — возразил Плавин.— Тогда как для этого вы должны были бы собрать статистические данные и по ним уже делать заключение.

— Какие же это статистические данные? — спросил Абреев, удивленный и как бы несколько опешенный этою мыслью, которая, как видно, не приходила ему в голову.

— А такие-с! — отвечал с докторальною важностью Плавин.— Как богаты были помещики до эмансипации и насколько они стали бедней после нее? Сколько народ выпивал до освобождения и сколько — теперь, и как велика была средняя цифра урожая до шестьдесят первого года, и какая — в настоящее время? И на все это именно по этим статистическим данным я и могу вам отвечать, что

помещики нисколько не разорились, а только состояния их ликвидировались и уяснились, и они лишились возможности, посредством пинков и колотков, делать разные переборы; а если народ и выпил вина больше, чем прежде выпивал, так это слава богу! В этом его единственное удовольствие в жизни состоит!

— Странное удовольствие! — заметил Абреев.

— Точно такое же, как и наше,— объедаться за обедом и держать француженок на содержании,— заметил не без колкости Плавин.

— Но народ это делает без всякой меры; иногда целая деревня валяется пьяная по канавам или идет на четвереньках пить в другую деревню,— проговорил Абреев.

— Да вам-то что за дело до этого! — прикрикнул уж на него Плавин.— Если вам кажется некрасиво это, то не глядите и отворачивайтесь, и почем вы знаете, что народу также, может быть, противно и ненавистно видеть, как вы ездите в ваших колясках; однако он пока не мешает вам этого делать.

— Я тут говорю не про собственное чувство,— сказал Абреев,— а то, что это вредно в санитарном отношении и для самого народа.

— А разве объедаться обедами и услаждаться после оных француженками — менее вредно в санитарном отношении? — спросил насмешливо Плавин.

Абреев усмехнулся.

— Это делает такое небольшое число людей, что все равно, что бы они ни делали,— сказал он.

— Как все равно? Напротив, эти люди должны являть собою пример воздержания, трудолюбия, ума, образования,— перечислял насмешливо Плавин.

Абреев на это ничего уже не возражал.

— Что же касается до хлебопашества,— продолжал Плавин,— то, извините меня, это чистейший вздор; по тем же именно статистическим данным и видно, что оно увеличилось, потому что вывоз за границу хлеба стал больше, чем был прежде.

— Но каким же образом это могло случиться? — возразил Абреев, пожимая плечами.— Все помещики хозяйства свои или уничтожили, или сократили наполовину; крестьяне между тем весьма мало увеличили свои запашки.

— Это все-таки вы говорите ваши личные впечатления,— опять вам повторяю,— сказал Плавин.

— Нет, это никак не личные впечатления,— продолжал Абреев, краснея даже в лице,— это самым строгим логическим путем можно доказать из примера Англии, которая ясно показала, что хлебопашество, как и всякое торговое предприятие, может совершенствоваться только знанием и капиталом. Но где же наш крестьянин возьмет все это? Землю он знает пахать, как пахал ее, я думаю, еще Адам; капитала у него нет для покупки машин.

— У него нет, но у общины он есть,— возразил Плавин.

Абреев при этом окончательно вспыхнул.

— Об общине я равнодушно слышать не могу,— заговорил он прерывающимся от волнения голосом и, видимо, употребляя над собой все усилия, чтобы не сказать чего-нибудь резкого,— эту общину выдумали в Петербурге и навязали ее народу; он ее не любит, тяготится ею, потому что, очень естественно, всякий человек желает иметь прочную собственность и отвечать только за себя!

— Общину выдумали, во-первых, не в Петербурге,— начал ему отвечать в явно насмешливом тоне Плавин,— а скорей в Москве; но и там ее не выдумали, потому что она долгое время существовала у нашего народа, была им любима и охраняема; а то, что вы говорите, как он не любит ее теперь, то это опять только один ваш личный взгляд!

— Видит же бог! — воскликнул Абреев, сделавшийся из пунцового уже бледным.— То, что я вам говорю, это скажет вам в любой деревне каждый мужик, каждая женщина, каждый ребенок!

Плавин на это только пожал плечами и придал такое выражение лицу, которым явно хотел показать, что с человеком, который свои доказательства основывает на божбе, спорить нечего.

— Меня тут-то больше всего ажитирует,— продолжал Абреев, обращаясь уже более к Мари,— что из какой-то модной идеи вам не хотят верить, вас не хотят слушать, когда вы говорите самые святые, самые непреложные истины.

— Я тоже думаю, что община и круговая порука не совсем любимы народом,— проговорила та.

— Ненавидимы, madame, ненавидимы! — воскликнул Абреев.— Вот вы, Павел Михайлыч,— продолжал он, относясь уже к Вихрову,— русский литератор и, как ка-

жется, знаете русский народ,— скажите, правду ли я говорю?

— Ей-богу, не знаю-с! После шестидесятого года почти не видал народа,— отвечал тот уклончиво.

— А я видел-с его!.. Я эти последние три года почти жил с народом! — горячился Абреев, и потом, как бы вспомнив свой обычный светский тон, он вдруг приостановился на некоторое время и прибавил гораздо уже более мягким тоном Мари:

— Pardon, madame!.. Мы, я думаю, наскучили вам нашим спором.

— Напротив,— возразила та.

— Но, во всяком случае, позвольте уже вам пожелать доброго утра,— продолжал он, вставая перед Мари.

Та приветливо с ним раскланялась.

Вихрову Абреев пожал дружески руку и протянул ее также и Плавину.

— А мы с вами все-таки будем спорить всюду и везде! — произнес тот с небольшим оттенком насмешливости.

— Будем-с спорить! — отвечал ему Абреев и уехал.

Плавин некоторое время после того как бы усмехался про себя.

— Отличный господин! — заговорил он, явно разумея под именем *господина* Абреева.— Но вот приехал сюда и сразу попал в партию крупных землевладельцев.

— Я решительно не знаю, неужели существует такая партия и с какой целью? — спросила Мари.

— Очень сильная даже,— отвечал почти таинственно Плавин и затем, посидев еще некоторое время и сказав будто к слову, что на днях он получил аренду тысяч в восемьдесят, раскланялся и отправился на Невский походить до обеда.

— Отчего ты Абрееву не ответил на его вопрос? — спросила Мари тотчас же, как остались они вдвоем с Вихровым.

— Ну, что тут им отвечать, бог с ними! — произнес он с улыбкою.

— Это два полюса,— продолжала Мари,— один — аристократ, а другой — демократ!

— Не то что аристократ и демократ,— начал Вихров,— а один — военный и с состоянием, а потому консерватор; а другой — штатский и еще добивающийся состояния, а потому радикал.

— Но, во всяком случае, мне Абреев как человек гораздо более нравится, чем Плавин,— проговорила Мари.

— Как это судить! — сказал Вихров.— Если брать удобство и приятность сношений, то, конечно, Абреев — человек добрый, благородный, деликатный; Плавин же дерзок, нахал, как все выскочки; лично я его терпеть не могу, но все-таки должен сказать, что он, хоть и внешняя, может быть, но сила!.. Я даже уверен, что он никаких своих убеждений не имеет, но зато, раз усвоив что-нибудь чужое, он уже будет работать, как вол, и ни перед чем не остановится. Он еще мальчишкой раз в гимназии захотел играть на театре: сегодня задумал, завтра начал приводить в исполнение, а через неделю мы уж играли на театре... Абреев же, по-моему, олицетворенное бессилие. Он, помяни мое слово, будет брать двадцать еще служб на себя, везде будет очень благороден, очень обидчив, но вряд ли где-нибудь и какое-нибудь дело подвинет вперед — и все господа этого рода таковы; необразованны, что ли, они очень, или очень уж выродились, но это решительно какой-то неумелый народ.

— Умеют и они одно дело делать,— перебила Мари.

— Какое? — спросил Вихров.

— Интриговать друг против друга — это, я тебе скажу, такое вечное и беспрерывное подшибанье один другого, такая скачка вперегонку за крестами и чинами, что, ей-богу, они мне кажутся иногда сумасшедшими.

— Ну, в России это вовсе не сумасшедшие,— возразил Вихров,— потому что, как в государстве, все еще немножко азиатском, это имеет еще огромное значение.

— Пожалуй, что это так!..— согласилась Мари.— И, знаешь, этого рода чинолюбцев и крестолюбцев очень много ездит к мужу — и, прислушиваясь к ним, я решительно недоумеваю, что же такое наша матушка Россия: в самом ли деле она страна демократическая, как понимают ее нынче, или военная держава, как разумели ее прежде, и в чем состоит вкус и гений нашего народа?

Вихров усмехнулся.

— Гений нашего народа,— начал он отвечать,— пока выразился только в необыкновенно *здравом уме* — и вследствие этого в сильной *устойчивости;* в нас нет ни французской галантерейности, ни глубокомыслия немецкого, ни предприимчивости английской, но мы очень *благоразумны* и *рассудительны:* нас ничем нельзя очень по-

радовать, но зато ничем и не запугаешь. Мы строим наше государство медленно, но из хорошего материала; удерживаем только настоящее, и все ложное и фальшивое выкидываем. Что наш аристократизм и демократизм совершенно миражные все явления, в этом сомневаться нечего; сколько вот я ни ездил по России и ни прислушивался к коренным и любимым понятиям народа, по моему мнению, в ней не должно быть никакого деления на сословия — и она должна быть, если можно так выразиться, по преимуществу, государством хоровым, где каждый пел бы во весь свой полный, естественный голос, и в совокупности выходило бы все это согласно... Этому свойству русского народа мы видим беспрестанное подтверждение в жизни: у нас есть хоровые песни, хоровые пляски, хоровые гулянья... У нас нет, например, единичных хороших голосов, но зато у нас хор русской оперы, я думаю, первый в мире. У нас — превосходная придворная капелла; у каждого архиерея — отличный хор певчих.

— Ты и на государственное устройство переносишь это свойство? — спросила Мари.

— Непременно так! — воскликнул Вихров.— Ты смотри: через всю нашу историю у нас не только что нет резко и долго стоявших на виду личностей, но даже партии долго властвующей; как которая заберет очень уж силу и начнет самовластвовать, так народ и отвернется от нее, потому что *всякий пой в свой голос и других не перекрикивай*!

— Как нет личностей! — воскликнула Мари.— А Владимир, а Грозный, а Петр...

— То — цари, это другое дело,— возразил ей Вихров.— Народ наш так понимает, что царь может быть и тиран и ангел доброты, все приемлется с благодарностью в силу той идеи, что он посланник и помазанник божий. Хорош он — это милость божья, худ — наказанье от него!

— Это у всех, я думаю, молодых народов так! — заметила Мари.

— Может быть,— продолжал Вихров,— но все-таки наш идеал царя мне кажется лучше, чем был он на Западе: там, во всех их старых легендах, их кёниг — непременно храбрейший витязь, который всех сильней, больше всех может выпить, съесть; у нас же, напротив, наш любимый князь — князь ласковый, к которому потому и сошлись все богатыри земли русской,— князь в совете мудрый, на суде правый.

Мари хотела что-то такое на это сказать, но приехал Евгений Петрович, и продолжать при нем далее разговор о таких отвлеченных предметах было совершенно невозможно, потому что он на первых же словах обрезал бы и сказал, что все это глупости.

XVIII
ПИРУШКА

В конце мая Эйсмонды переселились в Парголово, или, лучше сказать, одна Мари переехала туда. Генерал же под разными предлогами беспрестанно оставался в Петербурге. Вихров тоже поселился через два — три дома от них. Собственно, он и уговорил Мари взять дачу в Парголове, потому что там же жил и Марьеновский. Герой мой день ото дня исполнялся все более и более уважением к сему достойному человеку. Такой эрудиции, такого трудолюбия и вместе с тем такой скромности Вихров еще и не встречал ни в ком. Он просто заискивал в Марьеновском за его высокие душевные качества. Тот, в свою очередь, тоже, кажется, начинал любить его: почти каждый вечер сходились они в Парголовском саду и гуляли там, предаваясь бесконечным разговорам. В одну из таких прогулок они разговорились о том, что вот оба они стареются и им приходит время уступить свое место другим, молодым деятелям.

— Удивительное дело,— сказал Вихров,— каким образом это так случилось, что приятели мои, с которыми я сближался в юности, все явились потом более или менее общественными людьми, не говоря уж, например, об вас, об Плавине, но даже какой-нибудь Замин — и тот играет роль, как глашатай народных нужд и желаний. Захаревский, вот вы сами говорите, серьезнейший человек из всех своих товарищей... Абреева я сам наблюдал, какой он добрый и благонамеренный администратор был,— словом, всех есть за что помянуть добрым словом!

— Зачем же вы себя-то исключаете из этого числа? — заметил ему с улыбкою Марьеновский.

— Я не исключаю,— отвечал Вихров, сконфузившись.— И знаете что̀,— продолжал он потом торопливо,— мне иногда приходит в голову нестерпимое желание, чтобы всем нам, сверстникам, собраться и отпраздно-

вать наше общее душевное настроение. Общество, бог знает, будет ли еще вспоминать нас, будет ли благодарно нам; по крайней мере, мы сами похвалим и поблагодарим друг друга.

— Мысль недурная! — сказал Марьеновский.

— Значит, вы будете участвовать в такой пирушке, если она затеется? — спросил Вихров с разгоревшимися уже от одушевления глазами.

— Всенепременно! — отвечал Марьеновский.

— В таком случае, я на днях же поеду собирать и других господ,— говорил Вихров, совершенно увлеченный этою новою мыслию.

Вечером в тот день он зашел к Мари и рассказал ей о затеваемом вечере.

— Но кто же именно у вас будет участвовать на нем и в честь чего он будет устроен? — спросила та.

— А в честь того,— отвечал Вихров,— что наше время, как, может быть, небезызвестно вам, знаменательно прогрессом. Мы в последние пять лет, говоря высокопарным слогом, шагнули гигантски вперед: у нас уничтожено крепостное право, устроен на новых порядках суд, умерен произвол администрации, строятся всюду железные дороги — и для всех этих преуспеяний мы будем иметь в нашем маленьком собрании по представителю: у нас будет и новый судья Марьеновский, и новый высоко приличный администратор Абреев, и представитель народа Замин, и прокурорский надзор в особе любезнейшего Захаревского, и даже предприниматель по железнодорожному делу, друг мой Виссарион Захаревский.

— Складно! — подхватила Мари.— А ты, разумеется, будешь участвовать как писатель.

— Я как писатель, но, кроме того, я желал бы, чтоб в этом обеде участвовал и Евгений Петрович.

— Но ему-то с какой стати? — возразила Мари.

— Как представителю севастопольских героев. Эти люди, я полагаю, должны быть чествуемы на всех русских общественных празднествах.

— Не знаю, согласится ли он,— проговорила Мари и как-то особенно протянула эти слова.

На другой день Вихров зашел к ним, чтобы пригласить самого генерала, но, к удивлению его, тот отказался наотрез.

— Но отчего же вы не хотите участвовать? — спросил его Вихров.

— А оттого-с,— отвечал Евгений Петрович,— что я человек старый, может быть, даже отсталый, вы там будете все народ ученый, высокоумный; у вас будет своя беседа, свои разговоры,— что ж я тут буду как пятое колесо в колеснице.

— Напротив!..— возразил было Вихров.

— Нет, пожалуйста, оставьте меня в покое! — перебил его резко Евгений Петрович.

Его отговаривала в этом случае Мари: она все утро перед тем толковала ему, что так как он никогда особенно не сочувствовал всем этим реформам, то ему и быть на обеде, устраиваемом в честь их, не совсем даже честно... Тронуть же Евгения Петровича за эту струну — значило прямо поднять его на дыбы. Он лучше желал прослыть вандалом, стародумом, но не человеком двуличным. Мари, в свою очередь, отговаривала его из боязни, чтоб он, по своему простодушию, не проговорился как-нибудь на этом обеде и не смутил бы тем всего общества; но признаться в этом Вихрову ей было совестно.

Прочие лица, приглашенные Вихровым к празднованию обеда, все сейчас же и с полною готовностью согласились — и больше всех в этом случае изъявил удовольствие Виссарион Захаревский.

— Где ж мы будем обедать? — спросил он.

— Да, пожалуй, хоть у Донона можно,— сказал Вихров.

— У Донона так у Донона!..— подхватил Виссарион.— Но кто ж, собственно, будет распоряжаться этим обедом?

— Я не знаю, если никто не возьмется, так мне, пожалуй, придется,— отвечал, подумав, Вихров.

— Я возьму на себя, если только мне это позволите! — произнес скороговоркою Виссарион.— Я в этом тоже койчто знаю, хорошего мало в жизни сделал, а едал порядочно.

— Сделайте милость, вам все будут очень благодарны! — воскликнул Вихров.

— С большим удовольствием сделаю эту милость; но сколько же вы, однако, предполагаете, чтоб сошло с лица на этот обед? — присовокупил Виссарион, любивший в каждом деле решать прежде всего денежный вопрос.

— Я полагаю, чтобы не по очень высокой цене, потому что между нами будут люди весьма недостаточные: Замин, ваш Живин, Марьеновский даже.

— По пяти рублей с вином с лица не много? — спросил с улыбкою Виссарион.

— Очень даже!.. Обед при этом, пожалуй, выйдет очень плох.

— Обед выйдет первый сорт — за это я уж ручаюсь; только Абрееву не говорите об нашем уговоре, а то он, пожалуй, испугается дешевизны и не приедет.

— Хорошо! — сказал Вихров.

Он почти догадывался, какого рода штуку хочет совершить Захаревский.

Дней через несколько к Донону собралось знакомое нам общество. Абреев был в полной мундирной форме; Плавин — в белом галстуке и звезде; прочие лица — в черных фраках и белых галстуках; Виссарион, с белой розеткой распорядителя, беспрестанно перебегал из занятого нашими посетителями салона в буфет и из буфета — в салон. Стол был уже накрыт, на хрустальных вазах возвышались фрукты, в числе которых, между прочим, виднелась целая гора ананасов.

Абреев сначала почти механически взял со стола карточку обеда и начал ее просматривать, но чем далее ее читал, тем более и более выражалось на лице его внимание.

— Обед, кажется, нам недурной предстоит,— сказал он, обращаясь к Плавину.

— Зачем же дурной? Захаревский мне говорил, что обед будет хороший,— отвечал тот как-то рассеянно и затем, обращаясь как бы ко всему обществу, громко сказал: — А кто ж, господа, будет оратором нашего обеда?

— Мне уж позвольте речь держать,— подхватил Вихров,— так как некоторым образом я затеял этот обед, то и желаю на нем высказать несколько моих мыслей...

— Вихров и должен говорить, Вихров! — подхватили прочие.

Плавин ничего против этого не возразил; но по холодному выражению его лица можно было судить, что вряд ли не сам он приготовлялся говорить на этом обеде.

Когда сели за стол, Вихров тоже взглянул на карточку и потом сейчас же, обратясь к Виссариону Захаревскому, спросил его:

— А сколько вы своих за обед приплатили?

— Что, вздор!

— Нет, сколько, однако?

— Рублей по тридцать пять на человека.

Вихров покачал головой.

— Это гадко даже — проедать столько в один час,— проговорил он.

— Нет, ничего, приятно!

Видимо, что Плавин и Абреев с первого же блюда начали блаженствовать и только по временам переглядывались между собой и произносили немногосложные похвалы каждому почти блюду; Марьеновский ел совершенно равнодушно; Живин — очень робко и даже некоторые кушанья не умел как взять и решительно, кажется, не знал — что такое он ест; зато Замин вкушал все с каким-то омерзением.

— Вот жеванины-то этой проклятой навалили, ешь да еще деньги плати за нее! — говорил он, кладя себе в рот божественный пудинг из протертого свиного мяса.

Герой мой заметно был беспокоен и, кажется, гораздо больше, чем обедом, был занят предстоящей ему минутою сказать речь. Наконец, перед жарким, когда разлито было шампанское, он поднялся на ноги и заговорил:

«Милостивые государи!

Все мы, здесь собравшиеся на наше скромное празднество, проходили в жизни совершенно разные пути — и все мы имеем одну только общую черту, что в большей или меньшей степени принадлежим к эпохе нынешних преобразований. Конечно, в этой громадной перестройке принимали участие сотни гораздо более сильнейших и замечательных деятелей; но и мы, смею думать, имеем право сопричислить себя к сонму их, потому что всегда, во все минуты нашей жизни, были искренними и бескорыстными хранителями того маленького огонька русской мысли, который в пору нашей молодости чуть-чуть, и то воровски, тлел,— того огонька, который в настоящее время разгорелся в великое пламя всеобщего государственного переустройства».

Негромкие «Хорошо!», «Браво!», «Очень хорошо!»

«Да, милостивые государи, эти реформы обдумывались и облюбились не в палатах тогдашних государственных мужей, а на вышках и в подвалах, в бедных студенческих квартирах и по скромным гостиным литераторов и ученых. Я помню, например, как наш почтенный Виктор Петрович

Замин, сам бедняк и почти без пристанища, всей душой своей только и болел, что о русском крестьянине, как Николай Петрович Живин, служа стряпчим, ничего в мире не произносил с таким ожесточением, как известную фразу в студенческой песне: «Pereat justitia!», как Всеволод Никандрыч, компрометируя себя, вероятно, на своем служебном посту, ненавидел и возмущался крепостным правом!.. (При этом на лице Вихрова промелькнула как бы легкая улыбка. Сам же Плавин держал высоко и гордо свою голову и на лице своем не выражал ничего.) Не забыть мне, милостивые государи, и того,— продолжал Вихров,— как некогда блестящий и светский полковник обласкал и заступился за меня, бедного и гонимого литератора, как меня потом в целом городе только и оприветствовали именно за то, что я был гонимый литератор,— это два брата Захаревские: один из них был прокурор и бился до последних сил с деспотом-губернатором, а другой — инженер, который давно уже бросил мелкое поприще чиновника и даровито принялся за дело предпринимателя»... Сказать что-либо еще в пользу Виссариона Захаревского Вихров решительно не находился. «А вас каким словом оприветствовать,— обратился он затем к Марьеновскому,— я уже и не знаю: вашей высокополезной, высокоскромной и честной деятельности мы можем только удивляться и завидовать в лучшем значении этого слова!.. Все эти черты, которые я перечислил из нашей прошедшей жизни, дают нам, кажется, право стать в число людей сороковых годов!..»

Проговоря это, Вихров поклонился и сел.

— Браво, прекрасно, прекрасно! — раздалось уже громко со всех сторон.

Вслед за тем сейчас же встал на ноги Абреев и, поднимая бокал, проговорил:

— Первый тост, господа, я предлагаю за здоровье государя императора!.. Он тоже — человек сороковых годов! — прибавил он уже вполголоса.

— Ура, ура! — раздалось со всех сторон.

— Ура! — кричал Вихров громче всех.— Такой искренний и знаменательный тост государь, я думаю, не часто получал: это мысль приветствует и благодарит своего осуществителя!

— Ура, ура!..— раздалось снова.

— Теперь, господа, собственно, за людей сороковых годов! — продолжал Абреев.

— Ура, ура, ура!

— За здоровье, собственно нас, собравшихся!

— Ура! Ура!

— Хотел было я, господа,— начал Вихров, снова вставая на ноги,— чтоб в нашем обеде участвовал старый, израненный севастополец, но он не поехал. Все-таки мы воздадим честь севастопольским героям; они только своей нечеловеческой храбростью спасли наше отечество: там, начиная с матроса Кошки до Корнилова, все были Леониды при Фермопилах,— ура великим севастопольцам!

— Ура! Ура! — повторили за ним и прочие самым одушевленным образом.

По окончании тостов стали уже просто пить — кто шампанское, кто ликер, кто коньяк. Плавин, кажется, остался не совсем доволен тем, что́ происходило за обедом, потому что — не дождавшись даже, чтобы встали из-за стола, и похвалив только слегка Вихрову его речь — он раскланялся со всеми общим поклоном и уехал; вряд ли он не счел, что лично ему на этом обеде оказано мало было почести, тогда как он в сущности только себя да, пожалуй, еще Марьеновского и считал деятелями в преобразованиях. Живин тоже скучал или, по крайней мере, сильно конфузился виденного им общества: очень уж оно ему важным и чиновным казалось. Он все почти время старался быть или около Захаревских, или около Вихрова как людей более ему знакомых. Замин между тем, сильно подпивший, сцепился с Абреевым, который, по своему обыкновению, очень деликатно осмелился заступиться за дворянство, говоря, что эти люди служили престолу и отечеству.

— Ну да, как же, престолу и отечеству! Себе в карман! — возразил ему Замин.

— Однако в двенадцатом году они служили не себе в карман,— сказал ему, в свою очередь, Абреев,— они отдавали на службу детей своих, своих крестьян, сами жгли свое имущество.

— Да разве в двенадцатом году дворянство выгнало французов?! — воскликнул в удивлении Вихров.— Мужики да бабы — вот кто их выгнал! — присовокупил он.

— Однако под Смоленском и под Бородином не мужики же и бабы выдерживали сражения.

— Да уж и не дворяне, а солдаты.

— Но этих солдат приучили и руководили дворяне.

— Как же, дворяне!.. Солдаты дворян учили — это так!

Абреев против этого ничего уже не сказал, а пожал только плечами.

Замин обыкновенно, кроме мужиков, ни в каких других сословиях никаких достоинств не признавал: барин, по его словам, был глуп, чиновник — плут, а купец — кулак. Покончив с Абреевым, он принялся спорить с Иларионом Захаревским, доказывая, что наш народный самосуд есть высочайший и справедливейший суд.

— Но каким же образом — высочайший? — возражал ему Захаревский.— Народ не имеет очень многих юридических сведений, необходимых для судей.

— Все имеет, все! — кричал Замин с блистающими глазами и выпивая, по крайней мере, уже десятую рюмку коньяку.

Виссарион Захаревский в это время, окончив хлопоты с обедом и видя, что Марьеновский сидит один-одинешенек смиренно в углу, счел не лишним занять его: он его, по преимуществу, уважал за чин тайного советника.

— Какого это севастопольца Вихров хотел привезти на обед? — спросил он, чтобы о чем-нибудь только заговорить с ним и подсаживаясь к нему.

— Эйсмонда, вероятно,— отвечал с небольшою улыбкою Марьеновский.

— А!.. Да ведь у него с его женой есть что-то такое.

— Говорят! — отвечал с прежнею улыбкою Марьеновский.

— Я как-то его с ней встретил в Павловске. Это черт знает что́ такое — она старуха совсем!

— Да, не молода уж!

— Но что́ ж ему за охота?

— Старая, вероятно, какая-нибудь привязанность, которую не хочет да, может быть, и не может нарушить: ведь он — романтик, а не практик, как вы! — заключил немного ядовито Марьеновский.

— Черт знает, все-таки не понимаю! — произнес Виссарион и через несколько времени уехал в своем щегольском экипаже с братом по Невскому.

Прочие тоже вскоре за тем разошлись.

ПРИМЕЧАНИЯ

ЛЮДИ СОРОКОВЫХ ГОДОВ

Стр. 4. *Енох* — по библейской легенде, один из патриархов, за праведность взятый живым на небо.

Стр. 19. *Пропедевтик.*— Пропедевтика *(греч.)*—сокращенное изложение какой-нибудь науки, предшествующее более глубокому ее изучению.

Стр. 25. *«Домострой»* — русский письменный памятник XVI века, содержащий свод правил религиозного, семейно-бытового и общественного поведения. «Домострой» стал символом домашнего деспотизма родителей, темных и отсталых понятий.

Стр. 34. *Меценат* (род. между 74 и 64, ум. 8 до н. э.) — римский государственный деятель, покровительствовавший поэтам. Имя Мецената стало нарицательным названием покровителя искусств и литературы.

Стр. 39. *Лессинг* Готхольд Эфраим (1729—1781) — знаменитый немецкий писатель и критик, представитель немецкого буржуазного просвещения, автор драм «Эмилия Галотти», «Натан Мудрый» и др.

Шеллинг Фридрих Вильгельм Иосиф (1775—1854) — немецкий философ-идеалист. В своих натурфилософских сочинениях Шеллинг стремился философски обосновать достижения естествознания своего времени. Идеи Шеллинга имели сильное влияние на русскую дворянскую молодежь 20—30-х годов.

Стр. 43. *Шифервейс* — сорт свинцовых белил, считающийся одним из лучших.

Стр. 64. *Теньеровские картины* — принадлежащие кисти голландского (фламандского) художника Давида Теньера (Тенирс, 1610—1690), называемого Младшим, в отличие от его отца. Теньер-Младший изображал сцены из народной жизни Голландии.

Стр. 73. *Монах... яйцо печет на свечке, а черт у него учится* — сюжет басни И. А. Крылова «Напраслина».

Пекуния — от латинского слова pecuniae — деньги (бурсацкий жаргон).

Стр. 84. *«Отечественные записки»* — ежемесячный литературно-политический журнал прогрессивного направления; с 1839 по 1867 год его редактором-издателем был А. А. Краевский.

«Северная пчела» — реакционная политическая и литературная газета, с 1825 года издававшаяся Ф. В. Булгариным и Н. И. Гречем.

Стр. 94. *Кукольник* Нестор Васильевич (1809—1868) — русский реакционный писатель, драматург.

Драма Кукольника «Князь Мих. Вас. Скопин-Шуйский» впервые была поставлена в 1835 году в Александринском (ныне имени А С. Пушкина) театре. Кергель неточно цитирует слова Ляпунова, обращенные к шведскому воеводе Делагарди·

Да знает ли ваш пресловутый Запад,
Что если Русь восстанет на войну,
То вам почудится седое море,
Что буря гонит на берег противный!..

«Старый дом» — стихотворение Н П. Огарева (1813—1877), друга А И. Герцена, впервые напечатанное в 1840 году в «Отечественных записках» В стихотворении говорится о московском доме отца Герцена, И А Яковлева. «Отец мой редко бывал в хорошем расположении духа, он постоянно был всем недоволен... все более и более впадал в капризное отчуждение ото всех»,— вспоминал Герцен об отце. В «Старом доме» это отражено в стихах:

Здесь ворчал недовольный старик,
Мы беседы его не любили,
Нас страшил его черствый язык...

Читатели, как видно из слов Живина: «...раскуси, что там написано»,— придавали стихотворению аллегорическое значение, разумея под «старым домом» Россию, под «недовольным стариком» — Николая I.

«...как сказал Гоголь, «...равно чудны стекла...»—неточная цитата из VII главы первой части «Мертвых душ»: «...равно чудны стекла, озирающие солнцы и передающие движенья незамеченных насекомых...»

Стр 95. *Тимофеев* Алексей Васильевич (1812—1883) — поэт, драматург, беллетрист

Стр. 96. *«Волшебный стрелок»* — опера Карла Вебера (1786—1826), текст Кинда. В Петербурге впервые была поставлена в 1824 году и пользовалась большой популярностью.

Писемский сравнивает счет капель Живиным со счетом пуль в опере егерем Каспаром, выливающим их посредством волшебства: по мере того, как Каспар считает пули, появляются совы, черные вепри, раздается гром, сверкает молния, и при счете «семь» низвергаются скалы.

Стр. 100. *Окорчева* — гнутая часть головки саней или полозьев.

Стр. 111. *...он вдруг начал какие-то письма писать к друзьям.*— Имеются в виду вышедшие в январе 1847 года «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя, которые вызвали протест у большинства писателей и читающей публики. Особенно резкое осуждение «Выбранные места» нашли в письме В. Г. Белинского к Гоголю, написанном за границей в том же году, 15 июля. В нем он называет Гоголя «проповедником кнута, апостолом невежества, поборником обскурантизма и мракобесия, панегиристом татарских нравов».

Стр. 117. *Французские энциклопедисты* — писатели, ученые и философы, объединившиеся вокруг издания «Энциклопедии, или толкового словаря наук, искусств и ремесл», первые тома которой вышли

в 1751—1752 годах. Во главе «Энциклопедии» стоял философ и беллетрист Дени Дидро (1713—1784). Его сотрудниками были: математик Д'Аламбер (1717—1783), философы: Гельвеций (1715—1771), Гольбах (1723—1789), Руссо (1712—1778), натуралист Бюффон (1707—1788), Вольтер (1694—1778) и др. Энциклопедисты, несмотря на идейно-философские расхождения, были объединены общим протестом против монархической тирании, церковного фанатизма, против феодальных социально-экономических отношений и выражали передовую для XVIII столетия предреволюционную буржуазную идеологию. Идейное и культурное значение «Энциклопедии» было очень велико в России XVIII века.

Лагранж Иосиф (1736—1813) — знаменитый французский математик.

Стр. 118. *Лев Пушкин* — так ошибочно назван дядя А. С. Пушкина, поэт Василий Львович Пушкин (1767—1830), которому принадлежит эпиграмма:

Какой-то стихотвор (довольно их у нас)
Послал две оды на Парнас...
Читая, Феб зевал и наконец спросил:
«Каких лет стихотворец был,
И оды громкие давно ли сочиняет?»
— Ему пятнадцать лет,— Эрата отвечает,
«Пятнадцать только лет?» — Не более того!—
«Так розгами его!»

Стр. 134. *Янус* — римское божество дверей, от латинского слова janua—дверь. Янус изображался с двумя лицами, обращенными в противоположные стороны. Отсюда выражение «двуликий Янус», применяемое к людям, меняющим по обстоятельствам свое нравственное или идейное лицо

Стр. 151. *1848 год был страшный для литературы.*— Французская революция 1848 года вызвала усиление цензурного гнета в России. Царское правительство, напуганное возможностью проникновения в Россию революционных идей, учредило для наблюдения за печатью и открытой цензурой негласный комитет под председательством тайного советника Д. П. Бутурлина. О впечатлении, которое произвел слух об этом секретном учреждении, рассказывает цензор А. В. Никитенко: «Панический страх овладел умами. Распространялись слухи, что комитет особенно занят отыскиванием вредных идей коммунизма, социализма, всякого либерализма, истолкованием их и измышлением жестоких наказаний лицам, которые излагали их печатно».

Одним из действий комитета была высылка в Вятку М. Е. Салтыкова за повесть «Запутанное дело» Таким образом, в основу эпизода высылки Павла Вихрова за его рассказ положен исторический факт.

Стр. 152. *Общество Петрашевского.*— Буташевич-Петрашевский, Михаил Васильевич (1821—1866), видный деятель русского освободительного движения середины XIX века, руководитель политического кружка, вокруг которого объединил сторонников отмены крепостного права и установления республиканского строя в России. В нем участвовали: М. Е. Салтыков, А. Н. Плещеев, Ф. М. Достоевский, В. Н. Майков и др. Участники кружка были арестованы в апреле 1849 года, и бóльшая часть их была приговорена к расстрелу.

Однако правительство не решилось привести приговор в исполнение, и смертная казнь была заменена либо пожизненной каторгой, либо ссылкой в действующую армию на Кавказ. После Декабрьского восстания 1825 года кружок Петрашевского был самым крупным проявлением протеста против самодержавно-крепостнического строя.

Стр. 153. *Кавеньяк* Луи Эжен (1802—1857) — французский реакционный политический деятель, генерал. В дни июньского восстания 1848 года возглавил военную диктатуру и использовал ее для беспощадного разгрома парижского пролетариата.

Стр. 157. *Проприетер* — собственник, владелец *(франц.)*.

Стр. 159. *«Пророк»* — опера композитора Мейербера (1791—1864), впервые поставленная в Париже в 1849 году.

Стр. 166. *«...припомните басню, кто больше был в аду наказан...».*— Имеется в виду басня И. А. Крылова «Сочинитель и Разбойник».

Стр. 172. *Пантеист* — последователь религиозно-философского учения, отождествляющего бога с природой, рассматривающего божество как совокупность законов природы.

Наполеон III (Луи Наполеон Бонапарт, 1808—1873) — французский император (1852—1870), племянник Наполеона I. С 1848 года президент Второй республики. Поддерживаемый буржуазией, 2 декабря 1852 года совершил государственный переворот и объявил себя императором.

Стр. 194. *Жак* — герой одноименного романа Жорж Санд (1834).

Стр. 198. *Лимфатик* — характеристика человека, чересчур спокойного, безразличного к окружающему, у которого в теле как будто не кровь, а водянистая жидкость — лимфа.

Стр. 207. *Кони* Федор Алексеевич (1809—1879) — писатель-водевилист, историк театра, издатель журнала «Пантеон».

Каратыгин Петр Андреевич (1805—1879) — известный водевилист и актер, брат знаменитого трагика.

Стр. 210. *«Сцены в уголовной палате» Аксакова.*— Имеется в виду произведение И. С. Аксакова (1823—1886) «Присутственный день в уголовной палате», опубликованное в России лишь в 1871 году. В 1858 году оно было напечатано в Лондоне, в четвертой книжке «Полярной звезды» Герцена.

Стр. 263. *Единоверцы* — старообрядцы, воссоединившиеся с официальной православной церковью. Правила для единоверцев были написаны московским митрополитом Платоном и утверждены императором Павлом в 1800 году.

Стр. 278. *Низамские убийцы.*—Низамы—название турецких солдат регулярной армии.

Стр. 322. *Бортнянский* Дмитрий Степанович (1751—1825)—известный русский композитор церковной музыки.

Стр. 347. *Государь Николай Павлович* — Николай I, умер. 18 февраля 1855 года

Стр. 353. *Аргус* — в греч. мифологии многоглазый великан; богиня Гера превратила А. в павлина и разукрасила его хвост глазами.

Стр. 357. *Кафишенская* — комната для приготовления кофе и хранения кофейной посуды.

Стр. 397. *Бочажок* — яма, залитая водою.

Стр. 419. *«Свои люди — сочтемся!»* — комедия А. Н. Островско-

го; была запрещена цензурой; впервые поставлена на сцене Александринского театра в Петербурге в 1861 году.

Стр. 428. *Бозио* Ангелина (1824—1859) — итальянская певица, умершая во время гастролей в России от воспаления легких.

Стр. 429. *Кошка* Петр — матрос флотского экипажа, участник почти всех вылазок во время Севастопольской обороны 1854—1855 годов, приобретший храбростью легендарную славу; умер около 1890 года.

Стр. 430. *«Как четвертого числа...»* — сатирическая песня, сочиненная во время Севастопольской обороны 1854—1855 годов ее участником — Л. Н Толстым.

Защита Сарагоссы.— Испанская крепость Сарагосса прославилась героической обороной от осаждавших ее французских захватчиков. С 15 июня 1808 года по 19 февраля 1809 года под командсю генерала Палафокса она выдерживала жесточайшие штурмы превосходящих французских сил. Наконец Палафокс вынужден был капитулировать.

Стр. 438. *«Долго нас помещики душили!»*—песня на слова, приписываемые поэту В. С. Курочкину (1831—1875). Текст песни известен в разных редакциях.

Стр. 445. *«Норма»* — опера итальянского композитора Винченцо Беллини (1802—1835); впервые поставлена в 1831 году.

Стр. 477. *Корнилов* Владимир Алексеевич (1806—1854) — вице-адмирал русского Черноморского флота, один из организаторов Севастопольской обороны; 5 октября 1854 года был смертельно ранен при отражении штурма Малахова кургана.

Леониды при Фермопилах — Леонид — спартанский царь; в 480 году до н. э. защищал узкий проход Фермопилы с тремястами спартанцев, прикрывая от натиска персов отход греческих войск, пока все триста человек не пали смертью храбрых.

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЮДИ СОРОКОВЫХ ГОДОВ

Роман в пяти частях

А. Ф. ПИСЕМСКИЙ
Собрание сочинений
в 9 томах. Том 5.
Иллюстрации художника
П Пинкисевича.
Оформление художника
Г. Фишера.
Технический редактор
А. Ефимова.

Подп. к печати 21/III 1959 г. Тираж 238 000 экз. Изд. № 600. Зак. 35. Форм. бум. 84×108 1/32. Бум. лист. 7,5. Печ. л. 24,8 + 4 вкл. (0,41 п. л.). Уч.-изд. л. 27,79.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина. Москва, улица «Правды», 24.

